

ИВАН ГРОЗНЫЙ



Борис Флоря



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК

766

Борис Флоря

ИВАН ГРОЗНЫЙ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1999

УДК [947+957] «15»(092)
ББК 63.3(2)44
Ф73

ISBN 5-235-02340-4

© Флоря Б.Н., 1999 г.
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 1999 г.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

В 1525 году великому князю Московскому Василию Ивановичу исполнилось 46 лет. Возраст немалый для мужчины, тем более в эпоху Средневековья, когда продолжительность человеческой жизни была гораздо короче, чем теперь. Тем не менее у великого князя все еще не было сына, наследника. Василий женился 4 сентября 1505 года, незадолго до смерти отца, великого князя Московского Ивана III, выбрав себе невесту по новому, неизвестному ранее в Москве обычаю.

По традиции московские великие князья чаще всего вступали в брак с женщинами из своего княжеского дома (так, например, жена Василия Темного, деда Василия III, Марья Ярославна была троюродной сестрой своего супруга), либо с женщинами, принадлежавшими к другим княжеским домам Северо-Восточной Руси (жена Дмитрия Донского Евдокия была дочерью суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича). Теперь все князья Северо-Восточной Руси стали подданными великого князя Московского, и сватать у кого-либо из них невесту для своего сына и наследника Иван III посчитал ниже своего достоинства. По совету великокняжеского печатника грека Юрия Траханиота был возрожден древний обычай выбора невесты, практиковавшийся при дворе византийских императоров. По приказу государя подданные присылали своих наиболее красивых дочерей на смотрины, и из их числа государь-жених выбирал себе невесту. Так будущий Василий III женился на Соломонии Сабуровой, происходившей из московского боярского рода костромских вотчинников.

Брак был благополучным, но бездетным, и с течением времени это все больше беспокоило супругов. Они стали совершать длительные поездки по самым прославленным русским обителям, прося их святых покровителей о «чадородии». Великая княгиня вышивала покровы на гробницы святых, ожидая от них помощи в своем несчастье, но ничто не помогало. Василий III был, по-видимому, привязан к жене, но, когда после двадцати лет совместной жизни брак так и не дал детей, он решил с ней расстаться.

По официальной версии сама Соломония, «видя неплодство из чрева своего», приняла решение уйти в монастырь, и великий князь согласился на это лишь после долгих уговоров жены и митрополита. Действительность выглядела иначе. Великая княгиня не хотела ни разводиться, ни принимать постриг, и ее пришлось принудить к этому силой. Рассказ о пострижении Соломонии Сабуровой сохранился в записках австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна, по-

бывавшего в Москве в 1526 году с дипломатической миссией. Согласно его рассказу, когда великую княгиню отвезли из Москвы в Покровский Суздальский монастырь и «в монастыре, несмотря на ее слезы и рыдания, митрополит сперва обрезал ей волосы, а затем подал монашеский куколь, она не только не дала возложить его на себя, а схватила его, бросила на землю и растоптала ногами». Лишь после того, как ближний дворянин Василия III Иван Юрьевич Шигона Поджогин ударил ее плетью, великая княгиня была вынуждена покориться и принять постриг под именем Софии. Все это происходило в самом конце 1525 года. Покровскому монастырю Василий III подарил два села в Суздальском уезде.

Теперь великий князь был свободен и мог вступить в новый брак. По уже установившемуся обычаю были устроены смотрины невест, и выбор государя пал на княжну Елену Васильевну Глинскую. 21 января 1526 года царь отпраздновал свадьбу.

Не всем понравились эти хлопоты великого князя об устройстве своей семейной жизни. Псковский летописец с осуждением писал о свадьбе Василия III: «И все то за наше согрешение, яко же написал Апостол: пусть жену свою, а оженится иною, прелюбы творит». В «Истории о великом князе Московском» Андрея Курбского и «Выписи из государевы грамоты, что прислана к великому князю Василию Ивановичу о сочетании второго брака» сохранилась память о тех приближенных великого князя (таких, например, как старец Вассиан Патрикеев), которые выступали против нового брака и поплатились за это опалой и ссылкой. Со временем в предосудительном поступке Василия III стали видеть предвестие тяжелых бедствий, постигших Русскую землю в годы правления родившегося от нового брака царя Ивана Грозного.

Семья Глинских сравнительно недавно, уже в XVI веке, появилась в рядах московской знати. Она принадлежала к татарскому, со временем обрусевшему роду, служившему великим князьям Литовским с конца XIV века. Центром их родовых владений, полученных от великого князя Литовского Витовта, был городок Глинск на левобережной Украине. Положение рода в рядах правящей элиты Великого княжества Литовского поначалу оказалось невысоким. Позднее в Москве недруги Глинских рассказывали, что дед Елены, князь Лев Борисович, служил при дворе одного из литовских князей Гедиминовичей, князя Ивана Юрьевича Мстиславского. Когда один из сыновей князя Льва, Михаил Львович, в начале XVI века стал фаворитом великого князя Литовского и короля Польского Александра, для Глинских открылся доступ к высоким государственным должностям. Но возвышение Глинских оказалось недолгим. После смерти Александра их стали отодвигать на задний план. Михаил Глинский в 1508 году поднял мятеж против нового короля Сигизмунда I и отъехал со своими братьями в Россию.

Жизнь Михаила Глинского до и после приезда в Россию, полная быстрых взлетов и резких падений, могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Гораздо меньше мы знаем об отце Елены, князе Василии Львовиче. Выехав вместе с братом в Россию, он получил от Василия III «в кормление» Медынь, но в походы воеводой не ходил и наместником в города не посылался, вероятно, из-за ранней слепоты: в 1509 году Василий III просил крымского хана прислать в Москву «великого лекаря», чтобы лечить князю Василию Глинскому глаза. Ко времени женитьбы Елены ее отец уже умер. Михаил же Глинский с 1514 года сидел в тюрьме, куда он попал за попытку отъезда в Литву. Он был освобожден из заточения лишь после брака своей племянницы.

Михаил Глинский побывал во многих странах Европы, был известен многим европейским государям, его любил и жаловал сам император Священной Римской империи Максимилиан I. Вероятно, страсть к путешествиям была не чужда и князю Василию Львовичу, который женился на Анне, дочери сербского воеводы Стефана Якшича. Стефан Якшич, дед Елены Глинской по матери, был военным вождем сербов, которые, спасаясь от османского нашествия, селились в южных областях Венгерского королевства, защищая границы этого государства от натиска османов. В Венгерском королевстве эти земли пользовались автономией, а сербские воеводы находились в родстве с рядом венгерских знатных фамилий. Вероятно, именно это родство имели в виду московские собеседники Герберштейна, объясняя ему, что великого князя понудили вступить в новый брак — «тесть его вел свой род от семейства Петрович, которое пользовалось некогда громкой славой в Венгрии и исповедовало греческую веру». Однако ни при Василии III, ни позже никто не пытался использовать эти связи в интересах московского правительства, да и сами владения сербских воевод лежали далеко за пределами сферы русских политических интересов. На самом деле все объяснялось намного проще. Великий князь выбрал молодую девушку из числа тех, кто явился на смотрины, по-видимому, потому, что она ему просто понравилась. Сигизмунд Герберштейн, а также неизвестный монах из Пафнутьева Боровского монастыря сообщают о том, что великий князь даже сбрил бороду в угоду молодой жене.

Очевидно, в связи с заключением брака стали создаваться родословные легенды, которые должны были обосновать высокое место Глинских в кругу московской знати. Родоначальник Глинских Лекса стал внуком знаменитого правителя Золотой Орды Мамаю, а Мамай, в свою очередь, — отпрыском знатного рода Киятов, которые «кочевали по сей стороне Волги до Чингиз царя». В легенде говорилось и о браке одного из предков Мамаю с дочерью Чингиз-хана, почему Кияты «и именуютца царского рода». Так составитель легенды пытался обосновать право Глинских быть на равной ноге с наслед-

никами Чингиз-хана, потомками правителей Большой орды, Крыма и Казани. Однако есть основания думать, что для сына Елены, царя Ивана IV, это значения не имело. В его обширном письменном наследии мы не находим никаких сведений о предках по материнской линии. Единственные его предки, о которых он говорил постоянно и настойчиво,— это русские государи, потомки святого Владимира.

Новый брак на первых порах не принес того, чего ждал от него великий князь, а именно сына-наследника. Василий снова стал ездить по монастырям с молодой женой, прося о помощи чудотворцев. Судьба подарила ему сына лишь через четыре года после свадьбы, когда великому князю было уже за пятьдесят.

Долгожданный наследник родился 25 августа 1530 года, «в седьмой час ночи». Он был назван Иваном, очевидно, в честь деда, великого князя Ивана III; его христианским патроном стал Иоанн Креститель. Крещению наследника великий князь постарался придать большое значение. Василий направился с младенцем в самую почитаемую русскую обитель — Троице-Сергиев монастырь. В написанном в связи с этим «Похвальном слове великому князю Василию» указано, что младенца сопровождали мамка — «Агрипина Васильева» — Аграфена, вдова боярина Василия Андреевича Челяднина, и кормилица, очевидно, простая женщина, имя которой автор «Слова» не счел нужным упомянуть.

Крестных отцов-восприемников для княжича выбрал сам великий князь. Именно по его настоятельному желанию крестным отцом Ивана стал один из самых почитаемых старцев Иосифо-Волоколамского монастыря — любимой обители Василия III, Кассиан Босой. Старца, глубокого старика, «яко младенца привезоша» и во время совершения обряда постоянно поддерживали два троицких инока. Другим крестным отцом стал хорошо известный великому князю игумен Троицкого монастыря в Переславле-Залесском Даниил, образцовый организатор монашеского общежития, вскоре после смерти причисленный к лику святых. Третьим восприемником был старец Троице-Сергиева монастыря Иев Курцов. Это обстоятельство способствовало быстрой и успешной карьере родственников троицкого старца, которая привела затем к их трагической гибели. Впоследствии имя Иева Курцова было удалено из рассказа официальной летописи о крещении Ивана IV.

Обряд крещения был совершен 4 сентября 1530 года. После этого великий князь сам возложил младенца на гробницу преподобного Сергия, отдавая его под опеку самого почитаемого из русских святых. На радостях великий князь снял опалу с целого ряда своих приближенных.

Стареющий отец окружил долгожданного наследника трогательной заботой. Сохранилось несколько писем Василия III жене, из ко-

торых видно, что во время его отлучек жена должна была постоянно сообщать ему о здоровье сына, и великий князь выговаривал ей, если она этого не делала. Когда у Ивана появилось «на шее под затылком место высоко да крепко», а затем оно покраснело, обеспокоенный государь просил Елену собрать своих боярынь и с ними выяснить, «что таково у Ивана сына явилось и живет ли таково у людей малых». Когда созревший на шее наследника нарыв наконец прорвался, великий князь желал узнать, «ныне ли что идет у сына Ивана из больного места или не идет», и «каково то у него больное место, уже ли поопало или еще не опало».

30 октября 1532 года Елена Глинская родила еще одного сына — Юрия. Однако ребенок оказался глухонемым от рождения и умственно недоразвитым (как деликатно говорилось в официальной летописи, «несмыслен и прост»). Дальнейшая судьба московской великокняжеской династии всецело зависела от жизни маленького Ивана IV.

Уединенной жизни княжича в тереме в кругу мамок, нянек и боярынь великой княгини пришел конец 3 декабря 1533 года, когда скончался его отец. Великий князь болел долго и тяжело, ребенка к нему не допускали, лишь перед самой смертью Василий позвал Ивана к себе и благословил его крестом святого митрополита Петра. «Мамке» наследника, боярыне Аграфене Челядниной, умирающий приказал «ни пяди не отступать» от ребенка.

После смерти великого князя маленький Иван стал главой государства. Конечно, трехлетний мальчик не мог заниматься государственными делами. Они всецело находились в руках его матери Елены Глинской, управлявшей государством вместе с советниками его отца. Но мальчику пришлось очень рано участвовать в приемах и церемониях. Он не понимал их значения, но занимал на них центральное место. Уже через несколько дней после смерти отца трехлетний мальчик принимал гонцов от крымского хана «и подавал им мед». В феврале 1535 года он вместе с матерью присутствовал на торжественной церемонии переноса мощей одного из главных патронов московской митрополичьей кафедры — святого Алексея митрополита — в новую раку.

В августе следующего 1536 года шестилетний мальчик принимал литовских послов. У трона великого князя «берегли» наиболее видные бояре: князь Василий Васильевич Шуйский и фаворит правительницы конюший князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Мальчик просидел весь прием, время от времени произнося полагавшиеся в той ситуации слова. Лишь от обеда, устраивавшегося обычно в честь послов, отказались: от имени великого князя бояре сообщили послам, что при его малом возрасте ему «будет стол в истому». Крымским послам в аналогичной ситуации объяснили, что великий князь ест у матери, «а собе столом еще не едал». Маленький великий князь и жил, очевидно, в покоях матери в окружении мамок

и нянек. В июне 1536 года в его жизни произошло значительное событие. Он впервые отправился в путешествие за пределы столицы — на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. С ним ехали самые близкие к Елене Глинской люди — князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский и муж ее сестры, князь Иван Данилович Пенков, а также «мамка» великого князя Аграфена Челяднина «и иные боярыни» — очевидно, те, которые вместе с ней ухаживали за ребенком.

Мальчик подрастал, и по обычаям воспитания в княжеской семье «мамку» должен был сменить «дядька». Действительно, если в 1536 году на богомолье Ивана еще сопровождала «мамка», Аграфена Челяднина, то в январе 1537 года на приеме литовских послов вместе с первыми боярами «ходил у великого князя в дяди место» Иван Иванович Челяднин, член одного из старейших, наиболее знатных московских боярских родов, возможно, ставший воспитателем великого князя по протекции «мамки» Аграфены, жены его покойного дяди и «ближней боярыни» самой правительницы.

Несмотря на необходимость с ранних лет участвовать в различных церемониях и приемах, жизнь мальчика в целом протекала обычно — так же, как и в других семьях знатных людей того времени. Всему этому пришел конец 3 апреля 1538 года, когда скончалась и мать великого князя, великая княгиня Елена. Мальчик остался сиротой. Такие случаи бывали и в знатных семьях, и тогда малолетние дети поступали под опеку близких родственников. Взрослых прямых родственников по отцу у великого князя не было — его двоюродный брат Владимир, сын младшего брата Василия III Андрея, был еще моложе Ивана. Другой родственник, князь Иван, сын племянницы Василия III и князя Федора Михайловича Мстиславского, был, по-видимому, тоже очень молод. В иных обстоятельствах претендовать на роль опекунши могла бы тетка великого князя, княгиня Евфросинья, мать князя Владимира. Но ее муж Андрей Иванович, самый младший из сыновей Ивана III, после смерти Василия III поднял мятеж против малолетнего племянника и пытался «засесть» Великий Новгород. Он был арестован и вскоре умер в тюрьме. Ко времени смерти Елены Глинской княгиня Евфросинья с малолетним сыном сидела под арестом на дворе своего мужа.

Более далекое родство связывало великого князя с князьями Дмитрием и Иваном Федоровичами Бельскими, отец которых был женат на племяннице Ивана III, княгине Анне Васильевне. К ним, как к близким родственникам — «сестричам», обращался перед смертью Василий III, прося их заботиться о государственных делах и служить «прямо» (то есть — верно) его сыну. По матери у великого князя были гораздо более близкие родственники, родные братья Елены Глинской — Юрий, Иван и Михаил.

Но Иван IV был не просто знатным сиротой, он был будущим правителем государства, от имени которого исходили все админист-

ративные распоряжения. В этом случае вступали в действие совсем другие правила — правила политической игры. В организации управления средневекового государства монарху принадлежала важнейшая, ключевая роль. В частности, он выступал как верховный арбитр в конфликтах между разными группами знати. Когда по каким-либо обстоятельствам такой верховный арбитр отсутствовал, между группами знати начиналась резкая бескомпромиссная борьба за власть, и победившая группа силой присваивала себе опеку над малолетним наследником. Именно это и произошло после смерти Елены Глинской.

В официальной летописи правления Ивана IV, составленной в 50-е годы XVI века — так называемом «Летописце начала царства», читаем о том, что сразу после смерти Елены Глинской был заключен в тюрьму ее любимец, князь Иван Федорович Овчина-Оболенский, и «умориша его голодом и тягостию железною, а сестру его Аграфену («мамку» Ивана IV. — *Б.Ф.*) сослалаша в Каргополь и тамо ее постригоша в черницы». Бояре поступили так с Овчиной «своим самовольством за то, что его государь князь великий в приближенье держал и сестру его Огрофену». Таким образом, наиболее близкие к маленькому великому князю люди, окружавшие его в годы правления матери, были насильственно удалены, но мальчик сохранил о них теплую память, о чем говорит запись в летописи, сделанная, конечно, по его приказу и отражающая его отношение к происшедшему.

Среди захвативших власть бояр главную роль играли суздальские княжата, бояре Василий Васильевич и Иван Васильевич Шуйские. Князь Василий поселился в Кремле на дворе покойного царского дяди, князя Андрея Ивановича Старицкого, а 6 июня вступил в брак с двоюродной сестрой юного великого князя Анастасией. Этот брак делал его родственником Ивана IV и давал основание для опеки над ним. Именно Шуйские стали главными опекунами молодого великого князя и его брата Юрия. «Князь Василей и князь Иван Шуйские самовольством у меня в бережении учинилися, и так воцаришася», — писал впоследствии царь в своем первом послании князю Андрею Курбскому. В сентябре 1538 года эти князья вместе с дворецким князем Иваном Ивановичем Кубенским сопровождали великого князя в его поездке на богомолье в Троице-Сергиев монастырь*. Василий Шуйский скоро умер, а его брат продолжал управлять страной, приняв давно исчезнувший титул «московского наместника». Фигуры опекунов решительно отодвигали на задний план фигуру малолетне-

* По-видимому, с этой поездкой связаны воспоминания царя о том, как И. И. Кубенской вечером после всенощной стал требовать угощения у монастырских старцев. Старцы как бы согласились нарушить устав, но далее получилось так, что князь «сидячи у поставца с конца ест, а они с другою конца отсылают. Да хватился хлебнуть испити, ано и капельки не осталось, все отнесено на погреб».

го великого князя. Не случайно в одном из летописцев под 1538/39 годом читаем: «Того ж году был на Москве наместник князь Василей Шуйский, а князь велики тогда был мал».

Как бы то ни было, молодой правитель оказался под опекой чужих людей, к которым у него не было никаких оснований испытывать добрые чувства.

Занятые государственными делами опекуны не могли уделять много внимания ребенку. Его воспитанием должен был заниматься «дядька». Упомянутый в 1537 году как «дядька» Иван Иванович Челяднин благополучно пережил переворот и через некоторое время даже получил принадлежавший Ивану Федоровичу Овчине пост конюшего боярина, но о нем, как о «дядьке» царя, в источниках последующего времени ничего не говорится. Не упомянул о «дядьке» в своих сочинениях и сам Иван IV. Очевидно, если такой «дядька» и существовал, он не оказал серьезного влияния на своего воспитанника.

Об отношениях между опекунами и юным правителем сохранились прямо противоположные свидетельства. По сообщению Андрея Михайловича Курбского в его «Истории», «велицые гордые паны (по их языку боярове)» старались удовлетворять все желания своего воспитанника, «ласкающе и угождающе ему во всяком наслаждении и сладострастию». Совсем иначе писал об отношении к нему этих «пестунов» сам Иван IV. По словам царя, после смерти матери их с братом стали содержать «яко иностранных или яко убожейшую чадь», ограничивая и в пище, и в одежде, не всегда давали вовремя есть. В этом рассказе мы встречаемся и с фрагментом воспоминаний восьми- или девятилетнего мальчика: он и брат Юрий играют в свои детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский, «сedia на лавке, локтем опершись на отца нашего постелю, ногу положи на стул», не проявляет никаких знаков внимания и почтения по отношению к своему государю.

Противоречиям между показаниями источников, как кажется, можно найти объяснение. Воспоминания царя относятся к тому времени, когда он был совсем маленьким мальчиком и не мог оказывать никакого влияния на ход государственных дел, и пестуны поэтому могли пренебрегать им. Курбский же после приведенного свидетельства говорит о поступках, совершавшихся великим князем в двенадцать, а затем в пятнадцать лет, когда враждовавшие между собой боярские кланы старались заручиться его расположением.

В своем послании царь обвинял боярских правителей во многих бедах, постигших страну в его малолетство. Захватив власть, они подвергали людей «мучениям» и поборам, и под видом необходимости выплачивать жалованье детям боярским опустошили государственную казну. Из похищенного оттуда золота и серебра они ковали золотые и серебряные сосуды «и имена на них родителей своих возложивша, будто их родительское стяжание».

Сомнительно, однако, чтобы все это было известно восьми- или девятилетнему мальчику; вероятно, о своеволии бояр Иван узнал гораздо позже. В конце 30-х — начале 40-х годов опекуны если и скупой расходовали средства на содержание великого князя, то уж, конечно, стремились, чтобы к нему не поступали нежелательные для них сведения. Да и собственные наблюдения мальчика в то время могли ограничиваться только узкой сферой дворцового быта. Лишь во время ежегодных поездок на богомолье в Троице-Сергиев монастырь он мог видеть что-то происходившее за пределами дворца. Однако внешние опасности, угрожавшие в те годы стране, терзавшие ее внутренние конфликты были так сильны, что раз за разом врывались и в эту узкую, так резко ограниченную от обыденной жизни сферу.

Летом 1541 года Москва с тревогой ожидала нападения крымского хана Сагиб-Гирея. С татарской ордой в поход на русскую столицу шли «турского царя люди с пушками и с пищальми». В присутствии мальчика Боярская дума и митрополит Иоасаф обсуждали, следует ли великому князю и его брату «в городе быти или выйти». Было решено, что «малые государи» должны остаться в столице, но решение это было принято вовсе не потому, что бояре были уверены в ее безопасности: быстро уехать из Москвы не удалось («борзого езды и истомы никоторое не подняти, а с малыми детьми как скоро ездити») да и найти безопасное для своих государей место тоже оказывалось делом трудным («а в которые города в приходы татарские государи наши отступали на Кострому и в ыные города, и те города по грехом нашим нынеча не мирны с Казанью, а в Новгород и во Псков государи наши не отступали литовского для рубежа и немецкого»). Иван и его брат Юрий остались в Москве и молились в Успенском соборе перед иконой Владимирской Божией Матери и у гробницы Петра митрополита, прося о небесном заступничестве от нашествия «поганых». К счастью, русские войска не дали татарам перейти Оку, и Москва оказалась вне опасности.

А в следующем 1542 году русская столица стала ареной настоящего военного переворота. Князь Иван Васильевич Шуйский, отстраненный противниками от руководства страной и посланный во Владимир «береженья для от казанских людей», сумел привлечь на свою сторону собранное здесь войско («многих детей боярских к целованию привел, что им быти в их совете»), «пришел ратью к Москве» и при содействии своих сторонников в столице захватил город и силою устранил своих противников. В дополнениях к Синодальному списку Никоновской летописи, составленных по указанию царя, отмечено, что когда арестовали главу враждебной Шуйским боярской группировки, князя Ивана Бельского, то «бояре пришли к государю в постельные хоромы не ко времени, за три часа до света». В это время «в комнате» великого князя, вероятно, искал защиты сам глава русской церкви митрополит Иоасаф, ранее приложивший руку к отстране-

нию князя Ивана Шуйского и справедливо опасавшийся гонений. Узнав об этом, «бояре пришли за ним к государю в комнату шумом». В этих словах есть все основания видеть отзвук детских воспоминаний разбуженного ночью двенадцатилетнего мальчика. Митрополиту «начаша безчестие чинити и срамоту великую», и он вынужден был уйти с митрополичьего двора на подворье Троице-Сергиева монастыря, но и туда его противники «послаша детей боярских городов... с неподобными речьми и с великим срамом поношаста его и мало не убиша». Устраняя или убивая неугодных, отдавая приказы от имени великого князя, бояре не интересовались мнением самого Ивана и не принимали его в расчет.

Это стало ясно в следующем, 1543 году, когда подрастающий великий князь попытался проявить свои симпатии к некоторым из членов его совета — Боярской думы. 9 сентября 1543 года на заседании Боярской думы в присутствии великого князя и нового митрополита Макария Шуйские и их советники напали на Федора Воронцова «за то, что его великий государь жалует и бережет». Воронцова «биша по ланитам и платие на нем ободраша», затем его стащили «с великого князя сеней с великим срамом бьюще и пихающе» и заключили в тюрьму. Великий князь послал митрополита и бояр Ивана и Василия Григорьевичей Морозовых просить, чтобы Воронцова не убивали и уж если «Федору и сыну его Ивану на Москве быти нелзя, ино бы Федора и его сына Ивана послали на службу на Коломну», но смог добиться лишь того, что Федора послали на Кострому. Те, кто взялись исполнить поручение великого князя, подверглись при этом оскорблениям. Как вспоминал царь Иван в своем первом послании Курбскому, «митрополита затеснили и мантию на нем с источники изодрали, а бояр в хребет толкали».

Как видим, у молодого государя стали появляться явные симпатии к некоторым из своих советников. При этом они проявлялись столь ярко, что находившаяся у власти группировка сочла нужным вмешаться и принять свои меры. Характерно, что в отличие от многочисленных опал и казней предшествующих лет на этот раз великий князь высказал определенно свои желания и нашел людей (и в их числе — самого митрополита), готовых их отстаивать. Разумеется, возможности тринадцатилетнего великого князя были невелики, реальная власть была не в его руках, настоять на своем он не мог, но все же с его желаниями вынуждены были в известной мере считаться: после насилий над Федором Воронцовым тот уехал в Кострому не ссылкой, а воеводой стоявшей там рати.

Пробуждение у Ивана какого-то интереса к государственным делам не могло не привлечь внимания политиков, находившихся не у власти, но рассчитывавших вернуть ее при содействии великого князя.

Через неделю после столкновения из-за Федора Воронцова великий князь отправился «в Сергиев монастырь помолитися», из

Троицы поехал в Волоколамск, затем в Можайск и вернулся в Москву лишь поздней осенью. В жизни молодого монарха подобные поездки были внове и свидетельствовали о том, что его образ жизни начинает приближаться к образу жизни правителя, неотъемлемой частью которого были посещения подвластных территорий.

Великого князя в этой долгой поездке сопровождали бояре. Имена их нам неизвестны, но судя по тому, что произошло дальше, некоторые из них принадлежали к числу противников Шуйских и побуждали великого князя к решительным действиям против них. Из предшествующего изложения видно, что у великого князя были все основания для антипатии к этим предводителям боярства, которые в борьбе за власть неоднократно проявляли открытое пренебрежение к нему.

29 декабря 1543 года великий князь, как сообщается в официальной истории его царствования, «велел поимати первого советника... князя Андрея Шуйского и велел его предати псарем, и псари взяша и убиша его, влекуще к тюрьмам». Последняя деталь как будто указывает на то, что первоначально предполагалось заключить боярина в тюрьму, а убит он был, когда с этим возникли какие-то сложности. Убийство вожака деморализовало всю группировку Шуйских, и его сторонники, не оказывая сопротивления, отправились в ссылку. Вместе с тем убийство боярина без суда и следствия свидетельствовало о том, что великий князь и те, кто стоял за его спиной, были, очевидно, убеждены, что легальными средствами осуществить смену власти им не удастся.

В официальной истории правления Ивана IV, откуда мы черпаем сведения об этом событии, сказано, что великий князь приказал убить князя Андрея, «не мога того терпети, что бояре безчиние и самовольство чинят... и многие неправды земле учиниша в государеве младости». Позднее к этому тексту было сделано добавление: «От тех мест начали боляре от государя страх имети». Нет сомнений, что в более поздние годы царь желал, чтобы это событие выглядело именно так в глазах читателей.

Однако все исследователи сходятся на том, что боярскому правлению не был положен конец, а сам великий князь позже не уделял большого внимания государственным делам и был далек от желания исправлять «неправды», причиненные «земле» боярскими правителями. Характерно, что один из осведомленных современников, автор Продолжения Хронографа редакции 1512 года, ничего не знал об участии великого князя в этом событии, записав лишь, что князя Андрея «убили... псари у Курятных ворот во дворце, повелением боярским». Есть все основания полагать, что события завершились сменой боярских группировок, стоявших у власти: место Шуйских заняли их противники. Главную роль среди последних играли Воронцовы. Сосланный Шуйскими Федор Воронцов к началу 1544 года получил сан боярина.

Тем не менее в образе жизни молодого правителя произошли заметные перемены. Когда вскоре после убийства князя Андрея Шуйского великий князь отправился на богомолье в Калязин монастырь, его уже сопровождало «бояр множество». Бояре пока еще не боялись своего государя, но было ясно, что его неприязнь может нанести серьезный ущерб любой из боярских группировок, находящихся у власти. Именно в этой новой ситуации опекуны стали стараться угождать всем прихотям своего государя (о чем говорит приведенное выше свидетельство Курбского). Теперь великому князю уже не приходилось жаловаться на скудное содержание.

Пришел конец и постоянному пребыванию великого князя в Москве. Он стал совершать все более длительные поездки по стране. Так, отправившись в мае 1545 года в Троице-Сергиев монастырь, великий князь поехал оттуда на север через Переславль-Залесский — в Ростов, а затем в Ярославль и на Белое озеро. В путешествии он навестил едва ли не все «заволжские обители» — Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Корнильев Комельский, Павлов Обнорский монастыри. В написанном много лет спустя послании в Кирилло-Белозерский монастырь царь вспоминал, что в первое его пребывание в Кириллове он и его свита, не привыкшие к долгому летнему дню, опоздали к ужину и монастырский подкеларник отказался их кормить («государя боюся, а Бога надобе больши того боятися»). Путешествие продолжалось несколько месяцев, а уже в сентябре Иван снова отправился к Троице, а оттуда — в Александрову слободу и в Можайск. Такое долгое отсутствие в столице молодого великого князя говорит о том, что решение текущих государственных дел вполне осуществлялось без его участия.

Длинный перечень «заволжских» обителей, посещенных великим князем, мог бы навести нас на мысль, что уже в то время Ивана Васильевича глубоко интересовала внутренняя жизнь церкви и симпатии его принадлежали живущим в заволжских обителях «нестяжателям», суровым аскетам, учившим, что церковь не должна обладать земельными владениями. Однако такому путешествию можно дать и более простое объяснение.

Вспомним, что в 1528—1529 годах отец Ивана великий князь Василий вместе с молодой женой совершил такое же путешествие из Александровой слободы в Кириллов, чтобы просить чудотворца Кирилла о даровании им сына. С просьбой молиться о «чадородии» великий князь обращался и к братии других северных обителей, в частности к Корнилию Комельскому, основателю того Корнильева монастыря, который среди других обителей посетил в 1545 году Иван Грозный. Таким образом, поездка на далекий Север со стороны молодого великого князя была актом благочестивой благодарности, предпринятым, как только молодой правитель оказался в состоянии совершить столь долгое путешествие.

Сведения о других поездках, гораздо более кратких по времени, не позволяют говорить о чрезмерном благочестии великого князя: посещение чтимых обителей или храмов сочеталось с поездками на медвежью охоту или на звериную ловлю.

По свидетельству Курбского, великий князь предавался развлечениям в компании юных аристократов, и их «потехи» были не безопасны для окружающих. Великий князь со своими благородными сверстниками «по стогнам и торжищам начал на конех... ездити и всенародных человеков, мужей и жен бити и грабити». Воспитатели, по словам Курбского, не удерживали великого князя от подобных поступков, но, напротив, восхваляли их, говоря: «О храбр... будет сей царь и мужествен».

Курбского можно было бы заподозрить в тенденциозности, но его высказывания подтверждаются свидетельствами иных, более ранних источников. Особый интерес среди них представляют так называемые «Главы поучительны начальствующим правоверно», написанные для наставления молодого государя знаменитым Максимом Греком. Михаил Триволис (в монашестве Максим) занимал в московском обществе того времени особое место. Высокообразованный греческий книжник, он бежал в Италию, спасаясь от наступления османов. Здесь на время Михаил подпал под влияние бурно расцветавшей ренессансной культуры, затем испытал влияние религиозного реформатора Джироламо Савонаролы и, наконец, порвав с западным миром, поселился в Греции, на Святой Горе (Афоне), знаменитой своими монастырями. В 1518 году, по просьбе отца Ивана IV, он был послан в Россию для перевода писаний отцов церкви. Своими обширными познаниями древних авторов и трудов отцов церкви высокообразованный грек произвел сильное впечатление на московское общество. Образовался кружок почитателей, посещавших его келью. Скоро стали появляться его собственные сочинения, посвященные рассмотрению разных проблем, волновавших духовную элиту русского общества.

Судьба Максима сложилась неблагоприятно. Человек с таким духовным авторитетом не мог ограничиться переводами чужих трудов и остаться в стороне от конфликта, разделившего в 20-е годы XVI века русскую церковь на сторонников и противников монастырской земельной собственности. В этом споре Максим Грек встал на сторону противников монастырских «стяжаний» и вместе с ними был осужден церковным собором в 1525 году и послан в заточение. Со временем, однако, греческий книжник, чьи взгляды и познания неизменно производили глубокое впечатление на современников, был освобожден из заточения, получил возможность снова писать и, не имея никакого высокого сана, стал к середине XVI века одним из главных духовных авторитетов русского общества. Неудивительно, что к нему обратились с просьбой оказать воздействие на молодого монарха. С

самим царем Максим Грек, по-видимому, еще не встречался, но лица, обратившиеся к нему с просьбой, конечно, должны были снабдить его сведениями о характере молодого государя.

«Главы поучительные» начинаются весьма резким утверждением, что тот, кто подчиняется действиям страстей — «ярости и гневу напрасному и незаконным плотским похотем», не человек, но «безсловесного естества человекообразно подобие». Далее идет речь о том, что истинному христианину не подобает услаждать свои глаза «чужими красотами», а свой слух «душегубительным глумлением смехотворных кощунников». Ему не следует открывать свои уши для клеветников, «ниже язык удобь двизати в досады и злословия и глаголы скверны». Следовательно, по сведениям, которыми располагал Максим Грек, молодой государь был человеком не равнодушным к женской красоте и склонным проводить время в веселой компании скорморохов; для него характерны были приступы гнева и склонность к злой насмешке.

Важную информацию о нравах, царивших в окружении монарха, содержит и послание, с которым также в конце 40-х годов обратился к царю его наставник, священник Благовещенского собора в Кремле, Сильвестр. Нам еще неоднократно придется обращаться к этому посланию, когда речь пойдет о резком переломе в поведении и образе жизни великого князя. Сильвестр, в частности, призывал правителя удалить из своего окружения людей, занимающихся «содомским грехом» (библейское выражение, использовавшееся в эпоху Средневековья для обозначения гомосексуализма). По тону письма видно, что священник понимал: одного простого обращения, для того чтобы великий князь исполнил его просьбу, недостаточно. Поэтому он предлагал великому князю подумать, что случится с государством, если «ближние твои государские люди, бояре и воеводы ратные и избные люди (дьяки, сидящие в «избах» — приказах. — *Б.Ф.*) в такое безстудие уклонятца». «Аще сотвориши се, — писал священник своему духовному сыну, — искорениши злое се беззаконие прелюбодеяние, содомский грех и любовник отлучиши, без труда спасеши».

Черты характера Ивана IV, так выразительно обрисованные в «Главах поучительных», способствовали тому, что в отношениях между ним и его сверстниками возникала напряженность, которая могла приводить уже в то время к трагическому исходу.

Как вспоминал Курбский, в середине 40-х годов великий князь приказал убить пятнадцатилетнего юношу Михаила, сына князя Богдана Трубецкого. Убийство, конечно, не имело никакого политического подтекста и даже не отмечено в текстах летописей. Скорее всего, это было обычное столкновение между подростками, а его трагический исход говорит о явном падении ценности человеческой жизни в условиях переворотов и явных и тайных убийств, сделавшихся неотъемлемой чертой жизни русской правящей элиты в годы «бояр-

ского правления». Склонность монарха к злословию, разделявшаяся, вероятно, его окружением, также была источником конфликтов. Краткая летописная запись сообщает, что великий князь приказал «урезать язык» одному из своих молодых приближенных — Афанасию Бутурлину за «невежливое слово».

Однако и лица, высоко стоявшие на иерархической лестнице, занимавшие самые высокие государственные должности, могли стать объектом царского гнева с самыми печальными для себя последствиями. С этой точки зрения заслуживают внимания события, происшедшие в Коломне летом 1546 года. Великий князь впервые принял участие в военном походе. Речь шла, правда, пока не о настоящей войне. Иван IV просто посетил войска, которые несли на Оке военную службу, охраняя государство от возможных нападений крымских татар. Великий князь поселился за пределами общего военного лагеря — «под Голутвиным монастырем, своим полком». В военном лагере юноша государь и его сверстники занялись обычным времяпровождением — «потехами», в которых заставляли участвовать и бояр: «пашню пахал вешнюю и з бояры сеял гречиху и инны потехи, на хо-дулях ходил и в саван наряжался»*.

Веселые развлечения молодого государя были прерваны самым грубым образом.

Для понимания того, что произошло, следует кратко остановиться на некоторых особенностях комплектования русской армии того времени. В 40-е годы XVI века входившая в состав этой армии пехота, вооруженная огнестрельным оружием, — «пищальники» — набиралась по раскладке из среды городского посадского населения. Расходы по набору и снаряжению пищальников падали на всю городскую общину, но богатое привилегированное купечество стремилось при раскладке переложить тяжесть расходов на рядовых горожан — «черных людей». В 1546 году при сборе пищальников в Новгороде произошли столкновения богатых «гостей» с рядовыми горожанами и в результате «не доставили в пищальники сорок человек на службу». Вмешалось правительство — 25 человек, признанных виновными в невыполнении великокняжеского указа, было арестовано и вывезено в Москву, а имущество их конфисковано.

Неудивительно, что новгородские пищальники, вошедшие в состав стоявшей в районе Коломны армии, решились обратиться с «че-

* Описание игры в «покойника», сохранившееся в записях XIX века, позволяет конкретнее судить о характере таких развлечений. Игра представляла собой пародию на обряд церковных похорон — установка в избе гроба с мнимым покойником и отпевание, «состоящее из самой отборной, что называется «острожной» брани... По окончании отпевания девок заставляют прощаться с покойником и насильно принуждают их целовать его открытый рот, набитый тыквенными зубами». (Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 300—301). Судя по летописной записи, в роли мнимого покойника выступал сам великий князь.

лобитьем» (прошением) к самому великому князю. Произошло это, когда молодой государь захотел «на прохлад поехать потешиться». Пищальники начали «бити челом», то есть пытались изложить свои просьбы, но великий князь «велел их отослати». Когда пищальники стали настаивать на своем, он приказал дворянам прогнать их силой. Завязался бой, с обеих сторон были убитые. После этого великий князь поручил своему дьяку Василию Захарову Гнильевскому расследовать, «по чьему науку быть сие супротивство». Атмосфера интриг и борьбы за власть, в которую оказался погружен великий князь с того времени, как он стал участвовать в политической жизни, приучала его искать за разного рода выступлениями высокопоставленных организаторов. Дьяк действительно после расследования обвинил в причастности к выступлению трех бояр — князя Ивана Ивановича Кубенского и Федора и Василия Воронцовых. Возможно, бояре обвинялись в том, что советовали пищальникам обратиться с жалобами к великому князю. В официальной истории царствования Ивана IV эти обвинения решительно квалифицируются как клевета, но великий князь им поверил, «с великие ярости наложил на них свой гнев и опалу», а затем приказал отрубить им головы «у своего стану перед своими шатры». С казнью так торопились, что к боярам даже не допустили «отцов духовных», чтобы исповедать их в грехах перед смертью. Автор так называемого «Постниковского летописца» сообщает, что был арестован и боярин конюший Иван Петрович Федоров, которого «в те же поры ободрана нага держали», но он «против государя встреч не говорил, а во всем ся виноват чинил». Очевидно, что жестокость расправы была не в последнюю очередь связана с тем, что арестованные бояре не желали признать своей вины и вступили в спор со своим государем.

Эпически спокойный характер записей о происшедшем говорит о том, что к концу боярского правления казни лиц, занимавших высшие государственные должности, перестали вызывать у кого-либо удивление. Вместе с тем реакция великого князя на «челобитье» пищальников, его жестокая расправа с людьми, которые, по его мнению, несли ответственность за происшедшее, свидетельствуют о желании раз и навсегда прекратить непрошеное вмешательство внешнего мира в ту жизнь, полную «потех», которую вел правитель и которая его вполне устраивала.

Иван IV утверждал, что, достигнув пятнадцатилетнего возраста, он начал «сам строити свое государство». Однако, как согласно отмечают исследователи, вмешательство великого князя в государственные дела выразилось в 1546—1547 годах лишь в возвышении его дядьев, братьев Елены Глинской, которые заняли высшие государственные должности. Причины этого вполне понятны. Выросший в обстановке постоянных интриг и борьбы за власть, великий князь хотел опереться в управлении страной на людей, в личной преданно-

сти которых он мог быть уверен. А таковыми были прежде всего его родственники по матери, Глинские, всецело обязанные своим высоким положением в русском обществе родству с молодым государем.

В новой ситуации, создавшейся с возвышением Глинских, великий князь не проявлял большого внимания к государственным делам. В этом отношении большой интерес представляют свидетельства псковских летописей о поездке, предпринятой Иваном IV на рубеже 1546/47 года в Новгород и Псков. Поездка эта была заметным событием, она отмечена в летописях и разрядных книгах. Государя сопровождал князь Михаил Васильевич Глинский — одно из главных лиц в государстве. Посетив Псков, великий князь сделал щедрые пожалования Псково-Печерскому монастырю. Тем более показательно, что в составленном в этом монастыре летописном своде результаты поездки были оценены весьма сурово: великий князь покинул Псков, «не управив своей вотчины ничего». Главным образом он занимался тем, что «все гонял на ямских», и населению от его пребывания было лишь «много протор и волокиты». Псковичи выражали недовольство деятельностью своего наместника, князя Ивана Ивановича Турунтая Пронского. Однако, находясь во Пскове, великий князь не приложил никаких усилий для того, чтобы уладить конфликт, и псковичам ничего не оставалось, как отправить своих челобитчиков (70 человек) в Москву. Те разыскали государя в одной из подгородных резиденций, селе Острове. Результатом челобитья стало то, что «князь великий государь опалился на псковичь, сих безчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды да свечею зажигал и повеле их покласти нагих на земли». Лишь поспешный отъезд Ивана IV в Москву спас жалобщиков от еще более сурового наказания. Все это происходило в начале июня 1547 года. Таким образом, и в это время молодой государь самым жестоким образом отвергал попытки вовлечь его в решение насущных государственных проблем, не принимал ничего, что могло заставить его отказаться от той полной «потех» и развлечений жизни, вести которую он привык в последние годы. К этому времени Иван IV уже несколько месяцев был царем (о значении принятия русским правителем царского титула речь пойдет впереди), но новый высокий сан не привел к переменам в его образе жизни.

Вскоре, однако, произошли события, которые потрясли молодого монарха и заставили его резко изменить всю свою жизнь.

Таковыми событиями стали московский пожар и последовавшее за ним восстание в Москве в июне 1547 года.

В том, что произошло в это время, в известной мере оказался повинен сам царь. Он полностью доверил ведение государственных дел своим родственникам, которые оказались неспособными прекратить бедствия, терзавшие страну. За свое сравнительно краткое правление Глинские получили известность лишь расправами с людьми, вызвав-

шими их неудовольствие: особенно жестокой была казнь «повелением князя Михаила Глинского и матери его, княгини Анны», князя Ивана Федоровича Овчины-Оболенского, «которого посадили на кол на лугу за Москвою рекою». Постепенно любимцы царя, которых считали ответственными за положение в стране, возбудили к себе всеобщую ненависть, и нужен был лишь толчок, чтобы эта ненависть вырвалась наружу. Таким толчком стали пожары, буквально уничтожившие Москву весной-летом 1547 года.

Уже 12 апреля большой пожар охватил московский торг — «погореша лавки во всех рядах города Москвы со многими товары» и значительная часть посада на территории Китай-города; в одной из башен Кремля загорелся порох, и она взорвалась. 20 апреля за Яузой «погореша Гончары и Кожевники». Город еще не успел оправиться от последствий, когда 21 июня на Арбате начался новый пожар, охвативший большую часть Москвы: горел и Кремль, и Китай-город, и Большой посад. Как записал псковский летописец, «погоре вся Москва, город и посады все, церкви и торг». По сведениям так называемого «Летописца Никольского», в страшном пожаре погибло 25 000 дворов и 250 церквей. Несколько тысяч человек сгорело в огне — цифра для средневекового города огромная.

Ответственность за то, что произошло далее, Иван IV впоследствии возложил на бояр — противников Глинских, которые «научиша народ скудожайших умом», что в пожаре, погубившем большинство большей части населения Москвы, виновны Глинские. В частности, княгиня Анна будто бы вызывала пожар своим «чародейством» — «з своими детми и с людьми волховала: вымала сердца человеческие да клала в воду да тою водою ездячи по Москве да кропила», «княгиня Анна сорокою летала да зажигала». Современные исследователи полагают, что бояре действительно подстрекали народ, но их действия имели успех только потому, что Глинские до этого успели стать предметом общей ненависти. Это понимал уже современник, редактировавший в 70-х годах XVI века официальную летопись правления Грозного: «Сие глаголаху черные люди того ради, что в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людям насильство и грабеж». Долго накапливавшееся возмущение Глинскими вырвалось наружу. Москвичи, черные люди, «сбравшись вечем», то есть созвав собрание всех московских горожан — «вече», 26 июня ворвались в Кремль. Дядя царя, князь Юрий Васильевич Глинский был схвачен во время службы в Успенском соборе и убит. Труп его вытащили из Кремля и бросили перед Торгом, «иде же казнят» (так обращались с трупами казненных за измены по приговору «мира»). Другой царский дядя, князь Михаил, вместе со своей матерью бежал из Москвы и «хоронился по монастырем». Несколько дней Москва находилась во власти восставших, которые «людей княже Юрьевых бесчисленно побиша и живот князей розграбиша».

Царь после пожара в Кремле, уничтожившего все дворцовые постройки, жил в одной из своих подгородных резиденций — селе Воробьеве, так что все происходившее в Москве его непосредственно не коснулось. Однако 29 июня «поидоша многие люди черные к Воробьеву и с щитом и с сулицы (копьями.— *Б.Ф.*), яко же к боеви обычаи имяху (то есть снарядившись как на войну.— *Б.Ф.*)», и потребовали от царя выдать им Михаила Глинского и княгиню Анну, которые, по их убеждению, прячутся у царя. Эта встреча с вооруженным народом произвела очень сильное впечатление на царя. В речи на Стоглавом соборе в 1551 году, вспоминая о событиях 1547 года, царь говорил: «И от сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моа». Позднее, в Первом послании Курбскому, царь утверждал, что «бояре научили были народ и нас убить» за то, что он, царь, скрывает у себя Глинских, и распространяли слухи, что царю якобы известно о злодейских планах Глинских («бутьто мы тот их совет ведали»). В официальном рассказе летописи говорится, что царь «повеле тех людей имати и казнити», но гораздо больше доверия вызывает свидетельство неофициального «Летописца Никольского», согласно которому великий князь, когда вооруженные москвичи пришли к селу Воробьеву, «удивися и ужасеся», но «не учини им в том опалы». По-видимому, имели место унижительные для молодого монарха переговоры: москвичей убедили в том, что Глинских в царской резиденции нет, и они разошлись по домам.

Внешний мир с его проблемами так властно вторгся в жизнь Ивана, что игнорировать его стало уже невозможно. Надо было начать жить по-новому — но как?

Молодой монарх был в растерянности. Бедствия такого рода, что постигли Москву в 1547 году, воспринимались людьми Средневековья как проявление Божьего гнева. Прежде всего следовало умиловать грозного Бога. Об этом царь беседовал с появившимся у него к этому времени интимным другом — Алексеем Адашевым.

Адашев принадлежал к «доброму» роду костромских вотчинников Ольговых. Род этот, однако, и среди костромских вотчинников не занимал первенствующего места, уступая таким родам, как род потомков мурзы Чета Сабуровых и родственных им Вельяминовых, Годуновых и Карповых, потомков тверских бояр. Сабуровы и Карповы в конце XV века — первой половине XVI века неоднократно занимали высокие государственные должности, дававшие возможность личной близости к монарху. Об Ольговых этого сказать нельзя. С точки зрения окружавшей монарха знати, Адашев был, конечно, незнатным человеком. Между тем самые ранние упоминания об Адашеве в источниках показывают, что он занимал при дворе Ивана IV такое положение, на которое его происхождение не давало ему никакого права. В разряде свадьбы Ивана IV, состоявшейся в феврале 1547 года, отмечено, что в «мыльне» с молодым царем были «спальники» и

«мовники» князь Иван Федорович Мстиславский, Никита Романович Юрьев и Алексей Федорович Адашев. Когда в июле того же года царь отправился в Коломну возглавить войска, охранявшие от татар южную границу, то его в качестве «рынд» — знатных телохранителей сопровождали те же лица. Князь Иван Федорович Мстиславский был близким родственником царя, а Никита Романович Юрьев, принадлежавший к одному из наиболее знатных московских боярских родов, был братом царицы Анастасии. Занять равное с ними положение Адашев мог только благодаря особой милости царя. Как показывает разряд царской свадьбы, особо близким приближенным к монарху лицом Алексей Адашев стал еще до московских пожаров 1547 года. По-видимому, Адашев был старше царя. Еще в начале XVII века в Москве помнили, что Адашев участвовал вместе со своим отцом Федором в посольстве к султану, заболел там и целый год прожил в Стамбуле. Хорошо известно, что Федор Григорьевич Адашев вернулся в Москву в ноябре 1539 года, и вряд ли он возил с собой в Стамбул восьми- или девятилетнего мальчика. В тяжелом для монарха положении Алексей Адашев вполне мог выступить в роли старшего и более опытного друга.

В сентябре 1547 года Алексей Адашев привез в самую почитаемую русскую обитель, Троице-Сергиев монастырь, денежный вклад царя — 7000 рублей. Обращают на себя внимание две особенности пожертвования. Во-первых, огромный размер вклада. На протяжении XVI века ни один из членов царской семьи не жертвовал в Троице-Сергиев монастырь столь значительной суммы. Даже когда умер отец царя Василий III, заупокойный вклад по нем составил 500 рублей. Во-вторых, обычным условием вклада было совершение заупокойных служб по кому-либо из родственников; в сентябре же 1547 года при передаче вклада такое условие не было указано. Очевидно, вклад имел другое назначение. Учитывая обстоятельства, в которых это произошло, не трудно прийти к выводу, что щедрым пожалованием в Троице-Сергиев монастырь царь хотел прежде всего умиловить Бога.

Вслед за московскими пожарами молодого правителя постигли новые неприятности. Зимой 1548 года царь возглавил свой первый настоящий военный поход против казанских татар. Войска дошли до Нижнего Новгорода, но тут «прииде теплота велика и мокрота многая, и весь лед покры вода на Волге». В результате «пушки и пищали многие проваляшесь в воду... и многие люди в протошинах потопиша». Великий князь вынужден был вернуться «с многими слезами». Это выражение официальной летописи ясно показывает, в каком угнетенном состоянии находился Иван IV, вернувшийся в столицу. Стоит отметить и другое выражение летописца — необычная теплая погода зимой наступила «Божиим смотрением», то есть печальный для царя конец похода был свидетельством того, что щедрое жало-

вание не привело к прекращению Божьего гнева. Чего еще хотел Бог от царя? В чем причины Его гнева? Почему Ему оказалось недостаточно такого щедрого вклада?

Ответ на эти мучившие царя вопросы он получил при встрече со священником Благовещенского собора Сильвестром. Эта встреча оказала сильное влияние на всю последующую жизнь Ивана Грозного. Так как Благовещенский собор в Кремле был домовою церковью великих князей Московских, то Сильвестр и прежде мог быть лично знаком молодому государю. Представляется, однако, что нужны были какие-то особые обстоятельства, чтобы царь решил довериться этому священнику. Сильвестр и прежде был в Москве человеком новым, он переехал в столицу из Новгорода сравнительно недавно и почетный пост священника придворного собора скорее всего получил по протекции митрополита Макария, который до возведения в 1542 году на митрополичью кафедру долгое время был новгородским архиепископом. Можно было бы думать, что именно Макарий рекомендовал Сильвестра царю. Однако все, что нам известно о взаимоотношениях царя и митрополита, говорит о том, что какой-либо личной близости между двумя выдающимися современниками не было. Посредником между царем и благовещенским священником должен был стать человек гораздо более близкий к царю. Есть все основания считать таким человеком Алексея Адашева.

Источники последующего времени говорят о близких, доверительных отношениях между Адашевым и Сильвестром. Еще в начале XVII века в Москве помнили, что Сильвестр и Адашев «сидели вместе в избе у Благовещенья». Думается, что Адашев скорее всего и мог быть тем близким человеком, с которым царь поделился своими переживаниями и именно от него исходил совет пригласить Сильвестра как духовного отца, чтобы помочь царю найти выход из духовного кризиса.

К сожалению, о том, что произошло во время встречи царя с Сильвестром, мы осведомлены совершенно недостаточно. Сам царь в своем Первом послании Курбскому лишь кратко отметил, что после этой встречи «совета ради духовнаго и спасения ради души своея» избрал Сильвестра своим духовным наставником, которому он добровольно стал повиноваться. Не вносит ясности и более подробный рассказ Курбского. По его словам, Сильвестр явился к царю, «претяще ему от Бога священными писаними и срозе заклинающе его страшным Божиим именем». При этом Сильвестр ссыался на бывшее ему «явление от Бога», о котором Курбский осторожно отметил, что не знает, было ли оно на самом деле или Сильвестр вымыслил его, чтобы произвести большее впечатление на царя и заставить его следовать своим советам. Однако чем именно угрожал Сильвестр царю и в чем заключались его советы, Курбский не говорит.

Очевидно, что разговор царя с Сильвестром должен был касаться смысла произошедших событий и тех уроков, какие должен был извлечь из них царь.

О том, что на этой встрече говорил Сильвестр царю, можно в известной мере судить по его уже упоминавшемуся выше посланию. Хотя послание было направлено против носителей «содомского греха» в окружении царя, «содомский грех» выступал в нем лишь как один из многих пороков, поразивших русское общество. «Восста убо в нас, — восклицал Сильвестр, — ненависть и гордость, и вражда и маловерие к Богу, и грабление, и насилие, и лжа, и клевета, и лукавое умышление на всякое зло». Это вызвало гнев Бога, который «согрешающим, не кающимся... наказание и великие скорби посылает». Сначала Бог навел на русскую землю нашествие разоривших ее «поганных», но это не привело к исправлению, так как уцелевших от этого нашествия «сильнии... плениша и поругаша, и всякими насилии, лукавыми коварствы мучиша. Слезы и стенания, вопль их Господь услыши, и посла глад на землю и мор... и пожары великие и межуособные брани».

В таком объяснении причин постигших Русскую землю бедствий Сильвестр вовсе не был оригинален. Составитель «Летописца Никольского», работавший в Новгороде в середине XVI века, говоря о «великих пожарах» в Москве, также видел в них проявление Божьего гнева, вызванного тем, «что в царствующем граде Москве и во всей России умножилась неправда от велмож насильствующих всему миру и не право судящих, но по мзде».

Значение встречи с Сильвестром состояло в том, что благодаря ей царь мог составить, наконец, представление о положении дел в стране и злоупотреблениях боярских правителей. Царь усвоил и предложенное Сильвестром объяснение причин бедствий, постигших страну, и излагал его уже от своего имени в речи, зачитанной им в 1551 году на заседаниях так называемого Стоглавого собора. Говоря о разоривших страну нашествиях «поганных», царь констатировал: «И сими великими казнями в покаяние не внидохом, сами межоусобство зло сотворихом и бедным христианам насильство всякое чинихом». Однако как объяснить слова Курбского о том, что Сильвестр строго заклинал царя страшным Божьим именем? Если, например, автор «Летописца Никольского» ограничивался порицанием вельмож, творящих несправедливый суд, то Сильвестр возлагал ответственность за все происшедшее на самого монарха: «Государь еси в православной области Богом поставлен... глава всем людям своим и государь своему царствию». Поэтому на государе лежит ответственность за все, что происходит в его стране перед призвавшим его к власти Богом. «И тебе, великому государю, которая похвала в твоей великой области множество Божиих людей заблудиша? И на ком то ся взышет?» «Великие пожары» в Москве оказывались знаком «Божьего гнева» не

только против неправедных бояр и воевод, но и против монарха, не выполнявшего своих обязанностей.

Молодой царь не мог не признать справедливости слов священника. Он пренебрег возложенными на него Богом обязанностями, не сумел подчинить вельмож своей власти и заставить их служить интересам страны и сам позволил втянуть себя в их беспринципные интриги. Говоря на Стоглавом соборе о расприх вельмож в годы своего малолетства, царь добавил к ним многозначительные слова и о самом себе: «навыкох их злокозненныи обычаи и таяжде мудрствовах, яко же и они».

Однако значение бесед с Сильвестром состояло не только в том, что царь осознал, в каком неприглядном, плачевном положении оказалась и страна, и он сам. «И сего убо, — говорил царь, обращаясь к участникам Стоглавого собора и заключая этими словами рассказ о бедствиях, постигших Русскую землю, — вниде страх в душу мою и трепет в кости моа и смутися дух мои и умилихся и познах свои съгрешения». Но возникал вопрос: что делать дальше и как положить конец так страшно проявившемуся Божьему гневу?

В своем послании Сильвестр, как и подобает православному священнику, писал Ивану IV, что Бог хочет исправления, а не гибели, и что чистосердечное покаяние в совершенном может отвратить от Руси и ее правителя Божий гнев. В доказательство Сильвестр приводил царю примеры не только библейских правителей, но и его деда Ивана III, который «исправися перед Богом и смилив себе», и Бог своим чудесным вмешательством погубил орду хана Ахмата.

Несомненно, то же самое говорил он царю и в личных беседах. Нет оснований сомневаться в том, что под влиянием этих бесед мысль о необходимости умиловить Бога искренним покаянием глубоко запала в сознание царя. Уже в апреле 1548 года царь отправился в Троице-Сергиев монастырь на богомолье пешком, что было актом благочестия и смирения перед Богом. Те нелицеприятные высказывания о себе самом, которые царь публично зачитывал в 1551 году перед участниками Стоглавого собора, были адресованы не только присутствовавшим на соборе духовным и светским лицам, но и Богу, как ошутимое доказательство раскаяния. Однако еще ранее, в начале 1549 года, на собравшемся тогда церковном соборе царь обратился к митрополиту и святителям, «припадая с истинным покаянием, прося прощения, еже зле съдеах».

Но и самого искреннего раскаяния в совершенном было недостаточно. Милость Божия, внушал Сильвестр царю, будет оказана, когда царь своими усилиями исправит причиненное им зло. Рассказ о бедствиях, постигших Русскую землю, в его послании завершался словами: «Вся сия законопреступления хочет Бог тобою исправить». Касаясь конкретной темы послания — вопроса о борьбе с «содомским грехом», Сильвестр был не менее тверд: если «искорениши...

содомский грех и любовников отлучиши, без труда спасешия и прежний свой грех оистиши». Сильвестр убеждал своего духовного сына, что совершить все это ему вполне по силам: «Мощно тебе учинити и укрепити, и дьявола победити, и веру совершити, неизправленное изправить».

После бесед с Сильвестром образ жизни царя резко изменился. Участники веселых «потех» исчезли из царского окружения. Перестали появляться на царских трапезах скоморохи. Составитель официальной летописи 50-х годов XVI века записал на своих страницах, что царь «потехи же царьские, ловы и иные учреждения, еже подобает обычаем царским, все оставиша», посвящая свое время молитве и решению государственных дел. С этого времени биография молодого царя тесно переплелась с основными событиями русской истории его времени.

Стоит, однако, отметить, что ни встреча царя с Сильвестром, ни покаяние царя перед митрополитом и святителями, ни горькие слова, сказанные царем о самом себе перед участниками Стоглавого собора, не нашли никакого отражения в официальном летописании 50-х годов.

КАЗАНСКАЯ ВОЙНА И РЕФОРМЫ 50-Х ГОДОВ

Перед правительством, которое встало во главе России в конце 40-х годов XVI века, стояли две серьезные проблемы, требовавшие немедленного решения: борьба с возросшей внешней угрозой и необходимость вывести страну из состояния острого внутриполитического кризиса. В реальной жизни обе проблемы решались одновременно и были тесно взаимосвязаны: объединение разных слоев общества для совместной борьбы с угрожавшей всем внешней опасностью создало благоприятную обстановку для проведения реформ, способствовавших выходу страны из кризиса; в свою очередь, проведение реформ, ослаблявших или устранявших противоречия между разными слоями общества, способствовало их объединению для борьбы с внешней опасностью.

Но для облегчения восприятия читателя решение внешне- и внутриполитических проблем будет рассмотрено отдельно друг от друга.

Историю средневековой России, в отличие от истории многих европейских стран, невозможно полностью понять и представить без учета истории ее отношений с кочевым миром, с объединениями кочевников, заселявших обширные восточноевропейские степи. История этих отношений знала разные периоды — и время острой конфронтации, и время сравнительно мирного соседства. Ситуация резко изменилась после образования Золотой орды и установления ее господства над русскими землями. Разорительные набеги, сопровож-

давшие разрушениями и пожарами, истребление населения и угон его в рабство, уплата тяжелой дани — «выхода», многие десятилетия истощали и разоряли русские земли, замедляли и задерживали их развитие. Не случайно борьба Руси с приходящими из степей завоевателями стала одной из главных тем формировавшегося в XIV—XV веках русского героического эпоса. Необходимость постоянной борьбы с опасностью, угрожавшей всему обществу, стала одним из факторов, способствовавших созданию сильной государственной организации, которая могла бы оградить общество от внешней угрозы.

Благоприятные условия для борьбы с этой опасностью появились с распадом Золотой орды на ряд соперничавших друг с другом ханств. Правительство деда Ивана Грозного, Ивана III, успешно использовало эти противоречия в своих интересах. Наиболее крупным среди татарских ханств второй половины XV века была Большая орда, претендовавшая на верховную власть над всеми ордами, вышедшими из недр Золотой орды. В этих условиях и образовавшееся в середине XV века Крымское ханство, и кочевавшая на Нижней Волге и Яике (современная река Урал) Ногайская орда (ее возглавляли потомки знаменитого правителя начала XV века эмира Едигея) искали союза с Русским государством. Эту выгодно сложившуюся ситуацию Иван III использовал, чтобы подчинить своей верховной власти образовавшееся на землях среднего Поволжья Казанское ханство. Вмешавшись в борьбу претендентов за казанский стол, Иван III к концу 80-х годов XV века сумел посадить на него своего ставленника. В конце XV — начале XVI века великий князь Московский определял, кто будет ханом в Казани, и по его приказу казанские правители посылали войска в поход против его врагов.

Это выгодное для Русского государства положение стало изменяться после распада Большой орды в результате поражений, нанесенных ей в начале XVI века крымскими татарами. Усилившийся после этой победы Крым уже не был заинтересован в союзе с Россией. С 1511—1512 годов начинаются крупные постоянные набеги крымских татар на южные русские области, и русское правительство оказалось вынуждено ежегодно высылать войска на юг — на Оку и Угру и в ряд городов южнее Оки. Оказалась не заинтересованной в сотрудничестве с Россией и Ногайская орда. При поддержке ногаев казанская знать побудила в 1505 году своего хана Мухаммед-Эмина к отложению от Русского государства. Правда, довольно скоро между Москвой и Казанью был установлен мир, но часть казанской знати, связанная с Крымом, также стремилась к возобновлению набегов на русские земли. И набеги действительно последовали в начале 20-х годов, когда казанским ханом стал крымский царевич Сахиб-Гирей.

Особенную тревогу у русских политиков должен был вызывать тот факт, что за спиной татарских правителей все более определенно выступала одна из крупнейших мировых держав того времени — Ос-

манская империя, которая именно в это время, в правление султана Сулеймана Великолепного, достигла зенита своего могущества. В Крыму с начала 20-х годов XVI века находились османские войска, и крымский хан во все большей мере становился исполнителем приказов Стамбула. Тогда же, в 20-х годах XVI века, казанский хан Сахиб-Гирей официально объявил себя вассалом султана, и посол Сулеймана заявил об этом в Москве. После упорной борьбы Василию III в конце правления удалось подчинить Казанское ханство своему влиянию — в 1532 году на казанский трон был посажен его ставленник Джан-Али, потомок ханов Большой орды, наследственных врагов крымских Гиреев. Как вассал великого князя, Джан-Али просил у Василия III в 1533 году разрешения жениться на Сююн-Бике, дочери Юсуфа, одного из мурз, стоявших во главе Ногайской орды.

Однако после смерти Василия III, когда началась война с Великим княжеством Литовским и армия короля Сигизмунда I вступила в Северскую землю и заняла здесь ряд городов, в Казани в сентябре 1535 года произошел переворот: Джан-Али был убит и ханом стал пришедший из Крыма царевич Сафа-Гирей. Уже зимой 1535/36 года «приходили татарове к Нижнему Новгороду и на Балахну». С этого времени начались постоянные набеги казанских татар на восточные районы Русского государства.

Пока шла война с Литвой, в Москве были вынуждены ограничиться обороной восточных границ, но по заключении перемирия началась подготовка к походу на Казань. Однако в защиту Казани решительно выступил крымский хан Сахиб-Гирей (тот самый «царевич», который в 20-х годах сидел в Казани). Заявив, что «Казанская земля мой юрт, а Сафа-Гирей царь брат мой», хан потребовал прекращения военных действий против Казани. Если великий князь не прекратит войны, заявлял хан, то «меня на Москве смотри». Желая избежать войны «на обе стороны хрестьянству от Крыму и от Казани», правительство отменило решение о походе на Казань, но мира эта уступчивость не принесла. Набеги казанских татар продолжались, и хан Сафа-Гирей заявил, что мир будет заключен лишь в том случае, если русское правительство согласится выплачивать Казани «выход». Продолжались и набеги крымских татар, а тон крымских грамот, посылавшихся в Москву, стал вызывающим. Хан требовал как можно скорее прислать ему «большие поминки» (так назывались значительные денежные суммы, которые русские выплачивали крымским татарам, чтобы те не нападали на их земли), и вместе с тем угрожал: «более ста тысяч рати у меня есть и возму, шед, из твоей земли по одной голове, сколько твоей земле убытка будет». Не ограничиваясь этим, хан угрожал силой и могуществом султана, перечисляя покоренные османами народы. «Хандыкерево величество вселенную покорил от Востока и до Запада, Индию и черных людей арапов и азамов, и кизилбаша, фрягов, угорского короля... даи Боже нам ему

твоя земля показати». И это не были пустые угрозы. Когда в 1541 году Сахиб-Гирей предпринял большой поход на Москву, с ним, как мы уже говорили, кроме крымских татар и ногайцев, шли «турского царя люди и с пушками и с пищалми» — явное доказательство того, что Стамбул поощрял и поддерживал враждебные действия хана против Русского государства.

По сведениям, которые поступали в Москву, в Стамбуле проявляли явное желание использовать в своих интересах ослабление России, охваченной внутренними смутами. Когда при дворе султана объявился знатный беглец из России, князь Семен Бельский, по матери потомок рязанских князей, который выразил желание «доставать вотчины своей Рязани», обещая стать вассалом султана и выплачивать ему дань, султан посулил ему войско и приказал Сахиб-Гирею и наместнику Кафы оказать ему помощь. До попыток осуществления этого плана дело не дошло только потому, что на пути в Крым Семен Бельский попал в плен к одному из ногайских мурз.

В годы «боярского правления», когда Русское государство временно оказалось не в состоянии проводить активную внешнюю политику по отношению к кочевому миру, крымские ханы, опираясь на поддержку Стамбула, предприняли ряд усилий, чтобы расширить зону своего влияния в Восточной Европе. С появлением крымского царевича в Казани Казань вошла в сферу этого влияния, теперь крымские ханы хотели подчинить себе расположенное на нижней Волге Астраханское ханство. В конце 1547 года Сахиб-Гирей писал Ивану IV: «На недруга своего на Астраханского ходили есмя, и... взяли есмя и юрт его хотели есмя держати да затем покинули, что место недобро. И мы того для людей их и улусов там не оставляли, всех пригоняли к себе». При поддержке султана в конце 30-х — первой половине 40-х годов XVI века Сахиб-Гирей предпринял также ряд походов на земли адыгов и кабардинцев. Подчинение этих племен должно было открыть Османской империи путь через предгорья Северного Кавказа к Каспийскому морю и владениям враждебного Ирана. Обрисовывалась опасная перспектива объединения татарских ханств на территории Восточной Европы под эгидой враждебного России Крыма при поддержке Стамбула.

Это, однако, представляло опасность скорее в будущем, а для России конца 30-х — 40-х годов XVI века главной опасностью были непрекращавшиеся набеги крымских и казанских татар. Если и ранее приходилось ежегодно мобилизовывать большие силы и средства (не только дворянское ополчение и городских жителей «пищальников», но и крестьян с их подводами для производства оборонительных работ) для обороны южной границы, то теперь приходилось строить крепости и на восточной границе и ежегодно посылать туда войска. Как писал один из современников, «Рязанская земля и Северская крымским мечем погублена, Низовская же земля вся, Галич и Устюг

и Вятка и Пермь, от казанцев запусте». Набеги казанских татар нанесли особо ощутимый вред. Если крымские набеги затрагивали прежде всего южные, еще слабо заселенные окраины государства, то казанские татары нападали на старые, к этому времени достаточно плотно населенные территории, где находились и владения знати, и знаменитые русские обители. Сафа-Гирей сумел породниться с соседними татарскими владельцами (в его гареме были не только вдова хана Джан-Али Сююн-Бике, дочь влиятельного ногайского мурзы Юсуфа, но и дочери сибирского и астраханского ханов) и, вероятно, получал от них военную помощь. Со временем нападения казанских татар приобретали все больший размах — их войска доходили до «Володимерских мест», а на севере — до реки Сухоны.

Хотя к середине 40-х годов стала ясна необходимость неотложной борьбы с казанской угрозой, в правящей элите налицо были настроения уныния и неверия в успех. Позднее Иван IV вспоминал, что назначение во главе посланной против казанских татар рати князя Семена Ивановича Микулинского было воспринято как свидетельство опалы («вы все глаголали есте, яко мы в опале своей послали, казнити его хотя»). Поход, предпринятый «легким делом в струзах» (то есть на судах. — *Б.Ф.*), ограничился опустошением территории ханства. Однако именно с этого времени начался новый этап в истории отношений с Казанью, так как переход России к активной политике привел к обострению внутренних конфликтов в Казанском ханстве.

Все прочие татарские ханства Восточной Европы представляли собой объединения кочевников, для процветания социальной верхушки которых были необходимы постоянные набеги на земледельческие территории. Эти набеги приносили добычу и рабов, которых затем продавали на невольничьих рынках Востока. В отличие от них Казанское ханство включало в свой состав земли, заселенные земледельческим населением. Поэтому казанская знать, хотя она и охотно принимала участие в набегах на Россию, могла, если считала это для себя выгодным, пойти на установление мирных отношений с западным соседом, как это имело место в последние десятилетия XV века. Сафа-Гирей пытался править Казанью, опираясь на пришедших с ним крымских воинов, и выдвигал их в ущерб местной, казанской знати. Активизация русской внешней политики побудила казанских противников Сафа-Гирея к действиям. В январе 1546 года в Казани вспыхнуло восстание, и хана с его крымским окружением «выбили» из города. Между группировками казанской знати началась борьба за будущую ориентацию ханства. Часть казанцев отправила посла в Крым, чтобы крымский хан «прислал царевича своего салтана от недруга боронити от московского», но возобладали сторонники соглашения с Москвой. В апреле 1546 года Иван IV «отпустил на царство» в Казань своего ставленника, служилого царевича Шах-Али (в русских источниках Шигалея), сидевшего ранее в городе Касимове на

Оке. Однако Шах-Али пробыл в Казани всего месяц. Сафа-Гирей сумел найти поддержку в Ногайской орде. Когда он подступил к Казани с войском, Шах-Али был вынужден бежать. В Казани началась расправа со сторонниками «московской» ориентации: ряд князей был казнен, другие «приехали ис Казани к великому князю».

Добиться смены власти в Казани не удалось, но происшедшие события показали отсутствие единства в правящей элите Казанского ханства. Выявилась непрочность ханства и в ином отношении. В его состав наряду с землями, которыми прямо владела татарская знать, входили обширные территории, заселенные угро-финскими народами — чувашами, марийцами, удмуртами (в русских летописях и документах они часто обозначались общим названием «черемиса»). Эти земли имели собственных «старейшин», платили ханам дань — «ясак», по их требованиям посылали своих людей в военные походы. В условиях, когда возникла перспектива большой войны с Россией, «черемиса», живущая на Горной (западной) стороне Волги по границе с русскими землями, стала отказываться от поддержки политики Сафа-Гирея. У русских воевод, предпринявших в январе 1547 года новый поход на ханство, «просила Горняя черемиса царя Шигалея на Казань».

Ко времени царской коронации Ивана IV (1547 год) борьба с Казанским ханством стала самой важной задачей русской внешней политики. В ее решении оказались заинтересованы самые разные слои русского общества. Все население желало прекращения разорительных набегов и понимало, что самым надежным путем, ведущим к этому, является подчинение Казанского ханства русской власти. Кроме того, у разных слоев общества были свои особые причины добиваться активной политики по отношению к Казани. Русское купечество было заинтересовано в спокойной и безопасной торговле по Волжскому торговому пути, ведущему в богатый шелком Иран, который к этому времени уже превращался в важный рынок сбыта предметов русского ремесла. Татарские ханства, контролировавшие разные участки Волжского пути, препятствовали этому. «На поле всегда лихих людей много разных государств. И тех людей кому мочно знати, хто ни ограбит тот имени своего не скажет» — так меланхолически реагировал один из ногайских мурз на очередное сообщение об ограблении русских купцов. Не исключено, что такой беспорядок до известной степени отвечал интересам кочевой знати, позволяя ей таким образом увеличивать свои доходы.

Дворянство связывало с войной надежды на приобретение новых земель в плодородном Поволжье. Настроения дворянства выразил в конце 40-х годов XVI века Иван Семенович Пересветов в своей «большой челобитной» Ивану IV. Ссылаясь на то, что многие «воинники», побывавшие в Казанском ханстве, называют эту землю за ее необыкновенное плодородие «подрайской землицей», он с несколько циничной откровенностью писал царю, что, конечно, нельзя тер-

петь «недружбы» со стороны Казани, но «хотя бы таковая землица в дружбе была и ея не мочно терпети за такое угодие».

Всем своим авторитетом поддерживала войну с Казанью и церковь, которая видела в этой войне важнейший этап борьбы православного христианского мира с миром ислама. В речи, произнесенной митрополитом Макарием на царском венчании, выражалась надежда, что Бог покорит царю «вся варварския языки». И церковь не ограничивалась молитвами. Когда осенью 1549 года споры воевод о «местах» поставили под сомнение успех похода на Казань, митрополит Макарий лично выехал в лагерь русских войск под Владимиром и убеждал воевод идти сражаться «за святые церкви и за православное христианство»; в такой войне, говорил он, не может быть споров о «местах» и на время похода они должны быть забыты. Уже из слов митрополита видно, что поход на Казань был не обычным военным предприятием, а священной войной, своего рода крестовым походом. И в официальной летописи, и в источниках, вышедших из церковной среды, неоднократно выражалось убеждение, что погибшие в такой войне пали «за православие» и подобны мученикам первых веков христианства. На том свете Бог дарует им «бесконечную радость и веселие, еже у Господа своего быти и со ангелы предстояти». Походы на Казань начинались молениями святым и Богу с просьбой о покровительстве. (Особенно горячо молил царь преподобного Сергия, напоминая о том, что он еще при рождении был отдан отцом под его покровительство.) Войско сопровождали высокие духовные лица и чудотворные образа. Взятию Казани в 1552 году сопутствовали чудеса и знамения. В повестях о взятии Казани, написанных келарем Троице-Сергиева монастыря Адрианом Ангеловым, рассказывается, что само время штурма города указал святой Николай-угодник, чудесно явившийся одному из детей боярских, а русские пленные в Казани видели старца, подметающего «храмины во граде» — то был сам Сергий, так готовивший Казань ко встрече русских войск. Курбский, сам участник похода, говорит о кресте с частицей «спасенного дерева, на нем же Христос плотию пострада», который, когда его привезли из Москвы, не позволил казанцам с помощью чар «наводить дождь» на русское войско.

Наконец, для всего русского общества война с Казанью была продолжением многовековой борьбы русских земель с Золотой ордой.

Сам царь встал во главе войска. Поступая так, он следовал долгу правителя — быть защитником своих подданных («пастырь добрый, еже душу свою полагает за овця»), и долгу защитника православия, готового «свободити род христианский навеки от бесерменства». Готовность царя переносить трудности долгого путешествия и тяготы жизни в военном лагере, несомненно, снискала одобрение современников. В «Истории о великом князе Московском» Курбский хвалил царя, который «подвигся многожды сам, не щадечи здравия сво-

его, на сопротивного и горшаго своего супостата царя казанского... не хотяше покою наслажаться, в прекрасных полатах затворясь пребывать, яко есть нынешним западным царем обычай».

Целью большого похода зимой 1547/48 года, который возглавил сам царь, была, несомненно, столица ханства. С войском везли многочисленный «наряд пушечной», но осуществить задуманное помешала необычно теплая дождливая зима. До Владимира — места сбора войска — пушки довели «великою нужею». Столь же труден был путь до Нижнего Новгорода, однако переправить «наряд» через Волгу по льду, покрытому водой, оказалось невозможно. Поход на Казань все же был продолжен, войска дошли до столицы ханства. Здесь они сразились с татарской ратью, «самого царя в город втопташа», но без артиллерии штурмовать город было невозможно, и, простояв под Казанью семь дней, армия двинулась в обратный путь.

Потерпев неудачу, русское правительство не отказалось от своих целей и твердо вознамерилось добиваться задуманного. Осенью 1549 года началась подготовка к новому походу на Казань. К этому времени в самой Казани произошли важные события. В начале 1549 года хан Сафа-Гирей «убился в своих хоробах» — поскользнувшись, он ударился в «умывальный теремец главою своею» и умер. Ханом стал его двухлетний сын Утемыш-Гирей, от имени которого правила его мать Сююн-Бике. В Москву были отправлены послы с предложением мира. Со смертью Сафа-Гирея возобновилась борьба между отдельными группами знати за власть и за влияние, а следовательно, и за ориентацию внешней политики ханства. Ясно было, что малолетний хан не может управлять ханством в такой критической ситуации. Но из этой бесспорной посылки делались разные выводы. Часть знати искала выход в укреплении связей с Крымом и Стамбулом. В грамоте, которую отправили в Крым «Мамай князь в головах и уланы и молны» (то есть муллы), хана просили, если он хочет, «чтобы тот юрт» от него «не отшол», прислать в Казань находившегося в то время в Стамбуле царевича Девлет-Гирея. Текст ярлыка, одного из немногих сохранившихся казанских документов XVI века, говорит о том, что его составители были проникнуты идеологией «священной войны»: они выражали надежду, что, погибнув в войне с «русскими людьми», непременно попадут в рай. Однако казанские послы попали в руки «казаков» Ивана IV и до Крыма не доехали. Наряду с прокрымской группировкой в Казани были и сторонники московской ориентации. В рассказе архимандрита Новоспасского монастыря Нифонта о походе 1550 года упоминаются казанцы, призывавшие царя прийти с войском под Казань — «и мы против государя своего руки не подойдем».

В таких условиях русское правительство не проявляло желания заключить мир с Казанью. Для участия в новом походе было собрано большое войско, в котором, в частности, приняло участие дворян-

ское ополчение городов Новгородско-Псковского края. В феврале 1550 года русские осадили Казань. Начался артиллерийский обстрел города, царь «туры велел поделати и к городу приступати». В России с тревогой ждали результатов похода. Один из современников записал: «А колико не было вести про государя великого князя, вся земля была в велицей печали и скорби, и глаголаше: един государь был во всей Русской земли, и паки еще не дошед совершенного возраста, како такового государя из земли выпустили. И бысть во всех болших и менших слышати: ох, горе земли нашей». И на этот раз осада Казани продолжалась недолго. Через одиннадцать дней войско двинулось в обратный путь. Официальная летопись объясняет причины ухода тем, что начались «ветры сильные и дожди великие, и мокрота немерная», и пушки и пищали не смогли стрелять. Так оно, вероятно, и было, но подлинные причины неудачи раскрывает неофициальный рассказ архимандрита Нифонта. Поход был предпринят в неудобное время по просьбе сторонников московской ориентации, обещавших не оказывать сопротивления, если сам царь придет под Казань, но их обещания оказались несостоятельными, и царь снял осаду, «видя их (то есть казанцев. — Б.Ф.)... ожесточенных и отчаянных, жадающих смерти, нежели покориться».

Неудачи двух походов показали неосновательность надежд на то, что казанский вопрос может быть решен одним ударом. По-видимому, уже в лагере под Казанью стали обсуждаться другие пути к достижению цели. Решение было найдено при участии сопровождавших царя в походе казанских «князей»-эмигрантов. Уже события зимы 1546/47 года показали непрочность ханской власти на Горной стороне Волги. Неудивительно, что опыт этих событий подсказал русским политикам решение поставить на этой территории крепость, побудить чувашей признать власть Ивана IV и тем самым «тесноту учинити Казаньской земли».

Задуманный план стал осуществляться с весны следующего 1551 года. Дьяк Иван Григорьевич Выродков «срубил» деревянную крепость на верхней Волге, в районе Углича. Деревянные укрепления были разобраны на части, погружены на суда и по Волге доставлены на Круглую гору при впадении в Волгу реки Свияги, в 20 верстах от Казани. Здесь под защитой присланных из Москвы войск была поставлена крепость — Свияжск. В Казани первоначально не придали значения построению Свияжска, «чающе малыи градец ставимый зовомый гуляй» (то есть полагая, что русские возводят не крепость, а подвижное полевое укрепление — гуляй-город). Но настроения здесь переменялись, когда после построения Свияжска Горная черемиса признала русскую власть. Представители «горных людей» побывали в Москве и получили от царя «грамоту жалованную з золотою печатию», очевидно, закреплявшую за «горной черемисой» ее земли и угодья. В знак царской милости Горная сторона была освобождена

на три года от уплаты дани — «ясака». Все лето «горные люди» посещали царя, «человек по пятисот и по штисот», и царь их «кормил и поил у себя за столом», дарил шубы, сукна, дорогие ткани, доспехи, коней. В результате «горные люди» не только все принесли присягу верности, но и начали «на Луговую сторону (то есть на земли «черемисы» к востоку от Волги. — *Б.Ф.*) ходити воевать и языков добывать». Так без войны значительная часть территории Казанского ханства вошла в состав Русского государства.

В правящей элите Казанского ханства началась борьба между крымской знатью из окружения Сафа-Гирея, которая, очевидно, настаивала на продолжении войны с Россией, и местными казанскими вельможами, которым продолжение войны сулило новые потери земель и доходов. Имели место нападения на «царев двор» — ханский дворец, где находились крымцы. В результате крымцы во главе с главным советником Сююн-Бике, уланом Кошаком (этот «муж зело величав и свиреп» еще недавно руководил обороной Казани от русских войск), бежали из ханства, «жены и дети пометав». Казанская знать обратилась к московскому царю с просьбой о мире.

Иван IV выразил согласие заключить «вечный мир» с Казанью, но условия были очень жесткими: казанцы должны снова принять на царство Шах-Али, передать русским воеводам Сююн-Бике с сыном, освободить всех находящихся в ханстве русских пленных и согласиться с тем, что Горная сторона войдет в состав Русского государства. Позднее в договор было внесено еще одно условие: вместе с Горной стороной к России должна была отойти и половина рыбных угодий на Волге. Переговоры с казанцами царь возложил на Шах-Али и воевод, стоявших с войском в Свияжске. Русские условия мира передал в Казань Алексей Адашев, который в первый раз вступил на арену большой политики. Казанцы пытались добиться уступок, но все усилия оказались тщетными, и они вынуждены были согласиться на условия мира, продиктованные в Москве. Вечером 11 августа в Свияжск привезли Сююн-Бике с малолетним сыном, 15 августа казанцы принесли присягу соблюдать условия мирного договора, 16-го Шах-Али въехал в Казань, а 17-го сопровождавшим нового хана воеводам было передано 2700 русских пленных. Выдача всего полона заняла довольно долгое время. По сведениям, которыми располагали в Москве, только в Свияжске при выходе на Русь получило «государев корм» 60 000 человек. Вместе с Шах-Али в Казани остались для «полону и иных для управных дел» русские представители — боярин Иван Иванович Хабаров и дьяк Иван Выродков. На ханском дворе вместе с пришедшими из Касимова с Шах-Али татарами разместились 200 московских стрельцов. Казанское ханство снова стало вассальным, зависимым от России государством.

Первоначально обе стороны, заключившие между собой соглашение, были настроены на сотрудничество. В сентябре 1551 года

Иван IV «князем Казаньским... многое свое жалование послал, платие и деньги и сукна», а казанцы стали направлять в Москву посольства с разными ходатайствами. Постепенно, однако, положение осложнялось. Одна из причин возникших сложностей была связана с той жесткостью, с которой русское правительство добивалось исполнения условий мирного договора. Подчинившись московскому ставленнику Шах-Али, демонстрируя покорность и ему, и его сюзерену царю, казанская знать рассчитывала, что, оценив все это, царь смягчит условия мирного договора и уступит если не всю Горную сторону, то, по крайней мере, часть «ясака», поступавшего с этой территории в пользу казанской знати. Однако на переговорах эта просьба была резко отклонена («государю Горные стороны х Казани ни одной денги не отдавывати»). Одновременно русские представители в Казани настаивали на возвращении всего захваченного в предшествующие годы русского «полона». К этому добавились расправы Шах-Али над теми из казанских вельмож, кого он считал своими личными противниками, для чего хан использовал пришедших с ним в Казань московских стрельцов.

Неудивительно, что в ноябре 1551 года в Москву пришли сообщения, что часть казанской знати вступила в сношения с Ногайской ордой и ведет речь об отстранении Шах-Али от власти. Эти известия должны были вызвать в Москве тем большее беспокойство, что к этому времени здесь стало известно, что русские успехи в Казани, нарушавшие сложившийся баланс сил, вызвали враждебную реакцию в Крыму и в Стамбуле.

Летом 1551 года Астрахань и Ногайскую орду посетили послы нового крымского хана Девлет-Гирея и султана Сулеймана, призывавшие к объединению всех мусульман для борьбы с Русским государством. Посол султана Ахмед-ага предлагал «хандыкерю (то есть султану. — Б.Ф.), и Крыму, и Астрахани, и Казани и нашим Ногаем соодиначитися и твою землю воевати», писал Ивану IV один из ногайских мурз. Таким образом, положение Шах-Али в Казани оказалось непрочным, и возникла необходимость в новых мерах, которые помогли бы удержать Казань в сфере русского влияния.

В ноябре 1551 года к хану Шах-Али отправился с особой миссией Алексей Адашев. О характере его миссии дает представление запись официальной летописи об обязательствах, которые дал Шах-Али царскому посланцу, скрепив их присягой. Хан обязался «лихих людей побити, а иных казанцов вывести, а пушки и пищали перепорти, и зелие (порох. — Б.Ф.) не оставити». Ясно, что теперь о скольконибудь длительном правлении Шах-Али в Казани не могло быть и речи. Весь смысл его дальнейшего пребывания на ханском столе сводился к тому, чтобы тем или иным способом устранить противников Москвы и, лишив город боеприпасов и артиллерии, сделать его неспособным к сопротивлению. Во время переговоров Шах-Али также

настойчиво советовали, «чтоб укрепил город людьми русскими», но на это хан не согласился. Все это ясно указывает на то, что с осени 1551 года в Москве был определенно взят курс на аннексию, включение Казанского ханства в состав России, причем в самое ближайшее время. Русское правительство готово было действовать со всей решительностью. Выбор же Адашева для столь ответственного поручения свидетельствовал о том, что любимец царя к этому времени играл уже важную роль в проведении восточной политики Русского государства и успел зарекомендовать себя как жесткий, далекий от сентиментальности политик, по крайней мере по отношению к «бусурманам». Шаги, предпринятые Стамбулом, заставляли русских политиков топиться.

На этом этапе усилия прилагались к тому, чтобы присоединение Казани совершилось мирным путем. По-видимому, с этой целью были начаты тайные переговоры с казанской знатью. Мы не знаем, что именно обещали тому или иному из казанских вельмож, чтобы склонить его к желательному для Москвы решению. Хорошо известен, однако, итог переговоров. В январе 1552 года к Ивану IV обратились находившиеся в Москве казанские князья с «челобитьем», чтобы царь «свел с Казани» Шах-Али и прислал в Казань своего наместника, «а держал бы их тако же, как и во Свиязском городе». Все доходы, поступавшие ранее хану, должны были поступать теперь в царскую казну. «Как царь Шигалей съедет, — заявляли князья, — и казанцы все государю дадут правду (то есть принесут присягу. — Б.Ф.) и наместников его в город впустят и град весь государю здадут». Челобитье, конечно, было инспирировано самими русскими властями. Очевидно, что после положительного ответа царя Казанское ханство должно было превратиться в одну из областей Русского государства, хотя, возможно, населению ханства, как ранее населению Горной стороны, также могла быть выдана жалованная грамота, предоставлявшая какие-то дополнительные права.

Для обсуждения с Шах-Али вопроса о его уходе с ханского стола в Казань снова отправился Алексей Адашев. В беседе с ханом выяснилось, что некоторые из намеченных ранее мер Шах-Али удалось провести в жизнь («пушки большие и пищали и зелие вывезено»), но не всех противников московской ориентации он успел устранить, «и говорил ему Алексей, чтобы Касын молну (муллу. — Б.Ф.) убили и иных людей, на чем правду дал». Алексей Адашев передал хану наказ царя, «чтобы... пустил князя великого людей в город».

Все эти сообщения позволяют составить представление о русском плане подчинения Казани. Ввод в Казань русских войск еще во время пребывания Шах-Али на ханском троне должен был стать гарантией того, что новое соглашение царя с казанской знатью будет выполнено. Однако осуществить план так, как его наметили, не удалось. Шах-Али снова отказался впустить русские войска в Казань.

Кроме того, он заявил, что в ближайшее время «съедет» из Казани, так как боится, что казанцы его убьют.

6 марта, взяв с собой московских стрельцов, Шах-Али выехал из Казани в Свияжск. Началась процедура передачи власти наместнику Ивана IV. К наместнику, князю Семену Ивановичу Микулинскому, находившемуся в Свияжске, прибыли из Казани «многие моллы и князи... и правду боярам дали на всей воли великого князя». Затем наместник направился в Казань, куда уже были посланы дети боярские «очищать» дворы для размещения его свиты.

Однако в последний момент перед самым въездом наместника в Казань положение резко изменилось. Если казанскую знать с помощью различных средств (очевидно, обещаниями разных пожалований) удалось убедить согласиться на включение ханства в состав Русского государства, то иначе обстояло дело с более широкими кругами населения, которым установление новой власти не сулило никаких перемен к лучшему.

Известно, что уже при решении вопроса о выезде Сююн-Бике с сыном в Москву в Казани начались волнения, которые умирляла местная знать, «бьюще их шелыгами и батоги и дрекольем, разгоня их по домом». Затем толпы народа провожали судно, на котором ехали Сююн-Бике с сыном, «по обема сторонам Казани реки». По мере того как существование ханства как особого государства становилось все более призрачным, напряжение должно было нарастать. Шах-Али отказывался впускать в город русские войска вовсе не из симпатий к казанцам. Он, очевидно, понимал, что попытка осуществления такой акции привела бы к взрыву, который мог легко закончиться убийством самого хана.

Казанская знать старалась контролировать положение, но ее виднейшие представители выехали на встречу с московским наместником. В этих условиях оказалось достаточно слуха (исходившего якобы от касимовских татар из свиты Шах-Али), что после въезда наместника начнется избиение жителей города, чтобы население Казани закрыло ворота перед представителем московской власти. Первоначально казанские вельможи не придали случившемуся большого значения («възмутили, деи, землю лихие люди, пождите, деи, доколе се уговорят»), но затем были вынуждены признать свое бессилие («боятца, де, люди побою, а нас не слушают»). 12 марта наместник вернулся в Свияжск. Находившиеся в Казани дети боярские были перебиты. Казанцы напали на русские «сторожи» на границе с ханством и на русские суда, плывшие по Волге. В Казань с отрядом ногайцев прибыл астраханский царевич Ядигер, которого и провозгласили ханом. Мирное подчинение Казани не удалось. В Москве остро переживали неудачу своего плана. Митрополит Макарий строго предписал находившемуся в Свияжске войску покаяться в грехах и молиться, ибо дурное поведение воинов, их насилия над

выходившими из Казани пленными навлекли на них и на страну Божий гнев.

В апреле 1552 года в Москве было принято решение об организации нового похода на Казань.

В поход должно было выступить большое войско, и на этот раз включавшее в себя помещиков из городов русского Северо-Запада. На судах по Волге в Свияжск направлялись запасы и артиллерия. Успех похода в немалой мере зависел от того, удастся ли Казанскому ханству получить помощь от какого-либо другого мусульманского «юрта». В Казани ожидали поддержки со стороны Ногайской орды, которая в свое время активно поддерживала Сафа-Гирея, но Ногайская орда на этот раз не решилась вмешаться в конфликт. В отличие от ногайских мурз крымский хан Девлет-Гирей не намерен был оставлять Казань на произвол судьбы. Его вмешательство могло иметь большое значение. Если бы нападение Крымской орды произошло после ухода главных русских сил под Казань, русское правительство, скорее всего, было бы вынуждено снять осаду, чтобы спасти от разорения собственные земли. Однако Девлет-Гирей выбрал неудачный момент для нападения на Русь. Правда, он собрал для похода довольно большое войско; в походе участвовали присланные султаном отряды янычар и артиллерия, но, когда в конце июня 1552 года его войска подступили к Туле, значительная часть русской армии еще оставалась на месте и была сразу направлена против татар. Штурм Тулы закончился неудачей, а вскоре к Туле подошли большие отряды русских войск. Орда стала уходить в степь, бросив под городом «наряд пушечный». К 1 июня стало ясно, что хан Девлет-Гирей ушел в Крым «невозвратным путем», и главные силы русской армии во главе с самим Иваном IV двинулись к Казани.

23 августа началась осада города, продолжавшаяся до начала октября. В царской ставке не исключали, что, может быть, теперь, под давлением собравшегося войска, казанцы примут выработанное в начале 1552 года соглашение, но все попытки склонить их к этому оказались безрезультатными. Осада была долгой и трудной. Казанцы сопротивлялись с мужеством отчаяния (по выражению летописи, «они на смерть в городе затворилися»). Часть их войск осталась за стенами крепости и постоянно нападала на русский лагерь из окружающих лесов. Эти нападения сопровождались вылазками из города. В течение трех недель под Казанью шли столь тяжелые бои, что, по словам участника осады, князя Андрея Курбского, не всегда оставалось время для приема пищи.

Один эпизод осады привлекает к себе особое внимание, поскольку проливает свет на некоторые черты характера молодого царя. После одного из сражений Иван IV приказал привести захваченных пленников к стенам крепости и «привезати их к колю». После этого царь велел дать знать в Казань, что, если город не будет сдан, всех

пленных ждет смерть. Тогда, по свидетельству Курбского, со стен Казани в несчастных стали пускать стрелы, говоря: «Лутче... увидим вас мертвых от рук наших бусурманских нежели бы посекли вас кгауры («гяуры», то есть неверные, не-мусульмане. — *Б.Ф.*) необрезанные». Царь приказал перебить всех пленных.

Положение русского войска под Казанью улучшилось, когда русской рати во главе с князем Александром Борисовичем Горбатым удалось нанести поражение тем войскам, которые нападали на осаждавших извне. Это дало возможность вплотную заняться осадой города, который постоянно обстреливала русская артиллерия. 30 сентября начался тяжелый, многочасовой штурм. Русские войска во главе с князем Михаилом Ивановичем Воротынским и Алексеем Даниловичем Басмановым заняли часть городских стен и вынуждены были остановиться. Рядом с занятыми стенами казанцы поставили «срубы», заполненные землей.

Перелом наступил 2 октября, когда находившийся в царском лагере иноземный мастер Размысл взорвал порох в подкопах, сделанных в двух местах под городскими стенами. После взрывов начался общий штурм города, продолжавшийся несколько часов. О том, что произошло после того, как русские войска, наконец, ворвались в Казань, достаточное представление дает краткая запись в Разрядных книгах: «Государевые ратные люди во град Казань овы в полые места влезоша, инии же по лесницам и по прислонам, во граде биюще татар по улицам, мужей и жон по дворам, а иных из ям выволачиваючи и из мизгитей (мечетей. — *Б.Ф.*) их и из полат, и секуще их без милости и одираху до последния ноготы». Впрочем, таково было обычное поведение войска во взятом штурмом городе в эпоху Средневековья.

В тот же день, после того как одну из улиц города удалось очистить от трупов, Иван IV въехал в Казань и остановился в ханском дворце. В следующие дни началась закладка в городе христианских храмов. Царь и сопровождавшее его духовенство «з животворящими кресты и со святыми иконами» обошли городские стены, освящая город, вырванный христианской ратью из рук мусульман. Казанское ханство формально не прекратило своего существования, но теперь казанским ханом считался сам русский царь. В Казань прибыли с челобитьями представители подчинявшихся ранее казанским ханам народов, и царь их «пожаловал», разрешил уплачивать «ясак» в установленном традицией размере, как было при хане Мухаммед-Эмине.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о поведении царя во время штурма, так как данные источников на этот счет заметно расходятся между собой. Согласно версии официальной летописи, царь пребывал на службе в походной церкви, когда при чтении слов Евангелия «да будет едино стадо и един пастырь» взорвался первый подкоп, а за ним вскоре и второй. Начался штурм города, о чем тут же известили царя, но он продолжал молиться, ответив: «аще до конца пе-

ния дождем да съвършеную милость от Христа получим». Когда царь сел на коня и выехал к войску, «знамена христианские» были уже на «стенах градных». Ту же версию мы находим и в ряде литературных текстов, вышедших из духовной среды: «Степенной книге», составленной при участии царского духовника Андрея (будущего митрополита Афанасия) в Чудовом монастыре, в повестях о взятии Казани троицкого старца Адриана Ангелова.

Совсем иначе описываются события в тексте «Разрядных книг» (сборника записей о военных назначениях, использовавшегося при разборе местнических споров), источника светского по своему происхождению и делового по своему характеру. Здесь также подробно говорится о совершении литургии и молитвах царя перед образами святых, в особенности Сергия Радонежского, но происходило все это еще до начала штурма. Лишь после того, как царь прибыл к войску, последовал приказ «отволочити от города Казани наряд стенобитной», а уж затем были взорваны подкопы. Ту же версию мы находим и в особом летописном рассказе о походе, близком, но не тождественном рассказу Разрядных книг. Здесь также говорится, что сначала царь «въезде на гору и ста полком» и лишь потом отдал приказ о взрыве подкопов.

Вторая версия, восходящая к документальным источникам (при составлении Разрядных книг использовались документы Разрядного приказа — русского военного ведомства XVI—XVII веков), заслуживает большего доверия, тем более что она получает неожиданное подтверждение в народной песне о взятии Казани. В этой песне поется о том, как царь разгневался на пушкарей, заложивших порох в подкоп: свеча, за которой снаружи следил царь, уже вся сгорела, а взрыва все не было: ведь свеча в подкопе горела медленнее, чем на ветру. Таким образом, и согласно песне, царь явно ожидал взрыва уже вместе с войском. Рассказ официальной летописи следует рассматривать как своеобразную легенду, автор которой хотел внушить читателю мысль о том, что сама победа русского воинства под Казанью была достигнута благодаря благочестию государя. Не случайно составитель «Степенной книги», излагая этот сюжет, прямо сравнивал царя с библейским Моисеем. Как Моисей во время битвы Израиля с амалекитянами не переставал творить молитву, пока войско врага не было уничтожено, «так и сей новый Моисей во время брани на поганных татар никак же не уклонился церкви, ни от слезные молитвы преста, дондеже совершися божественная литургия». Сочинявшие эту благочестивую легенду древнерусские книжники не могли предвидеть, что много лет спустя, опираясь на их текст, некоторые исследователи будут говорить о трусости, якобы проявленной царем во время штурма Казани.

8 ноября 1552 года в Грановитой палате Кремля царь торжественно отпраздновал победу. Вместе с ним ликовала вся страна. Победа

стала результатом усилий всего общества, объединившегося вокруг решения задачи, которая в сознании этого общества была самой важной из всех задач, стоявших перед Русским государством. На время даже прекратились споры между представителями правящей элиты. В подробном рассказе Разрядных книг о походе на Казань в 1552 году отсутствуют какие-либо упоминания о местнических спорах, хотя для похода была собрана огромная армия и воеводских постов в ней было гораздо больше, чем обычно.

Казанская победа означала перелом в истории отношений России с ее южными и восточными соседями. Теперь Россия уже не только защищалась от нападений с их стороны, но и сама перешла в наступление, а одно из недавно угрожавших ей «царств» — наследников Золотой орды, вошло в состав Русского государства. Победа воспринималась как реванш, как ответ на многовековое татарское иго. Отблеск победы закономерно падал на того, кто стоял во главе государства и возглавлял в Казанской войне русские войска. Prestиж Ивана IV в глазах русского общества, несомненно, должен был сильно возрасти. Означало ли это и реальный рост его власти, привело ли к переменам в его отношениях с правящей элитой? Ответ на эти вопросы будет предложен в последующих главах книги.

Во всех довольно многочисленных свидетельствах о «времени боярского правления» главной характерной чертой времени выступает небывалый рост злоупотреблений со стороны лиц, в руках которых находилась судебно-административная власть над населением.

Традиционная система управления в Русском государстве конца XV — первой половины XVI века состояла в том, что великий князь в качестве вознаграждения за службу давал боярам и детям боярским — членам своего «двора», в «кормление» те или иные города или волости. При этом, как правило, сын боярский или боярин получал кормление совсем не в той местности, где находились его земельные владения, и никак не был связан с местным населением. Кормленщик осуществлял судебно-административную власть над населением города или волости; население предоставляло ему и его «людям» двор, давало «корм» на его содержание; те, чьи дела рассматривались в его суде, выплачивали в его пользу судебные пошлины.

В годы «боярского правления» кормленщики и волостели стали всячески увеличивать поборы с населения в свою пользу. Создавшуюся ситуацию необыкновенно ярко характеризуют неизвестные нам авторы псковских летописей, описывая наместничество во Пскове князя Андрея Михайловича Шуйского. Один из летописцев без обиняков пишет, что «князь Андрей Михайлович Шуйский... был злодей, в Пскове мастеровые люди (ремесленники. — Б.Ф.) все делали на него даром, а болшии люди (богатые горожане, купцы. — Б.Ф.) подаваша ему з дары». Главным злом были, однако, даже не эти поборы, а злоупотребления судебной властью. Именно к этим годам от-

носятся появление особого чина исповедания грешного вельможи, который должен был каяться в том, что судил «по мзде и по посулам» (то есть за взятки), «неповинных на казнь и смерть выдавах», «богатство насильством и кривым судом и неправдою стяжах и приобретениях». Покровительством наместников пользовались «поклепцы», люди, которые по их наущению возбуждали дела против богатых людей, а это давало возможность налагать на обвиненных штрафы, «правя на людех ово сто рублей, ово двести». Одним из излюбленных приемов для выколачивания денег, по свидетельству современников, служило подбрасывание краденых вещей в дома богатых людей, которых потом можно было карать за воровство. Еще более эффективных результатов можно было достичь, подбросив на территорию улицы или волости труп неизвестного человека. Будучи не в состоянии найти и представить в суд убийцу, улица или волость должны были коллективно выплачивать высокий штраф за убийство. Как замечает один из летописцев, жители некоторых пригородов боялись ездить во Псков, чтоб там не встретиться с людьми наместника, «а игумены честные из монастырей избегоша в Новгород». Как бы обобщая все происходящее, летописец записал: «Быша наместники во Пскове сверепи, аки ллове, и люди его, аки зверии дивии до крестьян (христиан. — Б. Ф.)». С разными вариациями подобное происходило во всей стране.

Этот рост злоупотреблений не был чем-то случайным. Управление с помощью раздачи «кормлений» в России к этому времени существовало достаточно давно и не порождало каких-либо серьезных конфликтов. Ряд мер способствовал предотвращению злоупотреблений. «Кормления» давались на сравнительно короткий, точно определенный срок, в так называемых «доходных списках» обозначался размер «кормов», которые разрешалось взимать с населения, а, главное, по окончании срока кормления население имело право жаловаться на кормленщика великому князю, и совершившего злоупотребления вельможу правитель принуждал к возмещению убытков. Во время малолетства государя власть оказывалась в руках то одного, то другого из соперничающих боярских кланов, раздававших кормления своим приверженцам, и эти меры переставали действовать. Наместники и волостели теперь могли не опасаться, что их привлекут к ответственности; это и вызывало такой широкий размах злоупотреблений.

Высказывания псковских летописцев, тесно связанных с посадской средой, могут создать впечатление, что от этих злоупотреблений страдали прежде всего крестьяне и «посадские люди» — горожане. Такой вывод был бы неправильным. В летописном рассказе о первых реформах нового правительства читаем, что в предшествующие годы «детем боярским чинилися силы и продажи (то есть насилие и несправедливые судебные штрафы. — Б. Ф.) и обиды великие в землях и

в холопах», то есть злоупотребления «кормленщиков» ложились тяжким бременем и на дворянство.

Следует обратить внимание на одну особенность приведенных выше летописных свидетельств — в них сквозит острое возмущение действиями несправедливых носителей власти, возмущение, которое находило свое выражение, в частности в адресованных власти требованиях реформы традиционного управления.

Характер этих требований во многом объяснялся тем, что конец XV — первая половина XVI века в истории России — это важный этап на пути формирования «сословий» — тех основных социальных общностей, на которые разделялось общество эпохи развитого Средневековья. Хорошо известно, что «сословия» объединяли общности людей, отличавшихся друг от друга по роду занятий, по объему при-сущих только им прав и обязанностей, которые передавались по наследству. Однако эти особенности были присущи и отдельным группам людей, на которые делилось русское Средневековое общество в предшествующие столетия. Эти общности более раннего времени отличались от сословий развитого Средневековья тем, что каждый социальный слой распадался на большое количество групп, заметно отличавшихся друг от друга по своему положению в обществе.

Если говорить о воинах-землевладельцах, из которых со временем сформировалось дворянское сословие, то в XIV—XV веках они служили многим государям (нередко даже одна сравнительно небольшая территория в Ростовском или Ярославском крае была поделена между несколькими князьями). Были большие различия в положении тех «детей боярских», которые получали землю в условное владение, и тех, кто был обладателем наследственной родовой собственности. Владельцы полученных во временное пользование земель (с конца XV века такие владения стали называться «поместьями», а их владельцы — «помещиками») не могли распоряжаться ими по своему усмотрению и передавать их по наследству, за «запустение» поместья им грозили опала и немилость. Помещики должны были являться на службу или на военный смотр по первому требованию и допущенная при этом небрежность могла привести к потере «поместья». Те, у кого была своя родовая, полученная от предков собственность («вотчина»), могли не только свободно распоряжаться ею (передавать по наследству, давать в качестве вклада в монастырь), но и свободно выбирать, кому именно они желали служить — государю, боярину или епископу, а некоторые из них и вовсе никому не служили, лишь являлись на войну, когда стране угрожало нападение и объявлялась мобилизация всех военных сил.

Ту же пестроту, может быть, не столь сильно выраженную, можно проследить и наблюдая за судьбами городского населения. Средневековые города также неоднократно делились на части («дельницы») между князьями, многие торговцы и ремесленники были заняты в

личном хозяйстве этих государей и в состав городской общины не входили, значительная часть горожан жила на земле, принадлежавшей боярам, епископским кафедрам, монастырям. Положение каждого из таких поселений — «слобод» — отличалось от положения другого, а его жители были гораздо теснее связаны со своим землевладельцем, чем с другими группами горожан. В таких условиях любой социальной группе, даже ограниченной рамками одной сравнительно небольшой территории уезда или города, было трудно прийти к осознанию общности своих интересов.

К середине XVI века положение изменилось во многом благодаря политике объединения отдельных княжеств и территорий в единое целое — Русское государство, политике, которая последовательно проводилась великими князьями Московскими во второй половине XV— первой трети XVI века. Теперь дети боярские в подавляющем большинстве становились вассалами великого князя, сидевшего в Москве. Стараясь увеличить свои военные силы и поощрять бояр и детей боярских лучше нести службу, великие князья широко практиковали раздачу государственных земель в условное держание. В результате к середине XVI века многие бояре и дети боярские стали владельцами и вотчин, и поместий. Постепенно распространялось представление, что вотчинники со своих земель также должны нести военную службу по приказу великого князя.

Посадское население городов — торговцы и ремесленники — к середине XVI века также имели над собой одного государя — великого князя Московского (очень немногочисленные частновладельческие города сохранялись лишь на окраинах страны). При этом торговцы и ремесленники, занятые в личном хозяйстве прежних государей, были включены в состав соответствующих городских общин, так как великие князья Московские больше не нуждались в их услугах. Со второй половины XV века великие князья Московские стали заниматься «посадским строением», конечной целью которого была ликвидация всех частновладельческих слобод на территории городов. Изданный в правление Ивана III «указ слободам», по-видимому, как-то ограничивавший их расширение, упоминается в текстах середины XVI века. Уже в 80-е годы XV века (например, на Белоозере) целый ряд таких слобод был изъят из-под власти монастырей и бояр и «приписан» к городской посадской общине. Как важная часть средневекового города такие слободы сохранялись и позднее, но их удельный вес резко упал, и к середине XVI века они оказались под угрозой ликвидации.

Одним из важных объективных результатов такой политики стало появление сословий. Общие черты в положении представителей этих сословий способствовали осознанию ими общих интересов, появлению заинтересованности в защите этих интересов, пока на локальном уровне, в рамках уезда и города. Эта борьба за общие инте-

ресы нашла определенное выражение уже в конце 30-х годов XVI века в требованиях дворян, горожан и крестьян отдельных уездов передать расследование дел о разбоях и наказание разбойников (а такие наказания, как правило, сопровождалась конфискацией имущества виновников) из рук наместников и волостелей в руки губных старост — выборных представителей уездных дворян (так называемого дворянского «города»), городских посадских общин и крестьянских волостей (там, где не было дворянского землевладения). Боровшиеся за власть боярские кланы нуждались в поддержке населения и оказались вынуждены пойти на уступки. Псковский летописец с удовлетворением отметил, что «бысть крестьяном радость и лгота велика от лихих людей и от поклепец и от наместников», когда «начаша псковские целовальники и соцкие судити лихих людей на княжи дворе, в судницы». Однако речь шла не о какой-либо продуманной политике, а о уступках, которые по миновании необходимости могли быть взяты назад. Как отметил другой псковский летописец, после получения Псковом грамоты, передававшей расследование дел о разбойниках в руки псковского посада, «бысть тишина, но не на много, и паки (снова. — Б.Ф.) наместницы премогаша».

Однако злоупотребления наместников и волостелей со временем стали наталкиваться на все более сильный отпор со стороны сословных организаций местного населения. Составляя позднее рассказ для официальной летописи об отмене кормлений, Алексей Адашев объяснял этот шаг тем, что «грады и волости пусты учиниша наместницы и волостели», а в ответ «тех градов и волостей мужичья многие коварства содеяша и убийства их людем». Таким образом, в стране фактически началась своеобразная «малая война» между населением и представителями государственной власти на местах. После восстания в Москве, в котором так ярко проявилась ненависть населения к носителям власти, необходимость осуществления реформ стала совершенно очевидной.

Впрочем, более дальновидные политики пришли к выводу о необходимости реформ еще до того, как разразилось восстание 1547 года. К числу таких политиков принадлежал глава русской церкви митрополит Макарий. Именно его инициативе исследователи приписывают первый важный шаг, предпринятый для того, чтобы вывести страну из кризиса, — венчание Ивана IV на царство 16 января 1547 года. О роли царского венчания в развитии русской государственно-политической идеологии речь пойдет специально в другой главе этой книги. Однако с этим событием связывались, по крайней мере со стороны митрополита, и расчеты на изменение сложившегося в стране политического положения. Святитель надеялся, что принятие нового титула повысит престиж монарха, пробудит в нем интерес к его государственным обязанностям, будет способствовать возвращению ему традиционной роли верховного арбитра, гаранта

справедливого и беспристрастного суда. Эти надежды получили отражение в тексте написанного митрополитом чина венчания, важной частью которого стало обращенное к царю поучение Макария. В нем глава церкви призывал молодого монарха: «Блюди правду и милость и суд правый», «за обидащих же стой царьски и мужески и не давай обидети не по суду и не по правде». Принятию решения о венчании монарха предшествовали совещания митрополита с боярами, в которых участвовали «по митрополиче по них присылке» и те бояре, «которые в опале были» и потому не участвовали в обычных заседаниях Боярской думы. Действуя так, митрополит стремился добиться прекращения соперничества между боярскими кланами и консолидации правящей элиты, что было необходимым условием успешного проведения реформ.

Предпринятые по инициативе митрополита шаги не привели тогда к тем последствиям, на которые он рассчитывал, и реально проведение реформ в стране началось с созыва так называемого «собора примирения» 27 февраля 1549 года. На созванном в царских палатах заседании Боярской думы и собора духовенства во главе с митрополитом Макарием царь, констатируя, что «до его царьского возраста» детям боярским со стороны знати «чинилися силы и продажи и обиды великие в землях и в холопех», потребовал, чтобы знатные люди прекратили подобные действия, угрожая в противном случае опалой и наказанием. Вместе с тем царь обещал, что не будет по своей инициативе наказывать бояр за действия, совершенные в прошлом, если они в дальнейшем будут верно ему служить. Одновременно было установлено, что обиженные дети боярские могут обращаться со своими жалобами к государю, и его суд эти жалобы рассмотрит. 29 февраля по решению, принятому тем же собором, «во все города детем боярским» были посланы грамоты об их освобождении от суда наместников. Тогда же было принято решение о подготовке нового свода законов — «Судебника». Таким образом, уже первый шаг в проведении реформ показал, что главной своей задачей государственная власть считает установление в стране законности и порядка и что меры, ведущие к этой цели, будут осуществляться с учетом требований, которые в предшествующие годы выдвигали формирующиеся сословия.

С февраля 1549 года в стране стали проводиться многочисленные реформы, во многом изменившие и традиционный облик государственных институтов, и характер отношений этих институтов с формируемися сословиями.

В настоящее время благодаря усилиям многих исследователей собран большой материал, позволяющий составить представление и об отдельных реформах, и о тех переменах, которые они внесли в жизнь русского государства и общества, но остается много неясного в определении характера и направленности этих реформ. Неясно также, с

деятельностью каких политических кругов следует связывать их проведение, имена каких государственных деятелей должны быть названы как имена творцов этих реформ.

Обычно чаще всего в этой связи называют имена Сильвестра и Алексея Адашева. Им действительно принадлежала важная роль в проведении реформ. Судя по всему, именно они убедили царя в том, что реформы необходимы, а без этого важного условия весьма трудно было бы рассчитывать на их осуществление. Однако у нас нет никаких оснований полагать, что от них исходил и сам план реформ и что они сыграли главную роль в его осуществлении: ни простой священник Сильвестр, ни костромской сын боярский Алексей Адашев не обладали, кроме всего прочего, необходимым для этого влиянием и авторитетом.

Гораздо больше оснований видеть главного инициатора реформ в митрополите Макарии, однако ряд фактов явно противоречит такому заключению. Целый ряд мер, предпринятых правительством в 50-х годах XVI века, был явно направлен против податных привилегий церкви и церковного землевладения и вызвал острую враждебную реакцию митрополита. Таким образом, мы не имеем возможности указать какого-либо конкретного политического деятеля, которого можно было бы считать «творцом» реформ 50-х годов.

Стоит, однако, отметить, что начало реформ сопровождалось резким увеличением размеров главного органа управления государством — Боярской думы. Если ко времени московского восстания 1547 года в Думе заседало всего 15 бояр и 3 окольничих, то к концу 1549 — началу 1550 года в Думе насчитывалось уже 32 боярина и 9 окольничих. Очевидно, что проведению реформ предшествовала консолидация правящей элиты; представители ранее враждовавших между собой боярских кланов вошли в состав главного органа государственного управления для проведения политики, которую есть основания считать плодом коллективных усилий всей правящей элиты Русского государства.

Разбирая известия о первом шаге по пути реформ — так называемом «соборе примирения», мы уже имели возможность отметить, что преобразования начались с реформы системы управления, идущей навстречу требованиям дворянства. В последующие годы эта политика получила свое продолжение. Практика передачи расследования дел о разбоях и наказаниях разбойников в руки выборных представителей уездной дворянской организации — «города», начавшаяся уже в годы боярского правления, получила в 50-е годы XVI века повсеместное распространение. При этом круг их обязанностей заметно расширился, явно выйдя за рамки полицейских функций. Примером может служить приговор Боярской думы от 22 августа 1556 года, возлагавший на губных старост обязанность «беречи накрепко, чтоб у них пустых мест и насилства христианом от силных

людей не было». Те обязанности, которые ранее ложились на плечи государственных чиновников, постепенно переходили в руки выборных представителей местного дворянского «общества».

Государственная власть нашла нужным пойти навстречу и тем требованиям реформы управления, которые раздавались со стороны посадского населения и черносошных (государственных) крестьян. С начала 50-х годов государство приступило к проведению так называемой «земской реформы», осуществление которой на основной территории страны было завершено в 1555—1556 годах. Старая система управления с помощью наместников и волостелей была ликвидирована. Суд и управление населением перешли в руки земских старост — выборных представителей посадских городских общин и деревенских волостей. И здесь, таким образом, ряд важных функций, выполнявшихся до этого представителями государственной власти, перешел в руки сословных органов самоуправления.

Этим переменам сопутствовали другие важные изменения, касающиеся взаимоотношений государства и формирующегося городского сословия — посадских людей. Именно в середине XVI века получило законодательное закрепление такое важнейшее сословное право посадских людей, как монополия на занятие торговлей и ремеслом на территории города. Владения частных собственников на территории города сохранялись, но в них не могли жить торговцы и ремесленники. 91-я статья принятого в 1550 году «Судебника» устанавливала: «А торговым людем городским в монастырях не жити, а жити им в городских дворах, а которые торговые люди учнут жити на монастырех и тех с монастырей сводити». Хотя это установление и не удалось полностью осуществить на практике, его принятие стало важным шагом по пути формирования городского сословия. Существенно при этом, что за посадскими людьми признавалось право активно отстаивать монополию посадской городской общины на занятие торговлей и ремеслом. В описании города Серпухова 1552 года перечень монастырских дворов на территории города сопровождается следующим комментарием: «А которые городцкие люди торговые и мастеровые учнут в тех дворах жити и серпуховскому сотцкому и всем городцким людем тех людей ис тех дворов вывозити да сажати в свои старые дворы».

Существенные перемены произошли в середине XVI века в положении еще одного сословия русского средневекового общества — духовенства. Формирование этого сословия началось значительно раньше, чем формирование других сословий. Уже в домонгольской Руси сложилось довольно четкое представление, что «церковные люди» составляют особую общность, живущую по своему особому праву, подчиненную управлению и суду митрополита и епископов. Однако и к середине XVI века реального объединения всего духовенства в одно единое сословие не произошло. Еще и в это время значи-

тельная часть приходского духовенства и братия многих монастырей не подчинялись суду митрополита и епископов и не уплачивали налогов в их казну, будучи освобождены от этих обязанностей так называемыми «несудимыми грамотами» их светского сюзерена — великого князя (а затем царя). Решения созванного в начале 1551 года так называемого «Стоглавого собора» русского духовенства (в его работе активно участвовал и царь со своим окружением) положили конец подобной практике, а позднее епископы получили от царя грамоты, в которых подтверждалось их право суда над всем духовенством на территории их епархий. Хотя и это решение не было полностью реализовано на практике, само его принятие было важным шагом по пути освобождения духовенства от опеки государственной власти и его объединения в единую общность — сословие во главе с собственным руководством — духовной иерархией.

Одновременно решения Стоглава способствовали созданию и среди лиц духовного сословия институтов самоуправления. Правда, выборные представители приходского духовенства, так называемые «поповские старосты», существовали и до созыва собора, но теперь этот институт стал повсеместным и занял важное место во внутренней жизни духовного сословия и его взаимоотношениях с церковной иерархией. Не чиновники, назначавшиеся великим князем или епископом, а лица, выбранные самими священниками из собственной среды, наблюдали теперь за образом жизни духовенства и за тем, насколько правильно исполняются церковные обряды. Именно они должны были собирать налоги, уплачивавшиеся священниками в казну митрополита или епископа, принимать участие в работе суда вместе с судьями, которых назначали епископы, получив при этом право обжаловать их неправильные решения.

Все сказанное позволяет достаточно определенно судить о значении реформ 50-х годов XVI века в истории русского общества и государства. Если до этого времени Русское государство было патримониальной (вотчинной) монархией, при которой государство рассматривалось как родовая собственность (вотчина) государя, а власть находилась в руках тех лиц, которым передавал ее государь, то в 50-е годы XVI века был сделан важный шаг на пути к созданию в России сословного общества и сословной монархии. В таком обществе сословия представляли собой большие общности людей, не просто отличавшиеся друг от друга родом занятий и социальным положением, но обладавшие своей внутренней организацией и своими органами самоуправления. В их руки постепенно переходила значительная часть функций органов государственной власти на местах.

Таковыми сословиями монархия уже не могла управлять так, как она управляла многочисленными социальными группами, на которые делилось общество до образования сословий. Она уже не могла

им диктовать, а должна была с ними договариваться. Отсюда появление такого важного нового компонента политического строя, как собрания (носившие в разных странах названия парламента, генеральных штатов, сейма), на которых монарх должен был договариваться с выборными представителями сословий о решении различных вопросов. В 50-х годах XVI века были заложены определенные предпосылки для развития России по этому пути.

Достаточно широко распространено представление, согласно которому охарактеризованные выше реформы были направлены против знати и привели к серьезному ослаблению ее позиций. Ход рассуждений, который ведет к такому выводу, достаточно очевиден. В Русском государстве XVI века лишь знатность происхождения открывала путь к высоким государственным должностям. Поэтому уменьшение прав и объема власти, связанного с этими должностями, можно было бы рассматривать как показатель уменьшения силы и значения знати. Однако дело обстоит не так просто, и на вопрос о том, как реформы 50-х годов XVI века отразились на положении правящей элиты, нельзя дать однозначный ответ.

Итоги «боярского правления» оказались для знати попросту плачевными. Получив в свои руки на время всю полноту власти в государстве, боярство не сумело выработать какую-то согласованную программу действий. Оно было ослаблено соперничеством между отдельными боярскими кланами, а злоупотребления наместников и волостелей, как уже отмечалось, привели к тому, что деятельность знати стала вызывать недовольство не только горожан и крестьян, но и широких кругов дворянства.

В 50-е годы XVI века положение во многом изменилось к лучшему. Правящая элита сумела преодолеть конфликты между кланами и выработать согласованную программу действий. С устранением злоупотреблений наместников и волостелей (а затем и самих этих должностей) был устранен один из главных источников противоречий между знатью и стоявшими ниже на социальной лестнице слоями дворянского сословия. Соответственно и влияние знати на широкие круги детей боярских должно было усиливаться.

Формирующееся дворянское сословие в России XVI века, да и позже, имело сложную иерархическую структуру. На самом верху находилась группа княжеских и боярских родов. Лишь лица, принадлежавшие к этим родам, могли рассчитывать на занятие наиболее высоких государственных должностей. Из этой среды выходили и члены высшего государственного органа — совета при правителе — Боярской думы. Монополию знатных родов на власть сохраняла практика так называемого местничества. Государь мог назначить на высокую государственную должность любого из своих приближенных, но в случае, если его происхождение не соответствовало важному характеру должности, воеводы или наместники, которым предстояло слу-

жить с этим человеком, отказались бы от исполнения своих обязанностей. В среде знати существовала своя иерархия знатности; между отдельными лицами, семьями, родами постоянно вспыхивали столкновения из-за места на иерархической лестнице, но общая заинтересованность в сохранении коллективной монополии на власть способствовала сплочению этой группы.

Ниже этого слоя знати стояли дети боярские, входившие в состав «государева двора». Двор представлял собой своеобразное отборное войско, окружавшее монарха. По указу 1551 года тысяча «лучших» детей боярских из состава двора получила поместья в Московском и других близких к Москве уездах, чтобы, постоянно находясь близко от столицы, «они были готовы в посылки». Дети боярские, входившие в состав двора, получали назначения на более низкие военные и административные должности. В соответствии с этим до отмены кормлений лишь им наряду со знатью принадлежало право получать кормления и пользоваться доходами с них. В этой среде также существовала своеобразная иерархия знатности, хотя и выраженная менее ясно, чем в среде знати.

Наконец, на самой низкой ступени сословной лестницы стояли обычные дети боярские, которые несли службу в рядах своей уездной дворянской корпорации — «города», и получали время от времени денежное жалованье за свою службу.

Несмотря на сложную иерархическую структуру, можно говорить о единстве всего формирующегося дворянского сословия, которое проявлялось в том, что каждый сын боярский независимо от положения на социальной лестнице принадлежал к определенной уездной корпорации — «городу». В фрагментах списков членов двора 40-х годов XVI века даже представители наиболее знатных родов, начинавшие службу «стольниковыми» в непосредственном окружении монарха, связаны с определенными «городами»; все дети боярские, входившие в состав государева двора, обозначаются в текстах 50-х — начала 60-х годов как «выбор из городов», то есть как лица, «выбранные» из состава своих уездных объединений для службы в составе государева двора.

Таким образом, знать и стоящие ниже ее слои дворянского сословия объединяли тесные связи, которые, как представляется, стали в полной мере действовать именно после того, как реформы 50-х годов XVI века устранили главный источник разногласий между ними.

Поэтому, оценивая влияние реформ 50-х годов XVI века на положение знати, можно было бы сказать, что в итоге этих реформ вельможи как лица, представлявшие власть государства, утратили часть прав и влияния, но приобрели новый вес и значение как верхушка формирующегося дворянского сословия. С ростом роли и значения дворянских объединений в жизни страны знать, опираясь на их под-

держку, могла занимать по отношению к своему монарху гораздо более самостоятельную позицию, чем раньше.

Рассмотренные выше преобразования составляли лишь одну, хотя и весьма важную сторону реформ 50-х годов. Наряду с ними произошли серьезные перемены иного характера. В ряде европейских стран формирование сословий и возникновение органов сословного самоуправления сопровождались уменьшением, а то и фиксацией в определенном размере основных государственных налогов. В России же 50-х годов XVI века реформы, наоборот, сопровождались значительным ростом государственных налогов. Уже под 1547 годом летописец отметил: «Царь и великий князь велел дань имати с сохи 12 рублей, и оттого крестьяном тягота была великая». Если в первой половине XVI века денежные поступления в казну в пользу государства были сравнительно невелики и на крестьянах лежали, главным образом, разного рода отработочные повинности (наиболее тяжелой из них была поставка лошадей для ямской гоньбы), то теперь натуральные повинности были заменены денежными платежами и общий размер денежной дани в пользу государства увеличился в 4,5 раза. Был введен и ряд новых налогов, как, например, «полоняничные деньги», предназначавшиеся для выкупа людей из татарского плена. В первой половине XVI века владения многих представителей знати и больших влиятельных монастырей освобождались от уплаты главных государственных налогов (такое владение обозначалось словом тюркского происхождения «тархан»). В середине XVI века этому также был положен конец. В статье 43-й Судебника 1550 года было записано: «А торханных (грамот. — *Б.Ф.*) вперед не давати никому; а старые грамоты тарханные поимати у всех». Хотя, подобно ряду других решений, и это постановление не было полностью проведено в жизнь, большая часть тарханных грамот действительно была изъята.

Размер государственных доходов сильно увеличился и с отменой кормлений. За освобождение от власти наместников и волостелей население обязывалось уплачивать в государственную казну новый налог — «кормленный окуп». Размер его был весьма значительным. Для Двинской земли в 1556 году он был установлен в размере 20 рублей с сохи. В рассказе официальной летописи отмечено, что после решения о сборе такого налога царь «бояр же и велмож и всех воинов устроил кормлением, праведными уроки, ему же достоит по отечеству и дородству, а городовых в четвертой год, а иных в третьей год денежным жалованьем». Таким образом, собранные средства, как и раньше (до отмены системы управления с помощью кормлений), шли на содержание дворянского сословия, но получали эти средства бояре и дети боярские из государственной казны, что способствовало усилению зависимости дворянского сословия от государства.

Следует обратить внимание и на некоторые стороны политики

государства по отношению к создававшимся в конце 30-х — 50-х годах XVI века органам сословного самоуправления.

Уже при введении института губных старост были предприняты усилия, чтобы подчинить их деятельность руководству и контролю центральных органов управления. Сведения о выборах старост должны были посылаться в Москву, власти надлежало информировать и о судьбе имущества казненных за разбой людей. Наконец, в Москву можно было жаловаться на бездеятельность старост, их дурные поступки. В этом случае обещали «старосту казнити без милости». В своей работе старосты также должны были руководствоваться наставлениями, содержащимися в текстах губных грамот, а позднее подробными наказами, составленными в Москве.

Те же особенности государственной политики отчасти даже в более жесткой форме проявились и при создании органов земского самоуправления: за дурное, недобросовестное исполнение обязанностей земским судьям и старостам угрожали смертная казнь и конфискация имущества. Грамоты о создании органов земского самоуправления предусматривали, что все спорные дела между людьми разных волостей должны рассматриваться на суде в Москве.

Неудивительно поэтому, что создание органов сословного самоуправления сопровождалось расширением центральных органов управления и усложнением их структуры. Разумеется, и ранее в княжеских канцеляриях трудились своеобразные чиновники того времени — дьяки и подьячие. Название говорит о том, что первоначально в княжеской канцелярии, как и в княжеских канцеляриях других европейских стран, работали клирики — духовные лица, которые в силу своего образования лучше владели искусством письма. Ко второй половине XV века дьяки и подьячие были, как правило, светскими людьми. Постепенно в конце XV — первой половине XVI века отдельным дьякам или даже группам дьяков стали поручать определенные дела. Так, например, были дьяки, наблюдавшие за ямской гоньбой (организацией быстрого проезда гонцов с разными государственными поручениями, для чего устраивались особые станции — ямы, где можно было брать новых лошадей). Однако лишь с реформами 50-х годов возникли особые органы центрального управления, сначала называвшиеся «избами» (по особым помещениям, построенным для них в Кремле), а потом получившие название «приказов». К сожалению, лишь в исключительных случаях мы более или менее точно знаем время создания того или иного приказа. Так, известно, что в 1549 году «приказано посольское дело Ивану Висковатого, а был еще в подьячих». Иван Михайлович Висковатый стал первым главой Посольского приказа — ведомства иностранных дел в России XVI—XVII веков. В середине 50-х годов XVI века в документах упоминается «Поместная изба», которая занималась учетом и распределением поместий, и «Разрядная изба», занимавшаяся организацией

военной службы и назначением на военные должности. К середине 50-х годов XVI века относятся и первые упоминания о создании «Большого прихода», которому предстояло стать в дальнейшем главным финансовым учреждением страны. Для руководства и контроля за деятельностью губных старост в 1555 году было создано новое ведомство — Разбойная изба, сменившая бояр, «которым разбойные дела приказаны». Особые территориальные органы управления — «четверти» — после отмены кормлений занимались сбором налога «за наместничий доход», выплачивали из этих средств жалованье бывшим кормленщикам и осуществляли надзор за земскими органами самоуправления.

Увеличение государственного аппарата, усложнение его структуры, расширение его функций вели к увеличению роли и значения занятого в этом аппарате чиновничества, что со временем стало вызывать враждебную реакцию со стороны некоторых представителей знати. Так, в «Истории о великом князе Московском» с явной неприязнью упоминаются «писари же наши руския, им же князь великий зело верит, а избирает их не от шляхецкого роду, ни от благородна, но паче от поповичев или от простого всенародства». Слова Курбского красноречиво свидетельствуют о той силе и значении, которые приобрело чиновничество после реформ 50-х годов, хотя очевидна и их тенденциозность: наиболее видные дьяки происходили из добрых дворянских фамилий, а во главе целого ряда «изб» и в 50-е годы XVI века стояли бояре.

Как бы то ни было, создание приказов стало важным шагом по пути усиления роли государства в самых разных областях жизни русского средневекового общества. Наконец, следует отметить еще один важный аспект преобразований 50-х годов — осуществление комплекса мер, направленных на то, чтобы заставить сословия выполнять свои обязанности по отношению к государству.

Целый ряд таких мер был предпринят по отношению к дворянскому сословию. Уже приступая на рубеже 40 — 50-х годов XVI века к осуществлению реформ, правительство вынуждено было констатировать, что у него нет точных данных о размерах владений детей боярских и непонятно поэтому, какую службу можно спрашивать с этих владений. Эти трудности были устранены благодаря общему земельному описанию, проведенному в первой половине 50-х годов. Завершение писцовых работ совпало по времени с изданием «Уложения о службе», сообщение о котором сохранилось в рассказе официальной летописи. «Уложение» установило единую норму службы для всех представителей дворянского сословия: и вотчинников и помещиков — «со ста четвертей добрые угожей земли человек на коне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву конь». Чтобы выяснить, как дети боярские выполняют предписания «Уложения», в середине 50-х годов XVI века был проведен целый ряд смотров, на которые дети бо-

ярские должны были являться с боевыми слугами в полном вооружении. Особенно масштабным был смотр, проведенный в июне 1556 года в Серпухове во время сбора войска для войны с татарами. В нем принял участие сам царь, который «смотрел свой полк, бояр и княжат и детей боярских людей их всех, да уведает государь свое войско, хто ему как служит».

Все сказанное позволяет говорить о противоречивом характере реформ 50-х годов XVI века. С одной стороны, эти реформы содействовали формированию сословий средневекового общества как структур, автономных по отношению к государственной власти, со своими органами самоуправления, в руки которых перешла значительная часть власти на местах. С другой стороны, были сделаны важные шаги для расширения материальных возможностей государственной власти, укрепления ее аппарата управления. Противоречивость реформ отражала противоречия в положении и сознании боярства, знати, которая проводила эти реформы, — она воспринимала себя то как высший слой формирующегося дворянского сословия, заинтересованный в расширении его прав и привилегий, то как правящая, находящаяся у власти группа, отождествлявшая свои интересы с интересами государства.

С завершением реформ 50-х годов Русское государство оказалось на своего рода историческом перекрестке. Развитие могло пойти по пути дальнейшего расширения прав сословий, возникновения сословных органов общегосударственного характера и создания сословно-представительной монархии, но могло пойти и по иному пути — пути полного и всестороннего подчинения формирующихся сословий власти государства и его аппарата. Выбор пути в значительной мере зависел от лица, стоявшего в то время во главе Русского государства, — царя Ивана IV.

ВОСПИТАННИК СИЛЬВЕСТРА

Благодаря усилиям нескольких поколений исследователей собран достаточно богатый и разнообразный материал о преобразованиях 50-х годов, которые так заметно изменили и характер русской государственности, и положение различных социальных слоев русского общества. Имеющиеся в нашем распоряжении источники (и прежде всего официальная летопись того времени) позволяют очень конкретно представить внешнюю сторону жизни Ивана IV в эти годы. Царь лично участвовал в походах на Казань 1549/50 и 1552 годов (что ставил ему в заслугу даже такой его враг, как Курбский), принимал иностранных послов, постоянно присутствовал на заседаниях Боярской думы, выступал на церковных соборах. Без царя не принималось ни одно важное решение, и то, что на протяжении 50-х годов

было проведено так много серьезных реформ, явилось, несомненно, и его заслугой. Все эти материалы, однако, никак не позволяют судить о личном участии царя в происходящем, о его внутренней, духовной жизни в эти годы. Следовал ли царь мнению своих советников, проявлял ли сам инициативу или, наоборот, советникам приходилось постоянно преодолевать его противодействие? Ответить на эти вопросы имеющиеся материалы не позволяют. В очень подробном изложении официальной летописи 50-х годов лишь один раз говорится о решении, принятом самим царем: он лично возглавил войско в походе на Казань в 1552 году вопреки мнению некоторых советников, предлагавших царю остаться дома.

Очень узок круг и тех материалов, которые позволяли хотя бы сложным обходным путем составить представление о том круге идей и представлений о власти, которые воздействовали в конце 40-х — 50-х годах XVI века на сознание молодого правителя. Прежде всего речь должна идти о тех идеях и представлениях, которые отразились в сочинениях царского наставника — священника московского Благовещенского собора Сильвестра.

Позднее, в одной из редакций официального летописания, созданной в 70-е годы XVI века, Сильвестр был охарактеризован как всемогущий правитель Русского государства, подчинивший царя своему влиянию: «Бысть же сей священник Селиверст у государя в великом жаловании и в совете в духовном и в думном, и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никто не смеяше ни в чем же противиться ему ради царского жалования, указываше бо и митрополиту... и спроста реши всякие дела святительские и царския правяше и никто же смеяше ничтоже сътворити не по его велению, и всеми владаше обема властьюми, и святительскими, и царскими, яко же царь и святитель». Исследователи справедливо отмечают, что эта характеристика полна тенденциозных преувеличений. В частности, все, что мы знаем об отношениях Сильвестра с митрополитом Макарием, не позволяет даже предполагать, что в каком-то деле благовещенский священник мог что-то указывать главе церкви.

Вместе с тем деятельность Сильвестра далеко выходила за рамки того, что мог позволить себе рядовой священник, даже если бы он и являлся царским духовником. В этом плане весьма показательно, что один из наиболее знатных представителей московской аристократии (его род уступал по своему значению только близким родственникам царя по отцу — князьям Бельским и Мстиславским), князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, первый наместник покоренной Казани, нашел нужным обратиться к Сильвестру с просьбой о совете, как управлять покоренным краем, и Сильвестр написал ему подробные рекомендации по разным вопросам. Само послание Сильвестра заканчивалось предложением прочесть его текст «прочим государским воеводам... и священному чину и хрис-

тоименитому стаду». Все это дает основания говорить о Сильвестре как о человеке, пользующемся особым доверием царя (иначе казанский наместник не стал бы обращаться к простому священнику) и погруженном в обсуждение разных проблем конкретной политики. Очевидно, эти проблемы обсуждались им и в беседах со своим духовным сыном. Поэтому отраженные в сочинениях Сильвестра представления о положении и обязанностях правителя имеют для нашей темы особый интерес: именно этими представлениями должен был руководствоваться монарх в первые годы своего общения с Сильвестром.

Другой важный источник, который позволяет нам проникнуть во внутренний мир Ивана IV, — сам образ правителя, как он обрисован на страницах официальной летописи 50-х годов — так называемого «Летописца начала царства». По общему мнению исследователей, летопись составлялась при участии другого ближайшего сподвижника царя тех лет — Алексея Адашева. Однако нет сомнений, что первым ее читателем был сам царь, и образ, созданный летописцем, соответствовал тому образу, в котором царь хотел быть увиденным своими современниками.

И, наконец, третий источник — это уже неоднократно цитировавшаяся речь царя на Стоглавом соборе 1551 года. В ней мы находим высказывания самого Ивана о себе и своей власти. Они достаточно кратки, но свидетельства первых двух источников могут служить достаточным комментарием, который позволит раскрыть их смысл.

Сильвестр вряд ли приобрел бы такое сильное влияние на молодого монарха, если бы ограничился только призывами покаяться и исправить причиненное им зло, не давая никаких советов, как это сделать. Неудивительно, что целый ряд таких советов мы находим даже в послании, посвященном борьбе с «содомским грехом», хотя тема не требовала обстоятельного разговора об обязанностях правителя.

Сам текст послания открывается словами, в которых Сильвестр напоминает своему духовному сыну о его главных обязанностях как правителя: «Напязи и спей, царствуй, истины ради и кротости и правды».

Что Сильвестр понимает под «правдой», выясняется из последующего текста, обращенного к царю: «Престол твою правдою и крепостию и судом истинным утвержен есть». Таким образом, важнейшей обязанностью правителя является «справедливый», нелицеприятный суд. Подчеркивая важность этой обязанности правителя, Сильвестр писал, что сам премудрый Соломон «единого проси у Христа, еже в своем царствии разсудити людия своя в правду». Истинный праведный суд должен был уврачевать пороки общества, долгое время жившего в условиях беззакония, практиковавшегося боярскими правителями.

Истинный суд — это очень много, но это еще не все. Сильвестр, вероятно, хорошо знал слова Иоанна Златоуста, что «милость да без правды малодушество есть, а правда без милости мучительство есть». Не случайно в своем послании он нашел нужным указать молодому монарху на высокое достоинство человека, апеллируя к авторитету самого Христа, который называет своих учеников не «рабами», но друзьями. «Не стыдится бо Христос,— писал он, обращаясь к царственному читателю, — и братию нарицати нас». Поэтому наряду с «правдою» важнейшей чертой хорошего правителя является «кротость». Уподобляя Ивана IV, как избранного Богом монарха, библейскому царю Давиду, Сильвестр одновременно пояснял, что Давид «от естества бяше незлобив, прост и кроток и благодушен и чист». Такое уподобление было для Сильвестра совсем не случайным. Характерно, что он снова вернулся к этому сравнению в своем послании князю Александру Горбатову. Давид, писал он, заняв трон после смерти преследовавшего его Саула, «не точию не уби никого же от рода его, но и множае... вяшшее милованье преподает» и за это был вознесен в похвалах всего народа. Так и Иван IV оказал милость сыновьям побежденных казанских царей, щедро наградив их и допустив их к своей царской трапезе. «Велико дело содела благочестивый великий царь, еже любити сыны врагов своих». Таким образом, последовать Давиду царь должен был прежде всего в «кротости», которая находила свое выражение, в частности, в милости по отношению к врагам. Уже на этом примере видно, что подробные наставления Сильвестра казанскому наместнику проливают свет на более краткие и сжатые высказывания в его послании, обращенном к царю. Сильвестр неоднократно указывает казанскому наместнику на необходимость оказывать «милость» подвластным людям. «Аще хошеши о себе Бога милостива, милостив буди о послушных ти сам». «Тако ж, господине мои, князи и властели, — читаем в ином месте, — милование и заступление и правду покажите на нищих людех».

Таким образом, «правда» (нелицеприятный, праведный суд) и «кротость» (или милость) — вот те средства, с помощью которых правитель должен был установить порядок в своем государстве и исцелить общество от его моральных недугов.

Сильвестр был не единственным человеком, наставлявшим в те годы Ивана IV. В 1548 году и Максим Грек послал митрополиту для передачи царю свои наставления — «Главы поучительны начальствующим правоверно», а затем и еще одно послание, в котором развивались некоторые из мыслей, заключенных в «Главах». Многое в высказываниях греческого книжника находило прямую аналогию с тем, чему учил молодого царя Сильвестр. Это не должно удивлять. Обоих современников, по-видимому, связывали дружеские узы. Сохранилось письмо, которое Максим Грек адресовал «во искусстве и разуме боговдохновенных писаний изящному разсудителю господину Селивест-

ру и благодетелю моему». Не исключено, что и свои «Наставления» Максим Грек написал по просьбе благовещенского священника.

Ссылаясь на авторитет «Менандра Философа» (под этим именем скрывался автор знаменитых греческих комедий эпохи эллинизма, но люди Средневековья об этом не знали), он писал, что правитель, желающий достигнуть славы и долговечности своего царства, должен, прежде всего, быть носителем «правды», а «правда», объяснял ученый афонец, это — «прав суд, иже не на лице тяжущих смотрит, ниже мзды приемлет». Во-вторых, он должен вести «чистую жизнь», подчиняя свои страсти действиям разума, и в-третьих, ему должна быть присуща «к подручником кротость растворенна с устрашением государским на исправление их, а не на погубление». «Иже трети сими добродетельми править жизнь свою, суще воистину царь православен».

Царь, писал Максим Грек, должен править «правдою и целомудрием, смыслом же, мужеством, кротостию и щедротами, благочестием же и человеколюбием». Благоверный царь стремится в своих деяниях уподобиться «высшему царю» — Богу, «всякою правдою, человеколюбием же и кротостию, яже к подручником».

Из этих общих моральных наставлений вытекали некоторые уже практические советы. «Такожде и сушая у тебе пресветлыя князи и боляре и воеводы преславныя и добляя воины и почитай, и бреги, обильно даруй, их бо обогащая, твою державу отвсяду крепиши и отражаеши».

Такому идеальному образу на страницах писаний Максима Грека противостоял образ правителя, который занят «неправдою и хищением чужих имений и стяжаний». Такой правитель приведет к гибели свое государство. Сам Бог будет мстителем за тех обиженных, чье имущество присвоит такой правитель. Доказывая правильность своих советов, греческий книжник обращался к опыту истории. Бог возвысил персидского правителя Кира, хотя и идолопоклонника, «за превеликую правду и кротость и милосердие его к подручником своим», которые называли Кира своим отцом. А на православную Византийскую империю пал Божий гнев, так как ее последние правители «хищаху несправедно имения подручников, презираху своя боляры в скудости и лишении потребных живуще». Эти суждения «премудрого» греческого книжника явно оказали воздействие на молодого правителя. Выступая перед Стоглавым собором в начале 1551 года, он говорил о причинах гибели великих царств прошлого «ови за гордость, и ины за братоненавидение и за насилие ко своим».

В хоре авторитетных наставников звучал и голос самого главы русской церкви митрополита Макария. В 1552 году он писал царю: «Да подшися сохранить сия еуаггельския четыре заповеди: храбрость, мудрость, правду, целомудрие и потом суд праведный и милость согрешающим».

Эти рекомендации целесообразно соотнести с тем образом моло-

дого царя, который выступает на страницах летописных текстов того времени. Наиболее ранний из них — рассказ архимандрита Новоспасского монастыря Нифонта о походе на Казань в 1550 году. В этом походе, по его словам, царь «не яко царь учинися, но яко чадолюбивый отец всех людей брегоша сам, а егда кто от глада изнемог, он же повеле их от своего корму питати». Несомненно, создавая такой образ государя, влиятельный и близкий ко двору автор изображал Ивана IV таким, каким тот хотел себя видеть.

В еще большей степени это можно утверждать относительно образа государя, созданного на страницах «Летописца начала царства» — официальной летописи, составленной по заказу самого царя.

На страницах «Летописца» царь Иван IV выступает как правитель, глубоко осознающий свою ответственность за судьбы подданных. В его молитве, обращенной к Богу, говорится о возложенной на него Богом обязанности «еже пасти» своих подданных «от всех зол находящихся на ны и всякая нужа их исполняти: бо сей есть пастырь добрый, иже душу свою полагает за овця». Именно желанием положить душу за своих подданных, добиться их избавления от татарской опасности и освобождения тех, что еще томятся в татарском плену, объясняется в летописи решение царя лично возглавить поход на Казань. Именно в этом контексте на страницах летописи появляются слова, что царь «еще просит у Бога и всем свободы».

Не один раз летописец подчеркивает, как щедро царь жалует своих воинов: так что «в предних (то есть более ранних, древних. — Б.Ф.) летописцах таких расходов не пишет», то есть в своей щедрости к воинам царь превосходит своих предшественников.

Огромны по размеру дары, которыми он оделяет воевод и воинов после взятия Казани — собольи шубы, бархатные ткани, кубки, кони, доспехи — всего на 48 тысяч рублей, «оприч вотчин, поместей и кормленей».

Но щедрость к воинам — лишь одно из качеств, украшающих Ивана IV. Он предстает как государь «целомудренный в разуме (то есть господствующий над своими страстями, подчиняющий их разуму. — Б.Ф.), храбрый в воинстве, светлоприветливый и податный к поручным ему от Бога». В военном лагере под Казанью после прибытия туда Ивана IV «людие все радуются и прославляют Бога, еже дарова им такова государя благочестива и благоразумна и долготерпелива к согрешающим».

Эти идеальные качества правителя не только декларируются, но и раскрываются на конкретных примерах. Наибольший интерес представляет рассказ о том, как во время сбора войска в Коломне перед выступлением в поход на Казань к царю обратились с «челобитьем» новгородские помещики. Они заявили, что находятся на службе в Коломне уже с весны и не в состоянии идти в далекий поход на Казань. Мы помним, как совсем недавно молодой царь реа-

гировал на не угодные ему «челобитья» новгородских пищальников и псковских горожан. На сей раз все было иначе. Хотя «челобитье» новгородских помещиков причинило государю «немалую скорбь», он предложил им самим решить, кто добровольно пойдет с ним под Казань, обещая тех «жаловать и под Казанию перекормити», а тем, кто не в состоянии идти далее в поход, разрешил оставаться в Коломне. Более того, царь предложил новгородским помещикам рассказать о своих «нужах, да вперед уведает государь всех людей своих недостатки».

Итак, на страницах летописи выступает царь, подчиняющий свои страсти голосу разума, готовый жертвовать своей жизнью ради блага подданных, щедро жалующий их за заслуги, внимательный к их нуждам и снисходительный к их проступкам. Очевидно сходство этого образа с тем образом идеального правителя, который выступает в адресованных царю наставлениях. Царь явно желал походить на этот образ, желал, чтобы в нем видели такого правителя.

Духовные лица — наставники царя, призывая его к «правде» и «кротости» в отношениях с подданными, доказывали, что тем самым он совершает дело, угодное Богу, который возвысит его и его государство. Они совсем не касались вопроса, как будут в этом случае складываться отношения между монархом и его подданными.

Ответ на этот вопрос мы находим на страницах официальной летописи. Рассказав о небывалой ранее, не отмеченной «в предних летописцах» щедрости правителя к своим воинам, летописец продолжает: «И видев такую его любовь и жалованье, и на всяк час попечение о людех, порученных ему от Бога, все почали тшиться как за Бога за него государя, пострадати». В ином месте после рассказа о том, как царь заботится о «порученных ему от Бога», снова читаем: «на потеху и на ловы (охоту — любимое развлечение средневековых воинов. — Б.Ф.) не так текут люди, яко же к смерти за благодать Божию и государя нашего любовь и урядство». Стоит отметить в этой связи и концовку рассказа о «челобитье» новгородских помещиков. Когда царь обещал их «жаловать» и стал расспрашивать об их «нужах», то они добровольно согласились идти в поход, полагаясь на заботу царя о них: «государь наш промысленник, zde и там нами промыслит».

Таким образом «кротость» государя и его «жалованье» своим подданным приводят к тому, что подданные самоотверженно выполняют приказы своего государя и ради этого готовы пожертвовать своей жизнью.

Так представлял себе идеальные отношения монарха и подданных составитель официальной летописи — Алексей Адашев; так, очевидно, готов был смотреть на них и заказчик летописи — молодой царь.

При такой гармонии интересов было вполне естественно, что мо-

наrx обращается за советом к подданным и привлекает их к участию в решении государственных дел. В этом смысле очень интересны некоторые пассажи в наставлениях Сильвестра казанскому наместнику. Он предлагал князю Горбатову несмотря на его блестящие победы над татарами «не превозноситься мыслию». «Господине, — писал он, — тщися мудрость жительницу имети, но ту стяжавшаго с любовью всякою почитай». В другом месте своего послания Сильвестр советовал наместнику и его подчиненным: «Печалуйтесь о общем народе... миром и любовью и совещанием». Иными словами, наместник должен окружать себя мудрыми людьми и советоваться с ними при решении дел.

В сочинениях Курбского то, что Сильвестр рекомендовал наместнику, относится уже к особе самого царя: «Царь, аще и почтен царством, а дарований которых от Бога не получил, должен искати добраго и полезнаго совета не токмо у советников, но и у всеродных человек».

Правда, такие слова Курбский написал уже в 70-х годах в вынужденном изгнании, но в середине столетия сам молодой царь был близок к подобным взглядам. В своей речи перед Стоглавым собором, обращаясь к присутствующим, царь говорил: «И вы, господие и святые святители и весь священный собор, тако ж и братия моя, вси любимии мои князи и бояре, и все православное христианство помогайте мне и пособствуйте».

Прежде всего наставники предлагали царю искать советы и поучения у митрополита и епископов. В своем послании Максим Грек так писал Ивану IV о лицах, стоявших во главе русской церкви: «Сие убо почитай их и бреги и полезная богохранимой державе твоей советующих послушай, сих бо слушая, самого Спаса и Царя твоего Иисуса Христа слушаешь». В соответствии с этими советами молодой монарх, в первую очередь, искал совета и поддержки у церкви. По благословению митрополита и святителей царь приказал начать работу над Судебником, «чтоб был праведен суд», а когда работа над Судебником была завершена, представил его на рассмотрение церковных иерархов: «Се судебник перед вами... прочтите и разсудите».

В своей речи перед Стоглавым собором он просил собравшихся отцов: «Мене, сына своего, наказуйте и просвещайте на всяко благочестие... и мы вашего святительского совета и дела требуем и советовать с вами желаем». При этом царь зашел даже дальше того, что советовали его наставники. Называя отцам собора имена почитаемых святых, подвергшихся гонениям византийских императоров — иконоборцев, но не отказавшихся от поклонения иконам, царь напоминал об их обязанности «никако не послушати» и «даже смерти восприяти» от лиц, облеченных властью, если те потребуют что-либо делать «не по правилам святых отец». Если он захочет совершить что-

либо подобное, говорил царь, обращаясь к духовным иерархам, «вы о сем не умолкните, аще преслушник буду, воспретите мне без всякого страха».

В свете приобретенных им представлений о роли и обязанностях православного царя Иван IV готов был воспринимать некоторые поступки, совершенные его предшественниками, как дурные, не соответствующие этому идеалу, и задумывался над тем, как исправить причиненное этими поступками зло.

Андрей Михайлович Курбский, молодой аристократ из рода Ярославских князей, только начинавший в начале 50-х годов свою военно-административную карьеру, но уже тогда принадлежавший к кругу интимных друзей царя, записал высказывания монарха, относящиеся к этому времени: «Аз от избиянных от отца и деда моего, одеваю гробы их драгоценными оксамиты и украшаю раки неповинные избиянных праведных».

Наставники могли быть довольны своим воспитанником. Он прилежно усвоил их уроки и старался действовать в соответствии с их советами. Один из этих наставников, Максим Грек, не замедлил вскоре выразить свое удовлетворение, прибегнув при этом ко всему стилистическому многообразию византийской риторики: «Утишила же и при тебе, благовернейший самодержце наш, — писал он, обращаясь к Ивану IV, — от различных злобы и неправодельства велеименитая страна вся Русь... славные князи и велможи възлюбят всякую правду, повинующеся твоим праведнейшим уставом и велением, взирающее на твое человеколюбнейшее изволение, якоже на доброту одушевленную и образ самыя божественныя благодати».

Но доволен был и монарх. Наставники обещали, что, если он последует их советам, Бог проявит свою милость по отношению к нему и его земле. Главным свидетельством такой милости должны были стать победы русской рати «над погаными». «Не изнемогут, — писал Сильвестр царю, — оружии твои... и грады поганных тебе не затворятца». И действительно вскоре после того, как царь последовал этим советам, русские войска овладели Казанью. И разве успешное начало реформ и самоотверженность, проявленная всеми (от вельмож до простых воинов) в трудной и тяжелой борьбе за Казань, не свидетельствовали о том, что «правда» и «кротость» позволили монарху действительно объединить подданных вокруг своей особы и побудить беспрекословно выполнять его повеления?!

Оценивая прошедшее в исторической перспективе, можно констатировать, что и молодой монарх, и его близкий друг Адашев — создатель «Летописца начала царства» заблуждались, связывая достигнутые успехи прежде всего с правильной линией поведения, избранной монархом по отношению к его подданным. Сплочение правящей элиты вокруг трона было результатом потрясений конца 40-х годов XVI века, убедивших ее в необходимости реформ, чтобы избежать на-

двигающейся катастрофы. Небывалая же консолидация всего общества в годы Казанской войны (официальный летописец имел все основания вложить в уста царя слова, что долгожданная победа была достигнута «всего нашего воинства страданием и всенародною молитвою») вызывалась тем, что все общество объединилось для решения важнейшей национальной задачи.

Как только эта задача была решена и одновременно достигнута определенная стабилизация внутривластного положения, противоречия между отдельными частями общества и между группировками в составе правящей элиты не замедлили проявиться, и идеальная модель отношений монарха и подданных, в реальность и действенность которой молодой царь поверил, оказалась в остром противоречии с действительностью.

НА ПУТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРАВЛЕНИЮ

Первый биограф Ивана Грозного, князь Андрей Михайлович Курбский, писал, что истинное отношение царя к своим советникам проявилось на третий день после взятия Казани, когда, разгневавшись за что-то на одного из вельмож, Иван произнес: «Ныне оборонил мя Бог от вас!» Однако это сообщение Курбского не подтверждается какими-либо другими источниками, и в сочинениях царя нет упоминания об этом эпизоде. Очевидно, что если у Ивана IV и вырвались в тот момент какие-то гневные слова, то он не придавал им значения и забыл о них. По мнению же самого царя, в истории его отношений с наставниками и советниками переломное значение принадлежало событиям, имевшим место во время тяжелой болезни царя в марте 1553 года.

Алексей Адашев, продолжая во второй половине 50-х годов текст «Летописца начала царства», ограничился лишь осторожным намеком на то, что произошло, сопроводив сообщение об «огневой болезни» царя цитатой из Евангелия: «Поразисте пастыря, разыдутся овца». Лишь много позже, в 70-х годах XVI века, при редактировании официальной летописи в нее был включен подробный рассказ о случившемся. Включению этого рассказа в летопись придавалось особое значение. Не случайно авторы обращали внимание читателя на то, что именно с болезни царя начались те бедствия, которые постигли Россию в последующие годы: «оттоле бысть вражда велия государю с князем Владимиром Андреевичем (двоюродным братом царя, удельным старицким князем. — Б.Ф.), а в боярех смута и мятеж, а царству почала быти во всем скудость». Несомненно, это было сделано по желанию самого Ивана IV. Встречающиеся в рассказе ссылки на то, что рассказали царю после его болезни Иван Петрович Федоров и Лев Андреевич Салтыков, позволяют полагать, что и само конкретное

содержание рассказа исходило от царя, отражая его восприятие происходивших событий.

Помимо этого подробного рассказа мы располагаем и другим, более кратким сообщением о происшедшем, исходившим также от царя. В первом послании Курбскому царь писал, что во время его болезни бояре во главе с Сильвестром и Адашевым «хотеша воцарити... князя Володимера, младенца же нашего, еже от Бога данного нам, хотеша подобно Ироду погубити».

Так что же произошло в марте 1553 года?

Чтобы рассказ об этом был понятнее, следует отметить, что для русского двора середины XVI века, как и для любого другого европейского двора того времени, была характерна постоянная борьба отдельных групп знати за степень участия во власти и за влияние на государя. В условиях, когда монарх уверенно выступал в традиционной роли верховного арбитра в отношениях между этими группами, такая борьба протекала в скрытой форме, но когда монарх (по тем или иным причинам) не мог выполнять эту роль, трения вырывались наружу. Это и произошло во время царской болезни.

Царь заболел 1 марта 1553 года. Болезнь была очень тяжелой: царь, по выражению летописи, «мало и людей знаяше», то есть часто находился в беспамятстве. Не исключали, что он скоро умрет. Поэтому было принято решение составить завещание и привести бояр, а также князя Владимира Андреевича, ближайшего родственника царя, к присяге на верность его наследнику.

Этим наследником был первенец Ивана IV, царевич Дмитрий, родившийся лишь за несколько месяцев до болезни отца, в октябре 1552 года, во время возвращения царя из казанского похода. Было ясно, что пройдет немало лет, прежде чем он сможет сам заняться государственными делами. Возникал вопрос: кто же будет править государством от его имени? В этих условиях трения между разными группировками бояр не замедлили проявиться.

Принесение присяги кругом наиболее близких советников царя — членов «ближней думы» — бояр и думных дворян — Алексея Адашева и Игнатия Вешнякова прошло без каких-либо трудностей. Но когда на следующий день попытались привести к присяге остальных членов Боярской думы, то эта попытка встретила сопротивление. Отец царского любимца, окольничий Федор Григорьевич Адашев, заявил: «Ведает Бог да ты, государь, тебе, государь, и сыну твоему царевичу Дмитрию крест целуем, а Захарьиным нам, Данилу з братию, не служивати; сын твой государь наш, еще в пеленицах, а владеть нами Захарьиным, Данилу з братьею, а мы уж от бояр до твоего возрасту беды видели многия». Когда после этого ближние бояре, уже присягнувшие наследнику, стали настаивать на присяге, то другие бояре «с ними почали браниться жестоко, а говоречи им, что они хотят сами владети, а они им служитьи и их владения не хотят. И бысть

меж бояр брань велия и крик и шум велик, и слова многие бранныя». Очевидно, что при этом проявилось скрытое соперничество группировок знати, и в частности недовольство чрезмерным возвышением Захарьиных, родственников царицы Анастасии.

Принадлежавшие к одному из наиболее знатных московских боярских родов родственники царицы имели, конечно, право на занятие важных государственных должностей, но их стремительное возвышение в конце 40-х — начале 50-х годов было связано с женитьбой царя 3 февраля 1547 года на дочери Романа Юрьевича Захарьина, Анастасии. Особенно быстро вознесся брат царицы Данила Романович. Накануне царской свадьбы он стал окольничим, уже в марте 1547 года занял один из важнейших государственных постов — пост дворецкого Большого Дворца, а весной 1548 года получил боярский сан. После взятия Казани он, дополнительно к своей важной должности, получил и пост казанского дворецкого. При ведении переговоров о перемирии с Великим княжеством Литовским в 1552—1553 годах литовские паны-рада (члены совета при великом князе Литовском, аналогичного русской Боярской думе) обращались к Даниле Романовичу как к одному из первых вельмож государства. Возвышен был и двоюродный брат Данилы Романовича Василий Михайлович Юрьев. Летом 1547 года он получил важный пост тверского дворецкого, а не позднее начала 1549 года также стал боярином. Влияние на царя, которым пользовались Захарьины, стало вызывать недовольство еще до того, как царь заболел. В «Истории о великом князе Московском» Курбский отметил, что после взятия Казани, когда бояре стали советовать царю остаться до весны в завоеванном городе, он не принял их предложения, «а послушал совета шуры своих», предлагавших царю скорее вернуться в Москву. Среди «ближних бояр», первыми присягавших на верность наследнику, Захарьины и их родственники преобладали (боярин Иван Васильевич Шереметев принадлежал к тому же роду, что и Захарьины, а боярин Михаил Яковлевич Морозов и Василий Михайлович Юрьев были женаты на родных сестрах), поэтому на этом первом этапе присяга и прошла без затруднений. Таким образом, перспектива сосредоточения власти в руках Захарьиных в случае смерти царя представлялась вполне реальной.

По существу, требования, выразителем которых стал несколько неожиданно не кто-либо из «первых бояр», а сравнительно недавно вошедший в состав Думы незнатный Федор Адашев, сводились к созданию регентского совета, в котором были бы равномерно представлены разные группировки знати. Это могло предотвратить новые «смуты», характерные для времени «боярского правления», когда та или иная группа знати хотела сосредоточить в своих руках всю полноту власти. В конце концов, после резких споров в присутствии большого государя, бояре принесли присягу его наследнику.

Параллельно со спорами в Боярской думе происходили другие

события, представлявшие для судьбы царской семьи гораздо большую опасность. Так как младший брат царя Юрий был глухонемым и явно неспособным к управлению государственными делами, то в случае смерти малолетнего царевича законным наследником трона должен был стать его двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий. В предшествующие годы его отношения с царем были вполне доброжелательными. В случаях длительного пребывания царя за пределами Москвы двоюродный брат неоднократно заменял его при решении государственных дел. Вместе с Иваном IV Владимир Андреевич участвовал в 1552 году в походе на Казань.

Однако когда царь заболел, Владимир Андреевич и его мать, княгиня Евфросиния, «сбрали своих детей боярских (то есть военных вассалов с территории своего Старицкого княжества. — *Б.Ф.*) да учили им давати жалование, денги». «Ближние» бояре выразили возмущение тем, что князь «жалует людей» во время царской болезни. Тогда старицкий князь и его мать «почали на бояр негодовати и кручинитися», а бояре перестали допускать старицкого князя к больному царю. Все это еще не свидетельствовало о наличии какого-то «заговора». Старицкий князь, конечно, знал, что сразу после смерти Василия III Боярская дума арестовала и заключила в тюрьму его дядю, брата великого князя Юрия, опасаясь его притязаний на трон в малолетство наследника, и мог поэтому принимать меры по обеспечению своей безопасности с помощью военных слуг. Однако когда после присяги бояр было предложено принести присягу и князю Владимиру Андреевичу, возникли трудности: князь первоначально отказался это сделать (хотя был затем принужден «ближними» боярами), а его мать отказалась приложить к «целовальной грамоте» своего сына его печать. К ней пришлось трижды присылать представителей царя. При этом княгиня не скрывала, что не считает действительными обязательства, данные под давлением («что то, де, за целование, коли невольное»), и «много речей бранных говорила». Все это позволяло подозревать, что Владимир Андреевич не хотел принесением присяги затруднить себе возможность занять при благоприятных обстоятельствах русский трон.

Позднее из разговоров с некоторыми из приближенных царь выяснил, что ряд бояр — представителей княжеских родов, недовольных усилением влияния Захарьиных, высказывались в том смысле, что «служить» князю Владимиру Андреевичу гораздо лучше, чем подчиняться Захарьиным. Царю также стало известно, что один из его ближних бояр, князь Давыд Федорович Палецкий, близкий родственник царской семьи (на его дочери был женат брат царя Юрий), несмотря на принесенную присягу, вел тайные переговоры со старицким князем и его матерью. Он обещал «служить» Владимиру Андреевичу и не препятствовать его возведению на трон, если он выделит Юрию удел, который назначил сыну Василий III в своем завеща-

нии. В сложившейся ситуации некоторые из приближенных царя предпочли сказатьсь больными и принесли присягу лишь через несколько дней, когда стало ясно, что царь поправляется.

Таким образом, из самого рассказа, записанного под диктовку царя, достаточно ясно следует, что никакого заговора в пользу Владимира Андреевича не было. Дело не пошло дальше самых общих разговоров, да и далеко не все бояре, выступавшие против присяги, были сторонниками старицкого князя. Из рассказа также никак не следует, что Сильвестр и Адашев стояли во главе недовольных бояр. Напротив, очевидно, что никакой роли в событиях они не сыграли. Алексей Адашев принес присягу вместе с членами «ближней думы», и в дальнейшем о каких-либо его действиях ничего не известно. Сильвестр же пытался убедить бояр допустить Владимира Андреевича к больному царю («почто вы ко государю князя Володимера не пускаете, брат вас, бояр, государю доброхотнее»), но попытка эта не имела успеха. Да это и понятно. Влияние и Адашева, думного дворянина, и простого священника Сильвестра было связано с их близостью к царю. Если бы даже они и хотели, они не могли повлиять на бояр в ситуации, когда решался вопрос о том, что будет происходить после смерти их благодетеля.

Нет никаких сомнений в том, что происшедшие события оказали сильное влияние на молодого монарха, коль скоро он нашел нужным внести их подробное описание в официальную историю своего царствования. Гораздо труднее ответить на вопрос, каково было это влияние и к каким выводам пришел в то время царь, размышляя над происшедшим. На первый взгляд, сделать это нетрудно, опираясь на содержание речей, которые, согласно этому рассказу, царь произносил перед боярами, отказывавшимися приносить присягу.

По словам царя, если бояре отказываются приносить присягу, то, следовательно, у них «иной государь есть». Тем самым они изменили своей присяге и погубили свои души. Затем, обращаясь к верным боярам, царь призывал их: «Не дайте бояром сына моего извести никоторыми обычаи, побежите с ним в чужую землю, где Бог наставит». Одновременно царь обратился и к Захарьиным: «А вы Захарьины чего испужалися? али чаете бояре вас пощадят? вы от бояр первые мертвецы будете и вы б за сына за моего и за его мать умерли, а жены моей на поругание боярам не дали!»

После этого «государского жестокого» слова бояре «поустрашилися» и принесли присягу. В этих высказываниях царь выступает как человек, непримиримо враждебный боярам и сам уверенный в их враждебности, вплоть до убеждения, что борьба с ними может привести к гибели его сторонников и бегству его наследника в «чужую землю». Однако, как справедливо отметил один из глубоких знатоков эпохи С. Б. Веселовский, эти слова царя находятся в глубоком противоречии со всем, что известно о его отношениях со своим окруже-

нием во второй половине 50-х годов XVI века. Перед нами, очевидно, вымыслы, возникшие в сознании царя много позже, в эпоху острых конфликтов эпохи опричнины, когда у него, действительно, возникали опасения, что ему самому придется бежать в чужую землю. В то время события весны 1553 года стали восприниматься царем как один из примеров боярской «крамолы». Царю стало казаться, что уже тогда ему это было ясно, и в историю своего царствования он нашел нужным внести поучительный рассказ о том, как он усмирил такую крамолу своим «жестоким словом». Именно так, по мнению Ивана второй половины царствования, должен был поступать в подобной ситуации «истинный государь». В действительности же роль тяжело больного монарха во всем происходившем во время его болезни была гораздо более скромной.

Можно, однако, понять, почему эта довольно банальная история из сферы дворцовых интриг, к тому же не имевшая никаких серьезных последствий, произвела сильное впечатление на молодого правителя.

Он всерьез поверил советам своих наставников и друга, что «кротостию» и «правдой» сумеет обеспечить себе верность подданных, добиться их сплочения вокруг трона. Следуя этим советам, он не скупился на милостивые слова и щедрые пожалования, и вот, стоило царю заболеть, обнаружился целый клубок интриг в его близком окружении. Хотя в то время, как представляется, у царя еще не было оснований для каких-то личных претензий к Сильвестру и Адашеву, их советы с этого времени царь перестал воспринимать как истину в последней инстанции.

Первой реакцией Ивана IV на происшедшее стало желание на время удалиться подальше от своего пропитанного интригами окружения. Именно поэтому царь так упорно настаивал на своем намерении отправиться сразу по выздоровлении на богомолье в Кириллов монастырь. По свидетельству Курбского, когда царь по пути на богомолье остановился в Троице-Сергиевом монастыре, проживавший там на покое Максим Грек советовал ему не ездить в далекое путешествие, а лучше позаботиться о семьях воинов, погибших при взятии Казани, но царь настоял на своем. Проникнуть в переживания царя во время его пребывания в Троице-Сергиевом монастыре позволяет текст повести о взятии Казани, написанной троицким келарем Адрианом Ангеловым до возвращения царя из его путешествия на север. В введении к «Повести» автор писал, что о многом из того, что произошло под Казанью, он «слышати сподобихся от самодержца и благочестивого царя». По-видимому, под впечатлением этих рассказов троицкий келарь внес в свою повесть пространный текст о взаимоотношениях царя и его подданных. В его начальной части читаются слова, обычные для памятников 50-х годов, об обязанностях правителя спасать своих подданных, «иже от зол, находящихся на ны и всякия нужда их исполняти». Но далее текст продолжается словами

царя об обязанностях подданных: им подобает «имети страх мой на себе и во всем послушливым быти» и «страх и трепет имети на себе, яко от Бога ми власть над ними и царство приемше, а не от чело- век». Утверждение, что подданные в ответ на заботу о них правителя должны беспрекословно подчиняться его власти, установленной самим Богом, показывает, в каком направлении шли размышления царя о себе и своих подданных после событий, очевидцем и участником которых он был.

На пути в Кириллов, в Николо-Песношском монастыре, у Ивана IV состоялась встреча, которая, по мнению Курбского, оказала на царя сильное влияние. Здесь царь встретился с одним из советников покойного отца Вассианом Топорковым. Племянник одного из наиболее почитаемых в середине XVI века деятелей русской церкви, Иосифа Волоцкого, он получил от великого князя коломенскую кафедру в том самом 1525 году, когда был послан в заточение за отрицание монастырского землевладения Максим Грек. В 1542 году, после захвата власти Шуйскими, Вассиан был сведен с кафедры и доживал свои дни на покое в Песношском монастыре. Встреча, возможно, была и случайной, но совсем не случайным представляется вопрос, который задал царь, посетив старца в его келье: «Како бы могл добре царствовать и великих сильных своих в поспешестве имети?» На что старец ответил: «И аще хочеш самодержец быти, ни держи собе советника ни единого мудрейшого собя». Курбский был уверен, что именно после этого разговора царь превратился в противника своих вельмож и начал истреблять их. Обыгрывая фамильное прозвище епископа, он писал, что тот, толкнув царя к таким мыслям, стал не малым топорком, а большой секирой, отсекавшей головы многих благородных и славных мужей «Великой Руси».

Как представляется, Курбский явно преувеличивал. Разговор произвел на царя впечатление, он обсуждал его с людьми из своего окружения, откуда о нем и узнал Курбский. Однако в обширном литературном наследии Ивана Грозного имя Вассиана Топоркова не упоминается ни разу, да и нигде в сочинениях царя не встречаем утверждения, что правитель должен быть обязательно умнее своих советников. Показательно, однако, что у старого советника своего отца царь спрашивал, как добиться повиновения знати. Очевидно, под влиянием событий, происшедших во время его болезни, царь начал думать, что для достижения этой цели недостаточно тех советов, которые ему давали Максим Грек и Сильвестр.

Приехав, наконец, в Кириллов, царь оставил жену с маленьким сыном в обители и поехал далее — в «Ферапонтов монастырь и по пустыням». В далеких уединенных северных обителях царь находил себе отдых в мире, далеко от придворного быта с его двоедушием и интригами. Стремление проводить время в стенах обители постепенно становилось важной чертой его образа жизни. Однако в этом ска-

зывалось не только желание на время уйти от мирских забот. Общежитийный монастырь, в котором у монахов отсутствовали особое имущество и особые занятия, в котором весь распорядок жизни подчинялся нормам устава, определяемым суровой волей настоятеля, чем дольше, тем все больше становился для царя идеальным образцом организации человеческого сообщества. Как увидим далее, в годы опричнины Иван IV прямо обратился к такому образцу при создании своего особого опричного двора.

В июне 1553 года царь вернулся в Москву. На обратном пути произошло трагическое событие: в реке Шексне утонул малолетний наследник трона царевич Дмитрий — кормилица уронила ребенка в воду, когда Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы вели ее по сходням на судно. То, что Юрьевы сопровождали царя в поездке, ясно говорит, что они продолжали пользоваться его расположением.

В Москве к царю обратились митрополит и другие церковные власти с сообщением о появлении в Москве ереси и о том, что необходимо провести розыск «откуда сие зло изливается».

Середина XVI века была временем резкого оживления всей русской общественной жизни. Проводились реформы, охватывавшие многие области жизни не только светского общества, но и церкви. Самые разные люди выступали с проектами преобразований — и ученый книжник Ермолай Еразм, и выезджий литовский шляхтич Иван Пересветов. Такая общая ситуация благоприятствовала и оживлению религиозных исканий, тем более что в Москве к середине XVI века появились сторонники Реформации. Протестантизм стал к этому времени легальным вероисповеданием у западных соседей России — в Великом княжестве Литовском и Польше, и количество его сторонников среди мещанства и шляхты все время увеличивалось. К середине 50-х годов в Москве возник немногочисленный кружок дворян, которые после бесед с приезжими поляками — «аптекарем Матюшкой» (Матисом Ляхом) и Андрюшкой Сутеевым подпали под влияние протестантских учений. Об этом довольно ясно говорит перечень обвинений в адрес участников кружка, который мы находим в официальных документах того времени. Еретики отождествляли церковь с собранием «верных», отвергали почитание икон, отрицали ценность священного предания, признавая для себя авторитетными лишь тексты Нового Завета, которым они давали толкования, отличные от тех, какие давала этим текстам церковь. Все это соответствовало наиболее общим положениям целого ряда существовавших в то время протестантских учений. В перечне этих обвинений вызывает известные сомнения лишь утверждение, настойчиво повторяющееся и в грамотах, и в официальной летописи, что еретики считали Иисуса Христа не равным Богу Отцу. Дело в том, что в лоне самой польско-литовской Реформации подобное учение (так называемое арианство)

сложилось лишь десятилетием позже — к середине 60-х годов XVI века. Получалось, что русские еретики заметно опередили своих учителей.

По-видимому, участники кружка не отдавали себе отчета в том, насколько их взгляды расходятся с учением православной церкви. Об этом определенно говорит поведение одного из членов кружка, сына боярского Матвея Башкина, который стал активно излагать все то новое, что он узнал, своему духовному отцу, священнику Благовещенского собора Симеону, а позднее принес ему текст Апостола, где воском были размечены места, вызывавшие у него разные недоуменные вопросы. Вероятно, не случайно один из современников называл увлечения Матвея Башкина «ребячеством».

Как бы то ни было, при содействии Сильвестра текст Апостола, размеченный воском, попал в руки самого царя, и после этого разбор всего дела шел при его непосредственном участии. Царь распорядился посадить Башкина в подклеть на царском дворе и одновременно велел его «распросити осифовским старцом Герасиму Ленкову да Филофею Полеву». Эта запись свидетельствует об установлении к этому времени у молодого царя близких доверительных отношений с братией любимой обители своего отца — Иосифо-Волоколамским монастырем. Основатель обители и ее первый игумен Иосиф Санин вошел в историю русской церкви как беспощадный обличитель «еретиков» — «жидовствующих», против которых была направлена его книга «Просветитель». Сохранилась относящаяся к 50-м годам XVI века запись известного книжника того времени сарского епископа (а до того — игумена Иосифова монастыря) Нифонта Кормилицына, что он не может передать в Иосифов монастырь принадлежащую ему рукопись «Просветителя», так как «митрополит ея емлет и чтет, да и царь князь великий ея имал и чел». Неудивительно, что читавший «Просветитель» царь так энергично занялся розыском о новых появившихся в Москве еретиках. Дело не ограничилось с его стороны лишь распоряжением об организации следствия. Не менее активное участие царь принял и в деятельности церковного собора, созванного осенью 1553 года для осуждения еретиков. На соборе, как отмечалось в соборной грамоте, царь сам стал еретиков «испытывати премудре», они ж, «видевше благочестиваго царя крепко поборающа о благочестии и убояшась». Матвей Башкин испытал сильное психическое потрясение, сопровождавшееся расстройством речи: по сообщению летописи, он «язык извеся непотребно и нестройная глаголаша на многи часы». Покаявшись в своих прегрешениях, он начал своих «единомысленников перед царем на соборе с очей на очи обличать».

Участников кружка послали в заточение в различные монастыри. Однако этим дело не закончилось, и на собор для расследования стали вызывать людей, которые были знакомы Башкину и одобрительно отзывались об отдельных его высказываниях. До начала следствия

ни царь, ни Сильвестр не знали Башкина (Сильвестр только слышал, что «слава про него недобрая носится»), но среди обвиненных в общении с еретиками заволжских старцев был человек, хорошо известный им обоим, — бывший игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий.

Характерной чертой этого незаурядного человека было то, что глубокая духовная связь с православной традицией сочеталась у него с рядом совершенно оригинальных взглядов. Оригинальные черты его личности проявились уже в молодости, когда, будучи иноком Псково-Печерского монастыря, он отправился в пограничный ливонский городок Нейгаузен «говорити, как хрестыянский закон с римским законом», то есть спорить о вере с латинскими богословами. Позднее Артемий жил в заволжских обителях, где суровый образ жизни и прекрасное знание писаний святых отцов снискали ему общее уважение. Вероятно, во время одной из поездок царя по заволжским обителям и состоялось его знакомство с Артемием. Позднее между ними завязалась переписка. В одном из своих посланий царю Артемий упоминает, что ранее (очевидно, по желанию царя) он писал ему «на собор, изъявляя разум мой». Очевидно, речь шла о Стоглавом соборе, обсуждавшем в начале 1551 года вопрос о реформах церковной жизни. Царь вспомнил об Артемии летом 1551 года, когда освободилось место настоятеля самой почитаемой русской обители Троице-Сергиева монастыря. Если в ранней молодости царю импонировала строгость в соблюдении норм монастырского устава троицкими монахами, то к середине XVI века его мнение о монастырских порядках изменилось в невыгодную для обители сторону. Много позже в своем послании в Кирилло-Белозерский монастырь царь с осуждением вспоминал о том, как живший в Троице на покое митрополит Иоасаф «с крылошаны пировал», а также о ссорах между ним и другими троицкими монахами. Суровый аскет из Заволжья должен был прекратить все эти нарушения. По приезде в Москву Артемий остановился в Чудове монастыре и беседовал с Сильвестром. Отзыв царского наставника оказался благоприятным, и так Артемий стал настоятелем Троице-Сергиева монастыря.

По свидетельству Курбского, царь его «зело любяше и многажды беседоваше, поучаяся от него». Какие вопросы обсуждали между собой царь и заволжский пустынник, каков был характер отношений между ними, позволяет судить содержание двух посланий, отправленных Артемием царю в ответ на его обращение «написать» «о Божиих заповедях и отеческих преданиях и обычаях человеческих».

Артемий призывал царя способствовать устранению разных обычаев, которые появились «на пакость житию от невидения божественных писаний», и устраивать жизнь самого царя и всего общества, «отскочивше от своих вылеи и обычая и человеческих преданий и на-

зирания», по «евангелию Божию». Чтобы царь понял, как это сделать, Артемий рекомендовал ему читать беседы на евангелия Иоанна Златоуста и Книгу о постничестве Василия Великого. Читать их он рекомендовал многократно и не торопясь («множицею, не мимошествене»). Хотя ты, обращался он к царю, «измлада Священная писания умееши», но учиться не вредно и царю, учатся, чтобы достичь совершенства, даже ангелы. «Не срамляйся неведением, — наставлял он царственного корреспондента, — со всяцем тщанием въпроси ведущаго. Подобаеет убо учиться без стыдения, яко же учити без зависти. Никто же не научився может что разумети».

Эти слова Артемия бросают отблеск и на характер его корреспондента — молодого царя начала 50-х годов, юноши, сознающего свое несовершенство, который хочет учиться и готов искать совета у опытного наставника.

Желая «подвигнути царскую душу на испытание разума божественных писаний», Артемий резко порицал тех, кто говорил: «Не чти много книг, да не во ересь впадеши». Судя по посланиям Артемия, и в окружении царя были люди, которые утверждали, что многие «божественная писания прочитающе... в различные ереси уклонишась». На самом деле, объяснял Артемий, люди впадают в грех от своего «неразумия и зломудрия». Нельзя же порицать изображения на фресках и иконах оттого, что люди, неумеренно почитая их, впадают в идолопоклонство.

К 1554 году многое изменилось. Артемий не смог найти общего языка с троицкой братией и, пробыв игуменом полгода, удалился в пустыню, как говорили о нем, «чтоб от Бога не погинути душою и Христовы заповеди совершити, от своею рукою питатися». Эти последние слова говорят о том, что Артемий ушел, порицая подобно другим «заволжским старцам» устройство большого монастыря, обладающего и управляющего большими землями, где, по его убеждению, нельзя было спастись, живя по заповедям Христа.

Уход Артемия вызвал недовольство царя, а в 1554 году он был вызван на собор в числе лиц, обвиненных в сочувствии еретическим взглядам Матвея Башкина. Можно определенно утверждать, что в отношении Артемия эти обвинения были явно необоснованными. Веским доказательством могут служить факты его позднейшей жизни в Великом княжестве Литовском, где он упорно отстаивал учение и обрядность православной церкви в полемике с протестантами. Да и составители соборной грамоты по делу Артемия должны были признать, что когда его главный обвинитель, игумен Ферапонтова монастыря Нектарий, сослался на свидетелей, которые могли бы подтвердить его обвинения, «Нектарьевы свидетели в Нектарьевы речи не говорили». Обвинения Артемия в том, что он «латын хвалит» или «говорит хулу о крестном знамении», были очевидной клеветой. Но сре-

ди обвинений были и такие, которые соответствовали истинным взглядам Артемия.

Содержание его сохранившихся посланий ясно говорит о том, что он желал сам жить по заветам Евангелия и хотел, чтобы так же жил и окружающий мир. В послании к царю, как бы отвечая воображаемым оппонентам, он писал: «И будет, господарь, як же мнози глаголют, еже не мощно ныне жити по Писанию, вину да укажут нам, чего деля не мощно». В другом послании он возмущался словами некоего епископа, говорившего: «Не съидется де ныне по еуангелию жити: род ныне слаб».

Внимательное чтение Евангелия, желание проникнуть в самую суть морального учения Христа привели Артемия к твердому и последовательному убеждению, что церковь не должна прибегать к насилию в спорах с инакомыслящими.

Наиболее ясное и яркое выражение эти взгляды получили в посланиях, написанных Артемием в более поздние годы в Литве. В одном из посланий этого времени он писал: «Неподобно есть христианом убивати еретичествующих, яко же творять ненаучении, но паче кротостию наказывати противящаяся и молитися о них, да даст им Бог покаяние в разум истины възникнути». Тот, кто хочет взять в руки оружие и убивать еретиков, должен знать, что «нести сие христианская премудрости, но мира сего распеншего Господа». Христос сам «бием не биаше и укаряем не укоряше». Обращаясь к читателям как бы от имени самого Христа, Артемий вкладывает ему в уста следующие слова: «Научитесь от мене, яко кроток есть и смирен сердцем, а не суров и безчеловечен, и съгрешающая исправите духом кротости, а не ранами и убийством, и темницами и юзами».

Будучи, как и многие «заволжские старцы», противником того, чтобы монастыри — объединения людей, отрекшихся от мира, владели селами с крестьянами и монахи жили за счет их труда, Артемий отвергал применение насилия в делах, касающихся веры, и не желал того, чтобы государство «нужением и властью» отбирало у монастырей их владения. Он явно предпочитал, чтобы монахи сами приняли решение «жити своим рукодельем, а у мирских не просити».

Эти убеждения Артемия находились безусловно в явном противоречии со всей традицией средневековой христианской церкви (не только православной).

Такие взгляды, хотя в более смягченной и сглаженной форме, Артемий излагал и в одном из своих посланий царю: надо не преследовать «невежествующих и заблудших, но во кротости наказывати». Нет ничего страшного, если кто «от неведения о чем усумнится или слово просто речет, хотя истину навывкнути». Никто ведь не рождается с готовым разумом, а во время обучения всегда возможны ошибки. Поэтому и следует «разумети многое недостижение ума нашего и на въскоре кручинитися, но... правостию и кро-

тостью Христовую и с рассмотрением вся творити». Когда Артемий писал в 1551 году эти слова, они звучали в унисон с теми наставлениями, которые давали молодому монарху Сильвестр и Максим Грек.

Но в 1554 году бывший троицкий игумен предстал перед церковным судом, и утверждение, что Артемий «еретиков не проклиняет» и выступает против их казней, было одним из главных обвинений в его адрес. Митрополит Макарий, председательствовавший на соборе, спрашивал, знает ли Артемий, что «прежние еретики не каются, и святители их проклинали, а цари их осуждали и заточали и казем предавали». Артемий, не вступая в прямой спор с митрополитом, сумел, однако, ясно и четко определить свою позицию. Имея в виду, что в самом начале подготовки собора против еретиков его предполагали включить в число судей, Артемий сказал: «По меня посылали еретиков судить и мне так еретиков не судить, что казни предать». Дело закончилось осуждением Артемия в конце января 1554 года на «вечное заточение» в Соловецком монастыре.

На обстоятельствах, связанных с созывом собора против еретиков, следовало остановиться так подробно не только потому, что это первое известное нам судебное разбирательство, на всех этапах которого молодой царь активно участвовал. Именно с созывом собора и его деятельностью следует, вероятно, связывать окончательное превращение Ивана IV в того защитника православия и чистоты православного учения, каким он выступает в свидетельствах последующих лет.

Для формирования личности Ивана IV как правителя эти события имели, как представляется, и более общее значение. Максим Грек и Сильвестр, говоря Ивану IV в своих наставлениях о необходимости для православного монарха руководствоваться в отношениях с подданными «кротостию» и «правдой», представлялись ему голосом церкви и христианской культурной традиции. Однако то, чему царь был участником и свидетелем, наглядно убеждало его в том, что сама церковь в отношениях с членами общины верующих далеко не всегда обращается к языку «кротости», но, напротив, может проявить бескомпромиссную суровость, в том числе и по отношению к тем, кто проповедовал «кротость» по отношению к еретикам. Полученный в то время опыт нашел свое отражение позднее на страницах Первого послания Курбскому, когда царь наставительно поучал: «И во отрехшихся от мира наказания, аще и не смертию, но зело тяжкая наказания, колми же паче в царствие подобает наказанию злодейственным человеком быти».

Как представляется, под воздействием этих событий Иван IV стал все больше задумываться над вопросом о роли и значении карательных функций власти. Не случайно в образе правителя, как он рисуется на страницах составленного во второй половине 50-х годов про-

должения «Летописца начала царства», появляются совсем новые оттенки. Правда, и здесь монарх прославляется за то, что он «и милостив, и щедр, и долготерпелив к согрешающим» и что он «всех любит, всех жалует... ни единого же забвена видети от своего жалования хочет», но говорится и о другом: что «царьская власть дана от Бога есть на отмщение злым, а на похваление благим», что царь по всему государству «праведных миловать веляше, а злых наказывати с запрещением веляше». Подробный рассказ о реформах середины 50-х годов, связанных с введением в действие «Уложения о службе», заканчивался в официальной летописи сообщением, что после этого численность войска сильно увеличилась, так как ранее «многие бе крышася (скрывались. — Б.Ф.), от службы изываше», но царь заставил служить и «ленивых».

Таким образом, теперь в официальном летописании подчеркивается обязанность царя не только «жаловать добрых», но и понуждать к труду «ленивых» и наказывать «злых».

Наставления Сильвестра явно утрачивали прежнюю силу для его воспитанника. Материалы соборов на еретиков содержат важные сведения на этот счет. В ноябре 1553 года глава Посольского приказа дьяк Иван Михайлович Висковатый подал митрополиту «писание», в котором обращал внимание на необычный для русской традиционной иконописи характер изображений и сюжетов на иконах, которые были написаны для Благовещенского собора в Кремле вместо иконостаса, сгоревшего во время пожара 1547 года. Так как эти новые иконы писались под надзором Сильвестра, то обвинения по поводу введения подозрительных, неизвестных православной традиции новшеств были направлены именно по адресу царского наставника. Впрочем, Висковатый этого и не скрывал и указывал в этой связи на подозрительную близость Сильвестра к осужденным за ересь и подозреваемым в ереси лицам. Увидев эти новые изображения, писал Висковатый митрополиту, он «ужасеся велми» и заподозрил во всем этом ересь, тем более что «Башкин с Ортемьем советовал, а Ортемей с Селиверстом». Так как надзор за работами по созданию новых икон Сильвестр осуществлял по поручению царя и митрополита, а содержание новых изображений не заключало в себе ничего еретического, то неудивительно, что собор во главе с митрополитом Макарием взял Сильвестра под защиту, наложив на дьяка трехлетнюю епитимью. Установление такого срока епитимьи в решении собора мотивировалось тем, что Висковатый по собственной инициативе, не осведомившись о мнении церковных властей, в течение трех лет выражал сомнения по поводу новых икон. Если после трехлетних разговоров осенью 1553 года Висковатый рискнул предложить свои сомнения на рассмотрение церковного собора, то, очевидно, он сделал это потому, что отношения царя с его наставниками после царской болезни стали явно не такими близкими, как раньше. Из материалов собора,

обсуждавшего «писание» Висковатого, видно, что книгами, которыми дьяк воспользовался, его снабдили один из главных представителей клана Захарьиных — Василий Михайлович Юрьев и его свояк Михаил Яковлевич Морозов. Причастность этих бояр к выступлениям дьяка заставляет думать, что в событиях, разыгравшихся во время царской болезни, Сильвестр принял участие не на стороне Захарьиных.

Наиболее важное значение для перемен в отношениях царя со своими советниками имели события середины 50-х годов XVI века.

В июле 1554 года в городе Торопце местные дети боярские задержали ехавшего в Литву князя Никиту Семеновича Лобанова Ростовского. Тот признался, что хотел сообщить королю о намерении отъехать к нему боярина князя Семена Ростовского (одного из тех бояр, кто во время царской болезни вел переговоры о возможной передаче трона старицкому князю), «а с ним братия его и племянники». Князь Семен был арестован. Расследованием дела ввиду его чрезвычайной важности занялись «ближние бояре». Действительно, князья Ростовские принадлежали к самой элите дворянского сословия — группе знатных родов потомков Рюрика, которым принадлежало преимущественное право на занятие высших военных и административных должностей в Русском государстве. И вот группа представителей одного из таких родов во главе с боярином — членом высшего государственного совета — Боярской думы, захотела «отъехать» во враждебное России государство — Великое княжество Литовское.

О результатах следствия нам известно из сдержанного рассказа официальной летописи 50-х годов XVI века, а также из приписок, сделанных к тексту этого рассказа при редактировании летописи в 70-х годах XVI века, когда «дело» князя Семена Ростовского стало рассматриваться царем как один из наиболее ярких примеров боярских «измен».

Следствие доказало, что князь Семен Ростовский, действительно, был изменником. Как показали его арестованные слуги, летом 1553 года он дважды встречался с литовским послом Довойной, с которым и была достигнута договоренность об отъезде в Литву. При этом боярин «думу царя и великого князя послам приказывал», то есть рассказал им о трудностях, которые переживало в это время Русское государство: «а царство оскудело, а Казань царю и великому князю не здержати, ужжо ее покинет». Что касается его сообщников, князей Лобановых и Приимковых, то, как установило следствие, «те того... не ведали, только бежать хотели». Князя Семена Ростовского «с товарищи» приговорили к смерти и даже привезли к месту совершения казни, но затем, по «печалованию» митрополита и епископов, смертная казнь была заменена ссылкой на Белоозеро, где князя Семена заточили в тюрьму.

Во всем этом деле наибольший интерес представляют причины,

побудившие человека, принадлежавшего к высшему руководству государства (князь Семен Ростовский получил боярский сан летом 1553 года, незадолго до его встреч с литовским послом), и группу его знатных родственников пытаться отъехать в Литву, пожертвовав и своим имуществом, и высоким общественным положением.

Алексей Адашев, работавший в конце 50-х годов над официальным продолжением «Летописца начала царства», записал в нем признания князя Семена, что тот «хотел бежати от убожества и от малоумства, понеже скудота у него была разума». Царский советник не был заинтересован в том, чтобы предавать гласности обнаружившиеся в связи с делом князя Семена Ростовского разногласия в среде правящей элиты.

Приписки, сделанные при редактировании официальной летописи, напротив, дают известный материал для ответа на поставленный вопрос. Князь Семен Ростовский был недоволен тем, что «государь его и род его посылал (на службу. — *Б.Ф.*) не по их отечеству со многими с теми, кто меньше их». Эта несправедливость по отношению к Ростовским князьям, когда царь при военных и административных назначениях не хотел считаться со знатностью их происхождения, по убеждению князя, не была чем-то случайным; он рассматривал ее как часть политики, направленной против «великих родов» — княжеских семей потомков Рюрика и Гедимины, по праву претендовавших на первенствующее положение среди окружавшей трон знати. «Их всех, — говорил князь Семен, — государь не жалует великих родов, бесчестит, а приближает к себе молодых людей, а нас ними теснит». Как проявление той же политики, он готов был воспринимать и саму женитьбу царя на представительнице не княжеского, а старомосковского боярского рода: «да и тем нас истеснил ся, что женился у боярина своего, дочь взял, понял рабу свою, и нам как служить своей сестре».

Среди признаний Семена Ростовского на следствии были и такие, которые содержали новые сведения о событиях, происходивших во время царской болезни.

Во-первых, стали известны новые данные о подозрительной активности Владимира Андреевича Старицкого и его матери в эти дни. Они посылали к князю Семену с предложением, чтобы тот «поехал ко князю Володимеру служить да и людей перезывал».

Во-вторых, круг лиц, вовлеченных в обсуждение вопроса о судьбе трона и о том, как избежать регентства Захарьиных, оказался гораздо более широким, чем можно было судить на основании рассказов приближенных царю сразу после его выздоровления. Помимо князей Ивана Турунта-Пронского, Петра Щенятева, Дмитрия Немого-Оболенского в этих разговорах участвовали «Куракины родом, князь Петр Серебряный, князь Семен Микулинский и иные многие бояре и дети боярские и княжата». А главное — в свете других при-

знаний князя Семена Ростовского эти разговоры приобретали иной контекст. Разговоры о том, что «чем нами владети Захарьиным, ино лутчи служить князю Владимиру Андреевичю», были выражением недовольства «великих» (княжеских) родов политикой царя, покровительствовавшего родственникам своей жены и кругу их друзей из среды старомосковского боярства.

Признания князя Семена, несомненно, усилили сомнения царя в лояльности своего окружения и способствовали росту скептического отношения к советам Сильвестра и Адашева.

По-иному реагировала на происходящее Боярская дума. Если говорить о притязаниях Старицких князей, то ближние бояре, как видно из рассказа о царской болезни, не имели к ним никакого отношения и готовы были вместе с царем предпринять меры, которые предотвратили бы подобные действия с их стороны в случае новой болезни (или смерти) монарха.

Когда в марте 1554 года у царя родился новый наследник, царевич Иван, Владимир Старицкий должен был принести присягу на верность не только новому наследнику, но и вообще любому из сыновей Ивана IV, который в будущем сможет унаследовать его трон. Старицкий князь обязывался: «А кто мя учнет с тобою, государем моим, и с твоим сыном ссорити, и мне того не слушати, а сказать ми то вам в правду без примышленья, а не утаити ми того от вас никоторыми делы». Так Владимир Андреевич должен был поступать даже в том случае, если «на которое лицо учнет наводить» его собственная мать. Особой статьей устанавливалось, что старицкий князь не может держать на своем дворе в Москве «всяких людей» свыше 108 человек.

Совсем иной оказалась реакция советников царя на те сведения о разногласиях среди правящей элиты, которые стали известны в ходе следствия по делу князя Семена Ростовского.

С конца 40-х годов правительство последовательно вело курс на консолидацию правящей элиты, на смягчение противоречий между ее отдельными группировками, на их привлечение к совместному согласованному участию в управлении государством. Этой политики правительство продолжало придерживаться и в дальнейшем. Никаких репрессий по отношению к князьям, родственникам князя Семена, не было предпринято, да и он сам, по-видимому, сравнительно недолго просидел в тюрьме и получил возможность нести службу в составе «государева двора», хотя и лишился боярского сана. Позднее, обращаясь к Курбскому, царь с негодованием писал, что после осуждения князя Семена «поп Селивестр и с вами, своими злыми советники, того собаку учал в велице бережении держати и помогати ему всем благими и не токмо ему, но и всему его роду».

Причина снисходительности заключалась в том, что «ближние бояре» рассчитывали добиться консолидации правящей элиты не с

помощью репрессий, а путем уступок «великим родам», устраняя те явления, которые вызывали их недовольство. О происшедших переменах нельзя узнать из официальной летописи, умалчивают о них в своих сочинениях и Иван IV, и Курбский. Лишь предпринятые сравнительно недавно В. Д. Назаровым и Р. Г. Скрынниковым исследования перемещений на важных государственных постах позволили составить представление об изменениях в жизни правящих верхов после 1554 года.

Наиболее значительные перемены произошли в положении главных представителей клана Захарьиных. С лета 1554 года Данила Романович Юрьев перестал исполнять обязанности дворецкого Большого Дворца, а затем и вообще утратил это звание. С конца 1554 года и Владимир Михайлович Юрьев утратил пост тверского дворецкого; в 1556—1558 годах он был воеводой в Казани, то есть фактически был отстранен от участия в управлении государством. Должность тверского дворецкого первоначально получил близкий к Захарьиным печатник (хранитель государственной печати) Никита Афанасьевич Фуников Курцов, но вскоре он попал в опалу и был надолго отстранен от участия в политической жизни. Близкий родственник Захарьиных, казначей Иван Петрович Головин, также к концу 1554 года утратил этот пост и был послан воеводой в Чебоксары. Одновременно в 1555—1556 годах состав Думы был пополнен представителями княжеских родов. Среди этих новых бояр были князь Андрей Михайлович Курбский, а также князь Андрей Иванович Катырев Ростовский, один из тех, кто собирался отъехать в Литву вместе с князем Семеном.

Разумеется, все эти перемены не могли произойти без согласия царя. К сожалению, мы не знаем, кто, как, с помощью каких аргументов сумел добиться этого согласия. Однако, с большой долей вероятности, можно предположить, что полные ожесточения отзывы царя о Сильвестре и Адашеве в его первом послании Курбскому, настойчивое изображение этих советников предводителями враждебных царю бояр объясняются тем, что именно Сильвестр и Адашев убедили царя согласиться на удаление тех его приближенных, деятельность которых вызывала недовольство знати. Так как все это касалось в первую очередь близких родственников царицы, то неудивительно, что в результате отношения Сильвестра и Адашева с Анастасией Романовной оказались безнадежно испорченными. В ее лице они получили врага, опасного своей близостью к царю. На обвинения в свой адрес советник и друг царя отвечали, судя по всему, обвинениями в адрес царицы. Не случайно позднее царь обвинил Сильвестра и Адашева в том, что они «на нашу царицу Анастасию ненависть зелну воздвигше и уподобляюще ко всем нечестивым царицам». Все это должно было способствовать охлаждению отношений царя со своими наставником и фаворитом.

Рассматривая происходящее в исторической перспективе, следует отметить, что победа Сильвестра и Адашева в середине 50-х годов была Пирровой победой. Царь не был убежден в правильности принятого решения, согласился на него под давлением и со временем проникался сочувствием к своим приближенным, отстраненным со своих постов. Об одном из них, Никите Афанасьевиче Фуникове, царь писал в 1564 году, обращаясь к Курбскому и другим враждебным ему боярам: «Что же о казначеем нашем Никите Афанасьевиче (казначеем Фуников стал после опалы Сильвестра и Адашева. — Б.Ф.)? Про что живот напрасно разграбисте, самого же в заточение много лет в далних странах во алчбе и нагоде держали есте?» Все это было явным и тенденциозным преувеличением: сохранившиеся от второй половины 50-х годов документы, оформлявшие поземельные сделки Фуникова, говорят о том, что дьяк, отстраненный от участия в политической жизни, не находился в заточении и не пребывал в «нагоде», но ясно, на чьей стороне были симпатии царя.

Дело, однако, далеко не ограничивалось личными симпатиями (или антипатиями) по отношению к отдельным лицам. Чем дальше, тем больше у царя стали вызывать недовольство некоторые стороны его отношений с Боярской думой во второй половине 50-х годов.

Симптоматичным в этом плане можно считать эпизод, как будто не имевший никакого серьезного значения, но привлечший к себе такое внимание царя, что он вспоминал о нем не только в первом, но и во втором послании Курбскому, написанном через двадцать с лишним лет после происшествия. Несмотря на некоторую неясность высказываний царя, можно с большой степенью вероятности установить, что именно вызвало такое беспокойство с его стороны.

Речь шла о споре из-за 150 четвертей земли между одним из князей Прозоровских и князем Василием Андреевичем Сицким. Оба они принадлежали к роду Ярославских князей, но князь Сицкий был близким родственником царской семьи (женат на родной сестре царицы Анастасии) и, по-видимому, представлял в этом споре интересы малолетнего (родившегося в 1557 году) младшего сына царя, царевича Федора. Ивана IV явно не удовлетворило то, что решение судей оказалось не в пользу его сына. («Для них, — писал царь, — Прозоровского полтораста четьи сына Федора дороже».) Еще более обеспокоило его то, что бояре не допустили его выступать судьей в этом деле, а запрашивали у него (очевидно, как у ближайшего родственника истца) каких-то объяснений как у одной из сторон судебного процесса. Именно такой смысл имели высказывания царя, что его «хотесте судити про Сицково», что его «обыскивали, кабы злодея!»

Чтобы причины этого беспокойства были вполне понятны, следует сделать несколько замечаний о тех переменах в положении главы государства как верховного судьи, которые произошли в ряде европейских стран с формированием в них сословно-представитель-

ных монархий. Монарх и далее сохранял положение верховного судьи, но это не касалось споров о земле между ним и кем-либо из землевладельцев — феодалов. В этом случае правитель выступал как одна из сторон в судебном процессе, не располагая какими-либо особыми правами. В этих странах высший суд представлял собой особый орган, отличный от собственно правительства. В Русском же государстве середины XVI века, при общей нерасчлененности функций управления, функции и правительства, и верховного суда осуществлял один и тот же орган — Боярская дума.

Очевидно, что царь стал все более и более задумываться над целым рядом важных вопросов. На протяжении 50-х годов в государстве было осуществлено много преобразований, но усилили ли они власть государя, обеспечили ли ему верность и покорность его знатных подданных? Если для того, чтобы обеспечить лояльность подданных, ему пришлось пожертвовать верными советниками и отказаться от наказания лиц, причастных к делу о государственной измене, то каких жертв потребует обеспечение их лояльности в последующие годы?

Можно не сомневаться, что в этих размышлениях царь должен был соотносить то реальное положение, в котором он оказался во второй половине 50-х годов, с тем представлением о власти русского государя, ее природе и границах, которое сложилось в русской традиции к середине XVI века.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛАСТИ МОСКОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ В ДРЕВНЕРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ XV—XVI ВЕКОВ

По характеру происхождения своей власти древнерусский князь был вождем военной дружины, и нормы, определявшие отношения князя и его дружинников, во многом сохраняли свою действенность и тогда, когда люди, окружавшие князя, давно перестали быть дружинниками — членами сообщества людей, живущих вместе с князем у одного «огнища» — очага, а превратились в бояр и детей боярских — вассалов князя, имевших уже и свои земли, и своих подданных.

Отношения эти строились на основе своего рода неписаного договора: вассалы должны были верно служить князю — полководцу (прежде всего на войне), в случае необходимости жертвовать за него своей жизнью, а князь — оказывать им «достойную честь», щедро награждать военной добычей и жаловать им в кормление «грады» и «волости». При исполнении обеими сторонами обязательств их связывала нерушимая верность. Не случайно говорилось: «Аще кто от своего князя к иному отъедет... а достойну честь приема от него, то подобен Иуде».

Отпечаток таких воззрений можно обнаружить даже в текстах, созданных в духовных кругах. Автор так называемого «Слова на поучение ко всем крестьянам», например, призывал слушателей: «Князю вашей земли... покоряйтесь, не рцете ему зла в сердце своем и прийте ему головою и мечем», а далее пояснял, что тогда «не возмогут противитися инии князю вашему». Черты такого представления о носителе власти и его отношениях со своими вассалами легко обнаруживаются в повествованиях летописных сводов первой половины XV века о выдающихся правителях второй половины XIV столетия. Так, в тверском летописном своде XV века великий князь Михаил Александрович выступает прежде всего как полководец, который «хвален бе зело по всей земле Тферстей... мужества ради и крепости» и «сладок же беше дружине своей», так как раздавал ей все «елико имяше».

Более подробную характеристику эти близкие доверительные полупатриархальные отношения правителя со своими вассалами получили в московском произведении того же времени «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго». Обращаясь к боярам в своих предсмертных речах, великий князь вспоминал о совместных военных трудах и помощи, оказанной ему на ратном поле: «С вами на многие страны мужествовах, вами и противным бых страшен в бранех и поганых с Божьею помощью низложих». Далее великий князь напоминал боярам о том, как он исполнял свои обязанности по отношению к ним: «Под вами города держах и великия власти, никому же вас зла сотворих, ни силою что отях, ни досадах, ни укорих, ни разграбих, ни избесчинствовах, но всех любил и в чести держал». Как бы итог всему сказанному подводят слова: «Вы ж не нарекостесь у мене бояре, но князи земли моей».

Лишь после этого великий князь обратился к боярам, напоминая о принесенной ими клятве верности («должны есмы служити тебе и детем твоим и главы своя пред вами положить»). Одновременно великий князь обращается и к сыновьям: «Бояре своя любите, честь им достойную воздающе противу служения их, без воля их ничто же творите».

Образованным кругам древнерусского общества (прежде всего духовенству) было известно и иное представление о власти, сложившееся в Византийской империи и перенесенное на русскую почву со славянскими переводами «Номоканона» (собрания решений церковных соборов, а также императорских декретов, касающихся церкви) и других памятников, отражающих традиции византийской политической мысли.

Характерные для Византии представления о власти императора начали формироваться в IV веке, когда христианство стало господствующей религией в Римской империи. Император, согласно этим представлениям, — единственный глава земного мира (который ес-

ли не является, то в конечном итоге должен стать христианским), избранный для управления самим Богом; его положение на земле — несовершенное земное отражение положения Бога как владыки всего Космоса, его деятельность — несовершенное земное подражание деятельности Бога.

Отсюда вытекало представление о власти императора как абсолютной, ничем не ограниченной. Так, например, император был единственным источником права (встречающиеся еще в ранневизантийских текстах упоминания о «воле народа», или об изданиях законов сенатом со временем полностью исчезают). Правда, во многих византийских текстах мы можем найти рассуждения о том, что деятельность правителя должна иметь целью благо подданных, что он должен обеспечить осуществление справедливости, что, создавая новые законы, он должен подавать подданным пример в исполнении законов уже действующих, но речь шла о своего рода морально-нравственных обязательствах, за нарушение которых правитель нес ответственность только перед Богом. Подобно Божьей, власть императора была не только абсолютной, но и всесторонней, затрагивая самые разные сферы общественной жизни.

Правда, с течением времени полноте императорской власти на почве Византии были поставлены ограничения. Император был не вправе единоличным решением вносить изменения в учение церкви, определенные решениями Вселенских соборов. Такому правителю, по мнению ряда представителей византийской общественно-политической традиции, подданные могли отказать в повиновении. Из этого, однако, нельзя сделать вывод, что церковь и все, с ней связанное, находились за рамками сферы деятельности императорской власти. Если обретение истин вероучения было делом отцов церкви, то сама их деятельность организовывалась императорами, которые созывали епископов на соборы и председательствовали на них.

И это понятно, так как, согласно византийской традиции, важнейшей задачей императорской власти было не только обеспечение порядка в обществе, но и руководство членами этого общества на их пути к спасению. Именно так в конце VI века определял задачи, стоящие перед императорской властью, папа Григорий Великий в письме к императору Маврикию. Бог, писал папа, дал византийским императорам власть «над всем человечеством для того, чтобы они помогали желающим делать добро, чтобы шире открывали людям дорогу, ведущую в небеса, чтобы царство земное служило Царству Небесному».

Аналогичным образом понимали свои обязанности перед Богом и сами византийские императоры. «Господь, вручив царство императорам, вместе с тем повелел им пасти верное стадо Христово по примеру Петра, главы апостолов» — читаем мы в предисловии к «Экло-

ге» — своду законов, составленных императором Львом III в первой половине VIII века (он был переведен в Древней Руси, возможно, еще при князе Владимире). Как писал в конце XIV века константинопольский патриарх Антоний, императоры «подтвердили своими законами соблюдение того, что говорят божественные и священные каноны о правых догматах и благоустройстве христианской жизни». Императорские декреты, регулировавшие разные стороны жизни церкви и отношения церкви со светским обществом, вошли в состав «Номоканона» — руководства, определявшего жизнь церкви, и пользовались авторитетом не меньшим, чем решения соборов. Как лицо, осуществляющее верховный надзор над выполнением церковью своих обязанностей, император неоднократно вмешивался в дела киевской митрополии, подчиненной константинопольскому патриарху. Соборное определение 1380 года о разделе этой митрополии открывалось словами о том, что «высочайший и святой самодержец, поборник и предстатель церкви, отмститель и защитник ее прав приложил все старания к тому, чтобы исправить русскую церковь».

Император был блюстителем чистоты веры, гарантом ее сохранения в границах христианского мира; он же должен был заботиться о распространении христианства за пределы этих границ. Именно в этом своем качестве он и выступал как земное подобие небесного Бога.

Эти представления о власти стали в той или иной мере известны Древней Руси сравнительно рано. Уже в летописный рассказ о убийстве Андрея Боголюбского (1174 год) было включено изречение византийского писателя VI века диакона Агапита: «Естеством бо земным подобен есть всякому человеку царь, властью же сана, яко Бог». Однако все эти идейные заимствования мало влияли на общественную жизнь. Так, распространившееся, несомненно, под влиянием Византии представление о княжеской власти как установленной Богом реально никак не повлияло на традиционные отношения князей со своими дружинниками, а позднее — со своими боярами. Сам характер этих отношений не способствовал переносу на древнерусскую почву византийских представлений о власти.

Положение стало меняться с объединением русских земель вокруг Москвы. Произошло резкое усиление власти государя — московского великого князя. Начался переход от отношений правителя и вассалов, основанных на неписаном договоре, условия которого, однако, были хорошо известны обеим сторонам и ими соблюдались, к иному типу отношений — отношениям между правителем и подданными. В таких условиях в древнерусском обществе закономерно должен был появиться интерес к византийским представлениям о власти. Росту такого интереса способствовало и воздействие некоторых внешних факторов.

До середины XV века существовало одно серьезное препятствие на пути прямого переноса византийских представлений о власти на

русскую почву. Охарактеризованные выше представления о власти связывались в византийской традиции лишь с особой императора как единственного главы христианского мира и не распространялись на прочих правителей, живущих в границах этого мира. В конце XIV века константинопольский патриарх Антоний, приведя слова апостола Петра: «Бога бойтесь, царя чтите», пояснял великому князю Василию Дмитриевичу, что апостол «не сказал царей... но царя, указывая на то, что один только царь во вселенной». Апостол, разъяснял он далее, говорит «о царе природном, которого законоположения, постановления и приказы исполняются во всей вселенной, и его только имя повсюду поминают христиане, а не чье-либо другое».

К середине XV века в этом отношении произошли значительные изменения. Византийский император, изменив своей миссии защитника и блюстителя чистоты православия, направился в Италию к римскому папе и содействовал заключению там во Флоренции в 1439 году церковной унии, по которой православная церковь приняла латинское вероучение и подчинилась верховной власти папы. А вскоре после этого, в 1453 году, турки-османы взяли штурмом Константинополь и положили конец существованию тысячелетней византийской империи, что было воспринято древнерусским обществом как «Божья кара» за отступление греков от истинной веры. В то же самое время, в конце XIV—XV века, и многие другие православные государства были завоеваны османами. Те же, кто уцелел (Дунайские княжества, грузинские царства), стали вассалами султана.

О том, как были восприняты происшедшие перемены русскими людьми того времени, лучше всего говорят слова писавшего в первых десятилетиях XVI века псковского монаха Филофея: «Все христианские царства потопишась от неверных, токмо единого государя нашего царство едино благодатию Христоваго стоит».

На всем протяжении Средневековья Древняя Русь ощущала себя частью того мира, который историк Дмитрий Оболенский назвал «Византийским содружеством». Теперь это «содружество» перестало существовать, и православная Россия оказалась одна в чужом окружении, которое ощущалось как инославное и потому враждебное. Что следует сделать, чтобы Россия не разделила судьбу других православных государств? Этот вопрос то вполне осязаемо, то незримо присутствовал с середины XV века в древнерусском общественном сознании. Так, в рассказе о нашествии на Русь татарского хана Ахмата (1480 год), сохранившемся на страницах Типографской летописи, неизвестный автор призывал «сынов русских» дать мужественный отпор татарам, указав им на печальный пример «великих государей», которые «не стяжа мужествене» и теперь скитаются по чужим странам «укоряеми и поношаеми, оплеваеми, яко немужествени». В начале XVI века, призывая Василия III преследовать еретиков, Иосиф Волоцкий указывает, что в противном случае Россия погибнет по-

добно тому, как погибло некогда «Ефиопское великое царство и Арменское и Римское». Все это придавало древнерусским рассуждениям о характере власти правителя тот драматический оттенок, который они в иной исторической ситуации могли бы и не иметь: в восприятии современников споры о том, как организовать управление государством, воспринимались как споры, касающиеся самой судьбы государства.

Для образованных кругов древнерусского общества (прежде всего духовенства) падение Византийской империи стало своего рода катастрофой мирового порядка — с исчезновением института императорской власти исчез верховный гарант сохранения традиционного порядка в мире как в светской, так и в духовной сфере. Не удивительно, что возникла острая потребность в том, чтобы заполнить возникший вакуум. Первые результаты предпринятых усилий можно обнаружить в тексте так называемого «Слова на латину», написанного в 1461/62 году в связи с возведением на митрополичью кафедру митрополита Феодосия. Главный герой этого произведения — великий князь московский Василий Васильевич, «богоутверженный и благо-разумный благоверия держатель Роуских земель», который отстоял чистоту православия, отвергнув унию, заключенную во Флоренции, и сохранил самостоятельность московской митрополии перед лицом латинской угрозы. Бог «спас русскую церковь», утверждает автор Слова, «обличением Богом вразумлеваемого великодержавного Василья Васильевича, в благочестии цветущаго царя всей Руси». Образу Василия Васильевича противостоит в «Слове» византийский император, который «увязнуv» «в сети злата», поднесенного ему латинянами, «сеятель злочестия показася» и тем привел к гибели «царствующий град». Напротив, Василий Васильевич не только сумел сохранить в чистоте православную веру в Русской земле, но и распространил православное учение среди иноверных: «Многих от язык агарянского племени и от жидовского роду и от иноверных... благо-разумием от тмы на свет изведе». В «Слове» мы еще не находим прямого утверждения, что великий князь Московский занял в мире то место, которое ранее принадлежало византийскому императору, но в нем заложена основа для того, чтобы подобный вывод был в дальнейшем сделан.

Такой вывод был сделан, как известно, в предисловии к «Изложению пасхалии на осмую тысящу лет», написанному в 1492 году главой русской церкви митрополитом Зосимой. Начав с цитирования евангельского предсказания: «И будут первии последнии и последнии первии», и рассказав об утверждении христианства Константином Великим и заложении «града Константина» — «еже есть Новый Рим», Зосима закончил свое изложение словами: «Ныне же в последняя сия лето... прослави Бог.. благовернаго христолюбиваго великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси, ново-

го царя Константина новому граду Константину — Москве и всей Русской земли и иным многим землям государя». Тогда же, в 90-е годы XV века, на печатях «нового Константина» — Ивана III — появилось изображение двуглавого орла — эмблемы мировой христианской империи.

Своеобразным итогом размышлений о судьбах православного мира и роли, которую должна играть в нем Россия, стала теория «Москвы — третьего Рима», впервые сформулированная в послании старца псковского Елеазарова монастыря Филофея московскому дьяку Мисюрю Мунехину, написанном в начале 20-х годов XVI века. В этом послании Филофей писал о том, что «греческое царство разорилось и не созижеться... понеже они предаша православную греческую веру в латынство», и теперь русского государя следует рассматривать, как «в всей Поднебесной единого хрестьяноу царя и брододържателя святых божиих престол святых вселенских апостолских церкви», центр которой находится уже не в Риме и не в Константинополе, а «в богоспасаемом граде Москве».

Взгляды Филофея лишь в конце XVI века стали частью официальной московской идеологии, а его категорическое убеждение в том, что «греческое царство разорилось и не созижеться», разделялось далеко не всеми из его современников. В те же 20-е годы XVI века, когда Филофей писал свое послание, в хронографе (изложении всемирной истории), написанном в Иосифо-Волоколамском монастыре, выражалась надежда, что Бог, «погребеную яко в пепле искру благочестия во тме нечестивых властей возжет зело и попатит Измаилт нечестивых царства... и паки возставит благочестие и царя православна».

Однако при всех различиях конкретных воззрений представителей интеллектуальной элиты русского общества первой половины XVI века объединяло убеждение в том, что в православном мире Россия занимает особое исключительное место и от ее действий будут зависеть судьбы этого мира.

Показателен в этом плане рассказ о рождении Ивана IV, который читается в составе «Лицевого свода» — изложении всемирной и русской истории, составленной для самого царя. Здесь отмечается, что при рождении у Василия III сына-наследника «не токмо все Русское царство, но и повсюду вси православнии възрадовашася», «вси православнии во всех концех вселенныя радости исполнишася».

Радость эта, в представлении автора рассказа, была, конечно, связана с надеждами на то, что русский государь освободит живущих по всему миру православных от власти инославных и иноверных правителей. Не случайно в другом крупном памятнике официальной идеологии эпохи Грозного — «Степенной книге царского родословия», повествовании о русской истории, созданном при ближайшем участии преемника Макария, митрополита Афанасия, рассказ о взя-

тии Константинополя турками-османами завершался пророчеством о том, что «русский же род» одержит победу над «Измаилти» «и сечьмохолмаго (то есть города, расположенного на семи холмах — Константинополя. — Б.Ф.) примут ... и в нем воцарятся».

Уже в первые десятилетия XVI века в кругах, близких к московской митрополичьей кафедре, войны, которые вело Русское государство с соседями за расширение своих границ, начинают восприниматься как войны, целью которых является освобождение православных и утверждение православия в окружающем Россию мире. Так, в рассказе митрополичьего свода 1518 года о взятии Василием III Смоленска в 1514 году читаем, что жители города «благодарственныя испущаша гласы свободившеся злые латыньския прелести и насилия, возрадовашеся своему истинному пастырю и учителю православному великому государю». Такой «священной войной», «крестовым» походом за освобождение православных и утверждение православия в новых странах были и походы Ивана IV на Казань, направленные против мусульманского мира.

К середине XVI века представления об особой роли, предназначенной русскому государю, стало разделять и православное духовенство за пределами Русского государства. Обращаясь к Ивану IV, восточные патриархи называли его «надеждою и упованием всех родов христианских», которых он избавит «от варварской тяготы и горькой работы (рабства. — Б.Ф.)».

Таким образом, на русского государя ложилась та миссия по сохранению и утверждению православия во всей вселенной, которую оказался не в состоянии осуществить византийский император. Как писал в середине XVI века неизвестный древнерусский книжник, «един православный русский царь в всей поднебесной яко же Нои в ковчезе спасенный от потопа, правя и окормляя Христову церковь и утвержаа православную веру». В этом высказывании с большой силой выражено убеждение, что власть православного русского государя является единственной точкой опоры в мире «нечестия» (подобно ковчегу Ноя в водах потопа) и что от его мудрого руководства зависят судьбы и православной церкви, и православной веры.

Естественно, что в таких условиях на русского государя стал переноситься весь комплекс представлений, который на византийской почве был связан с институтом императорской власти. Об этом достаточно ясно говорят приведенные выше тексты. Когда автор рассказа о взятии Смоленска называет Василия III «пастырем и учителем» православных, а Филофей именует его «браздодержателем святых Божьих престолов святой вселенской апостольской церкви», они присваивают русскому государю те прерогативы, которые ранее были принадлежностью только византийской императорской власти.

Наиболее яркое выражение процесс переноса византийских представлений об императорской власти на личность русского госу-

даря нашел в сочинениях Иосифа Волоцкого, одного из наиболее выдающихся деятелей русской церкви конца XV—XVI века.

Суровый блюститель чистоты веры, Иосиф усвоил уроки византийской традиции, отвергавшей власть тех правителей, которые пытались произвольными решениями менять традиционное вероучение. Православные, писал константинопольский патриарх Антоний великому князю Василию Дмитриевичу, «отвергают царей, которые были еретиками, неистовствовали против церкви и вводили развращенные догматы». В соответствии с этим Иосиф Волоцкий писал в 7-м слове своего «Просветителя»: «Аще же есть царь над человеки царствуя, над собой же имать царствующа страсти и грех, сребролюбие и гнев, лукавство и ярость, злейши же всех — неверие и хулу, таковой царь не Божий слуга, но диаволь, и не царь, но мучитель». Иосиф даже призывал подданных не повиноваться приказам такого монарха: «И ты убо такового царя или князя да не послушаеши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучит, аще смертью претить!»

Однако совсем иными были представления Иосифа о власти верного православию царя. При этом в отличие от авторов византийских трактатов Иосиф видел такого правителя в современном ему русском государе, великом князе Василии III. Земная власть этого государя представлялась ему несовершенным земным отражением власти «небесного Бога». Обращаясь к Василию III, он писал: «По подобию небесной власти дал ти есть небесный царь скипетр земного царствия».

Повторяя слова византийского книжника VI века диакона Агапита, Иосиф утверждал, что «царь оубо естеством подобен человеку, властию же подобен есть вышнему Богу». Власть его, как и власть Бога, абсолютна и неограниченна — великий князь московский «государем государь», «которого суд не посужается». Подобно власти Бога, власть московского государя является не только абсолютной, но и всесторонней. Важнейшей задачей его власти было соблюдение порядка в обществе, которое достигается сохранением и исполнением законов: как мудрый кормчий, царь «содержит твердо доброго закона правило, иссушаа крепко беззакония потоки, да корабль всемирных жизни... не погрязнет волнами неправды». Однако Иосиф, следуя в этом отношении за византийской традицией, еще более важной задачей власти считал ее обязанность вести подданных по пути к спасению. Осуществляя эту важную миссию, доверенную ему самим Богом, царь подчиняет своему руководству и саму церковь. Эту мысль Иосиф выражает в своих сочинениях неоднократно, то в более возвышенной и отвлеченной форме, говоря об обязанности царя своих подданных «от треволнения спасти душевна и телесна», то более конкретно, приземленно, утверждая, что когда Бог «посадил» Василия III «на царском престоле», то он «церковное и монастырьское и всего православного христианства всея Руския земля власть и попечение вручил ему».

Так на русской почве утверждалось представление о власти государя как власти абсолютной и всеобъемлющей, при которой не было места каким-либо договорным отношениям между государем и подданными.

Признание такого характера власти государя не предreshало еще вопроса о том, как эта власть будет действовать, какими средствами она будет добиваться осуществления стоящих перед ней целей. Характерное для византийской традиции представление о власти царя как несовершенном земном отражении власти Бога можно встретить не только в сочинениях Иосифа Волоцкого. Максим Грек в послании к Ивану IV также писал, что царь «есть образ живый и видим самого царя небеснаго». Из этого знаменитый греческий книжник делал вывод, что так как Бог «естеством благ есть, весь правда, весь милость, весь щедр ко всем вкупе живущим на земли», то и царь должен, подражая Богу, так же поступать по отношению к своим подданным.

Иосиф Волоцкий, суровый блюститель чистоты веры и гонитель еретиков, напротив, делал ударение на роли власти в очищении мира от зла, от явлений, которые нарушают спокойствие в обществе и угрожают чистоте веры. Говоря об обязанности царя спасать подданных от «треволнения... душевна и телесна», Иосиф далее пояснял, что «душевное бо есть треволение еретическо учение, телесное же есть треволение — татьба и разбойничество, хищение и неправда». Важнейшей из этих задач, согласно Иосифу, была борьба с религиозным инакомыслием, распространение которого могло привести к гибели душ подданных, вверенных Богом попечению царя. Обращаясь к Василию III, Иосиф пояснял, что «волю дав» людям, творящим зло, тот будет отвечать перед Богом. При исполнении этих задач власть должна опираться на насилие: судить, заточать и подвергать казням. «Страшен будеши, — писал Иосиф Василию III, — сана ради и власти царские и запретиши не на злобу обращаться, а на благочестие». Сравнивая царя с солнцем, Иосиф Волоцкий отдавал предпочтение первому: свет солнца прекращается с наступлением ночи, а царь постоянно «светом истинным обличает тайнаа неправды».

Таким образом, вклад Иосифа Волоцкого в развитие древнерусской общественной мысли заключался не только в том, что на страницах своих сочинений он создал образ русского государя, во многом воспроизводивший черты образа императора в традиции византийской «имперской теологии». Благодаря его творчеству в древнерусском общественном сознании прочно утвердилось представление о том, что главной обязанностью государя является очищение общества от носителей пороков, которые угрожают стабильности социальной и духовной жизни (разбойников и еретиков).

Одним из сочинений, в которых Иосиф Волоцкий развивал свои идеи, было 16-е Слово «Просветителя» — книги, которую внимательно читал в 50-х годах XVI века Иван IV.

Иосиф Волоцкий имел широкий круг учеников и сторонников, многие из которых были весьма влиятельны. Его преемник по управлению обителью игумен Даниил стал в начале 20-х годов XVI века главой московской митрополии. К числу последователей и почитателей Иосифа Волоцкого принадлежал и митрополит Макарий. Поэтому не может вызвать удивления тот факт, что на протяжении первой половины XVI века появлялись все новые тексты, в которых повторялись образы правителя, созданные волоцким игуменом. Одним из таких текстов стало уже упоминавшееся «Похвальное слово» Василию III, написанное в связи с рождением долгожданного наследника — княжича Ивана. В 1547 году выдержки из сочинений Иосифа Волоцкого были включены митрополитом Макарием в чин венчания на царство Ивана IV.

Венчание Ивана IV на царство 16 января 1547 года было своеобразным завершением тех перемен во взглядах на характер власти московских государей, которые происходили в сознании интеллектуальной элиты русского общества на протяжении столетия. Теперь русский государь стал царем — императором, наделенным всей суммой прав, связанных с обладанием этим титулом, не только фактически, но и формально. Одновременно было возведено в ранг высшего авторитета то представление о правителе, объеме и содержании его власти, которое выработал Иосиф Волоцкий.

Одновременно с глубокими переменами в отношении церкви к носителю высшей власти на территории России менялось ее отношение к политическим противникам великого князя Московского. В XIV — первой половине XV века церковь лишь в исключительных случаях вмешивалась в политическую борьбу, угрожая непослушным отлучением от церкви. Правда, к таким мерам прибегал еще митрополит Алексей, отлучая от церкви князей — противников Дмитрия Донского, но основанием для отлучения был не факт их противодействия политике великого князя, а их союз против него с язычниками-литовцами. В середине XV века достаточным основанием для отлучения от церкви двоюродного брата великого князя Василия Васильевича — Дмитрия Юрьевича Шемяки было то, что он напал на великого князя без объявления войны, нарушив «крестное целование» — присягу на кресте соблюдать мир между собой («разбойнически, ношетатством, на крестном целованьи», по выражению летописца). По-видимому, уже к этому времени складывалось представление о том, что нарушение присяги — «крестного целования» является таким грехом, который не может быть смыт никаким покаянием. «А крест целовав, изменил к кому, за то и до смерти плакаться», — читаем мы в одном из епитимийников XV века. Впрочем, позднее в послании, направленном в Новгород, глава русской церкви того времени — митрополит Иона, требуя от новгородцев отказаться от поддержки Шемяки, не использовал даже этот довод, ут-

верждая просто, что Шемяка «сам себя от христианства отлучил своим братоубийством, изменами своими брату старейшему, великому князю Василью Васильевичу».

В такой позиции, занятой митрополитом и собором епископов, была определенная логика. После того как «Новый Рим» — Константинополь отступил от истинной веры, на великого князя Московского перешла миссия по сохранению и распространению в мире православия, а значит, лица, препятствующие ему в выполнении его миссии, ставили себя за пределы сообщества истинных христиан. В отношениях с такими людьми, очевидно, можно было не прибегать к нормам поведения, обязательным по отношению к христианам. Когда в 1462 году серпуховские дворяне попытались освободить из тюрьмы своего князя, заточенного Василием Темным, и были казнены, то перед казнью великий князь «и отцем духовным не велел приступати к ним», и те умерли, не имея возможности исповедаться в грехах перед смертью.

Традиция, установившаяся в XV веке, продолжала существовать и в следующем столетии. Когда в малолетство Ивана IV его дядя, князь Андрей Иванович, воспротивился распоряжениям правительницы Елены Глинской и отказался приехать в Москву, митрополит Даниил угрожал ему отлучением от церкви и проклятием.

В начале XVI века Иосиф Волоцкий учил, что подданные должны быть покорны истинно-православному правителю, распространяя это и на самых высокопоставленных церковных иерархов: «А божественная правила повелевают царя почитати, не сваритися с ним. Ни древнии святители дръзнуша сие сотворити, ни четыре патриарси». «И аще когда царь и на гнев совратится на кого», святые отцы могли лишь просить о снисхождении для такого человека «с кротостию и с смирением и со слезами».

Параллельно с выработкой новых представлений о характере власти московских государей в кругах духовенства, опиравшегося при этом на определенные византийские традиции, в светском обществе также, но на своей местной основе шли поиски новых понятий, которые позволили бы определить и осмыслить перемены в отношениях между московскими правителями и их вассалами, которые обозначились с объединением русских земель в едином государстве.

Ключевым для понимания происходивших перемен следует признать определение власти великого князя Московского как власти «государя» в том значении, которое стало вкладываться в этот термин во второй половине XV века. Раскрыть содержание этого понятия позволяют сообщения источников, связанные с ликвидацией Новгородской феодальной республики. Как известно, последний конфликт между Новгородской республикой и Москвой был вызван тем, что послы Новгорода впервые в истории отношений между государствами назвали великого князя не «господином», а «государем», по-

сле чего Иван III потребовал для себя в Новгороде такого же «государства», как в Москве.

На начавшихся затем переговорах новгородские представители выдвинули некоторые условия, на которых они соглашались признать Ивана III своим «государем», и просили, чтобы великий князь дал обязательство эти условия соблюдать («дал крепость своей отчине Великому Новгороду, крест бы целовал»). Эти требования Иван III решительно отклонил: «Вы нынеча сами указываете мне, а чините урок нашему государству быти, ино то, которое государство мое». Значение употребленного здесь термина «урок» раскрывает такой новгородский текст, как «Сказание о чуде Знамения», где говорится, что по отношению к владими́ро-суздальским князьям (историческим предшественникам московских великих князей) новгородцы «данем и послушанию положиша урок, еже не преходити предел прежде установленных». Следовательно, «урок» — это определенные, точно установленные нормы, которые правитель в отношениях с Новгородом обязан соблюдать. Таким образом «государь» — это правитель, власть которого не знает каких-либо обязывающих его ограничений в отношениях с подданными. Между правителем и подданными не существует каких-либо договорных отношений. Хотя Иван III в конце концов удовлетворил некоторые пожелания новгородцев, это был акт «милости» с его стороны и никаких обязательств, ни письменных, ни устных, великий князь новгородцам не дал.

Исследователями было давно отмечено, что такое понимание термина «государь», новое для практики политической жизни Московской Руси, имеет аналогии в сфере частного права, в личности «государя» как хозяина, обладающего всей полнотой прав на свое имущество. Владелец «холопов» — несвободных людей, добровольно продавшихся в рабство или полученных по наследству, и в «Судебнике», составленном при Иване III в 1497 году, и в «Судебнике» Ивана IV 1550 года последовательно назывался «государем».

Представляется совсем не случайным, что в то самое время, когда для обозначения власти московского великого князя стал использоваться термин «государь» в его новом значении, знатные лица из окружения Ивана III, занимавшие важные административные должности, начинают при обращении к правителю именоваться «холопами» великого князя.

Почему именно этот термин был избран для обозначения новых отношений между великим князем и его вассалами?

Несомненно, использование новых терминов должно было показать, что речь идет теперь об отношениях не князя и его дружинников, а правителя и его подданных (хотя бы и благородного происхождения). В ряде стран Западной Европы схожая задача поиска новых правовых понятий для определения новой действительности была решена благодаря рецепции римского права. Для средневековой Рос-

сии, где традиция изучения и комментирования римского права отсутствовала даже в кругах духовенства, такой путь решения вопроса исключался. Новые представления приходилось строить на старом, знакомом материале.

И здесь следует обратить внимание на то, что одним и тем же термином «холоп» на Руси обозначались представители разных социальных групп. «Холопами» были рабы, занятые в хозяйстве господина или обрабатывавшие его пашню, но «холопами» были и военные слуги вельмож, ходившие с ними в походы, управлявшие их владениями, а часто и отданными в «кормление» округами. Тех и других объединял один общий признак — личная зависимость от господина.

В период раннего Средневековья такой слой несвободных военных слуг существовал во многих странах Европы (на Западе их называли «министериялами»), но с течением времени большая часть этих людей приобрела личную свободу и вошла в состав формирующегося дворянского сословия. В России же большой слой несвободных военных слуг продолжал сохраняться, составляя и во второй половине XV, и в XVI веке основу вооруженных сил страны. Соответственно, сохранялись и связанные с деятельностью этого слоя понятия и представления.

Когда во второй половине XV века шел поиск понятий, которые бы показали, что теперь зависимость военных вассалов от правителя является более всесторонней и глубокой, чем ранее, то для обозначения этих новых отношений были избраны понятия «государь» и «холоп», так как это был единственный известный обществу того времени тип таких отношений.

Разумеется, когда вельможи из окружения Ивана III стали называть себя «холопами» великого князя, это вовсе не означало, что они превратились в несвободных людей — его «невольников», подобно вельможам современника царя Ивана султана Сулеймана Великолепного. Они сохраняли не только свою личную свободу, они могли свободно распоряжаться своей родовой собственностью — вотчинами, например, передавая их как заупокойный вклад в какую-нибудь обитель. Они даже имели полное право претендовать на соответствовавшие знатности их происхождения военные и административные должности, и великий князь не мог передавать эти должности менее знатным людям. Однако характер отношений правителя даже с кругом его советников не мог не претерпеть существенных изменений. Правитель теперь уже не был обязан обсуждать с ними все важные вопросы, а мог решать их, как жаловались некоторые современники Василия III, «сам третей у постели». При этом стало караться не только неповиновение каким-либо распоряжениям великого князя, но и просто критика его действий. В 20-х годах XVI века сын боярский Иван Никитич Берсень-Беклемишев, член одного из наиболее знат-

ных московских боярских родов, был уличен в том, что он порицал великого князя за перемену «старых обычаев», и был за это приговорен к смертной казни.

Хотя оба рассмотренные выше представления о характере власти государя имели разное происхождение и сложились в разной среде (первое — в кругах духовенства, второе — в сфере отношений правителя и его светских вассалов), в жизни они вовсе не отделялись одно от другого непроходимым барьером и не были достоянием только той среды, в которой сформировались. Великий князь Василий III, несомненно, чтит память Иосифа Волоцкого и покровительствовал его обители не в последнюю очередь потому, что ему глубоко импонировали сложившиеся там представления о природе его власти. Эти представления были хорошо известны и светскому окружению отца Ивана IV. В беседах с австрийским послом Сигизмундом Герберштейном советники Василия III называли своего государя «свершителем божественной воли» и «держателем ключей Божьих».

Существующие представления о характере власти государя, в сущности, не противоречили друг другу, а разным путем вели к общему выводу, что власть правителя не подлежит каким-либо ограничениям со стороны его подданных.

Практика общественной жизни середины XVI века, времени зарождения «сословного общества» в России, не отвечала такому идеалу правителя, но никто и не пытался ставить под сомнение сложившееся к этому времени представления о власти.

Это противоречие наложило свой отпечаток на формирование личности Ивана IV и как политического мыслителя, и как государственного деятеля.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ИВАНА IV

В одной из предшествующих глав книги мы приводили обращенные к царю слова старца Артемия: «И сам измлада Священное Писание умееши». Не исключено, однако, что эти слова были простой любезностью. Все, что мы знаем о жизни царя до его встречи с Сильвестром, никак не говорит о его пристрастии к размышлениям над книгами. Однако после этой встречи положение должно было измениться. Сильвестр был, несомненно, образованным книжником. Об этом свидетельствуют уже его послания, полные цитат из Священного Писания и творений отцов церкви. Известны и принадлежавшие Сильвестру рукописи (большая их часть сохранилась в составе библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря); среди них имелись и тексты Священного Писания (в их числе и «исторические» книги), и сочинения отцов церкви и византийских писателей более позднего времени, и труды русских книжников XV—XVI веков (в том числе и «Просвети-

тель»). В его собрании были даже греческие рукописи — редкое явление в русских книжных собраниях этого времени.

Несомненно, Сильвестр должен был приобщать воспитанника к чтению книг и в беседах с ним постоянно обсуждал прочитанное. Успеху наставлений Сильвестра способствовало то, что он не был единственным образованным человеком среди тех, с кем молодой царь постоянно общался в 50-е годы XVI века. Выдающимся знатоком древнерусской книжности был глава русской церкви митрополит Макарий (о чем речь пойдет ниже), высокообразованным человеком проявил себя и один из создателей крупнейшего памятника русской исторической мысли XVI века — «Степенной книги», духовник царя протопоп Благовещенского собора Андрей. Но и среди светских лиц в окружении царя имелись люди, чья ученость не уступала учености духовных эрудитов и книжников. Так, незаурядными богословскими познаниями обладал молодой в то время руководитель Посольского приказа, дьяк Иван Михайлович Висковатый, о чем достаточно ясно говорят его критические замечания по поводу иконографии кремлевских икон, заказанных Сильвестром. Несмотря на свой возраст, образованным книжником был и молодой аристократ, горячий почитатель Максима Грека, князь Андрей Михайлович Курбский, принадлежавший в 50-е годы к кругу близких друзей царя.

Косвенным, но убедительным свидетельством глубокого знания царем древнерусской книжности, знания, значительно превосходящего обычные, средние знания в этой области, могут служить сравнительно немногие известные нам факты, касающиеся формирования в эти годы царской библиотеки.

Хотя тексты Священного Писания являлись для людей русского Средневековья высшим авторитетом, широкое распространение в древнерусской письменности получили лишь те тексты из книг Ветхого и Нового Завета, которые читались во время богослужения. Рукописи, предназначенные для чтения, в особенности рукописи книг Ветхого Завета, были сравнительно редки, обычно они включали в себя лишь несколько библейских книг, а часть книг Ветхого Завета в эпоху Средневековья вообще не была переведена на славянский язык. Первый полный славянский перевод Библии был создан лишь в самом конце XV века по инициативе новгородского архиепископа Геннадия. Те книги Ветхого Завета, переводы которых в славянской письменности отсутствовали, пришлось перевести с латинской Вульгаты. Но и после выполнения этой работы рукописи с полным славянским текстом Библии оставались в России большой редкостью. Между тем именно такая рукопись была написана по заказу царя монахами Иосифо-Волоколамского монастыря в 1558 году. Таким образом, Иван IV принадлежал к кругу тех немногих людей, кто еще до печатного издания славянской Библии в Остроге на Украине в 1580 году имел в своем распоряжении полный славянский текст Священного Писания.

Настоящей энциклопедией, в которой были собраны все «душеполезные» книги, известные в древнерусской письменности, стали Великие Минеи четьи, созданные по инициативе митрополита Макария. Огромное собрание текстов книг Ветхого и Нового Завета, житий святых и похвальных слов им, сочинений отцов церкви, поучений, посланий и толкований было распределено в рамках годового «круга чтения» на двенадцать громадных месячных книг — с сентября (первого месяца церковного года) по август. Работу над созданием такого свода Макарий начал в 1529/30 году, когда был еще новгородским архиепископом и мог заниматься поисками книжных богатств лишь в пределах своей Новгородской епархии. Работа продолжалась в течение двенадцати лет и завершилась созданием 12-томного собрания — так называемого Софийского комплекта Великих Минеи четьих, предназначенного для хранения в Софийском соборе Новгорода Великого.

Работа по собиранию и литературной обработке текстов продолжилась после возведения Макария на митрополичью кафедру и завершилась в начале 50-х годов XVI века созданием нового, еще более грандиозного свода, по объему превысившему в два раза Софийский комплект. Помимо многих сочинений, разысканных для этого свода в книжных собраниях разных городов России, собрание было пополнено житиями многих русских святых, канонизированных на церковных соборах 1547 и 1549 годов. Новое 12-томное собрание митрополит Макарий в ноябре 1552 года дал вкладом в главный храм Русского государства — Успенский собор Московского Кремля. Во вкладной записи митрополит с чувством гордости писал, что в его энциклопедии «все святые книги собраны и написаны, которые в Руской земле обретаются». Ничего подобного история древнерусской письменности еще не знала.

И вот, когда подготовленное Макарием собрание еще не было передано в Успенский собор, в Новгороде началась переписка Софийского комплекта четьих миней, но на этот раз «повелением самодержавного царя и великого князя Ивана Васильевича». Как видно из записи одного из писцов, Мокия, надзор за работой был поручен священнику Софийского собора Фоме. Но кроме него работу многочисленных писцов, выполнявших царский заказ, контролировали и власти Новгорода. В записи от июня 1554 года Мокий простодушно признавался, что, когда «он не послушал того священника Фому», то было ему тогда «прещение велико с яростию от Федора от Сыркова» — дьяка, представлявшего в Новгороде особу государя.

Переписанный в Новгороде Софийский комплект Великих Минеи четьих был затем пополнен недостающим материалом из Успенского комплекта и рядом новых текстов. Огромное 12-томное собрание «душеполезных книг», от которого до наших дней дошло лишь 10 томов, еще в XVII веке находилось в царских палатах. Так, благо-

даря предпринятым усилиям, молодой царь к концу 50-х годов стал обладателем самого большого в стране собрания произведений духовной письменности, сохранившихся в древнерусской письменной традиции.

С большой долей вероятности к тому же времени следует отнести и начало коллекционирования царем исторических текстов, которые в более поздние годы легли в основу многотомного иллюстрированного изложения мировой и древнерусской истории — созданного по заказу царя так называемого «Лицевого свода». Некий итальянец, посетивший Москву в 1557 году, записал, что в «настоящее время... император (Иван. — *Б.Ф.*) много читает из истории Римского и других государств» и все это имеет в Москве «на своем языке». С этой целью для царя копировали тексты из «Толковой палеи», древнерусские переложения византийских хроник и даже переведенный с латыни роман Гвидо да Колумна «История разрушения Трои».

Все это позволяет думать, что именно 50-е годы XVI века стали для молодого царя временем усиленных занятий над книгами. В результате он приобрел те познания богословия и древней истории, благодаря которым позднее неоднократно удивлял иностранных собеседников, а у русских людей последующего времени получил почетное прозвище «словесной мудрости ритор».

Можно не сомневаться, что в круг чтения монарха очень рано должны были войти и упоминавшиеся выше сочинения древнерусских авторов, в которых шла речь о природе власти русского государя, и известные в древнерусских переводах сочинения византийских писателей о природе власти византийского императора.

Прочитанное, по крайней мере в первые годы занятий, он должен был обсуждать со своим наставником и сравнивать с его наставлениями. Поэтому следует снова вернуться к этим наставлениям и рассмотреть те их стороны, о которых в предшествующем изложении еще не было речи.

В послании Сильвестра Ивану IV представление о характере и назначении власти русского царя сформулировано с гораздо большей силой и убеждением, чем даже в разбиравшихся выше сочинениях Иосифа Волоцкого. Уже в самом начале послания Сильвестр приветствует молодого царя как «самодержца вечна, православныя веры истинного наставника, на Божия враги крепкого борителя, Христовы церкви столпа неколебимаго».

Выраженное в преамбуле убеждение, что важнейшая обязанность монарха учить подданных истинной вере и вести их по пути к спасению, далее настойчиво и неоднократно повторяется. Именно царь должен «праведную добродетель исполнити и осквернившееся очистити и заблудшее на рамо (на плечи. — *Б.Ф.*) взяти и ко Христу привести». Бог, обращаясь к царю Сильвестр, «нарек тя... начальника, судию и пророка». Таким образом, на носителя высшей власти ле-

жит выполнение не только отрицательной задачи — очищение общества от носителей вредных учений, еретиков, но и воспитание этого общества в духе истинного христианского учения.

Для выполнения этой своей важной миссии монарх избран самим Богом. Он «скипетры царствия великого державу по закону при-ем крестной силой царя царем и господа господом». У Сильвестра не было сомнений и во всемирном характере этой миссии, которая отнюдь не ограничивается границами России. Не случайно он писал, обращаясь к царю: «Господь Бог... нарек тя... вождя и учителя всемирна». В послании князю Александру Борисовичу Горбатову Сильвестр писал о «христолюбивом Российском царствии, хотящем быти в последняя времена», а в послании царю он называл Российское государство царством, которое «в веки не подвижетца» (то есть не перестанет существовать). Исторической миссией именно этого государства и его главы является утверждение во всем мире единственной истинной веры — православия. Именно во исполнение этой миссии и были предприняты походы на Казань, так как «зело бо хочет сего Бог, дабы вся вселенная наполнилася православия». В послании князю Александру Борисовичу Сильвестр с удовлетворением писал, что именно Иван IV продолжает в настоящее время дело первого христианского императора — Константина Великого: «Самодержец всеа Россия... Божию благодатию уподобися царю Костянтину, тою же царскою багрянницею обложен есть, те ж правоверия хоругви в руку своею благочестно содержит».

В послании к царю Сильвестр рисовал образ мировой христианской монархии, которая возникнет под его эгидой: «Обладаеши от моря и до моря, и от рек до конец вселенная — твоя (то есть будут принадлежать тебе. — *Б.Ф.*) и поклонятца тебе все царие земстии и вси языцы (народы. — *Б.Ф.*) поработают тебе. И честно будет имя твое перед всеми языки и помолятца тебе всегда и весь день предсто-ят перед тобою».

Как видим, есть веские основания полагать, что не от кого иного, как от своего наставника молодой царь должен был воспринять представление о том, что он избран Богом для того, чтобы вести своих подданных по пути к спасению и распространять по всему миру истинную веру — православие. Это представление стало основой взглядов самого Ивана IV на характер собственной власти, хотя некоторые выводы, к которым он при этом пришел, заметно разнились с рекомендациями Сильвестра.

К сожалению, мы совсем не знаем, как складывались политические взгляды Ивана IV. Однако мы можем составить довольно четкое представление об окончательной форме, которую они приняли в первой половине 60-х годов, по тем предельно ясным, чеканным высказываниям о власти, которые рассыпаны на страницах его Первого послания Курбскому. (Более поздние сочинения царя не

вносят в вырисовывающуюся здесь картину ничего принципиально нового.)

В ряде случаев очень полезный комментарий к этим высказываниям дают политические экскурсы в таком выдающемся памятнике русской исторической мысли, как «Степенная книга» («Книга степенна царского родословия, иже в Рустей земли в благочестии просиявших богоутвержденных скипетродержателей»). Памятник этот представляет собой изложение событий русской истории, но не в обычной для русской летописной традиции форме погодного изложения, а как ряд последовательно помещенных биографий правивших Русской землей государей. В каждом из очерков — «степеней» — помещена биография государя, которую сопровождают сочинения о митрополитах и святых, живших в годы его правления. Памятник был создан в первой половине 60-х годов XVI века рядом известных книжников под руководством многолетнего духовника царя протопопа Благовещенского собора Андрея, принявшего в 1562 году монашество под именем Афанасия. Изложение строилось на материале сложившихся в более ранние десятилетия летописных сводов (прежде всего Никоновской летописи) и житий святых, но тексты подвергались идейной и стилистической обработке; в них неоднократно вносились отсутствовавшие в источниках «Степенной книги» характеристики отдельных правителей, событий и периодов русской истории.

Уже сам замысел создания в начале 60-х годов памятника, в котором должна была быть выявлена и показана роль правителей в развитии Русского государства, вряд ли мог исходить от кого-либо иного кроме Ивана IV. О близости политических взглядов царя и идей, положенных в основу исторической концепции «Степенной книги», лучше всего говорит включение значительных фрагментов из этого источника в состав «Лицевого свода» — выполненного по заказу царя иллюстрированного изложения всемирной, а затем и древнерусской истории.

Перейдем к изложению политических взглядов Ивана IV.

Источник своей власти царь видел в воле Бога, вручившего ему эту власть, и в «благословении» прародителей — своих предков, от которых он эту власть унаследовал.

Таким образом, власть была получена царем не от подданных, и царь Иван IV неоднократно и энергично подчеркивал, что не должен ни с кем делиться этой властью: «Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствами, а не бояре и вельможи». Напоминая о том, что царь именуется самодержцем, Иван IV восклицал: «Како наречется самодержцем, аще не сам строит». Поскольку вся полнота власти в государстве должна принадлежать царю, то он и несет ответ за то, что его «несмотрением погрешитца». Однако это была ответственность не перед подданными, а перед Богом. Что касается подданных, то, по убеждению царя, никакие его действия не

могут быть предметом разбирательства между ним и подданными: «Доселе русские владетели не истязуемы были ни от кого, но вольны были подвластных своих жаловати и казнити, а не судилися с ними ни перед кем». В соответствии с установившейся к тому времени традицией своей важнейшей обязанностью царь считал не только установление порядка в обществе, но и спасение душ своих подданных: «Тшу же ся с усердием люди на истинну и на свет наставити, да познают единого истинного Бога в Троице славимаго».

Таким образом, в представлении Ивана IV власть русского государя выступает как наследственная, всеобъемлющая и никому не подконтрольная (кроме Бога).

В рамках такой модели власти возможен лишь один тип отношений между правителем и подданными. Во времена молодости Ивана IV его наставник внушал ему, что Христос (царь Небесный) не стыдился называть своих «верных» братьями, а не рабами, но к началу 60-х годов XVI века эти советы царем были прочно забыты. Подданные для Ивана IV это прежде всего «рабы». Очевидно, именно такой смысл со временем стал вкладывать монарх в термин «холопы», использовавшийся для обозначения отношений военных вассалов (ныне подданных) к своему правителю. От «рабов» требуется лишь одно — беспрекословное выполнение направляющихся к ним сверху повелений: подобает «царю содержать царство и владети, рабом же рабская содержать повеления», «ига работнаго не отменяся».

На страницах Первого послания Курбскому такая модель организации общества выступает не только как идеальная, но, по существу, как единственно возможная. Как противоположность самодержавному государству с абсолютной единоличной властью правителя в его рассуждениях выступают «самовольство» или «самовластная жизнь в самовольстве». Важнейший внешний признак такого состояния — правление многих. По убеждению царя, такое правление не может привести ни к чему хорошему: «аще не под единою властью будут, аще и крепки, аще и храбри, аще и разумни, но обаче женскому безумию подобны будут». Расхождения между мыслями и желаниями этих многих правителей неизбежно приведут «к межоусобным браням» и ослаблению государства, которое погибнет, будучи не в состоянии дать отпор своим врагам.

Как на пример, доказывающий его правоту, царь указывал на «боярское правление» в России в годы его малолетства. Бояре «правити же мяншеся и строити и вместо сего неправды и нестроения многая устроиша». «Аще царю не повинуются подовластные и никогда же от межоусобных браней престанут», «вся царствия нестроении и межоусобными бранями растлятся». Если подданные не хотят гибели государства и наступления анархии, они должны подчиняться своему правителю и беспрекословно следовать его приказаниям.

Ряд ясных высказываний царя не оставляет сомнений, что требо-

вания покорности адресовались монархом не только к его светским подданным, но и к духовенству. «Святитель» — духовный иерарх — обладает большой властью, но власть эта иная по природе, чем царская власть, и духовенство не должно вмешиваться в мирские дела («людского же строения ничто же творити»). Государство, в котором носитель духовной власти претендует и на светскую власть, также ждет гибель («Нигде бо обрящеши, еже не разорится царству еже от попов владому»).

Требую от подданных абсолютной покорности, царь основывался не только на рациональных аргументах от политики. Не меньшее значение имели и доводы иного порядка. Требую от подданных покорности, царь апеллировал к авторитету Священного Писания, цитируя слова апостола Павла: «Всяка душа владыкам превладающим да повинуется, никоея же бо владычества, иже не от Бога учиненна суть, тем же противляйся власти, Божию повелению противится». Апостол предлагает повиноваться всякой власти, даже захваченной с помощью насилия («кровми и браньми»), тем более следует подчиняться власти наследственного государя. «Противляйся власти, — пишет царь, — Богу противится, аще убо кто Богу противится — сей отступник именуется, еже убо горчайшее согрешение». Таким образом, выступление против правителя оказывалось выступлением против Бога, тягчайшим преступлением против веры.

Это представление, занимающее крайне важное место в системе взглядов Ивана IV, на страницах послания обосновывается и несколько иным образом. Существующий в России государственный строй — «самодержавство», по убеждению царя, установлен самим Богом: так, о боярах, знати он говорил, что «Божиим изволением де-ду нашему, великому государю Бог их поручил в работу». Бог избрал и Ивана IV, чтобы он правил Россией.

Что же сказать о тех, кто не желает принять «Богом им данного и рождышагося у них на царстве царя»? Это люди, которые решились противодействовать ясно выраженной воле Бога.

Ивану IV были, несомненно, известны границы, которые устанавливала для власти императора византийская традиция, перенесенная затем на древнерусскую почву: подданные могли отказать в повиновении правителю, посягающему на чистоту православного учения. Не случайно поэтому, что вплоть до самого конца своего правления царь постоянно демонстративно подчеркивал свою верность православию. Не случайно, конечно, и то, что в то самое время, когда в своем послании Курбскому царь гордо утверждал, что его забота о вере и церкви «всем видимо есть иноплемненным», в «Степенную книгу» был включен пространный текст, прославивший верность потомков Владимира православию. Противопоставляя потомков Владимира потомкам Константина Великого, составители «Степенной книги» писали: «И даже и до ныне во всех Руских самодержец

не бысть никто же в них, иже бы не благочестив был, и никто же от них никогда же ни мало не усомнися, ни смутися, ни соблазнися о истинном законе христианском... и вси единодушно богодарованную им Рускую землю от всяких ересей крепко соблюдаху».

Безукоризненное благочестие русских государей не только лишало какого-либо оправдания всякое сопротивление их власти, но и давало новые основания для того, чтобы требовать от подданных покорности и усердной службы.

К 60-м годам XVI века представление о России как своего рода оазисе православия, окруженном со всех сторон чуждым и враждебным миром, уже прочно укоренилось в сознании русского общества. Ощущение острого противостояния своей страны и внешнего мира получило новую пищу с распространением Реформации на землях государств — западных соседей России — Великого княжества Литовского, Ливонии, Швеции. Наиболее ярким, бросавшимся в глаза внешним наблюдателям признаком, отличавшим носителей новых христианских учений, было их иконоборчество — уничтожение икон и других памятников сакрального искусства. На древнерусское общество, воспитанное в многовековой православной традиции почитания икон, выстраданной в борьбе с иконоборцами на почве Византии, все это производило сильнейшее отрицательное впечатление. Стоит вспомнить, с каким негодованием писал о ливонских «икономах» на страницах «Истории о великом князе Московском» князь Андрей Михайлович Курбский. Если ранее на людей, живших в этих странах, смотрели как на христиан, хотя и худших, чем православные, то теперь стало складываться представление, что эти страны вообще отпали от христианского мира. «В тех странах, — писал Иван IV в Первом послании Курбскому, имея в виду Великое княжество Литовское и Ливонию, — несть христиан, разве малейших служителей церковных и сокровенных (то есть тайно исповедующих православную веру. — Б.Ф.) раб Господних».

В этих условиях возрастала роль царя и православного Российского государства в распространении и утверждении в мире единственной истинной веры — православия. Иван IV рассматривал себя как преемника Константина Великого в осуществлении этой миссии. В начале Первого послания Курбскому он выражал убеждение, что теперь в его руках находится «победоносная хоругвь — крест честной», врученный некогда «первому во благочестии царю Константину», а его войсками незримо предводительствует сам архангел Михаил. Что же сказать о тех, кто своим «злобесным претыканием» препятствует царю в осуществлении его священной миссии? «Тако хоти-сте утвержати православие?» — обращается Иван к подобным людям. Царь, пишет он, должен казнить воров и разбойников, но «злейша сих лукавые умышления».

Так весь набор использованных царем аргументов приводил к вы-

воду о том, что по отношению к людям, мешающим ему выполнять свои обязанности перед Богом, оправдано применение любых мер, в том числе самых жестоких.

В необходимости подобных мер царя убеждали наблюдения над тем, что происходило в соседних странах, а также обращение к опыту истории, как всемирной, так и древнерусской.

Обращаясь в 1572 году в своей «духовной грамоте» (завещании) к сыновьям, царь писал: «А всякому навывайте... и как которые чины ведутся здесь и в иных государствах, что имеет, то бы есте сами знали». Таким образом, по убеждению Ивана Васильевича, настоящий правитель должен знать, как устроены те государства, с которыми Россия поддерживает отношения. Содержание посланий, отправленных им в последующие годы различным иностранным государям, также показывает, что разнообразная информация о соседних государствах, поступавшая в Посольский приказ, живо воспринималась царем и на ее основе вырабатывались его представления о том, что происходит в окружающем мире.

Даже в кратких курсах европейской истории можно прочесть, что XVI век был временем появления первых абсолютистских монархий в Европе. Казалось бы, наблюдения над европейской жизнью того времени должны были внушить Ивану Грозному уверенность в неминуемой и близкой победе сильной центральной власти. Однако и сам круг стран, доступных для наблюдения, и характер информации, поступавшей в распоряжение царя, склоняли его к иным выводам.

В главном из западных соседей России — Великом княжестве Литовском (соединенном унией с Польским королевством) именно в середине — второй половине XVI века завершается процесс формирования «сословной монархии», ограниченной в своей компетенции в пользу сословий и находящейся от них в зависимости. Завершающим формальным моментом этого процесса был отказ современника Ивана IV — Сигизмунда II от наследственных прав на литовский трон. После смерти Сигизмунда II его преемники, в частности французский принц Генрих Валуа, должны были заключать с сословиями формальный договор — *pacta conventa*, в котором определялось, на каких условиях король будет править страной. Обо всем этом Иван IV не мог не знать, так как сам был в эти годы одним из претендентов на польский трон, и его сторонники прислали ему копию заключенного соглашения, так называемых «Генриковских артикулов». Царь ясно представлял себе, что правитель Речи Посполитой возводится на свой трон сословиями и находится от них в зависимости. Одному из преемников Сигизмунда II, королю Стефану Баторию, он так и писал: «Тебя... обрали народи и станы (сословия. — *Б.Ф.*) королевства Полскаго, да посадили тебя на те государства устраивати их, а не владети ими. А они люди во всей своей поволности, а ты им на маистате всеи земли присягаешь».

Эти высказывания относятся ко времени более позднему, но уже в 60-е годы царь был убежден в том, что его противник Сигизмунд II не обладает реальной властью в стране, а власть эта находится, по существу, в руках могущественных вельмож — «панов». В послании, написанном Сигизмунду в 1566 году от имени боярина М.И. Воротынского, но под диктовку царя (об этом интересном документе нам еще придется говорить), читаем: «Еси посаженной государь, а не вотчинной, как тебя захотели паны твои, так тебе в жалованье государство и дали». В Первом послании Курбскому, бежавшему в Литву, царь не без яда писал: тот, желая «в самоволстве самовластно жити», избрал себе государя «худейша худейших раб суща, понеж от всех повелеваем».

Хорошо известно, что внутривполитическое положение другого западного соседа России — Шведского королевства — было существенно иным, чем Польши и Литвы. С именем современника Грозного, шведского короля Густава I Вазы, исследователи связывают начало абсолютистской политики в Швеции. Иначе оценивал положение в Швеции Иван IV. Его взгляды на этот счет нашли свое выражение в послании, которое царь направил в 1573 году сыну Густава королю Юхану III. Густав Ваза был для Грозного самозванцем низкого — «мужичьего» рода, который некогда пас коров (царь саркастически писал: чтобы занять шведский престол Густав «пригнался из Шмолант с коровами»). Он захватил трон, воспользовавшись восстанием подданных против законного государя — «дородного короля» Кристиана II. Иван IV безошибочно обнаружил черты, свидетельствовавшие о том, что шведский король не является «великим государем»: при заключении перемирия между Россией и Швецией шведские послы заключали мир «от Гастауса короля и от советников королевства Свейского», а его прочность со шведской стороны гарантировали король и, от имени сословий, архиепископ Упсалы. Это значило, что шведский король делит власть с сословиями. «А послы, — писал Иван Васильевич Юхану III, — не от одного отца твоего, от всего королевства Свейского, отец твой у них в головах, кабы староста у волости».

Это был не единственный самозванец, взошедший на престол в результате неповиновения подданных. Так, в Венгрии «наивышший гетман» Януш Заполья «зрадил» своего законного короля Людовика, побудив подданных не помогать ему в войне с турками. В результате король Людовик погиб, а Заполья захватил трон с помощью султана. «Тако ли прегордые царства разоряете, еже народ безумными глаголы наущати и от брани отвращати, подобно Янушу Угорскому», — писал царь с гневом в Первом послании Курбскому.

Характерной чертой первых абсолютистских монархий в Европе было внимание к экономической жизни, стремление активно содействовать развитию торговли и промышленности. Эти новые черты

политической практики не прошли мимо внимания царя, но только усилили его антипатию к политическим режимам, существовавшим у западных соседей России. С отвращением царь писал о том, что когда при Густаве Вазе в Швецию приезжали русские торговые люди с салом и с воском, то шведский король, «сам, в рукавицы нарядясь, сала и воску за простого человека вместо опытом пытал и пересматривал на судех». Неприязнь царя была вызвана не только тем, что такое поведение не соответствовало достоинству государя («коли бы отец твой не был мужичей сын, и он бы так не делал» — писал Иван Васильевич шведскому королю Юхану III). Причины антипатии лежали глубже, и их можно понять, обратившись к его посланию английской королеве Елизавете.

Правление Елизаветы в Англии считается временем расцвета английского абсолютизма. Но у Ивана IV были свои представления о политическом устройстве Англии. Елизавета, как и другие известные царю западные правители, не принадлежала к числу «прирожденных» государей, она не получила власть по наследству, а была возведена на трон английскими сословиями («Филипа короля испанского аглинские люди с королевства сослали, а тебя учинили на королевстве»). Поддерживая торговлю и зарождающуюся промышленность, Елизавета оказывала покровительство «Московской компании» — объединению английских купцов, торговавших с Россией. Расширение ее привилегий ставилось непременно условием заключения соглашения о союзе между Россией и Англией, которого добивался Иван IV. Раздосадованный царь писал королеве: «И мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь... ажно у тебя мимо тебя люди владеют, не токмо люди, но и мужики торговые, и о наших государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая (простая. — Б.Ф.) девица».

Таким образом, чрезмерная забота Елизаветы об интересах своих купцов привела царя к убеждению, что именно эти купцы и обладают властью в стране, а королева лишь выполняет их волю. На воображаемой иерархической лестнице Елизавета стояла гораздо ниже даже польского короля Сигизмунда II: тот повиновался решениям своих «панов», а Елизавета — еще и «торговых мужиков».

На какое из государств, лежавших на Запад от России, ни падал взгляд царя, везде у власти находились не «природные государи», а правители, зависевшие от сословий. «А о безбожных языцех, что и глаголат! Неже те все царствию своими не владеют: как им повелят работные их, так и владеют», — писал царь в 1564 году в Первом послании Курбскому.

Перед царем не мог не возникнуть вопрос: а не пойдет ли и Россия по тому же пути?

Правда, все эти государства принадлежали к иному миру, миру, где господствовала «ложная вера» — католицизм или протестантизм разных толков. Может быть, само господство в России, «православном» царстве, единственно истинной православной веры могло служить гарантией того, что здесь подобная ситуация не повторится?

В размышлениях на этот сюжет царь искал ответа, обращаясь к истории мировой православной империи — Византии, в середине XV века окончательно завоеванной османами.

В русском средневековом обществе в течение длительного времени существовала одна общепризнанная версия причин падения Византии. Это была Божья кара за то, что греческий император и греческая церковь на созванном в 1439 году во Флоренции соборе согласились на церковную унию с латинянами. «Весте, сынове, колику прежде беду подъя Царствующий град от болгар, тако же от перс... но подряху донеле же, сынове, благочестии, ничто же град не пострада же», когда же «своего благочестия отступи, весте, что пострадаша, какова пленения и смерти различниа быше, о душах же их Бог весть един», — писал вскоре после взятия Константинополя турками московский митрополит Иона. Пока Византия хранила верность православию, попытки разных «варваров» захватить «Царствующий град» — Константинополь оказывались тщетными, но, как только Византия отступила от истинной веры, ее сразу настиг Божий гнев.

В середине XVI века эта общепризнанная теория была поставлена под сомнение.

В Москве к этому времени молчаливо отказались от обвинений греческой церкви и Византии в сговоре с «латинством». В «Степенной книге», отражавшей точку зрения официальных московских церковных и светских кругов начала 60-х годов XVI века, рассказывалось, что когда после заключения во Флоренции соглашения о объединении католической и православной церквей папа послал в Константинополь «на патриаршество» своего ставленника Григория, «православнии святители и вси люди не токмо не прияша» его, но и сорвали с него святительские одеяния, и он бежал в Рим. После этого «бысть поставлен в Цариграде патриарх православен», а те, кто, «не стерпеша мук», согласился в Италии на соединение с латинянами, припали к ногам этого патриарха «и прошения прошаху, кричаще и плачуще неутешно». Если, как утверждали в Москве, в Константинополе сразу же и безоговорочно отвергли унию, заключенную во Флоренции, то, следовательно, причины обрушившегося на Византийскую империю «Божьего гнева» следовало искать не в религиозной политике последних византийских императоров.

Тогда в чем же? На вполне закономерный в середине XVI века вопрос о причинах падения мировой христианской империи были предложены разные ответы. Максим Грек в своих посланиях Ивану IV объяснял, что «Божий гнев» вызвали несправедливые поступки гречес-

ких царей по отношению к своим подданным, их «гордость и превозношение».

Совсем другой ответ на этот вопрос предложил Иван Семенович Пересветов.

Пересветов в России был пришельцем, выходцем из мелкой православной шляхты Великого княжества Литовского, и его жизненный путь резко отличался от жизненного пути большей части русских дворян и русских книжников. В составе одного из наемных отрядов, набравшихся польскими и литовскими магнатами, он принял участие в борьбе за венгерский трон между Янушем Заполья, которого поддерживали османы, и Фердинандом Габсбургом. В середине 30-х годов XVI века, находясь в молдавской столице Сучаве, он познакомился с выходцем из России Василием Мерцаловым и под впечатлением его рассказов решил искать себе счастья в Русском государстве. Хотя большая часть его службы прошла в войсках Фердинанда Габсбурга, Пересветов прибыл в Россию горячим энтузиастом османских порядков. Османская империя представлялась ему совершенным государством, которому для достижения идеала не хватало только принятия истинной православной веры.

Знакомство с сочинениями Пересветова ясно показывает, чем именно импонировал ему, человеку, для которого военная служба долгое время была профессиональным занятием, государственный строй Османской империи. Вся совокупность институтов этого государства была направлена на постоянное ведение войны. Объектом главного внимания власти было здесь «войско царское», которое «с коня не сседает и оружия из рук не испускает». Все государственные доходы шли на содержание этого войска, раздавались тем, «кто готов с честью умереть на игре смертной с недругом». Очень импонировало Пересветову и то, что личная доблесть позволяла каждому воину занять в войске сколь угодно высокое положение: «Ин у царя кто против недруга крепко стоит, смертною игрою играет и полки у недругов разрывает и царю верно служит, хотя от меньшаго колена, и он его на величество подымает и имя ему велико дает... А ведомо нету, какова они отца дети». Именно благодаря этим особенностям своего строя Османская империя превратилась в могущественную державу.

Совсем иначе выглядело в изображении Пересветова государственное устройство Византии. Здесь вся власть находилась в руках вельмож, которые богатели от «неправедного суда», угнетая население и присваивая себе государственные доходы, опустошая казну. Чтобы наслаждаться жизнью на приобретенные неправедные доходы, они старались «царя (то есть византийского императора. — Б.Ф.) укротить от воинства, самим бы в упокою пожить». В результате «воинники оскужались и нищали», так как «все царство заложилося за вельмож».

Пересветов нигде не вступает в полемику с официальной обще-

принятой версией причин падения Царьграда — Константинополя, но внимательному читателю его произведений становилось ясно, что Византийская империя пала из-за пороков своего общественно-политического строя.

В научной литературе очень оживленно обсуждался вопрос, были ли известны царю сочинения Пересветова. Не предпрещая окончательного решения вопроса, хотелось бы отметить, что в вопросе о причинах падения Византийской империи точка зрения Ивана IV была принципиально близка точке зрения Пересветова, отличаясь и от общепринятой версии, и от той, которой придерживался Максим Грек. Однако между взглядами двух современников следует отметить и одно весьма важное различие.

Для Ивана Пересветова падение Византии и возвышение Османской империи стало результатом случайного стечения обстоятельств. Вельможи захватили власть в Византии, воспользовавшись малолетством последнего византийского императора Константина, а у османов появился мудрый правитель «Магмет-салтан»: отец его был разбойником на море, а он создал могущественную державу.

Иван IV, в отличие от Пересветова, был образованным человеком, хорошо знавшим славянские переводы византийских хроник, в которых подробно излагалась многовековая история «Греческого царства». Он вряд ли мог удовлетвориться объяснением публициста, так как ему, несомненно, было известно, что император Константин XI вступил на престол взрослым человеком, а отец Мехмеда II («Магмет-салтана») Мурад II был не морским разбойником, а могущественным правителем.

Однако, как представляется, сочинения Пересветова заставили его задуматься над вопросом о причинах упадка Византии, побудили искать ответ в неизвестных Пересветову повествованиях византийских хронистов.

Итоги этих размышлений нашли свое выражение на страницах Первого послания Курбскому. Здесь встает яркая картина многовекового распада некогда могущественной мировой империи. Распад этот начался уже при преемниках Константина Великого, когда «князи и местоблюстители... упражняхуся на власти и чести, и богатстве, и междоусобными бранями растлевахуся». От империи отпадала одна область за другой, однако все эти беды не образумили византийскую знать: «Епархом же и сигклиту всем властем не prestaюще о властех меж себя ратоватися... не prestaюще от своего злаго первого обычая никако же». В результате греки, взивавшие ранее дань со многих стран, «нестроения ради» оказались вынуждены сами платить дань и в конце концов «безбожный Магмет власть греческую погаси». Не могло быть никаких сомнений в том, что именно византийская знать своими многолетними раздорами привела к гибели одну из главных держав христианского мира.

Рассуждения Ивана Пересветова о различиях византийского и османского строя не носили, конечно, отвлеченного, «академического» характера. Его обвинения в адрес византийских вельмож, разоривших своими беззакониями страну, опустошивших государственную казну и ставших причиной обнищания «воинников», были нацелены прямо против бояр, разорявших страну в малолетство Ивана IV.

К тому времени, когда Иван IV взялся за перо, эти беды отошли в прошлое, однако при чтении византийских хроник в сознании все равно протягивались параллели между русскими и византийскими сюжетами. Царь укреплялся в убеждении, что чрезмерная доля власти в руках знати опасна для государства и может привести его к гибели: «Тамо быша царие послушны епархом и сигклитом и в какову погибель приидоша».

Подобный вывод подтверждало и обращение к опыту древнерусской истории. Показательно в этом плане, как характеризуются основные моменты политического развития Древней Руси в тех рассуждениях, которые составители «Степенной книги» вносили в тексты собранных ими источников.

Эпоха Владимира — время расцвета Древней Руси, время установления самодержавного правления. Дух Святой поставил Владимира «безумных человек обуздovati на разумие». Начавшийся затем упадок был вызван тем, что люди «самовластием шатахуся». Содержание этой краткой формулы далее подробно раскрывается. С разделением государства между сыновьями правителя увеличивается и число «вельмож» в отдельных княжениях. Затем «совразсте вельможству гордость, прииде им к богатству изобилование и совниде им к богатству неправда». Одновременно члены княжеского рода стали бороться друг с другом, так как «друг перед другом честь и начальство получитьи желаше» и «брат на брата иноплеменных языки поганых варвар наводяше». Следствием стал Божий гнев и покорение русских земель татарами.

Такое горестное положение продолжалось, по существу, до самого правления Ивана III. Лишь когда Бог дал Руси такого правителя, как «Израилю Моисея», он пресек «вражду», устранил «многочашие» и «самовластие». В частности, в Новгороде великий князь «самовольство их упраздни и бесчинныя их советы разори и облада ими, яко же восхоте».

Таким образом, ослабление самодержавного правления из-за «распрей» и «самовольства» членов княжеского рода и вельмож уже однажды привело Русское государство на край гибели. От участи, постигшей Греческое царство, Россию спасла сильная воля Ивана III.

Эти исторические изыскания заставляли по-новому взглянуть на действия боярских правителей в годы малолетства царя. Становилось очевидным, что всякое, хотя бы временное ослабление власти чрева-

то бедами и напастями, которые в конечном итоге могут привести к поражению в борьбе с внешними врагами и гибели государства.

Действия знатных подданных, ограничивавшие его власть, Иван IV воспринимал как новую попытку направить Россию на тот гибельный путь, с которого она сошла благодаря мудрой политике его деда. Царь готов был прибегнуть к любым мерам, чтобы этого не допустить.

Такие убеждения царя рано или поздно должны были привести к конфликту и разрыву и с его наставником, и с его фаворитом, которые убеждали его управлять подданными с помощью «милости» и «милосердия» и идти на уступки их пожеланиям. В известной мере делом случая стало то, что на практике разрыв произошел из-за разногласий по вопросам внешней политики.

НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ. УДАЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА И АДАШЕВА

Мы почти ничего не знаем об отношениях царя со своим наставником после событий 1553—1554 годов. Что касается Адашева, то во второй половине 50-х годов его влияние на государственные дела оставалось весьма значительным. Еще в 1553 году царский любимец был назван в одном известии «стряпчим» «у царя и великого князя в избе с бояры», а в другом — дворянином «у государя в думе». Эти известия красноречиво говорят о трудностях, с которыми столкнулся царь, желая приобщить своего фаворита к решению важных политических вопросов. Местом, где такие вопросы решались, была, как уже говорилось выше, Боярская дума, в состав которой входили представители наиболее знатных боярских и княжеских родов. Лишь они по своему происхождению могли претендовать на сан «боярина» или «окольного», члена Боярской думы. По своему происхождению Адашев к кругу таких лиц никак не принадлежал, и царь создал особую должность «дворянина в думе», чтобы его фаворит мог на законных основаниях участвовать в работе главного государственного органа. Позднее, в годы опричнины, царь воспользовался этим прецедентом при формировании новой знати.

Однако к концу 1553 года Алексей Федорович получил уже и думный чин окольного, а в 1559 году тот же чин получил и его брат Данила. Когда в 1555 году составлялся «Государев родословец», в который были включены родословные росписи княжеских и наиболее знатных боярских родов, в него вошло и родословие Адашевых. От царя Алексей Федорович получил крупные земельные пожалования. Когда Иван IV писал Первое послание Курбскому, он имел все основания воскликнуть, говоря об Адашеве: «Каких же честей и богатств не исполних его, и не токмо его, но и род его».

Немногие сохранившиеся известия говорят о том, что формы участия Адашева в государственных делах были многообразными: он докладывал царю проект закона и записывал его решение, назначал на должности и удалял со службы, рассматривал даже жалобы на бояр, «волочивших» с решением дел. Сохранился также ряд жалованных грамот, выданных по его приказу. Во второй половине 50-х годов XVI века Адашев был фактическим руководителем внешней политики Русского государства. Все важные переговоры с иностранными послами в эти годы с русской стороны вели Адашев и глава Посольского приказа дьяк Иван Висковатый.

Благоволение царя к Адашеву, как представляется, было связано прежде всего с его успехами в этой сфере деятельности. Это позволило Адашеву выдвинуть широкие политические планы, достойные великого монарха, и у царя были серьезные основания рассчитывать, что при участии его фаворита эти планы могут быть успешно осуществлены.

Взятие Казани в 1552 году вовсе не означало еще конца войны. Вести военные действия продолжала часть татарских князей. В 1555 году к ним присоединились подчинявшиеся ранее казанским ханам мари́йцы (черемиса) и удмурты (вотяки), с которых воеводы Казани попытались собрать «ясак». Нападениям подвергались не только окрестности занятой русскими войсками Казани, но и уезды Муром и Нижнего Новгорода. На протяжении нескольких лет в Казанский край посылали войска во главе с наиболее видными русскими воеводами. Они рассеивали скопления восставших, сжигали их селения, захватывали полон. Затем выборные предводители мятежников приносили присягу на верность и обязывались платить дань, а после ухода русских войск все начиналось сначала. Как вспоминал позднее князь Андрей Михайлович Курбский, сам участвовавший в некоторых из походов в Казанский край, многие уже советовали царю «со вопиянием, да покинет место Казанское и град, и воинство христианское сведет оттуду», однако в конце концов русским воеводам удалось добиться подчинения Казанского края.

Весной 1557 года к царю прибыли «сотные князи», стоявшие во главе «луговых людей», и «всею землею все люди правду дали, что им неотступным быти от царя и государя во веки... и ясаки платити сполна, как их государь пожалует». Князьям была дана жалованная грамота, «как им государю вперед служить». Казанский наместник, князь Петр Иванович Шуйский, «по пустым селам всем велел пашни пахати русским людем и новокрещеном» и приступил к разделу бывших сел хана и казанских князей между православным духовенством и русскими помещиками.

На такой исход событий важное влияние оказали два обстоятельства. Во-первых, чуваша, жившие на Горной стороне Волги и подчинявшиеся русской власти еще до взятия Казани, остались лояльными

по отношению к этой власти и приняли участие в военных действиях на русской стороне. Именно «горные люди» взяли в плен и передали русским воеводам одного из главных предводителей восставших, «лугового сотенного князя» Мамыш-Берди. А во-вторых, восставшие не получили сколь-нибудь серьезной внешней поддержки. Как и перед взятием Казани, они надеялись на помощь Ногайской орды. В надежде на эту помощь люди «с луговые стороны» уже в конце 1553 года обратились к одному из главных ногайских мурз — Измаилу, прося у него на княжение старшего сына, Магомет-мурзу. В подарок Измаилу были привезены доспехи убитого русского воеводы Бориса Салтыкова. Измаил никак не отреагировал на это обращение. Тогда «луговые люди» обратились к верховному князю Ногайской орды Юсуфу, и Мамыш-Берди привез на «луговую сторону» в качестве нового хана («царя») его сына Али-мирзу. Однако за исключением сопровождавшего нового хана отряда из 100 человек никакой иной помощи из Ногайской орды «луговые люди» так и не получили. Тогда, по свидетельству Курбского, они отрубили своему хану голову и воткнули ее на высокий кол с такими словами: «Мы было взяли тебя того ради на царство с двором твоим, да обороняеши нас, а ты и сущие с тобою не сотворил нам помощи столько, сколько волов и коров наших поел. А ныне глава твоя да царствует на высоком коле».

Пассивность ногайцев была связана с тем, что в середине 1550-х годов Орда оказалась охвачена серьезным внутренним конфликтом. В жизни Орды, кочевавшей между нижней Волгой и Яиком, большую роль играли сношения с соседями, к которым ногайцы водили на продажу стада лошадей (а иногда — овец), приобретая взамен оружие, меха, ткани, седла, сбрую и многое другое. Ногайские улусы, расположенные за Яиком, получали необходимые им товары из Средней Азии, и потому были готовы поддерживать враждебные выступления татарских ханств против Русского государства. Иные позиции занимала более западная часть Орды, втянутая в торговлю с Москвой. Глава этой части Орды Измаил писал своему брату, верховному князю ногаев Юсуфу: «Твои, деи, люди ходят торговати в Бухару, а мои ходят к Москве. И только мне завоеватца (с Москвой. — *Б.Ф.*), и мне самому ходити нагу, а которые люди учнут мерети, и тем саванов не будет».

После взятия Казани противоречия между двумя частями Орды усилились (западная часть Орды зависела от «повольного торга» не только с Москвой, но и с Казанью, и переход Казани в руки русских войск мог лишь укрепить ее промосковскую ориентацию). Эти противоречия смогли использовать в своих интересах русские политики. В начале 1554 года Алексей Федорович Адашев и Иван Михайлович Висковатый сумели заключить с послами Измаила договор о союзе, по которому Измаил и поддерживавшие его мурзы обязались «на всех недругов царя и великого князя... заодин быти: куды его царь и

великий князь пошлет, туды ему и ходить». Когда после этого Измаил взял верх над Юсуфом и захватил верховную власть над Ордой, то это означало включение Ногайской орды в сферу русского политического влияния. В 1557 году Измаил принес «шерть» (то есть присягу на Коране) перед русским послом Петром Совиным. Он обязался не допускать нападений ногайцев на русские земли, «заодин на недруга стояти и пособляти, как можно», быть с царем Иваном «в любви» и от него «не отстати». Когда началась Ливонская война, в ней на русской стороне приняли участие отряды ногайских мурз.

Вовлечение Ногайской орды в сферу русского влияния, начатое договором 1554 года, предопределило судьбу расположенного на Нижней Волге Астраханского ханства. Заключенный с Измаилом договор предусматривал совместные действия против астраханского хана Ямгурчи, с тем чтобы посадить здесь племянника Измаила, Дервиш-Али, потомка золотоордынского хана Ахмата. В июне 1554 года на Астрахань в судах по Волге была отправлена русская рать во главе с князем Юрием Ивановичем Шемякиным-Пронским. Хан Ямгурчи, по-видимому, захваченный врасплох, бежал, в руках русской рати оказались не только брошенные воинами хана пушки и пищали, но и ханский гарем. «Посаждение» в Астрахани нового хана означало фактически установление над Астраханью русского протектората. Хан и астраханские люди принесли присягу на верность царю, были освобождены русские пленные, ханство должно было уплачивать дань царю, «ловцы» царя получили право ловить рыбу «до моря безданно и беспошлинно». Позднее, однако, Дервиш-Али вступил в сношения с крымским ханом и ногайскими противниками Измаила. Весной 1556 года к нему пришел «крымского царя воевода с людьми и с пушками и с пищалми на бережение от царя и великого князя». В Астрахань снова была послана русская рать. Попытка Дервиш-Али не пропустить русские войска к Астрахани окончилась неудачей. В рассказе официальной летописи об этих событиях читаем, что ногаи «астроханцев многих» взяли в плен в то время, когда те «бегали от царя и великого князя». Очевидно, что действия русской рати получили поддержку со стороны Измаила и союзных с ним мурз. Видя безнадежность сопротивления, ногайские союзники Дервиш-Али, сыновья Юсуфа, отобрали у хана пушки, передали их в Астрахань и подчинились верховной власти Измаила. Хан бежал в Азов, а оттуда направился на богомолье в Мекку. Астраханские «черные люди» принесли присягу на верность царю, и Астраханское ханство перестало существовать. Теперь весь бассейн Волги от верховья до устья оказался под властью русского царя. Достигнутые успехи были в значительной мере заслугой дипломатического искусства Алексея Адашева.

В январе 1555 года в Москву прибыли послы еще одного татарского государства, наследника Золотой орды, — Сибирского хан-

ства. От имени хана Едигера и «ото всей земли Сибирской» послы просили царя взять их землю под свою защиту, обещая выплачивать дань «со всякого черного человека по соболю». Для принятия присяги на верность и сбора дани Иван IV отправил в Сибирь своих послов. В сентябре 1557 года послы хана Едигера привезли дань — тысячу соболей и «грамоту шертную с княжею печатью, что ся учинил князь в холопстве и дань на всю свою землю положил».

Наметились важные изменения и на Северном Кавказе, который в предшествующие десятилетия был традиционной сферой влияния крымского хана и стоявшего за его спиной султана. Правители Османской империи были заинтересованы в том, чтобы установить свой контроль над путем, который вел в обход Кавказского хребта к Каспийскому морю и странам Средней Азии, и потому побуждали крымских ханов к все новым захватам в этом регионе. Во второй половине 40-х годов XVI века хан Сахиб-Гирей прилагал большие усилия, чтобы утвердить свою власть над племенами адыгов и кабардинцев, широко используя в борьбе с ними полученную от султана артиллерию. После взятия русскими войсками Казани у местных правителей появилась возможность искать в Москве защиты от Бахчисарая и Стамбула. Уже в ноябре 1552 года в Москву прибыли князья западных адыгов, которые принесли присягу, «что им со всею землею Черкасскою служить государю до своего живота», и просили, чтобы царь их «от Крымского царя оборонил». После того как у адыгов побывал русский посол Андрей Щепотьев, принявший присягу верности у населения, в августе 1555 года в Москву прибыло новое посольство, которое снова просило помощи «на Турского городы и на Крымского царя».

Как видим, сравнительно за короткое время в соотношении сил между Русским государством и татарскими ханствами Восточной Европы произошли кардинальные изменения, создавшие во всем регионе ситуацию принципиально иную, чем та, которая существовала здесь во второй половине 40-х годов. По существу, Крымское ханство оказалось в середине 50-х годов XVI века единственным из государств — наследников Золотой орды, которое еще оставалось вне сферы русского влияния. Успехи были столь значительны и достигнуты за столь короткий период времени, что в русских политических кругах стали возникать планы подчинения русской власти и Крыма. Тем самым русские земли были бы навсегда избавлены от татарских набегов, население перестали бы постоянно угонять в полон, началось бы быстрое освоение плодородных земель к югу от Оки, а огромные расходы на оборону южных границ государства сделались бы ненужными.

Уже весной 1555 года русские послы предложили верховному князю ногаев Измаилу организовать совместный поход на Крым, чтобы посадить на ханский трон сына Дервиш-Али Янтемира. «А

нам ся видит, — передавали послы «речи» Ивана IV Измаилу, — и крымскому делу возможно сделатися по тому же, как и астраханское дело зделалось». Когда Дервиш-Али вступил в соглашение с Крымом, кандидатура его сына, как будущего крымского хана, конечно, отпала, но этим вовсе не был положен конец «крымскому делу».

В 1555—1556 годах впервые в истории русско-крымских отношений русские войска, не ограничиваясь обороной южной границы, перешли к наступательным действиям против Крыма. В начале лета 1555 года из Белева было послано тринадцатитысячное войско во главе с боярином Иваном Васильевичем Шереметевым, в «Мамай луг» «на стада на крымские». В походе воеводы столкнулись с двигавшейся на Русь Крымской ордой во главе с самим ханом Девлет-Гирем. В разыгравшемся двухдневном сражении русское войско не смогло противостоять соединенным силам всего Крыма и потерпело поражение, но поход на Русь был сорван и Орда понесла в бою серьезные потери. Особенно серьезной потерей для Орды было то, что русские ратные люди угнали 60 тысяч лошадей, которые вели за собой крымчаки.

В следующем, 1556 году царь послал на Днепр для действий против Крыма своего воеводу Дьяка Ржевского. Соединившись с днепровскими казаками, которые в это время только начинали селиться на месте будущей Запорожской Сечи, Дьяк Ржевский предпринял успешный набег на расположенные на северном побережье Черного моря ханские крепости Ислам-Кермен и Очаков. Хан был вынужден послать против русского войска второе лицо в ханстве — калгу, «а с ним весь Крым, князи и мырзы». Небольшой русский отряд окопался на острове и в течение шести дней отбивался от татар. Крымское войско понесло серьезные потери от огня русских «пищалей», а затем «отогнал ночью Дьяк у крымцев стада конские да на остров к себе перевез и по Заднепрью по Литовской стороне вверх пошел». Поход татар на Русь снова был сорван. В этих событиях царь Иван проявил себя сторонником самых решительных действий против Крыма. Когда разыгралось сражение между войском Ивана Шереметева и татарами, главные русские силы во главе с царем двигались от Оки к Туле, новому передовому пункту русской обороны. Когда от появившихся раненых стало известно, что сражение закончилось неудачей для русских войск, некоторые из вельмож советовали царю вернуться на Оку, но царь приказал идти к Туле, чтобы вступить в битву с татарами. Курбский с похвалой отзывался о мужестве, которое обнаружил Иван IV в этой сложной ситуации.

Русское правительство принимало меры и для того, чтобы улучшить позиции России на западном направлении.

К середине XVI века резко возросло значение торговых путей, связывавших между собой по Балтийскому морю страны Западной и Восточной Европы, а также важнейших перевалочных пунктов на

этих путях. Когда в XV—XVI веках начался интенсивный рост промышленного производства и городов в ряде стран Западной Европы, здесь возрос спрос на продукты сельского хозяйства, которые во все большем размере поступали на европейский рынок из Восточной Европы. Если на протяжении всего Средневековья главными предметами торговли на Балтике, поступавшими с Востока, были почти исключительно воск и меха, то теперь на Запад по Балтийскому морю везли более разнообразные товары: из Прибалтики — хлеб, из Великого княжества Литовского и Польши — хлеб и «лесные товары», из России — кожи, сало, лен и пеньку. Резко возрос товарооборот, возросли и доходы, которые приносила эта торговля. Однако эти доходы, которые могли бы обогатить русскую казну, оседали в прибалтийских портах — тех перевалочных пунктах, где потоки товаров переходили с морских путей на сухопутную дорогу. Сами купцы этих городов активной торговли не вели (судоходство на Балтике к этому времени находилось главным образом в руках голландских купцов), а пополняли свою казну благодаря установлению принудительного посредничества: они не позволяли русским купцам ездить за море, а западноевропейским купцам проезжать через Ливонию на территорию России; в самих же прибалтийских портах и те и другие могли заключать сделки только с местными купцами. В итоге торговая прибыль оседала в карманах ливонских купцов, а торговые пошлины — в карманах ливонских властей. Когда в 1557 году вырабатывался мирный договор со Швецией, «гости и купчины отчин великого князя из многих городов» просили правительство добиться у шведского короля, чтобы им была предоставлена возможность ездить «из Свейской земли в Любок, и в Антроп (Антверпен — город в Южных Нидерландах, в то время один из главных центров европейской торговли. — Б.Ф.) и во Ишпанскую землю и во Англию и во Францыскую землю... и корабли бы им были готовы». Таким образом, русское купечество хорошо понимало, какие выгоды могло принести ему установление прямых связей со странами Западной Европы, и пыталось побудить свое правительство добиваться достижения этой цели.

Власти Ливонии также хорошо понимали, что проводившаяся ими экономическая политика наносит ущерб интересам России, и поэтому предпринимали различные меры, чтобы не допустить чрезмерного усиления Русского государства. Одной из таких мер был запрет ввоза в Россию оружия и цветных металлов (олова, свинца, меди), которые могли быть использованы для производства вооружения. Кроме того, ливонские власти препятствовали приезду в Россию мастеров и ремесленников, которые могли бы принести в русское общество какие-либо новые знания. В конце 40-х годов XVI века русский агент саксонец Шлитте с разрешения императора Карла V нанял в Германии на русскую службу 120 мастеров самых разных специальностей. По дороге в Россию Шлитте был арестован и несколько

лет провел в тюрьме, а нанятые им мастера должны были вернуться домой.

Такая политика, наносившая явный ущерб интересам могущественного соседа, могла успешно проводиться лишь с позиции силы, но Ливонский орден — некогда мощная централизованная структура, созданная специально для ведения агрессивной войны, находился в состоянии глубокого упадка. К середине XVI века он представлял собой довольно рыхлое объединение собственно владений Ордена, епископств и городов. Военные вассалы-ленники и Ордена, и епископов превратились в землевладельцев-дворян, занятых в своих имениях производством хлеба на европейский рынок, чтобы обеспечить жизнь по достаточно высоким для того времени жизненным стандартам. Их военные обязанности стали формальностью, настаивать на их выполнении власти Ордена были не в состоянии. Положение усугублялось тем, что во главе Ордена, находившегося под покровительством папы, стояли рыцари-монахи, а большую часть горожан и дворян Ливонии к середине XVI века составляли протестанты, отвергавшие сам институт монашества.

Слабость Ордена, становившаяся с течением времени все более очевидной, была, несомненно, дополнительным фактором, побуждавшим русские власти изменить невыгодное для России положение вещей.

Первая попытка сделать это, пока с помощью дипломатических средств, была предпринята в 1550 году. В исторической литературе достаточно распространено представление, что сторонником борьбы за выход России к Балтийскому морю был сам Иван IV, в то время как Сильвестр, Адашев и их сторонники в правящих кругах первоочередным делом считали борьбу с татарскими ханствами, сначала Казанью и Астраханью, а затем — Крымом. Известные нам факты биографии Сильвестра позволяют прийти к иному заключению. В «Послании и наказании от отца к сыну», написанном Сильвестром для своего сына Анфима, встречаем неоднократные недвусмысленные указания на занятия благовещенского священника торговой деятельностью: сообщается о том, как он многих «сирот и работных» сначала в Новгороде, а затем в Москве обучил — одних какому-либо мастерству, «а иных всякими многими торговли изучил торговати»; о том, как ему удавалось так располагать к себе партнера при заключении торговых сделок, что тот «всегда мимо мене не продаст и худого товару не даст». Среди этих партнеров были и «иноземцы» — немецкие купцы, один из которых, бургомистр Нарвы Иоахим Крумгаузен, сыграл впоследствии не последнюю роль в переходе этого города под русскую власть. Крупным купцом был и сын Сильвестра Анфим, служивший дьяком в «царской казне у таможенных дел». Поэтому есть основания полагать, что в конце 40-х годов, когда определялся круг задач русского правительства, не царь, относившийся, как мы виде-

ли, с явным презрением к «торговым мужикам» и их «прибыткам», а хорошо знакомый с положением дел и связанный с купеческой средой наставник царя обратил внимание на невыгодную для России политику Ливонского ордена.

В ходе русско-ливонских переговоров, состоявшихся, по-видимому, летом 1550 года, ливонской стороне были предложены три основных требования: свобода торговли с иностранными купцами, свобода приобретения всех видов товаров, в том числе цветных металлов и оружия, свободный проезд в Россию мастеров всяких специальностей (в их числе и оружейников). Ливонская сторона не согласилась на эти требования, и договор о перемирии между Россией и Ливонией был составлен по образцу договоров, заключавшихся между Ливонией и Русским государством в предшествующие годы. Однако в преамбуле договора были отмечены те действия ливонцев, которые вызвали гнев царя: «гостей новгородских и псковских безучастия и обиды и... торговые неисправления» и то, что «из Литвы и из-за моря людей служилых и всяких мастеров не пропускали», а в текст договора вошло обязательство ливонской стороны «во всех делах по ответному списку (документу, в котором излагались русские требования. — *Б.Ф.*) изправитись на съезде перед вопчими судьями». Только при соблюдении этого условия русская сторона соглашалась заключить с Ливонией перемирие на пятилетний срок. Однако на протяжении всего срока перемирия до созыва съезда для обсуждения русских требований дело так и не дошло. В 1551 году ливонские города демонстративно подтвердили свои прежние решения о том, что русские купцы могут заключать торговые сделки только с их купцами.

По-видимому, под впечатлением этого негативного опыта у русских политиков сложилось представление, что добиться удовлетворения русских требований удастся лишь тогда, когда Ливонский орден тем или иным способом будет подчинен русскому влиянию. Для достижения этой цели был использован вопрос о так называемой «юрьевской дани». Происхождение этой дани, которая уплачивалась Дерптским епископством в пользу Псковской республики, во многом остается неясным. В 60 — 70-х годах XV века условия об уплате дани были включены в тексты мирных соглашений между Дерптом и Псковом и в течение ряда лет дань действительно выплачивалась. Соответствующее условие постоянно повторялось в текстах договоров (теперь между Дерптом и Русским государством), однако к середине XVI века дань уже давно не взималась, и о ней успели забыть. Но руководители русской внешней политики Алексей Федорович Адашев и Иван Михайлович Висковатый были не только дипломатами, но и знатоками русской истории, действовавшими в эпоху создания грандиозных сводов, содержавших огромные коллекции сведений о прошлом России. Не удивительно, что они сопоставили пункт

договоров о «юрьевской дани» с известием летописи о походе Яро-слава Мудрого на «чудь» (предков эстонцев) и основании им города Юрьева, который позднее, после его захвата в XIII веке крестоносца-ми, получил название Дерпт (современный Тарту), и пришли к выво-ду, что эта дань уплачивалась ливонцами за разрешение поселиться на земле, принадлежавшей русским великим князьям, и является зримым свидетельством русского сюзеренитета над Ливонией. Во-зобновление уплаты этой дани, по их убеждению, должно было стать первым шагом к восстановлению отношений, сложившихся в дале-ком прошлом.

Вопрос о выплате «юрьевской дани» занял центральное место на переговорах о продлении русско-ливонского перемирия, которые ве-ли весной 1554 года Адашев и Висковатый с ливонскими послами. Именно на этих переговорах ливонским дипломатам было заявлено, что пришедшим из-за моря немцам предки царя разрешили посе-литься на их земле лишь при условии уплаты дани; это условие было нарушено, но теперь царь намерен потребовать его восстановления. Если ливонцы откажутся выплачивать дань, заявил на переговорах Висковатый, царь сам придет за нею.

В результате ливонская сторона пошла на уступки, и в текст дого-вора было включено обязательство выплатить царю дань со всего на-селения Дерптского епископства, «со всякие головы по гривне по не-мецкой». Дерптский епископ должен был собрать и доставить эту дань на третий год действия договора — в 1557 году, а власти Ливо-нии (великий магистр и архиепископ Рижский) должны были про-следить за выполнением данного обязательства. В договоре подчер-кивалось, что если ливонцы не станут выполнять условий договора, то царю придется «за их крестное преступленье искати своего дела самому». Царь специально позаботился о том, чтобы соглашение бы-ло подтверждено не только присягой послов, но и присягой ливон-ских властей.

При заключении договора ливонцы пошли на ряд важных усту-пок и в вопросах торговли: русские купцы получили право приобре-тать в Ливонии все товары кроме «пансырей», был разрешен и сво-бодный проезд в Россию мастеров разных специальностей.

Заключение договора дало в руки русских политиков сильное средство давления на Ливонию. Появилось и законное основание для войны, если бы русское правительство решилось такую войну ве-сти. Однако это не означает, что уже в 1554 году было принято прин-ципиальное решение о войне с Ливонией. Многое зависело от того, как ливонская сторона будет выполнять условия соглашения.

Политика ливонских властей в этом вопросе оказалась крайне непродуманной. Не принимая каких-либо серьезных мер на случай войны с Россией, они одновременно уклонялись от выполнения тех условий соглашения, которые считали для себя невыгодными. Ника-

ких перемен к лучшему в условиях торговли русских купцов в Ливонии не произошло. Ливонские власти стремились уклониться и от выплаты дани.

Когда в начале 1557 года в Москву в соответствии с договоренностью прибыло новое ливонское посольство, то выяснилось, что послы не только не привезли дани, но и добивались, чтобы русское правительство перестало требовать ее уплаты. Царь отказался принять послов «и отпустил их бездельно с Москвы». Становилось все более очевидным, что без военного давления на Орден, без его подчинения русскому влиянию добиться выполнения заключенных соглашений не удастся.

К этому времени у русских появились новые стимулы для активизации политики по отношению к Ливонии, так как к середине 50-х годов в ливонские дела стал активно вмешиваться главный западный сосед России — правитель Великого княжества Литовского Сигизмунд II Август.

Отношения с этим западным соседом со времени заключения перемирия в 1537 году были мирными, но отнюдь не дружественными. С конца XV века великие князья Московские, нисколько не скрывая своих целей, последовательно осуществляли политику «собирания» всех древнерусских земель в одном государстве под властью единственных законных правителей — сидевших в Москве потомков основателя Древнерусского государства святого Владимира. Преследуя эту цель, дед и отец Ивана IV, а затем и он сам не соглашались на установление «вечного мира» с Великим княжеством Литовским, заключая с этим государством лишь соглашения о перемирии на тот или иной срок. Этим московские правители подчеркивали, что не отказываются от своих прав на восточнославянские земли и лишь на время откладывают борьбу за их осуществление. Для Великого княжества Литовского, в границы которого входила вся территория современной Белоруссии и большая часть территории современной Украины, достижение этой цели означало бы конец его существования как большой восточноевропейской державы. Политика Москвы угрожала и Польскому королевству, соединенному личной унией с Великим княжеством Литовским (Сигизмунд II был правителем обоих этих государств), так как часть древнерусских земель (западная часть современной Украины) входила в состав Польши. Польшу, однако, такая опасность могла ожидать лишь в будущем, так как она не имела общей границы с Русским государством. Не удивительно, что отношения между Москвой и Литвой, несмотря на долго сохранявшийся мир, продолжали оставаться напряженными. Из всех правителей соседних стран Сигизмунд II был единственным, кто упорно отказывался признать новый царский титул Ивана IV.

Поэтому активизация русской политики в Ливонии должна была привлечь внимание литовских политиков к этой стране. Однако для

вмешательства в ливонские дела у них имелись и другие важные причины. Подобно Русскому государству, и Великое княжество Литовское несло ущерб от принудительного посредничества ливонских купцов, причем ущерб в данном случае был, вероятно, даже большим, так как Великое княжество Литовское было вовлечено в систему европейских экономических связей гораздо сильнее, чем Русское государство. Попытки литовских политиков добиться изменения положения с помощью дипломатии также оставались безрезультатными. Отсюда их попытки подчинить Ливонию своему политическому влиянию, вмешиваясь в ее внутренние дела. Для такого вмешательства у Сигизмунда II было гораздо больше возможностей, чем у Ивана IV.

Больше всего литовских политиков привлекала возможность установления своего контроля над Ригой — портом, через который шел основной поток товаров из Великого княжества Литовского в страны Западной Европы. К середине 50-х годов литовским политикам удалось добиться тайного соглашения с рижским архиепископом Вильгельмом об избрании его будущим преемником-коадьютором сына одного из немецких князей, Кристофа Мекленбургского, связанного с польским двором. Став позднее рижским архиепископом, тот должен был добиваться превращения архиепископства в особое княжество под патронатом Великого княжества Литовского. После того как архиепископ действительно сделал Кристофа Мекленбургского своим преемником, вмешались власти Ордена. Войска великого магистра напали на резиденцию архиепископа и захватили в плен и Вильгельма, и его коадьютора. Тогда Сигизмунд II прибегнул к силе, собрал войско и двинул его на границу с Орденом. Власти Ордена попытались провести мобилизацию своих военных вассалов, но лишь незначительная их часть откликнулась на это обращение. Орден фактически мог опираться лишь на отряды наемников из Германии, которые не смогли бы дать отпора литовской армии. В итоге 13 сентября 1556 года великий магистр Вильгельм Фюрстенберг должен был публично принести извинения Сигизмунду II и подписать договор, удовлетворявший основные требования властей Великого княжества Литовского. Архиепископ и его коадьютор были освобождены, архиепископу возвратили власть над архиепископством, а купцам Великого княжества была предоставлена свобода торговли на территории Ливонии. Кроме того, Орден заключил с Великим княжеством Литовским союз против России и принял на себя обязательства не пропускать на русскую территорию товары и специалистов, которые могли бы способствовать усилению Русского государства.

С заключением этого договора у русских политиков появилось новое веское основание для войны с Ливонским орденом: все русско-ливонские договоры XVI века содержали обязательство Ордена

не заключать союзов с Великим княжеством Литовским, направленных против России, а обязательство не пропускать в Россию товары и специалистов находилось в прямом противоречии с нормами русско-ливонского договора 1554 года. Однако главное значение происшедших событий заключалось не в этом. Они показали военное бессилие Ордена и реальность перспективы его подчинения влиянию Великого княжества Литовского. В этом случае пути, ведущие из России на Запад, оказались бы под контролем главного политического противника Русского государства.

Все это заставляло русские политические круги поторопиться с попыткой собственного решения ливонской проблемы.

Новым русско-ливонским переговорам предшествовали меры серьезного давления на Ливонию. Русским купцам было предписано, «чтоб ни кто в Немцы не ездил ни с каким товаром», а близ русской пограничной крепости Ивангород при впадении в Балтийское море реки Наровы, отделявшей русскую территорию от территории Ордена, начало строиться «корабленное пристанище», где русские купцы могли без посредников встречаться с купцами из стран Западной Европы. В 1557 году завершилось подчинение Казанского края, и «казанские люди ис Казани и из Свияги и из Чебоксары и черемиса» вошли в состав армии, которая была собрана на ливонской границе.

Новое ливонское посольство прибыло в декабре 1557 года с просьбой уменьшить размер дани, установленной договором. Когда, наконец, была достигнута договоренность о размерах суммы, которую следовало уплатить, выяснилось, что послы никаких денег не привезли и предлагают лишь обсудить вопрос о сроке, к которому они могли бы доставить деньги. В Москве пришли к заключению, что все это делалось, «чтобы государь ныне рать свою оставил... и вперед лгати». Переговоры были прерваны, и Иван IV приказал своим войскам напасть на владения Ордена. С этого нападения фактически и началась многолетняя Ливонская война.

Однако посылая войска на Ливонию, русское правительство еще не приняло решения о войне. Речь шла о мерах давления, которые должны были заставить Орден выполнить взятые на себя обязательства. Не случайно, возвращаясь из похода, командующий войсками касимовский хан Шах-Али призывал власти Ордена, «будет у вас есть хотения перед государем исправитца», прислать в Москву послов, обещая в этом случае вместе с боярами ходатайствовать за них. Когда магистр попросил «опасной грамоты» для послов, которые привезут царю дань, такой документ был выслан.

Однако установившееся перемирие просуществовало недолго. В нарушение его условий из нарвского замка стали стрелять по пограничной русской крепости Ивангород, и царь в ответ приказал по Нарве «стреляти из всего наряду». Нарвские горожане отправили в

Москву делегацию, отмежевываясь от действий своего «князца» — наместника Ордена, но Адашев и Висковатый жестко потребовали передать русским воеводам «князца» и нарвский замок и принести присягу на верность царю; в этом случае, как заявили они делегатам, «вас государь пожелует... старины ваши и торг у вас не порушит». Нарвские горожане отказались принять эти условия, и 11 мая 1558 года русские войска взяли город штурмом. Затем по городу прошел крестный ход во главе с архимандритом Юрьева монастыря и протопопом Софийского собора. С этого момента Нарва стала главным русским портом на Балтике, и вскоре ее начали посещать купцы из многих стран Западной Европы.

Взятие Нарвы стало началом перелома в ливонской политике Русского государства. С конца мая 1558 года русские войска принялись занимать одну за другой пограничные крепости Ордена, а в июне 1558 года в поход на Ливонию выступило большое русское войско во главе с боярином князем Петром Ивановичем Шуйским. Поход продолжался все лето и показал полное военное бессилие Ордена — русские войска заняли 20 «городов», среди них такой крупный центр и резиденцию епископа, как Дерпт. Воевод, прибывших к царю в Александрову слободу, Иван IV жаловал «шубами и кубки, и аргамачи... и во всем им свое великое жалование показал». Вся восточная часть современной Эстонии в результате похода оказалась под русской властью.

Вопрос о мирном соглашении с Орденом не снимался с повестки дня, но становилось ясно, что речь может идти о заключении только такого мира, условия которого будут продиктованы русской стороной. В ответ на просьбы о мире великому магистру было объявлено, что для этого он должен лично явиться к царю.

Условия такого мира Алексей Федорович Адашев изложил в марте 1559 года датским послам, пытавшимся выступать в роли посредников между Россией и Орденом. Речь шла фактически об установлении русского протектората над Ливонией (его условия предусматривали, в частности, ввод русских гарнизонов в ряд ливонских городов). По просьбе датских послов властям Ордена было предоставлено перемирие на шесть месяцев, от мая до ноября 1559 года. В течение этого срока магистру следовало прибыть к Ивану IV «да за свои вины добити челом на всем том, как их государь пожелует».

Именно с началом активного военного наступления на Орден Иван IV впоследствии связывал начало разногласий между ним и его ближайшими до того времени советниками. Если сам Иван IV был сторонником самых активных военных действий (по его словам, он несколько раз отправлял грамоты князю Петру Ивановичу Шуйскому, торопя его с выступлением в поход), то советники «на всяко время» внушали ему, «еже не ходити бранию». Однако такая версия царя

вызывает сильные сомнения. Как отмечалось выше, именно Адашев вел все дипломатические переговоры, приведшие к войне, и можно не сомневаться, что эта война была частью его военно-политического замысла. При взятии Нарвы и позднее в военных действиях в Ливонии наибольшей активностью отличался брат фаворита Данила Федорович, который именно за военные успехи в Ливонии получил из рук царя чин окольничего. На важнейший пост наместника Юрьева-Дерпта, в руках которого сосредоточивалась власть над ливонскими землями, царь назначил князя Дмитрия Ивановича Курлятева, о котором позднее с раздражением отзывался как об одном из ближайших «единомышленников» Сильвестра и Адашева. Наконец, и князь Андрей Михайлович Курбский (в то время один из воевод в армии князя Петра Шуйского) в своей «Истории о великом князе Московском» писал о победах русских войск над ливонцами как о справедливом возмездии, постигшем власти и подданных Ордена за отступление от веры и иконоборчество. Очевидно, на первом этапе война с Ливонским орденом встречала общее одобрение и царя, и русских правящих кругов.

Исследователи неоднократно обращали внимание на то, что одновременно с началом войны против Ордена все более усиливались и наступательные действия русских войск против Крыма, начатые в 1555—1556 годах.

Уже в 1556 году Крымское ханство подверглось нападению с разных сторон. Знатный украинский феодал, князь Дмитрий Вишневецкий, который в это время перешел на русскую службу, взял штурмом город Ислам-Кермен, а захваченные пушки вывез и поставил на Хортице у днепровских порогов, где как раз в это время стали оседать казаки, закладывая будущую Запорожскую Сечь. Тогда же адыгские князья заняли Темрюк и Тамань. Хан весь год держал наготове, не распуская, войско и «у турецкого помочи просил, а чаял на себя приходу в Крым царя и великого князя». В следующем, 1557 году наступление на Крым фактически прекратилось, и хан воспользовался передышкой, чтобы выгнать Дмитрия Вишневецкого с Хортицы. После тяжелых боев, в которых участвовала вся Орда во главе с самим ханом, Вишневецкий был вынужден отойти на русскую территорию.

Однако с января 1558 года наступление на Крым с нескольких направлений возобновилось с еще большим размахом. Большие отряды детей боярских, стрельцов и казаков были посланы на реку Псел, чтобы строить здесь суда, а затем выйти на Днепр и оттуда предпринимать нападения на Крым. Тогда же русское правительство послало Дмитрия Вишневецкого в Кабарду, чтобы тот, собрав здесь войско, шел на Крым «ратью мимо Азов». Тогда же послы, прибывшие от крымского хана, были арестованы и сосланы, и дипломатические сношения с Крымом прервались на несколько лет.

В следующем, 1559 году военные действия стали еще более активными. В феврале 1559 года на Донец был послан князь Дмитрий Вишневецкий, чтобы, построив здесь суда, «приходить на крымские улусы... от Азова под Керчь». Тогда же на Днепр было послано войско во главе с Данилой Адашевым также «промышляти на крымские улусы». На Дон поехал думный дворянин и постельничий царя Игнатий Вешняков, который должен был «сходитца на Дону с князем Дмитрием Вишневецким». Вешняков получил задание поставить на Дону крепость — опорный пункт для будущих походов на Крым. Наконец, 11 марта был принят приговор о сборе войска против Крыма во главе с самим царем и виднейшими боярами. И на этот раз войско должно было не стоять на Оке, а идти на юг, в степь. Герой взятия Казани князь Михаил Иванович Воротынский поехал «на Поле место рассматривать, где государю царю и великому князю и полком стоять».

Благодаря успешным действиям военных отрядов Крымская орда оказалась запертой на Крымском полуострове и впервые за много лет сама стала объектом нападений. Как с энтузиазмом записал на страницах официальной летописи Алексей Адашев, «русская сабля в нечестивых жилищах тех по се время кровава не бывала...», а теперь «морем его царское воинство в малых челнех... якоже в кораблех ходяше... на великую орду внезапно нападаше и повоевав и, мстя кров христианскую поганым, здорово отъидоша». Войско во главе с Данилой Адашевым, разорив побережье Крыма и освободив «русский» и «литовский» полон, благополучно вернулось на русскую территорию, нанеся серьезные потери орде, пытавшейся задержать его на днепровских переправах. Вернувшиеся из похода в сентябре 1559 года Данила Адашев и Игнатий Вешняков были пожалованы царем за службу.

Таким образом, Русское государство предпринимало в конце 1550-х годов серьезные шаги для решения и крымской, и ливонской проблемы. Обычно такое положение объясняют борьбой в окружении царя сторонников двух разных ориентаций, из чего делается вывод об отсутствии единого продуманного курса в русской внешней политике тех лет. Дело, по-видимому, обстояло иначе. В конце 50-х годов была предпринята попытка осуществить сложный политический замысел, принадлежавший, судя по всему, самому Алексею Адашеву, целью которого было добиться одновременного решения в интересах России и крымской, и ливонской проблемы.

Война со слабым Орденом не пугала русских политиков. Иное дело — перерастание этой войны в большой международный конфликт с участием многих государств. Между тем после событий 1556 года в Москве должны были отдавать себе отчет в том, что русское вмешательство в ливонские дела может вызвать сопротивление со стороны Великого княжества Литовского и, следовательно, не могли не ду-

мать о мерах, с помощью которых можно было бы устранить такую угрозу. Отсюда — очевидное стремление принудить власти Ордена согласиться на установление русского протектората. Такое решение лишило бы власти Великого княжества Литовского оснований для вмешательства в ливонские дела. Этого, однако, было недостаточно. Следовало предложить Великому княжеству Литовскому соглашение, которое могло бы принести ему крупные выгоды. Таким соглашением мог стать союз двух государств для покорения последнего татарского ханства в Восточной Европе — Крыма. Так как Великое княжество Литовское не меньше России страдало от татарских набегов, можно было бы ожидать, что такое предложение его заинтересует и ради избавления от татарской угрозы литовские политики не станут реагировать на русские успехи в Ливонии. Представляется также, что русские политики конца 50-х годов, чьи взгляды формировались в обстановке постоянной «священной войны» против мусульманского мира, искренне были убеждены, что Сигизмунд II не сможет ответить отказом на предложение о союзе против «поганных». Против осуществления такого замысла царь не мог иметь никаких возражений: он должен был стать верховным сюзереном Ливонского ордена и добавить к своим лаврам покорителя Казани и Астрахани лавры покорителя Крыма.

Совсем не случайно к переговорам о союзе против Крыма русское правительство серьезно приступило именно зимой 1557/58 года, когда русские войска предприняли набег на Ливонию. Посланный в Вильно в феврале 1558 года, после большого набега татар на Волынь, Роман Олферьев сообщил, что русским воеводам послан приказ идти за ордой и отбить захваченный полон и что царь хочет воевать с Крымом и оказывать помощь против татар «христианам», живущим в Великом княжестве. Приехавшим в марте 1559 года литовским послам Адашев заявил, что «для покою христианского и свободы христианам от рук бусурманских» царь готов заключить с Великим княжеством Литовским не только союз против Крыма, но и «вечный мир», соглашаясь оставить в руках Сигизмунда II «все свои старинные вотчины» — белорусские и украинские земли. Это беспрецедентное для практики русско-литовских отношений в XVI веке заявление ясно показывает, сколь значительные усилия предпринимались, чтобы склонить Великое княжество Литовское к союзу против Крыма.

План Адашева основывался на двух предпосылках: во-первых, что Великое княжество Литовское, заинтересованное в союзе против Крыма, не станет препятствовать усилению русского влияния в Ливонии и, во-вторых, что Орден, не имея никакой поддержки, будет вынужден согласиться на продиктованные в Москве условия мира. К концу 1559 года стала выясняться нереальность обеих этих предпосылок. Правда, во время переговоров неоднократно говорилось о желании Сигизмунда II «о всем добром и обороне христианской мис-

лить». Король даже просил у Ивана IV «опасной грамоты» для «великих послов», которых он намеревался послать в Москву для заключения соответствующего соглашения. Но все это были лишь дипломатические маневры. В действительности лица, стоявшие у власти в Великом княжестве Литовском, вовсе не думали серьезно о союзе с Россией против Крыма. Напротив, ликвидация Крымского ханства, с их точки зрения, была весьма нежелательна, так как баланс сил в Восточной Европе, и так сильно изменившийся в пользу России после ликвидации Казанского и Астраханского ханств, стал бы для Великого княжества после исчезновения Крымского ханства еще более невыгодным. «И только крымского избыв, и вам не на ком пасти, пасти вам на нас», — сказал однажды один из литовских дипломатов своим русским собеседникам. Напротив, готовясь со своей стороны вмешаться в ливонские дела, рада Великого княжества Литовского старалась заключить союз с Крымом, направленный против России. В этом русское правительство могло убедиться осенью 1559 года, когда Данила Адашев доставил в Москву захваченные на днепровском перевозе литовские грамоты в Крым. В них говорилось, что король посылает в Крым «большого посла с добрым делом о дружбе и братстве» и обещает хану каждый год присылать высокие «поминки», чтобы тот «с недруга нашего с московского князя саблю свою завсе не сносил». Тем самым Данила Адашев невольно нанес удар своему брату, так как доставленные им грамоты ясно показывали нереальность расчетов царского министра иностранных дел.

Власти Ордена, таким образом, вовсе не находились в безвыходной ситуации: будучи не в состоянии дать отпор русским войскам и одновременно не желая подчиняться верховной власти Ивана IV, они приняли решение отдаться под защиту Сигизмунда II. Для этой цели и было использовано предоставленное им перемирие. 31 августа 1559 года в Вильно было заключено соглашение о переходе Ордена «под протекцию» великого князя Литовского. После этого власти Ордена стали чувствовать себя столь уверенно, что, наняв отряды наемников — «заморских немец», открыли в октябре 1559 года военные действия в Прибалтике, не дожидаясь окончания предоставленного им перемирия. Положение стало тем более сложным, что когда царь захотел послать войска на помощь своим, то «по грехом пришла груда великая и безпута» и войска не могли пройти в Прибалтику.

Как представляется, именно в этой сложной ситуации начались острые разногласия в русских правящих кругах. Их характер лишь отчасти можно установить по отрывочным свидетельствам наших источников. Позднее в Первом послании Курбскому царь с раздражением обвинил Сильвестра и Адашева в том, что во время войны в Ливонии они добивались от него «еже бы не ходити бранию». Очевидно, речь шла о прекращении дальнейшего вмешательства в Ливонию, что могло втянуть страну в войну с Великим княжеством Литовским.

Эти высказывания следует сопоставить со свидетельством Курбского о том, что после успехов, достигнутых Вишневецким и Данилой Адашевым, он и другие советники снова и снова «царю стужали и советовали: или бы сам потщился итти или бы войско великое послал на Орду». Таким образом, именно в конце 1559 года был поставлен вопрос о выборе между двумя направлениями русской внешней политики, и часть советников во главе с Адашевым и Сильвестром выступила за прекращение войны с Ливонией и продолжение наступления на Крым.

Царь, как видно из Первого послания Курбскому, пришел к иному выводу. Обсуждение вопроса о будущей ориентации русской внешней политики имело место в Можайске, где находился царь в октябре-ноябре 1559 года. Оно осложнилось вмешательством Сильвестра. Привыкнув к определенному стилю обращения с воспитанником, он и на этот раз, по-видимому, угрожал царю Божиим гневом («аще ли не так, то душе пагуба и царству разорение»), если тот не будет следовать советам его и Адашева. Свидетельством того, что Бог недоволен действиями царя, Сильвестр считал случившуюся в это время болезнь царицы Анастасии. Царь был серьезно озабочен болезнью жены. Генрих Штаден, немец на царской службе, записал рассказ некоей вдовы Екатерины Шиллинг, которую привезли в Москву из только что завоеванного Дерпта, чтобы лечить царицу. Иван IV обещал пожаловать ей половину доходов с Юрьевского уезда, если она вылечит Анастасию. Не удивительно, что внушения Сильвестра на этот раз не только не оказали желательного действия, но и вызвали раздражение царя.

У Ивана Васильевича сложилось свое понимание происходящего, которое он позднее изложил на страницах Первого послания Курбскому. Подчиняясь внушениям советников, он не вел войну достаточно решительно и «лукавого ради напоминания дацкого короля» дал возможность ливонцам целое лето собирать свои силы. «И аще бы не ваша злобесная претыкания, — писал он Курбскому, обращаясь в его лице и к другим сподвижникам Сильвестра и Адашева, — и з Божиею помощью уже бы вся Германия (то есть Ливония. — Б.Ф.) была за православием». Выход из сложившегося положения царь видел в усилении военных действий в Ливонии.

Можно спорить о том, какое решение было бы в данной ситуации более правильным, но очевидно, что заключение перемирия с Орде-ном было ошибкой, ответственность за которую несло то лицо, которое направляло в эти годы внешнюю политику правительства, то есть Алексей Адашев. Таким образом, у царя было серьезное основание для отстранения Адашева от государственных дел. Однако следует принять во внимание, что Адашев и ранее допускал серьезные ошибки. Так, он не сумел в начале 50-х годов XVI века добиться мирного присоединения Казанского ханства, но это не помешало в дальней-

шем его успешной карьере и не ослабило доверия, которое к нему питал царь. К этому надо добавить, что немилость царя совсем не коснулась человека, который во второй половине 50-х годов был неразлучным спутником Адашева на всех ответственных дипломатических переговорах — дьяка Ивана Михайловича Висковатого, главы Посольского приказа. Все это позволяет думать, что Адашев был отстранен от государственных дел не столько за ошибки, допущенные им при решении вопросов внешней политики, сколько потому, что царь уже в то время пришел к выводу, что та внутренняя политика, которую он проводил, следуя советам Адашева и Сильвестра, не отвечает его интересам.

Судя по высказываниям царя, его окончательный разрыв с советниками произошел на дороге из Можайска в Москву, куда царь, получив тревожные известия из Ливонии, срочно выехал в конце ноября 1559 года с больной женой в ужасную осеннюю распутицу, когда, по выражению официальной летописи, ехать «невозможно было ни верхом, ни в санях». По-видимому, во время столь тяжелого путешествия Сильвестр продолжал наставлять царя в привычной для себя манере и вызвал этим его гнев. Высказывания Ивана IV очень скупы, и мы, вероятно, так и не узнаем, в чем заключалось то «малое слово непотребно», которое стало поводом для окончательного разрыва.

Расставшись с царем, Сильвестр покинул Москву и принял пострижение в Кирилловом монастыре под именем Спиридона. Что касается Алексея Адашева, то в декабре 1559 — январе 1560 года, после приезда царя из Можайска в Москву, он еще принимал сначала литовского гонца, а потом литовского посланника. В мае 1560 года, когда в Ливонию было послано большое войско во главе с князем Иваном Федоровичем Мстиславским, Алексей Адашев вместе с этой армией покинул Москву. В армии ему был доверен достаточно высокий пост третьего воеводы «большого» (главного) полка, соответствовавший его сану. Но если учесть, что в предшествующие годы Адашев постоянно находился при особе царя и не получал военных назначений, эта посылка в Ливонию была первым знаком царской немилости. Скоро последовали и другие. 30 августа 1560 года в Москву пришли донесения от воевод о взятии одной из лучших крепостей в Ливонии — Феллина (современный Вильянди), и царь приказал оставить воеводой в этом городе Алексея Адашева. Тем самым стало очевидно, что царь твердо намерен отстранить своего бывшего друга от управления государством.

Тогда же царь предпринял и другой шаг. По его приказу в сентябре-октябре 1560 года вотчины Алексея Адашева в Костромском и Переяславском уездах были отобраны в казну, а вместо них ему были выделены земли в Бежецкой пятине Новгородской земли. Значение этого шага станет понятно, если учесть особенности структуры дворянского сословия в середине XVI века. Лишь представители дворян-

ства земель Северо-Восточной Руси, входившие в состав «государева двора», могли принимать участие в управлении государством и занимать высокие должности общегосударственного значения. В отличие от них новгородские помещики могли рассчитывать на военно-административные должности лишь на территории Новгородской земли. Превратив Адашева в новгородского землевладельца, царь заранее ограничивал рамки его будущей деятельности границами русско-го Северо-Запада и сопредельных ливонских земель.

На этом неприятности Алексея Федоровича не кончились. По распоряжению царя вторым воеводой в Феллине был назначен костромской сын боярский Осип Полев. В списке костромских «детей боярских» «Дворовой тетради» он был записан выше, чем Данила Федорович Адашев, следовательно, его семья считалась на Костроме более знатной, чем семья предков Адашевых, Ольговых. В иное время Полев не посмел бы спорить с Адашевым, но теперь, видя явную немилость царя к бывшему фавориту, он заявил, что ему «меньши Олексея Адашева быть невместно». В результате царь назначил Осипа Полева воеводой в Феллине, а Адашеву «велел быть в Юрьеве Ливонском», не давая ему никакой должности. В «Пискаревском летописце», неизвестный составитель которого записал в начале XVII века рассказы старших современников о временах правления Ивана IV, сохранились припоминания, что Алексей Федорович «бил челом многожды» наместнику Юрьева князю Дмитрию Ивановичу Хилкову, чтобы тот дал ему какую-нибудь должность, но тот «не велел быти», очевидно, потому, что не имел на этот счет никакого приказа от царя. Во всем этом, как представляется, явно проявилось желание царя отстранить своего бывшего ближайшего друга и советника от всякого участия в государственной деятельности.

Начало 1560 года стало важной вехой в биографии Ивана IV. Он, наконец, избавился от опеки советников, наставлениям которых до сих пор (хотя со временем все менее охотно) следовал. Царь был недоволен ими, так как, следуя их рекомендациям, он не добился укрепления своей власти. Теперь, устранив их, он получил возможность осуществить меры, которые, по его убеждению, позволили бы ему сосредоточить в своих руках всю полноту власти в государстве.

НАКАНУНЕ ОПРИЧНИНЫ

Одним из последствий разрыва царя с Сильвестром и Адашевым стало возвращение к управлению государством лиц, удаленных из окружения монарха в середине 50-х годов. На первые места в государстве вернулись родственники царицы Анастасии — Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы. В начале 60-х годов XVI века Василий Михайлович вел переговоры с литовскими послами, высту-

пая в той роли, в которой ранее мы видели Адашева. Был возвращен из ссылки Никита Фуников Курцов, получивший в начале 1560 года пост казначея, еще более важный, чем пост, который он занимал до ссылки. Одновременно от двора удалялись лица, близкие Адашеву — постельничий Иван Михайлович Вешняков, его брат Данила и другие лица.

Если бы все ограничилось только этим, то происшедшее следовало бы определить, как довольно тривиальный дворцовый переворот, затронувший судьбы сравнительно узкого круга людей. Однако произошедшие перемены оказались гораздо более значительными. Царь не ограничился сменой отдельных лиц, стоявших у кормила правления государством, а предпринял попытку изменить традиционные нормы отношений между государем и кругом его советников.

В отличие от ряда европейских стран в России не существовало документов, в которых такие нормы фиксировались и скреплялись обязательствами монарха и его советников. Это, однако, не значит, что подобных норм вообще не существовало. Такие нормы, конечно, имелись и если не были зафиксированы письменно, то зато освящались древностью обычая, восходившего еще ко временам, когда князь был прежде всего предводителем своей дружины.

В XVI веке ни о каких личных контактах великого князя (затем — царя) с основной массой его военных вассалов не могло быть и речи; такие контакты сохранялись в основном в практике общения государя с кругом своих советников. Советник должен был верно служить государю, не жалея ради этого ни имущества, ни жизни, а государь должен был щедро награждать его за службу. Государь мог наказать советника за совершенные проступки, но при этом следовало объявить ему вину в присутствии бояр и дать провинившемуся «исправу», то есть возможность высказать все, что он имел сказать в свое оправдание. О том, что эти нормы сохраняли свою действенность и в XVI веке, говорит текст, сохранившийся в митрополичьем формулярнике (сборнике образцов грамот и посланий) того времени, где от имени советника к правителю обращаются следующие слова: «Придет на нас от кого обмолва государю нашему, великому князю, без суда и без исправы не учинити нам ничего». В случае, если бы справедливость обвинений подтвердилась, государь мог карать за измену смертной казнью и конфискацией имущества (как поступил, например, Дмитрий Донской с Иваном Васильевичем Вельяминовым, вступившим в сношения с Ордой и литовским князем), а за иные провинности наложить на приближенного свою «опалу». Опальный не мог находиться в присутствии государя (о прощении одного из опальных в начале XVI века говорили, что ему «очи у великого князя взяли») и участвовать в управлении государством. Описание самой церемонии наложения опалы сохранилось в сочинении польского шляхтича Станислава Немоевского, написанном в начале XVII века. При объявлении

опалы царь бил попавшего в опалу боярина рукой по губам, а думный дяк, поставив его посередине избы, горстями выщипывал ему бороду. Подвергшийся опале должен был каждый день ездить по Кремлю и посаду в черной одежде, черной шапке и черных сапогах и перед каждым снимать шапку.

Со временем государь мог вернуть опальному свою милость и снова включить его в круг своих советников. При этом большую роль играло освященное традицией право митрополита и епископов «печаловаться» за опальных. По печалованию митрополита правители неоднократно прощали своим советникам не только служебные проступки, но и важные преступления (как, например, попытку отъезда в Литву). «Печалуюсь» за опального, митрополит и епископы как бы ручались за его верность государю в будущем. В случае нового нарушения присяги виновному угрожали не только наказания со стороны правителя, но и церковные кары (отлучение от церкви и проклятие «в сем веке и в будущем»). Принимавшийся снова в окружение государя советник приносил новую присягу верности — целовал крест у гробницы одного из святых патронов московской митрополии — митрополита Петра или Алексея.

Поручительство митрополита и епископов, снятие опалы и новая присяга на верность фиксировались в документе особого типа — «поручной записи». Наиболее ранний известный документ такого типа относится к правлению Ивана III.

Однако не только митрополит и епископы, но и светские приближенные правителя могли ходатайствовать о снятии с виновного опалы и выступать как поручители за его верность в будущем. В этом случае условия такого поручительства были другими: в случае, если советник, прощенный и возвращенный в круг приближенных государя, нарушив присягу, «куда отъедет или збежит», поручители должны были выплатить в великокняжескую казну значительное количество денег (несколько тысяч рублей — сумму в XV—XVII веках огромную). В этих условиях сложилась практика, когда с просьбой об опальном к государю обращалось несколько бояр — членов Думы, а финансовые обязательства принимал на себя более широкий круг лиц из числа членов «государева двора», связанных с опальным родственными или иными связями и готовых взять на себя ответственность за него.

Такая практика создавала своеобразный механизм «обратной» связи в отношениях между монархом и правящей элитой. Появление у опального широкого круга влиятельных поручителей свидетельствовало о наличии в правящем слое определенного недовольства действиями монарха и заставляло монарха вносить поправки в свою политику, соглашаясь в той или иной форме допустить опального к участию во власти.

Самостоятельная политика царя Ивана началась с попытки нарушить некоторые из этих традиционных норм.

Поводом для этого послужила смерть царицы Анастасии 6 августа 1560 года. Царица, по-видимому, так и не оправилась от болезни, постигшей ее осенью 1559 года. У историков сложилось довольно устойчивое представление, что царица благотворно влияла на своего мужа, смягчая тяжелые стороны его характера, а ее смерть способствовала тому, что эти стороны стали все сильнее проявляться, наложив отпечаток на поведение царя и его обращение со своим окружением. Такое представление возникло, по-видимому, еще при жизни Грозного. Англичанин Джером Горсей, агент «Московской компании» — объединения английских купцов, торговавших с Русским государством, — появившийся в России в 70-х годах XVI века, отмечал в своих «Записках», что Анастасия «была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали, любили и боялись все подчиненные. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом». Как бы продолжая Горсея, автор так называемого «Хронографа 1617 года» писал о царе, что после смерти Анастасии «превратился многомудренный его ум на нрав яр».

Иван, несомненно, был привязан к своей первой жене. Однако о каком-либо особом ее влиянии на супруга говорить, по-видимому, не приходится. Правда, согласно рассказу официальной летописи, во время похорон Анастасии «царя и великого князя от великого стенания и от жалости сердца едва под руце ведяху». Однако горе не помешало уже через две недели после смерти царицы начать хлопоты о заключении нового брака. Они завершились приездом в Москву в июне 1561 года Кученей, дочери кабардинского князя Темрюка, которая, крестившись под именем Марии, стала в августе того же года второй женой Ивана IV. В рассказе официальной летописи говорится о больших вкладах в монастыри, которые давал скорбящий царь по умершей жене. И действительно, мы знаем, что в августе 1562 года он дал по Анастасии в Троице-Сергиев монастырь заупокойный вклад размером в 1000 рублей, однако, когда в 1569 году скончалась Мария Темрюковна, Иван IV дал по ней 1500 рублей и золотое блюдо. К кабардинской княжне он, судя по всему, был гораздо более привязан, чем к Анастасии.

То немного, что мы знаем о роли царицы Анастасии в политической жизни того времени, говорит о ее привязанности к своим родственникам Захарьиным, а также, по-видимому, о какой-то роли, которую она сыграла в удалении Сильвестра и Адашева от дел и возвращении Захарьиных к управлению государством. В такой ситуации становится понятным, почему на Сильвестра и Адашева и их приверженцев могла быть возложена ответственность за смерть царицы.

По словам князя Андрея Курбского (из «Истории о великом князе Московском»), после смерти царицы ее братья и другие «презлые ласкатели» стали внушать царю, что она погублена «чародейст-

вом», исходящим от Сильвестра и Адашева. Поводом к возникновению таких утверждений послужили, как представляется, неосторожные высказывания благовещенского священника, который объяснял царю, что болезнь его жены — наказание от Бога за то, что царь не следует наставлениям своих советников. Для рассмотрения обвинений и наказания виновных царь собрал совместное заседание Боярской думы и Освященного собора — собрания высшего духовенства во главе с митрополитом. Участие духовенства вполне объясняется тем, что чародейство, направленное против царицы, было тяжелым преступлением не только против государя, но и против церкви. Узнав об обвинениях, Сильвестр и Адашев прислали «епистолии» (письма), в которых просили вызвать их в Москву, чтобы они лично могли ответить на эти обвинения. Они обратились и к митрополиту, который на созванном соборе также настаивал на разборе дела в присутствии и при участии обвиненных. Царь, однако, настоял на том, чтобы показания обвинителей и свидетелей рассматривались в отсутствие Сильвестра и Адашева. Собор, по словам Курбского, завершился их осуждением. Во исполнение соборного решения постригшийся в Кирилло-Белозерском монастыре Сильвестр был сослан в Соловки — на остров «яже на Студеном море».

Рассказ Курбского при сопоставлении его с другими свидетельствами вызывает ряд недоуменных вопросов. В своем Первом послании царю Курбский обвинил Ивана в том, что тот преследует людей, «изменами и чародействами и иными неподобными облыгая православных». На это обвинение царь ответил тогда же кратко и определенно: «А еже о изменах и чародействе вспомянул еси, ино таких собак везде казнят». Таким образом, царь не отрицал, что казнил людей по обвинению в «чародействе» и считал эти казни справедливыми. Однако среди многих обвинений по адресу бояр в его Первом послании мы не находим обвинения в том, что они «чародейством» привели к смерти царицу Анастасию. Лишь много лет спустя, в конце 70-х годов, во Втором послании Курбскому он обвинил бояр в этом преступлении*. Не менее существенно, что в Первом послании Курбскому царь определенно заявил, что о том «злом», что совершил в отношении его Сильвестр, он намерен судиться с ним не здесь, а в загробном мире перед лицом Бога. Царь ограничился тем, что удалил из Москвы сына Сильвестра. И действительно, имеется ряд свидетельств о том, что Анфим Сильвестров был дьяком воеводской избы в Смоленске с 1561 по 1566 год. Вряд ли это могло иметь место, если бы его отец был осужден по обвинению в «чародействе». На рукопи-

* «Толко бы вы у меня не отняли юницы моее, ино бы Кроновы жертвы не было». Если принять во внимание, что греческого бога Крона, отца Зевса, царь считал богом ненависти и вражды, то по смыслу его слов умерщвление царицы следует считать главной причиной казней «жертв», принесенных царем на алтарь Крона.

сях Сильвестра, сохранившихся в библиотеке Кириллова монастыря, есть записи о присылке некоторых из них Анфимом отцу в этот монастырь. Из Кириллова же, уже будучи монахом, Сильвестр прислал большой вклад в Соловецкий монастырь — 219 рублей и 66 книг. Очевидно, что в Кириллове Сильвестр находился довольно продолжительное время, в то время как по смыслу рассказа Курбского он пробыл там всего несколько месяцев. Именно в Кириллов в конце 60-х годов душеприказчики дали посмертный вклад по Сильвестру-Спиридону и Анфиму. Все это позволяет утверждать, что, скорее всего, бывший наставник царя продолжал оставаться в Кирилловом монастыре, где он и скончался в конце 60-х годов XVI века.

Алексей Адашев умер гораздо раньше. По свидетельству Курбского, он пробыл в Юрьеве-Дерпте всего два месяца, здесь в «недуг огненный впал и умер». Составитель «Пискаревского летописца», специально интересовавшийся судьбой Адашева, отметил, что по приказу царя его похоронили в Покровском монастыре в Угличе рядом с могилой отца. Вряд ли в монастыре могли похоронить человека, официально осужденного за «чародейство».

Все это, однако, не позволяет считать весь рассказ Курбского чистым вымыслом. Очевидно, собор действительно рассматривал дела о «чародействе», причем обвиненные были казнены. В этой связи следует обратить внимание на сообщение Курбского о польке Марии, по прозвищу Магдалина, которая была казнена с пятью сыновьями как «черовница и Алексеева согласница». Весьма вероятно, что царь настаивал на заочном осуждении Сильвестра и Адашева, но, судя по всему, не смог этого добиться из-за противодействия митрополита.

Требование заочно осудить царского советника, обладателя думского чина, означало, что царь не намерен считаться с традиционными нормами отношений со своим окружением. Об этом говорит и другой предпринятый им тогда шаг, о котором мы узнаем из собственных высказываний Ивана IV. Рассказав в своем Первом послании Курбскому о том, как он отстранил Сильвестра и Адашева от государственных дел, царь далее отметил, что тем, кто не являлся их сторонниками, «повелехом от них отлучатися и к ним не приставати», и в знак того, что они будут соблюдать «царскую заповедь», эти люди принесли присягу — целовали крест. Об особых «присягах» царю его сторонников среди правящей элиты упоминает и Курбский в «Истории о великом князе Московском».

Так как все советники царя, получая из его рук думный сан, приносили ему специальную присягу верности (не говоря уж об обычной присяге всех подданных своему монарху), встает вопрос, в чем же был смысл и значение этой особой присяги. Анализ высказываний царя позволяет предположить, что, принося присягу, советники давали обязательство не присоединяться к мнению тех советников, ко-

торых царь считал приверженцами Сильвестра и Адашева. Таким образом, создав в составе Думы группу людей, связанных с ним особыми обязательствами, царь рассчитывал подчинить деятельность этого органа своему влиянию. Это было явным и очевидным нарушением всех традиционных норм. Вместе с тем избранный царем способ действий показывал, что он не рассчитывал подчинить Боярскую думу своему влиянию обычным, нормальным способом.

Можно предположительно очертить круг лиц, которые принесли царю особую присягу верности. В 1561 году, вступив в новый брак, царь составил новое завещание. В нем, в частности, царь называл имена тех лиц, которым доверял управлять страной в малолетство царевича Ивана в случае своей внезапной смерти. Документ этот не сохранился, но сохранился текст особой присяги, которую принесли будущие регенты. Очевидно, что это были люди, пользовавшиеся особым доверием царя.

Из бояр, составлявших «ближнюю думу» царя в середине 50-х годов, в число регентов вошли лишь князь Иван Федорович Мстиславский и родственники наследника Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы. Кроме этих трех бояр, в состав регентского совета вошли близкий родственник Юрьевых боярин Иван Петрович Яковлев, принадлежащий к большой семье Захарьиных, однородец Захарьиных окольничий Федор Иванович Умой Колычев, вскоре получивший от царя боярский сан, и двое дворян — молодых отпрысков знатных семей: князь Андрей Петрович Телятевский (из рода тверских князей) и царский кравчий князь Петр Иванович Горенский (из рода князей Оболенских). Эти молодые люди, начавшие служить в 50-х годах XVI века, попали в состав регентов как лица, особо близкие к царю. Известно, что Телятевского царь посылал в Юрьев расследовать обстоятельства смерти Алексея Адашева.

В состав будущего регентского совета не вошли ни двоюродный брат царя Владимир Андреевич Старицкий, ни племянник царя князь Иван Дмитриевич Бельский, ни родственники царя по матери князья Глинские, ни заседавшие в Думе представители наиболее знатных княжеских родов, такие, как Шуйские или «служилые князья» Воротынские. В таком подборе регентов проявилось стремление царя осуществлять управление государством при поддержке узкой группы лиц, в преданности которых он мог быть уверен. Представители рода Захарьиных вызывали доверие как родственники наследника, для доверия к другим регентам были, по-видимому, какие-то особые, нам неизвестные основания.

Такие действия царя должны были привести к серьезным тренингам между ним и правящей элитой. Это и произошло. К сожалению, о конфликтах между царем и его советниками мы осведомлены совершенно недостаточно. О них мы знаем, как правило, из рассказов официальной летописи, в которой неоднократно отмечается, что

царь наложил опалу на кого-либо из своих приближенных, но почти никогда не говорится о причинах такой опалы. Не помогает делу и «История о великом князе Московском», так как целью Курбского в этом произведении было стремление показать, что царь без всяких причин налагал на своих подданных опалу и подвергал их казням. Ряд важных сведений дают «поручные записи», составлявшиеся при снятии опалы с виновных, они позволяют изучить реакцию правящей элиты на действия царя, но не дают понимания мотивов этих действий. Отсюда большое количество вопросов и малое число убедительных ответов.

Насколько можно установить, первые столкновения произошли у царя с его близкими родственниками, которые именно благодаря этому родству занимали первые места в Боярской думе. Первым попал в опалу двоюродный брат матери царя Василий Михайлович Глинский. Он начал службу при дворе как царский стольник и в 1560 году получил из рук царя боярский сан. Чем была вызвана его опала, мы не знаем. В июле 1561 года опала была снята по «печалованию» церковных иерархов, и Василий Михайлович целовал крест царю у гроба митрополита Петра. В официальной летописи эта опала никак не была отмечена. Гораздо больше известно об опале, постигшей в начале 1562 года другого родственника царя — князя Ивана Дмитриевича Бельского. Не считая Владимира Андреевича Старицкого, Бельский был наиболее близким родственником царя по отцу и поэтому, в силу своего происхождения, — первым по знатности лицом среди членов Боярской думы. При воеводских назначениях он мог занимать только пост главнокомандующего. Его родственные связи с царским домом еще более укрепились, когда царь выдал за него Марфу, дочь своего бывшего опекуна князя Василия Васильевича Шуйского от его брака с Анастасией, племянницей Василия III.

И вот в январе 1562 года Иван Дмитриевич был арестован за то, что он нарушил присягу, «хотел бежати в Литву и опасную грамоту у короля взял». Почему Иван Дмитриевич Бельский собирался бежать именно в Литву, вполне понятно. По рождению он принадлежал к одной из самых знатных фамилий литовской знати — потомкам одного из старших сыновей великого князя Ольгерда, Владимира. И это при том, что правившая в Великом княжестве Литовском династия вела свое происхождение от Ягайлы — одного из младших сыновей Ольгерда от второго брака. Близкие родственники Бельского, князья Слуцкие, были крупнейшими православными магнатами в Литовском государстве (в своей «поручной записи» позднее Иван Дмитриевич специально обязывался «с своею братьею с Слуцкими князьями... не ссылатися ни человеком, ни грамотой»).

Но что заставило боярина, занимавшего высокое и почетное положение, решиться на столь рискованный и опасный (тем более в ус-

ловиях приближающейся войны между Россией и Великим княжеством Литовским) шаг? Ясно, что для этого нужны были очень серьезные причины, связанные с отношениями между боярином и царем. Но мы о них ничего не знаем.

Хотя факт совершения Бельским тяжелого преступления — государственной измены — был вполне доказан, ходатаями за арестованного выступили не только митрополит и собор епископов, но и большой круг светских лиц — пятеро бояр, потомки черниговских, тверских и ярославских князей, один из членов старомосковского боярского рода Морозовых, а также свыше сотни княжат, детей боярских и дьяков. И все это несмотря на то, что Иван IV сделал традиционные условия поручи гораздо более жесткими. Дело не ограничивалось тем, что поручители в случае повторного побега Бельского должны были внести в царскую казну огромную сумму в 10 тысяч рублей. В «поручную запись» было внесено новое небывалое условие — поручители на этот раз должны были отвечать не только деньгами, но и жизнью («наши поручниковы головы во княж Ивановы головы место»). Поручителей это, однако, не остановило. Их многочисленность весьма симптоматична: она говорит о том, что значительная часть правящей элиты нашла нужным так, в косвенной форме, дать понять, что не одобряет действий царя. Иван IV не ограничился составлением обычных поручных записей и потребовал еще особой присяги на верность со стороны «людей» — слуг и вассалов князя, но в марте 1562 года Бельский был освобожден и стал снова возглавлять Боярскую думу.

С осени 1562 года количество подобных конфликтов стало увеличиваться. 15 сентября 1562 года царь «наложил свою опалу на князя Михаила и Александра Воротынских за их изменные дела». В чем состояли эти «изменные дела», мы, к сожалению, ни из этой записи официальной летописи, ни из других источников узнать не можем. В Описи царского архива XVI века упоминаются «сыскной список и роспросные речи боярина князя Михаила Ивановича Воротынского людей», которые, очевидно, послужили основанием для наложения «опалы», но о содержании их мы ничего не знаем.

В кругах правящей элиты князья Воротынские, сменившие в конце XV века положение высокопоставленных вассалов великого князя Литовского на службу московским государям, занимали особое место, именуясь «служилыми князьями». На юго-западе России под их властью находились обширные владения, включавшие в себя целый ряд городов: Одоев, Новосиль, Перемышль и другие. В пределах своих владений они выступали как настоящие «государи», обладавшие всей полнотой власти и выдававшие жалованные грамоты своим вассалам. По свидетельству Курбского, у них было несколько тысяч военных слуг. Старший из братьев, Михаил, был выдающимся военачальником, сыгравшим большую роль при взятии Казани и позднее,

в военных действиях против крымских татар во второй половине 50-х годов XVI века. Князья отправились в ссылку на север: Михаил на Белоозеро, а Александр в Галич, владения же их («Новосиль, и Одо-ев, и Перемышль, и на Воротынску их доли») были конфискованы. В мае 1563 года царь специально посетил свои новые владения.

29 октября 1562 года царь положил свою опалу на боярина князя Дмитрия Ивановича Курлятева «за его великие изменные дела», о которых мы опять ничего не знаем. Ясно одно — князь давно вызывал у царя Ивана особую ненависть. В своем Первом послании Курбскому, переполненном резкими выпадами против Сильвестра и Адашева и их «советников», царь в числе последних назвал по имени только одного — Курлятева: по убеждению царя, тот попал в Думу «лукавым советом» Сильвестра, который с его помощью намеревался утверждать в Думе свой «злой совет». Именно Курлятев, полагал царь, намеревался рассматривать его как одну из сторон в упомянутом выше судебном споре («нас с Курлятевым хотесте судити про Сицково»). Это так сильно задело царя, что много лет спустя, во Втором послании Курбскому, он снова вспомнил об этом деле, и это воспоминание вызвало другие воспоминания, связанные с дочерьми Курлятева, не понятные для нас, но полные раздражения. («А Курлятев был почему меня лутче? Ево дочерем всякое узорочье покупай, а моим дочерем проклято да за упокой».) Из этих высказываний видно, что острую неприязнь царя вызывал не только Курлятев, но и вся его семья — в чем и следует искать объяснение постигшего всю семью наказания.

Дмитрий Курлятев, его сын Иван, жена и две дочери были насильно пострижены в монахи, а затем всех отправили в далекие северные обители: Дмитрия Курлятева с сыном отвезли в Рождественский монастырь на остров Коневец на Ладожском озере, а женщин отправили в Челмогорскую пустынь в 43 верстах от Каргополя. Московские великие князья иногда прибегали к пострижению приближенных, вызывавших их недовольство. Так, в конце XV века по приказу Ивана III были пострижены в монахи его двоюродный брат князь Иван Юрьевич Патрикеев и сын Ивана Юрьевича Василий. Однако принудительное пострижение целой семьи, включая женщин и малолетних детей, выходило за принятые в древнерусском обществе нормы, и у Курбского были основания назвать происшедшее «неслышанным беззаконием». Поступая таким образом, царь явно хотел положить конец дальнейшему существованию семьи. Размышляя над всем этим, невольно приходишь к предположению, не пострадал ли Курлятев, подобно античной Ниобе, за неосторожные слова, в которых он как-то противопоставил своих здоровых дочерей умиравшим в младенчестве дочерям царя? Мечь Ивана IV оказалась не менее суровой, чем мечь Ниобе со стороны олимпийских богов.

Приказав постричь Курлятева с семьей в монастырь, царь тем самым хотел также исключить возможность «печаловаться» за него

со стороны церкви и своих светских советников. Это, однако, не значит, что институт «поруки» перестал действовать. В апреле 1563 года большая группа бояр выступила перед царем поручителями за князя Александра Ивановича Воротынского. Среди них был и один из близких советников царя — Иван Федорович Мстиславский. На этот раз царь потребовал от поручителей обязательства выплатить в случае отъезда князя сумму в полтора раза бóльшую, чем при составлении поручных записей по Бельскому, — 15 тысяч рублей. При разверстке среди поручителей на каждого сына боярского приходилось от 500 до 250 рублей — сумма, за которую можно было купить целое село с деревнями. Тем не менее снова свыше сотни детей боярских выразили готовность выступить в качестве поручителей. Когда в начале 1564 года царь наложил опалу на боярина Ивана Васильевича Большого Шереметева, одного из главных организаторов наступления на Крым в 50-х годах XVI века, в его защиту выступили представители целого ряда московских боярских родов во главе с боярином Иваном Петровичем Федоровым, всего свыше 80 детей боярских.

Царь был крайне недоволен создавшимся положением и позднее с раздражением писал: когда-де он, государь, «бояр своих и всех приказных людей похочет которых их в винах понаказати и посмотретьи и архиепископы, и епископы, и архимандриты, и игумены, сложася з бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными людьми, начали по ним же государю царю и великому князю покрывать». Попытки царя избавиться от неугодных ему приближенных наталкивались на сопротивление членов правящей группы. Это не удивительно, если учесть, что элита дворянского сословия складывалась из довольно узкой группы знатных родов, тесно переплетенных родственными, служебными и земельными связями. Среди бояр, выступавших поручителями по опальным, мы встречаем не только будущих жертв опричнины, но и будущих видных опричников: так, поручители за князя Александра Воротынского бояре Алексей Данилович Басманов и Иван Яковлевич Чеботов в недалеком будущем станут членами опричной думы царя Ивана. Лишь узкий круг наиболее близких советников царя, которым он готов был доверить государство и сына в случае своей смерти, не принимал участия в ходатайствах по опальным. В начале 60-х годов XVI века подавляющая часть правящей элиты явно выражала свое беспокойство избранным царем образом действий.

И недовольство это вовсе не ограничивалось лишь кругом советников государя. Хотя поручителями за разных опальных были частично одни и те же лица, в целом в защиту подвергнутых репрессиям советников выступили сотни рядовых членов «государева двора», очевидно, связанные с опальными или их главными поручителями разнообразными связями.

Недовольство детей боярских находило свое выражение не только в их участии в составлении поручных записей. С начала 60-х годов начались побеги детей боярских в Литву, и это в условиях, когда отношения между государствами становились все более напряженными, а затем привели к открытой войне. Некоторые из беглецов были жертвами преследований и искали за рубежом спасения: так бежал в Литву стрелецкий голова Тимофей Тетерин, принудительно постриженный по приказу царя в Антониево-Сийском монастыре. Некоторые дворяне бежали прямо из готового к военному походу войска. Так поступил в 1563 году знатный дворянин Богдан Никитич Хлызнев Колычев, который «побеже из полков воеводских» и сообщил литовским воеводам «царев и великого князя ход к Полотцку с великим воинством». Побегι стали столь обычным явлением, что при описании военных действий под Полоцком в 1564 году официальный летописец с удовлетворением отметил: «В государеве вотчине в городе Полотце всякие осадные люди, дал Бог, здорово: а толко один изменник государьской убежал с сторож к литовским людям, новоторжец сын боярский Осмой Михайлов сын Непейцына».

Руководящим политикам Великого княжества Литовского и Польши было хорошо известно о разногласиях между царем и дворянством, и они рассчитывали использовать эти разногласия в собственных интересах. Уже в конце 1561 года литовский гетман (главнокомандующий литовской армией) Миколай Радзивилл обратился с письмом к русским воеводам крепости Тарвас в Ливонии. Отметив, что «бездушный государь ваш без всякого милосердия и права, а з неизбежною опалою своею горла ваши берет», Радзивилл призвал воевод «з окрутенства з неволи» перейти под власть Сигизмунда II. Когда в 1563 году собрался польский сейм, чтобы обсудить вопрос о помощи Великому княжеству Литовскому, которое вступило к этому времени в войну с Россией, в тронной речи участникам сейма сообщали, что король «надеется на то, что, если бы только войско его королевской милости показалось на Москве (то есть на русской территории. — Б.Ф.), много бояр московских, много благородных воевод, притесненных тиранством этого изверга, добровольно будут приставать к его королевской милости и переходить в его подданство со всеми своими владениями».

Если известия о разногласиях между царем и дворянством вызывали у литовских политиков определенные надежды и толкали их к более активным действиям, то, в свою очередь, доходившие до царя сведения об этих надеждах и действиях усиливали его сомнения в верности подданных. В этом смысле очень показательной представляется судьба воевод Тарваса. Хотя они и не вняли увещаниям гетмана Радзивилла и литовские войска взяли Тарвас лишь штурмом, царь положил на вернувшихся из плена воевод опалу и «розослал их... по городам в тюрьмы, а поместья их и вотчины велел... взять и роздать в роздачу».

В сложившейся ситуации снова осложнились отношения царя с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем. Долгие годы отношения эти были вполне нормальными. Еще в середине 50-х годов старицкий князь получил от царя земельные пожалования в Дмитровском уезде; он командовал войсками, стоявшими на Оке против крымских татар, участвовал вместе с царем в военных походах. Однако когда высшие слои дворянства стали проявлять недовольство действиями царя, Иван IV постарался ограничить связи знати со старицким князем. Так, в своей поручной записи князь Иван Дмитриевич Бельский брал на себя в отношении старицких князей обязательство «с ними не думати ни о чем, и сь их бояры и со всеми людьми не дружитися, и не ссылатися с ним ни о какове деле». Как правитель небольшого княжества Владимир Андреевич не представлял для царя опасности; иное дело, если бы недовольная знать стала выдвигать его как своего претендента на царский трон.

Летом 1563 года царь, находившийся тогда в одной из своих резиденций, Александровой слободе, получил донос от дьяка старицкого князя Савлука Иванова, «что княгиня Офросинья и сын ее князь Володимер многие неправды царю и великому князю чинят и того для держат его скована в тюрьме». Царь приказал доставить к себе Савлука, и «по его слову» были проведены «многие сыски», которые подтвердили справедливость обвинений. К сожалению, и на этот раз официальная летопись ни одним словом не объясняет, в чем состояли «многие неисправления и неправды» старицких князей перед Иваном IV. Одна деталь дала возможность исследователям высказать догадки о характере «неправд». В описи царского архива XVI века имеется помета, что 20 июля было послано царю во «княж Володимере деле Ондреевича» дело, «а в нем отъезд и пытка в княже Семенова деле Ростовского». О деле князя Семена Ростовского выше уже шла речь. Судя по сохранившимся свидетельствам, в нем приводились показания о том, что во время тяжелой болезни Ивана IV многие бояре вступили в тайные переговоры со старицким князем о возведении его на трон в случае смерти царя. Это позволяет думать, что в начале 60-х годов царь получил какие-то новые сведения о сношениях Владимира Андреевича с недовольной знатью.

Старицкий князь и его мать должны были покаяться в своих винах перед собором духовенства, и, по «печалованию» митрополита и епископов, Иван IV «гнев свой им отдал». Однако мать Владимира Андреевича, княгиня Евфросинья (якобы по ее собственному желанию), 5 августа была пострижена в монахини в Воскресенском девичьем монастыре на Белоозере. Тетку царя не постигла суровая судьба Курлятевых. Царь разрешил высокопоставленную инокиню «устроить ествою и питием и служебники и всякими обиходы по ее изволению». Евфросинью сопровождали 12 ближних боярынь и слуг, которым розданы были поместья близ обители. Одновременно «для бере-

женья» царь приставил к тетке своих доверенных людей, которые должны были контролировать ее контакты с внешним миром. Характер принятых мер показывает, что наиболее опасным для себя лицом царь считал не старицкого князя, а его мать, которую и лишил всякой возможности вмешиваться в политическую жизнь. Серьезные меры были приняты и по отношению к самому старицкому князю. Царь вернул ему «вотчину» — удельное княжество, но сменил все его окружение: «повеле государь быти своим бояром и дьяком и стольником и всяким приказным людем». Удельный князь оказался со всех сторон окружен царскими слугами, внимательно наблюдавшими за всеми его действиями и готовыми пресечь всякие нежелательные действия с его стороны. При хороших отношениях царя с элитой дворянского сословия в таких мерах не было бы необходимости, но мы уже могли убедиться в том, что эти отношения были далеки от нормальных.

Все это происходило на фоне осложнявшейся и ухудшавшейся международной обстановки. Не только для Сильвестра и Адашева, но и для царя большое столкновение с Великим княжеством Литовским из-за Ливонии казалось нежелательным, и он предпочел бы добиться соглашения с этим государством. Не случайно после смерти царицы Анастасии в августе 1560 года царь отправил к королю в Литву посольство во главе с окольным Федором Ивановичем Сукиным «напомянути его о вечном миру» и просить для царя руки сестры короля Екатерины. Но, в отличие от Сильвестра и Адашева, Иван полагал, что добиться этой цели можно не ограничивая, а расширяя военное вмешательство в Ливонию. Недовольный пассивностью своих воевод, царь весной 1560 года призвал к себе князя Андрея Курбского и просил его лично возглавить войско, ведущее войну против Ордена, «да охрабрится паки воинство». В мае в Ливонию двинулся «большой наряд» — армия во главе с одним из первых бояр — князем Иваном Федоровичем Мстиславским. Когда войска осадили один из главных городов Ливонии, Феллин, на выручку ему двинулись главные силы Ордена. 2 августа в битве под Эрмесом (Эргеме) армия Ордена была разбита. В плен попал сам командующий, один из первых чинов Ордена и ландмаршал Филипп фон Белль, и одиннадцать комтуров (начальников отдельных округов). После этого, 30 августа, Феллин сдался, и русские войска, не встречая сильного сопротивления, стали занимать один за другим ливонские замки. Орден как серьезная военная сила перестал существовать.

Царь, по-видимому, рассчитывал, что достигнутые русской армией успехи заставят Сигизмунда II отказаться от вмешательства в ливонские дела. Но он ошибся. Победы русских войск, напротив, ускорили переговоры о переходе владений Ордена под власть Сигизмунда II. Переговоры завершились соглашением, подписанным в Вильно 28 ноября 1561 года, по которому Ливонский орден ликвидиро-

вался. Г. Кеттлер, получивший в лен Курляндию, становился вассалом Сигизмунда II, а остальные земли Ордена должны были перейти под власть великого князя Литовского. С заключением соглашения у литовских политиков появились формальные основания претендовать и на те земли Ордена, которые были к тому времени заняты русскими войсками. Не дожидаясь оформления окончательного соглашения с Орденом, Сигизмунд II направил в Ливонию свои войска, и уже весной 1561 года между двумя государствами, Россией и Великим княжеством Литовским, начались военные действия, которые пока ограничивались рамками «Ливонской земли». В условиях, когда стало ясным военное бессилие Ордена и начался фактический распад Орденского государства, объявились и другие претенденты на его наследство.

После соглашений с епископом Эзельским в сентябре 1559 года остров Эзель (современный Сааремаа) стал владением принца Магнуса, брата датского короля Фредерика II. Затем в борьбу за Прибалтику вмешалась Швеция. В мае — июле 1561 года шведские войска заняли Ревель (современный Таллин) — крупнейший город и порт на севере Ливонии. В исторической перспективе это был первый важный шаг на пути превращения Балтийского моря в «шведское озеро», что было в значительной мере достигнуто в следующем XVII столетии.

Как видно из Первого послания Курбскому, ответственность за создавшееся невыгодное для России положение царь возлагал на воевод, которые действовали недостаточно энергично и решительно, не выполняли надлежащим образом его указаний и не сумели вовремя занять ливонские замки и выгнать из Ливонии литовские войска. Вы, обращаясь к воеводам царь, «литаонский язык и готфейский (шведский. — Б.Ф.) и ина множайшая воздвигосте на православие». Упреки царя были несправедливы. Разумеется, нельзя исключить, что воеводами были допущены те или иные ошибки, но не из-за этих ошибок в 1560—1561 годах не была достигнута главная стратегическая цель войны — подчинение Ливонии. Как показал весь опыт долголетней войны, не обладая флотом, нельзя было овладеть главными портами на побережье Прибалтики — Ригой и Ревелем, а не обладая этими портами, нельзя было добиться прочного подчинения Ливонии. Флота же в распоряжении русских воевод в 1560—1561 годах, разумеется, не было.

В сложившейся сложной ситуации в Москве было принято решение по истечении в 1562 году русско-литовского перемирия сосредоточить все силы на борьбе с Великим княжеством Литовским, установив пока мирные отношения с другими претендентами на ливонское наследство. Цель эта была успешно достигнута благодаря дипломатическому искусству дьяка Ивана Висковатого и боярина Алексея Даниловича Басманова, который к этому времени как руководитель русской внешней политики занял при царе то место, которое ра-

нее занимал Адашев. Летом 1561 года было заключено соглашение о долгосрочном перемирии со шведским королем Эриком XIV, а на последующих переговорах шведским послам дали понять, что в будущем царь готов обсудить вопрос о правах шведов на Ревель и некоторые ливонские города. С другим претендентом на ливонское наследие, датским королем Фредериком II, уже после начала войны с Великим княжеством Литовским летом 1562 года был заключен мирный договор, по которому Фредерик II в обмен на признание его прав на земли Эзельского епископства и несколько владений в Эстонии признал права Ивана IV на всю остальную Ливонию. По одной из статей соглашения русским купцам должен был быть выделен торговый двор в датской столице — Копенгагене. Для ратификации договора туда отправился сам Висковатый. Проявленная царем и его советниками гибкость способствовала тому, что в Ливонской войне на ближайшие годы у Русского государства остался только один противник — Литва, а Сигизмунд II, упорно добивавшийся признания своих прав на всю Ливонию, вступил в открытый конфликт с Эриком XIV и оказался вынужденным вести войну на двух фронтах.

Хотя срок перемирия между Россией и Великим княжеством Литовским истек весной 1562 года, лишь 30 ноября 1562 года царь выступил в большой поход на Литву. Целью похода было объявлено не только возвращение под власть законного монарха его старых «вотчин», незаконно захваченных литовскими великими князьями, но и освобождение православных, живущих в Великом княжестве Литовском от власти «христианских врагов иконоборцев», «люторские прелести еретиков». Поэтому поход царя на Литву выглядел «крестовым походом», подобным походам русского воинства на Казань, важным шагом по исполнению миссии, возложенной на монарха самим Богом. Выступлению в поход предшествовали многочисленные молебны, войско сопровождало многочисленное духовенство во главе с коломенским епископом Варлаамом и архимандритом Чудова монастыря Левкием. Духовенство везло с собою чудотворные реликвии — икону Божьей Матери Донской и крест святой Евфросинии Полоцкой. Присутствие последней реликвии было совсем не случайным, так как целью похода стал Полоцк — город и крепость на Западной Двине.

С началом военных действий выявились недостатки в военной организации Великого княжества Литовского. Здесь, как и в России, главной военной силой было дворянское ополчение. Существовали государственные акты, подобные соответствующим русским законам, которые устанавливали, сколько воинов следует выставить с определенного количества хозяйств — «дымов» и какие наказания ожидают тех, кто не явится на службу. Однако с расширением прав и привилегий дворянства, изменением его образа жизни все эти установления перестали строго соблюдаться. Превратившись, подобно ленникам Ливонского ордена, в сельских хозяев, которым вывоз хле-

ба в страны Западной Европы обеспечивал сравнительно высокий уровень жизни, литовские шляхтичи старались уклониться от тяжелой и опасной военной службы, а выборные представители дворянства, в руки которых постепенно переходила власть на местах, не желали налагать наказания на своих собратьев и старались скрывать их провинности перед государством. В итоге, когда были получены известия о приготовлениях русской армии к походу, власти Великого княжества не смогли своевременно собрать ополчение. Войска Ивана IV подошли к Полоцку и беспрепятственно осадили его. Крепость не смогла выдержать обстрела мощной московской артиллерии и 15 февраля 1563 года капитулировала.

План похода был хорошо продуман, и его успешное завершение стало тяжелым ударом для Великого княжества Литовского. Переход Полоцка под русскую власть ставил под русский контроль торговый путь по Западной Двине. По этому пути в Западную Европу шел хлеб, продажа которого была необходима для литовского дворянства. Условия для продолжения его борьбы за Ливонию резко ухудшились, а для русских войск открывался путь к столице Великого княжества Литовского — Вильне (современный Вильнюс). Царь имел основания надеяться, что после такого тяжелого удара Сигизмунд II будет вынужден прекратить войну и принять мир на предложенных Московией условиях. Приехавшему в Москву в декабре 1563 года литовскому посольству дали понять, что царь готов заключить перемирие на 10 лет при условии, что Полоцк и земли в Ливонии, занятые русскими войсками, останутся под властью Ивана IV.

Заставить Сигизмунда II согласиться на заключение такого соглашения должно было новое наступление русских армий. Однако 26 января 1564 года главная из этих армий была разбита литовскими войсками под Улой. Погиб командующий армией Петр Иванович Шуйский, ряд полковых воевод попали в плен. Запись в официальной летописи, согласно которой «воеводы шли не по государьскому наказу, оплошася, не бережно и не полки, и доспехи свои и всякой служебной наряд везли на санех», показывает, что ответственность за эту серьезную неудачу царь снова возлагал на воевод, не выполнивших его указаний. Теперь трудно было надеяться, что Великое княжество Литовское согласится на мир, продиктованный в Москве. Война затягивалась, и исход ее становился неясным.

Одновременно стало осложняться положение на юге. В 1560 году, когда сохранялась надежда на возможность соглашения с Сигизмундом II, наступление на Крым продолжалось, хотя и в меньших размерах, чем ранее. В феврале 1560 года в Кабарду был послан князь Дмитрий Вишневецкий, чтобы оттуда «промышляти над крымским царем». Царь снова побуждал к действиям против Крыма ногайских мурз, в мае 1560 года для совместных действий с ногайцами отправил на Дон воеводу Данилу Чулкова, «а с ним козаков многих». Но когда

дело решительно пошло к большой войне с Великим княжеством Литовским, политику в отношении Крыма пришлось менять. В декабре 1561 года царь дал знать в Крым, что готов заключить с ханом мирный договор и выслать ему «добрые поминки». Наступившие перемены в русской политике сразу уловили князья западных адыгов, оставившие русскую службу, а также Дмитрий Вишневецкий, который отъехал в Литву. В царских грамотах в Крым имевшие место в прошлом конфликты объяснялись интригами «ближних людей», таких, как «Иван Шереметев, Алексей Адашев, Иван Михайлов», которые «ссорили» царя с ханом, за что Иван IV наложил на них свою опалу. В апреле 1563 года в Крым был послан сын боярский Афанасий Нагой для заключения мирного договора, но добиться этого московскому дипломату не удалось. Обстоятельства сложились так, что Нагому пришлось пробыть в Крыму долгих десять лет в крайне тяжелой и неблагоприятной для его миссии ситуации.

С вовлечением своих основных сил в большую войну на западе Русское государство было жизненно заинтересовано в сохранении мира с Крымом, но крымская знать хорошо понимала, что уход главных русских сил в Ливонию создает благоприятные условия для татарских набегов, и намерена была этим воспользоваться. Уже в мае 1562 года хан с царевичами приходил ко Мценску и разорил значительную часть Северской земли, а в 1564 году, взяв под стражу прибывших в Крым русских послов, хан со всей ордой вторгся в Рязанскую землю. Страна постепенно втягивалась в долгую затяжную войну на нескольких фронтах.

В этой сложной ситуации 30 апреля 1564 года бежал к Сигизмунду II русский наместник в Ливонии боярин и воевода князь Андрей Михайлович Курбский.

СПОР ГРОЗНОГО И КУРБСКОГО. ИВАН IV КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОЛЕМИСТ

Побег Курбского, несомненно, был крупным событием в политической истории того времени: среди детей боярских, которые и тогда, и позднее искали себе убежища в Великом княжестве Литовском, лица столь высокого ранга не встречалось. Однако в биографии царя побег Курбского стал важной вехой еще и потому, что заставил его взяться за перо для создания одного из своих главных сочинений — Первого послания Курбскому.

Нет сомнения, что побег боярина сильно задел царя, ведь в течение длительного времени его связывали с Курбским близкие, интимные отношения. Это не вызывало и не вызывает сомнений у исследователей, однако характер «близости» царя и его боярина нуждается в уточнении. Нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о

том, что Курбский когда-либо принадлежал к числу членов «ближней думы» — тесному кругу главных советников царя. Все, что мы знаем о «службах» Курбского, говорит о нем как о выдающемся полководце, военный талант которого царь, несомненно, ценил. Сам Иван IV, однако, вовсе не был воином, и его с князем Андреем не мог объединять общий интерес к военным делам. Есть основания полагать, что дружба царя и князя была дружбой двух книжников, погруженных в богословские размышления, среди которых не последнее место занимал вопрос о судьбах православного мира и роли, которая в этих судьбах была предназначена России.

В их размышлениях было много общего. Подобно царю, Курбский был готов защищать православную догматику от приверженцев «ложных учений»: находясь в Великом княжестве Литовском, он упорно выступал в защиту православия и против «латинян» — иезуитов, и против протестантов. Его так же, как и царя, наполняла печалью картина упадка православных царств, покоренных инославными завоевателями, подвергающими гонениям живущих под их властью православных — печальный образ состояния современного ему православного мира с большой силой был обрисован князем Андреем Курбским на страницах его послания старцу Псково-Печерского монастыря Вассиану, написанного незадолго до бегства боярина в Литву. Этой картине упадка, запустения и угнетения в послании противопоставлялся образ «Святой Руси» — единственного оплота истинной веры. «Вся земля наша Руская, — писал Курбский, — от края и до края яко пшеница чиста верою Божиею обретается: храми Божии на лица ея подобни частостию звезд небесных водружены... Со Иеремиею (имеется в виду библейский пророк. — Б.Ф.) реши милосердие Господне должно есть: земля наша наполнена веры Божия и преизобилует яко же вода морская». У Курбского не вызывало никаких сомнений и то, что в походах на соседние государства царь служит миссии утверждения и распространения православия. Эти его взгляды получили четкое отражение в «Истории о великом князе Московском», написанной уже в эмиграции, в среде, где такие взгляды никак не приветствовались.

Детям боярским, отъезжавшим в то время в Литву, приходилось не только нарушать клятву верности своему государю, но и переходить из «своей» православной страны в «иной» мир, в котором хотя и жили православные, но власть находилась в руках правителя «иной» веры и свободно действовали еретики — «иконоборцы». Преодолеть такой барьер было тем труднее, чем более сознательно воспринималось человеком такое противопоставление. Ясно, что князю Курбскому должно было быть особенно трудно решиться на подобный шаг, и лишь крайность могла побудить его к этому решению.

Такой крайностью стали, судя по свидетельству Курбского, гонения, обрушившиеся на него со стороны царя: «Коего зла и гонения от

тебе не претерпех! И коих бед и напастей на мя не подвигл еси! И коих лжей и измен на мя не возвел еси».

Однако на вопрос, в чем именно состояли эти гонения, ответить нелегко. На протяжении 1561—1563 годов князь Андрей регулярно получал воеводские назначения (он, в частности, участвовал в походе на Полоцк 1563 года), а затем занял важный пост наместника Юрьева Ливонского, то есть главы всей русской администрации на территории Ливонии. Если даже считать это назначение известным актом немилости, так как Курбский тем самым лишился возможности общения со своим государем, то эта немилость совсем не была такого рода, чтобы заставить князя бежать в Литву.

Некоторый дополнительный материал для решения вопроса дают два послания Курбского старцу Вассиану. Одно из них было написано, по-видимому, осенью 1563 года, а другое — сразу после бегства воеводы за рубеж. В первом из этих посланий князь, не называя царя по имени, резко порицал его за жестокость. Правители, писал он, призываются к власти, «да судом праведным подвластных разсудят и в кротости и милости державу правят» (едва ли не дословное повторение того, что говорил молодому царю Сильвестр о его обязанностях), а теперешний правитель, царь, свирепее «зверей кроваядцев» и замышляет «неслыханные смерти и муки на доброхотных своих». Однако основное свое внимание в послании Курбский посвятил обличениям духовенства, которое накапливает богатства, угождает перед властью и не обличает ее «законопреступные дела». Сопоставление со вторым посланием показывает, что резкая критика духовенства появилась на устах у Курбского не случайно. В этом втором послании Курбский прямо писал о себе, что «многажды в бедах своих ко архиерею и ко святителем... со умиленными глаголы и слезным рыданием припадах», но не получил никакой поддержки, а некоторые из них «кровем нашим поострители явишася». Эти упреки производят странное впечатление, когда речь идет о Курбском. Разумеется, высшее духовенство можно было упрекать в том, что оно не всегда пользуется своим правом «печалования» по отношению к опальным, но если бы Курбский был в опале, он не мог бы занимать высокий административный пост. За что же тогда он мог упрекать церковных иерархов? Дело разъясняет другой фрагмент послания, где говорится, что некие духовные лица «православных не устыдешася очюждать, еретики прозывати и различными... шептании во ухо державному клеветати».

Не имело смысла обвинять в ереси перед «державным», то есть перед царем, обычного воеводу, не выходящего за рамки своей воинской службы. Иное дело, если обвинение адресовалось такому высокообразованному человеку, как Курбский, охотно обсуждавшему с духовными лицами богословские вопросы (так, со старцем Вассианом он обменивался духовными книгами и, в частности, направил

ему послание с предостережением не доверять так называемому «Никодимову евангелию»).

Следует учитывать при этом, что если взгляды царя и боярина на роль России в мире были весьма близки, то существенно различным было их отношение к разным группировкам в среде русского духовенства того времени. Уже к 50-м годам относятся свидетельства о связях молодого царя с обителью преподобного Иосифа Волоцкого — Иосифо-Волоколамским монастырем. В начале 60-х годов XVI века эти связи стали особенно тесными. Игумен монастыря Леонид сопровождал Ивана IV в походе на Полоцк, а возвращаясь из похода, царь посетил Иосифов монастырь, где его встретил старший сын. Под тем же годом в официальной летописи отмечено, что царь «понутил» Трифона Ступишина стать архиепископом в завоеванном Полоцке, так как тот был «постриженник... Иосифа игумена Волоцкого», а в декабре 1563 года царь особой грамотой освободил огромные владения монастыря от всех основных налогов.

В отличие от Ивана IV, Курбский, как видно из «Истории о великом князе Московском», был почитателем старца Артемия, осуждение которого он считал несправедливым, и врагом «вселукавых мнихов, глаголемых осифлянских», которых князь Андрей обвинял в накоплении богатства и угодничестве перед светской властью. Не было бы ничего удивительного в том, что осифлянские старцы обвинили его в ереси. В этом случае стало бы понятно, какого рода заступничества князь искал у святителей и других духовных лиц. Отрицательный результат его ходатайств поставил Курбского в очень тяжелое положение, и этим, думается, следует объяснять его решение о бегстве.

Такое решение Курбскому было принять тяжелее, чем многим из его современников, и он, как представляется, остро нуждался в оправдании своего поступка. Вероятно, именно это побудило его сделать то, чего другие беглецы не делали, а именно написать грамоту царю, в которой воевода возложил на царя ответственность за то, что с ним произошло.

Хотя Курбский провел всю жизнь в военных походах на службе царя и был покрыт «ранами от варварских рук в различных битвах», царь пренебрег его заслугами, «воздал злая возблагая» и подверг его гонениям, так что в конце концов, как заявляет князь Андрей, он «всего лишен бых и от земли Божия тобою туне отогнан бых». (Стоит отметить наименование здесь России «Божьей землей» — именно поэтому изгнание из нее стало таким большим несчастьем для Курбского.) Далее в послании говорилось, что Курбский не станет молчать, но будет «безпрестанно со слезами вопияти» против царя самому Богу.

Если бы Курбский ограничился этим, его письмо, может быть, не вызвало бы отклика и было забыто. Князь, однако, начал свою гра-

моту с утверждения: то, что случилось с ним, лишь частный случай того, что происходит в России с «сильными во Израиле» — боярами и воеводами. Они покорили «прегордые царства», «у них же прежде в работе были праотцы наши», они взяли «претвердые... грады ерманские», а за это царь воздал им лживыми обвинениями «в изменах и чародействе», притеснениями и казнями. И не один Курбский, но души казненных царем и люди, заточенные им в тюрьмы, «отмщения... просят». И Курбский выражал надежду, что за совершенные царем деяния он ответит на том свете перед «неумытным (неподкупным. — Б.Ф.) судьей» — самим Христом. Таким образом, в послании в самой резкой форме были высказаны обвинения царю в несправедливости и беспричинной жестокости по отношению к окружающей его знати.

Однако дело не ограничилось и не могло ограничиться чисто политическими высказываниями. Для Курбского Иван IV был не просто государем его страны — России, но правителем «Божьей земли», на которого самим Богом возложена была миссия по утверждению и распространению в мире православия. Начав истреблять воевод, «от Бога данных ти на враги твоя», царь изменил своей миссии. Поэтому и свое послание Курбский начал с обращения к царю, который был некогда «пресветлым в православии», «ныне же... сопротивным обретется». Смысл этих слов станет понятнее, если учесть, что «сопротивный» — в древнерусских текстах — это один из эпитетов дьявола. («Избави их... козни супротивного» — читается, например, в службе преподобному Сергию Радонежскому.) Пирь царя со своими сподвижниками в том же тексте названы «трапезами бесовскими», а «синклит» (советник) царя, который «шепчет во уши ложная царю и льет кровь крестьянскую яко воду», — Антихристом по своим делам. В той политической ситуации, которая сложилась в России весной-летом 1564 года, появление такого письма стало для царя серьезной неприятностью, тем более что были все основания опасаться, что Курбский вовсе не ограничится посылкой грамоты самому Ивану IV, а будет стараться распространить ее списки и в России, и за ее пределами.

К этому времени у царя сложились напряженные отношения со значительной частью правящей элиты, и распространение письма Курбского вряд ли могло способствовать их улучшению. Еще более важное значение имело другое обстоятельство. Летом 1564 года царь, несомненно, уже обдумывал те меры, осуществление которых позволило бы ему преодолеть противодействие знати и овладеть всей полнотой власти в государстве. Распространение письма Курбского могло побудить подданных к неповиновению и серьезно затруднить исполнение этих планов.

Следовательно, необходимо было дискредитировать Курбского (и его возможных единомышленников) в глазах общества, показать по-

рочность его взглядов и противопоставить этим порочным воззрениям правильные (с точки зрения царя) взгляды на личность самого Ивана IV и характер его власти. Не случайно написанный им ответ Курбскому имел весьма громкое название: «Благочестиваго великого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси и послание во все его Великия Росии государство на крестопреступников князя Андрея Михайловича Курбского с товарищи о их измене». Однако наряду с этим существовали и иные мотивы, побуждавшие царя взяться за перо. В Первом послании Курбскому ярко проявились характерные особенности личности царя Ивана, которые можно обнаружить и в других текстах, вышедших из-под его пера. Рассмотрим эти тексты с точки зрения оценки их автора как политического полемиста.

Среди множества литературных памятников, возникших в России в конце 40-х — 50-х годах XVI века, не удастся обнаружить сочинения, которые можно было бы атрибутировать царю (за исключением, вероятно, некоторых пассажей в царской речи на Стоглавом соборе 1551 года). Для начала 60-х годов положение выглядит иначе. Так, в присяге на верность, которую члены будущего регентского совета принесли царю Ивану летом 1561 года, читаем их обязательство действовать в будущем «по душевной грамоте и по розрядной грамоте, какову грамоту он, государь наш, написал о розряде сыну своему царевичу... Ивану». «Душевная» (или духовная) «грамота» — это завешание, но что же такое «розрядная грамота»?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к сохранившемуся тексту завешания Ивана IV. К началу 60-х годов XVI века давно определилась форма, по которой писались завешания московских государей. Их содержание, по существу, сводилось к распоряжениям о разделе между наследниками казны, а также владений и статей доходов. В завешании же Ивана IV, помимо прочего, мы читаем также обширные наставления сыновьям о том, как им следует строить отношения друг с другом и управлять своими подданными. Очевидно, именно такого рода наставления, первоначально еще не включавшиеся в текст завешания, имелись в виду в присяге 1561 года. Трудно сказать, каково было конкретное содержание таких наставлений в их первоначальной версии, но есть основания думать, что уже тогда они представляли довольно сложный в литературном отношении текст, в котором конкретные советы и указания, изложенные точным канцелярским языком своего времени, перемежались наставлениями нравственными, написанными литературным, книжным языком и включавшими в себя обширные цитаты из Писания. Тем самым наставления приобретали характер своего рода литературного произведения, что, по-видимому, отвечало желанию царя.

К тому же времени относится и активное вмешательство царя в ведение дипломатической переписки с соседними государями, вмешательство, в котором получили яркое выражение некоторые харак-

терные черты его личности. Первым документом такого рода является ответ литовским послам от декабря 1563 года.

Чтобы правильно понять свидетельства этого источника, следует хотя бы кратко коснуться тех традиционных форм, в которые с конца XV века выливалось противостояние Московской Руси и Великого княжества Литовского. Спор между ними был спором из-за белорусских и украинских земель, в котором главным аргументом с московской стороны была ссылка на то, что эти земли — «вотчина» потомков Владимира Киевского, а этими потомками являются именно московские государи, а не великие князья Литовские — потомки Гедимины. Расширение этого спора на Ливонию не изменило его характера, так как Ливонию в Москве рассматривали как одну из «вотчин» русских государей, лишь переданную во временное владение ливонским рыцарям. При таком принципиальном характере спора не имело значения, какова была личность правителя, стоявшего во главе Великого княжества Литовского, религиозные взгляды его подданных или ливонцев, характер отношений между ним и его подданными. Соответственно, этим сторонам дела в русской аргументации традиционно не уделялось внимания. В своем основном содержании ответ литовским послам от декабря 1563 года воспроизводит характерные для русской позиции аргументы, но наряду с этим в нем начинают звучать совершенно новые интонации.

Они заметны уже там, где говорится о причинах Ливонской войны. Да, в свое время предки царя отдали Ливонию рыцарям и допустили, чтобы они «арцибискупа и мистра и бискупов... по своему латинскому закону обирали», но «как они свой закон латынской порушили, в безбожную ересь отпали, ино на них от нашего повеленья огонь и меч пришел». Царь следует в этом примеру «правоверствующих царей», которые всегда карали еретиков. Иван IV настолько проникся сознанием значимости возложенной на него Богом священной миссии, что оправдывает ею правомерность своих действий перед лицом политиков, для которых эти аргументы заведомо не были убедительны.

В отличие от традиционной дипломатической переписки текст ответа насыщен прямыми обращениями царя к Сигизмунду II, содержащими эмоциональные оценки действий и поступков этого правителя.

Главная интонация этих высказываний — это интонация гневного обличения. Действия короля вызывают у русского самодержца возмущение, которое он и выражает открыто на страницах ответа: царь не может сохранять мир с Сигизмундом II, «видя брата своего таковую гордостную, яростную, лукавую, несостоятельную неправедную неприязнь»; не может быть мира, потому что Сигизмунд II «с злобною яростью дышет ко всему христианству, а к нам гордостью и нелюбостью обнялся». Изложение доводов русской стороны завер-

шается резкой репликой: «А кто, имея очи, не видит, уши слыша, не разумеет, и тому как ведати?» Перед нами как бы моментальные снимки тех взрывов гнева, которые, по наблюдениям Максима Грека, были характерны для царя уже в ранней юности, а после избавления от опеки советников, очевидно, стали проявляться с новой силой. Если в таком резком тоне Иван IV мог писать своему «брату» — великому государю, то ясно, какие взрывы гнева вызывало неповиновение подданных.

Гневное обличение сопровождается наставлениями, в которых царь, цитируя авторитетные тексты, назидательно поясняет Сигизмунду II, как тому как государю следовало бы себя вести. Отвергнув с возмущением утверждения Сигизмунда II о его правах на Ливонию («таковой лукавой недостойне неправде, кто не посмеется»), Иван далее поучает Сигизмунда II: «Всею государем годитца истинна говорить, а не ложно: светильник бо телу есть око, аще око темно будет, все тело всуе шествует, в стремнинах разбиваетца и погибает».

Назидание соединяется в высказываниях царя с еще одной эмоциональной интонацией — ядовитой, злой насмешкой. Наставляя Сигизмунда II, что, признав своим «братом» шведского короля Густава Вазу, тот «не разсмотрит своей чести» и наносит урон своему высокому монаршему достоинству, царь саркастически замечает: «Ино то он брат наш ведает, хотя и возовозителю своему назоветца братом, и в том его воля». Появление такой интонации также нельзя никак считать случайной: снова приходится вспомнить Максима Грека, который отмечал склонность молодого правителя к злословию.

Ответ литовским послам был не единственным сочинением того времени, в котором особенность писательской манеры Ивана Грозного получила отражение. Еще раньше, летом 1563 года, шведский король Эрик XIV предложил Ивану Васильевичу «мир бы и доброе соседство со царем и великим князем держати, а не с ноугородскими наместники», то есть выразил желание, чтобы русский правитель признал его равным по рангу государем. Увидя в этом умаление своей чести, царь написал к королю в своей грамоте «многие бранные и подсмеяльные слова на укоризну его безумию». Текст этой грамоты до сих пор не найден, но приведенная запись официальной летописи дает ясное понятие о ее характере. Само же появление подобной записи в официальном изложении деяний монарха говорит о том, что царь придавал значение такой форме своей писательской деятельности и стремился сознательно подчеркнуть ее.

Уже в ответе литовским послам, первом тексте, где очевидны значительные следы вмешательства самого царя (вероятно, диктовавшего те или иные вставки при чтении ему подготовленного дьяками текста), заметно большое разнообразие средств, применявшихся царем для оформления своих высказываний. Назидая, он использует «высокий», книжный, литературный язык своего времени, насыщен-



ѿвѣторой жєнѣ аѿ великаго князя а
 наа елисаветы . Той же зныи генѣ
 раѿ - на дѣиѣ аѿ мнѣиѣ аспленѣ а
 поппѣ жєнѣ аѿ второи . аѿ избралъ
 себѣ нѣмѣиѣ княжѣ еленѣ . аѿ
 нѣ аспленѣ аѿ великаго князя . аѿ
 нѣ аѿ хѣ аѿ нѣ аѿ
 нѣ аѿ хѣ аѿ нѣ аѿ

Венчание и брачный пир великого князя Василия III Ивановича и Елены Глинской. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.



Василий III. Гравюра из
«Записок о Московии»
Сигизмунда Герберштейна.
(Издание 1557 г.)

Раздача милостыни в Москве
по случаю рождения Ивана IV.
Миниатюра Лицевого
летописного свода.



Крещение Ивана IV.
Миниатюра
Лицевого
летописного свода.



Троице-Сергиев
монастырь в XVI в.
Реконструкция
В. И. Балдина.





Великий князь Василий Иванович. Парсуна. XVII в.

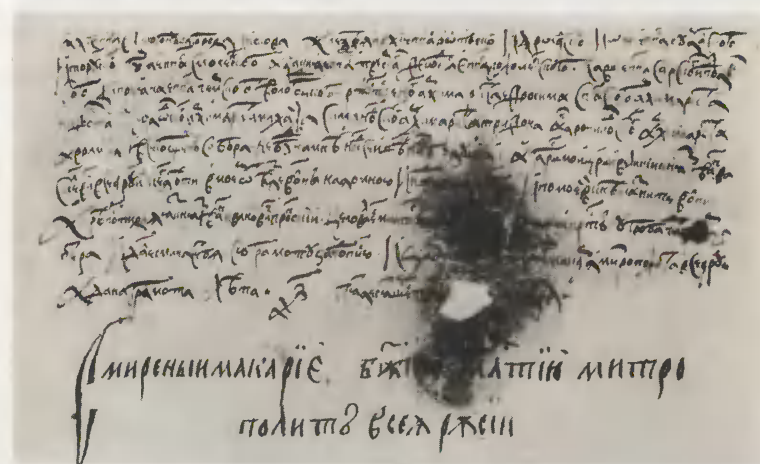
Рисунок Кремля с изображением главнейших храмов. Из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии».



Святитель
Макарий,
митрополит
Московский.
Фрагмент
складня.
Работа
Истомы Савина.
Конец XVI —
начало XVII в.



Автограф митрополита Макария на грамоте князю
И. И. Пرونскому-Турунтаю. 1547 г.





Казни бояр под
Коломной
в 1546 г.
Миниатюра
Лицевого
летописного
свода.



Побиение
Федора
Воронцова.
Миниатюра
Лицевого
летописного
свода.

Московский Чудов монастырь. Фото 1882 г.



Грановитая палата Московского Кремля.





Венчание Ивана IV на царство. Миниатюра Лицевого летописного свода.



Архангельский собор Московского Кремля.



Царское место Ивана Грозного в Успенском соборе. 1551 г.

Успенский собор Московского Кремля.



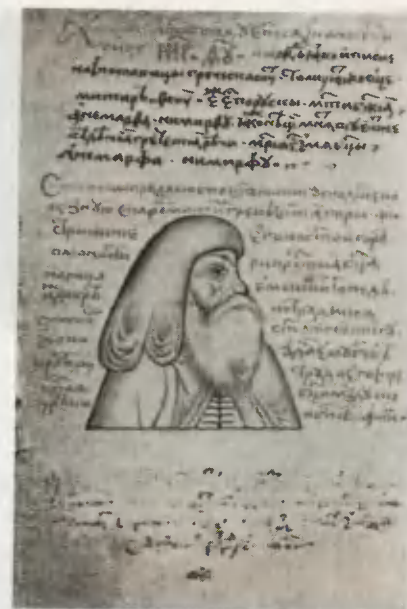


Нѣзаконѣша перѣни на дѣрми на площѣ
нѣзаконѣша. нѣположиша перѣтого кола
нѣдѣжаказнѣ

Восстание в Москве 26 июня 1547 г. Убийство Юрия Глинского.
Миниатюра Лицевого летописного свода.



Покров.
Вклад в Троицкий
монастырь царя
Ивана IV
и царицы Анастасии.
1557 г.



Максим Грек.
Рисунок из рукописи XVI в.

Иосифо-Волоколамский монастырь.





Хоругвь Казанского похода. XVI в.



Иван Грозный молится перед чудотворной иконой Владимирской Божией Матери в Успенском соборе накануне выступления из Москвы на Казань. Миниатюра Лицевого летописного свода.



Татарский воин. Гравюра XVI в.



Башня Сююмбеки в Казани. Фото 1886 г.

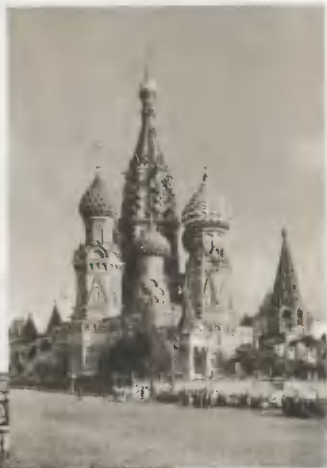
Осада Казани русскими войсками. Миниатюра «Казанской истории». XVII в.



«Шапка Казанская».
Золотой царский венец.
Середина XVI в.



Покровский собор (храм
Василия Блаженного).



Строительство Покровского собора.
Миниатюра Лицевого летописного
свода. XVI в. Фрагмент.



Приведение бояр
к присяге во время
болезни царя Ивана
Грозного в 1553 г.
Миниатюра
Царственной книги,
XVI в.



Казань в XVII в. Со старинной гравюры.





Иван Грозный. Фреска Новоспасского монастыря. XVII в.

ный образами и выражениями из Писания; издеваясь над своим корреспондентом, царь переходит на живой, почти разговорный язык. Для литературной практики того времени, предусматривавшей для каждой сферы письменной деятельности свой особый, выработанный и как бы освященный традицией набор форм и средств выражения, это было, конечно, необычным и новым, но вряд ли в этой связи можно говорить о каком-то сознательном литературном новаторстве. Скорее, в своем писательстве, как и в других сферах своей деятельности, царь просто не допускал, что могут существовать какие-то нормы, которым он должен следовать; он был «выше» этих норм и свободно фиксировал на бумаге те слова, которые в данный момент приходили ему на ум.

Можно отметить одну общую особенность всех высказываний Ивана IV, адресованных польскому королю: и обличение, и поучение, и насмешка утверждали превосходство царя над тем, к кому он обращался (хотя бы, как в данном случае, от имени бояр). Иван IV, конечно, не питал никаких иллюзий насчет того, что эти его высказывания могут оказать какое-то практическое воздействие на политику Сигизмунда II. Никакой конкретной политической цели он при этом и не преследовал. Цель была другая и лежала она в эмоционально-психологической сфере: изливая свои чувства на бумагу и тем самым предавая их гласности, царь утверждал свое превосходство над Сигизмундом II в собственном сознании. Было бы неправильно видеть в этих высказываниях спонтанный взрыв чувств, непосредственную реакцию на конкретные действия короля. Действия Сигизмунда II, в особенности его вмешательство в ливонские дела, давно вызывали недовольство царя, но пока сохранялись надежды достигнуть мирного соглашения с Великим княжеством Литовским, он скрывал свои чувства и позволил им вырваться наружу, лишь когда между государствами началась война.

Однако и с учетом этой оговорки разобранный текст позволяет констатировать, что в начале 60-х годов XVI века царь Иван превратился в человека, впадавшего в глубокий гнев и раздражение при столкновении с каким-либо противодействием своим планам и испытывавшего глубокую потребность в «уничтожении» оппонента с помощью средств духовного воздействия, в особенности, если он по каким-то причинам оказывался за пределами воздействия физического.

Можно не сомневаться, что грамота Курбского вызвала глубокий гнев царя, а невозможность наказать изменника делала особенно острой потребность «уничтожить» его с помощью пера.

Царь и как политик, и как личность стремился как можно скорее дать ответ на обвинения своего боярина. Курбский бежал в Литву 30 апреля, и, следовательно, с его грамотой царь мог ознакомиться никак не раньше мая. Но уже к 5 июля он закончил работу над весь-

ма обширным по размерам сочинением, которое получило в научной литературе условное название Первое послание Курбскому.

Первой ближайшей целью царя при создании этого произведения была дискредитация Курбского в глазах читателя. Причем дискредитация настолько сильная, чтобы впоследствии читатель даже не стал брать в руки тексты, принадлежащие этому автору.

Потому в самом начале своего послания царь обращается к своему бывшему боярину как к «крестопреступнику честного и животворящего креста Господня и губителю христианскому и ко врагом христианским слагателю, отступившему божественного иконного поклонения и поправшему вся священные повеления и святые храмы разорившему, осквернившему и поправшему священные сосуды и образы». Далее царь обосновывал эти обвинения, которые для русского читателя ставили Курбского как «осквернителя» христианских храмов и иконоборца за пределы христианского мира и заранее подрывали доверие ко всему, что он говорит в данный момент и может говорить в будущем.

На чем же Иван IV основывал свои обвинения? Отъехав в Литву, Курбский не только нарушил клятву верности царю и стал «государским изменником». Единственным оправданием его отъезда могло бы служить притеснение в вере, но царь безукоризнен в своем православии и Курбский не может доказать противного. А выступление против православного царя, препятствие ему в выполнении миссии, возложенной на него Богом, есть выступление не только против царя, но и против Бога («на человека возъярився, на Бога вооружились есте и на церковное разорение»). Покинув «Божью страну» — Русскую землю, во время ее войны с Литвой, страной, в которой власть находится в руках еретиков — иконоборцев, а истинные христиане должны скрываться, Курбский встал на сторону врагов христианской веры и, следовательно, одобряет все их нечестивые деяния*. Отсюда вытекал и тот вывод, что Курбский и другие подобные ему люди, нашедшие себе приют в Литве, находятся во власти дьявола. Тем самым должны были утратить всякую силу и утверждения Курбского, что царь «сопротивным обретесе».

Нарисованный в начале послания образ Курбского в дальнейшем изложении расцветал новыми красками. В полемике царь ловко использовал то обстоятельство, что Курбский не смог указать каких-либо явных свидетельств гонения на него со стороны царя. Он резонно указывал, что если бы он преследовал Курбского, то не послал бы его наместником в Юрьев Ливонский («не бы возможно тебе было угонзнути к нашему недругу, только бы наше гонение тако было»).

* В записи официальной летописи об отъезде Курбского князь также был назван «богоотступником», который побуждает короля и его раду «на многое кровопролитие крестиянское».

Это позволило царю представить Курбского неблагодарным человеком, который, будучи осыпан наградами и милостями, «возда злая за благая». Он бежал в Литву не потому, что ему грозили гонения и смерть, а следуя своей порочной, унаследованной от предков натуре («своим крестопреступным обычаем, извыкше от прародителей своих измены»), и монарх подробно перечислял все крамолы, совершенные предками Курбского по отцовской и материнской линии по отношению к Ивану III, Василию III и ему самому в дни его малолетства.

Квалифицировав поступок Курбского как отступничество от христианской веры, царь настойчиво искал следы такого отступничества в самом тексте послания Курбского, обнаруживая при этом немалую изобретательность. Курбский оказывается последователем то саддукеев, то фарисеев, то новатианской ереси, то манихеев. Поводом для этого служат отдельные слова и выражения, которые царь активно истолковывает в нужном ему духе. Примером может служить выражение в послании Курбского «критьяньские предстатели», которым боярин обозначил воевод, подвергшихся гонениям со стороны царя. Выражение это, по-видимому, означало первых, лучших среди христиан. Так как, по мнению царя, «предстателями» можно называть только «небесные силы», то Курбский, назвав «предстателями» «тленных человек», следует тем самым воззрениям язычников — «эллинов», которые обожествляли земных людей. Знакомство с такими пассажами послания Ивана IV заставляет думать, что Курбский отнюдь не беспричинно опасался обвинений в ереси. Явная натянутость таких обвинений была ясна уже современникам.

Главным содержанием Первого послания царя был ответ на обвинения, выдвинутые Курбским в его адрес. Разобрав послание боярина фразу за фразой, царь подробно опровергал все его обвинения, то как лживые, то как неосновательные, противопоставляя им свой взгляд, свое понимание событий. Обвинения Курбского лишь частично касались отношений государя и боярина; он представлял себя лишь одним из многих представителей знати, подвергшихся несправедливым казням и гонениям вместо благодарности за свою верную службу. В соответствии с этим и Грозный в своем ответе должен был говорить о своих отношениях не только с Курбским, но и вообще со знатью, боярами. Тем самым спор Грозного и Курбского выходил далеко за рамки личной полемики, становясь важным явлением русской общественной мысли середины XVI века.

Значительную часть послания Ивана IV занимает очерк отношений царя со знатью, начиная со смерти его отца Василия III. Еще при жизни его матери Елены, когда государству угрожали многочисленные внешние враги, знать не сохранила верности своему государю. Некоторые из бояр, как князь Семен Бельский и Иван Ляцкий, бежали в Литву, «отовсюду на православие рати воздвизающе». Другие остались в Москве, но тайно способствовали литовцам: «недругу на-

шему литовскому державцу почали вотчину нашу отдавати; грады Радогощ, Стародуб, Гомей». Эти же бояре побудили дядю царя, князя Андрея Старицкого, поднять мятеж и «приложились» к нему.

Еще хуже положение стало после смерти Елены Глинской, когда бояре истребляли людей, «доброхотных» царю, расхищали государственную казну, присваивали себе «дворы, и села, и имения», относились к своему государю с явным пренебрежением, игнорируя его желания и удаляя из его окружения угодных ему людей. Наконец, когда царь взял в свои руки государственные дела, а в Москве случился пожар, «изменные бояре... научиша народ» напасть на царя и царских родственников.

Позже, на «соборе примирения», царь простил боярам все, что они совершили в годы его малолетства, и «яко благи начахом держати». Но бояре снова стали служить государю «лукавым советом... а не истинною». Не совершая каких-то открытых проступков, бояре, воспользовавшись влиянием на царя попа Сильвестра, фактически лишили его власти в государстве, которая оказалась в руках олигархии, использовавшей государственные имущества для своего обогащения и привлечения сторонников («вотчины ветру подобно раздавали... и тем многих людей к себе примирили»). Эти олигархи решали все вопросы по своей воле, «ничто же от нас пытая», снова игнорируя волю и желание царя. А когда царь в 1553 году заболел, бояре хотели возвести на трон Владимира Старицкого, «младенца же нашего еже от Бога даннаго нам, хотеша подобно Ироду погубити».

Когда же речь шла о защите государства от врагов, о борьбе с внешней опасностью, то здесь бояре оказывались неспособны к каким-либо активным действиям, подобно тому, как в годы малолетства царя они «не могоша от варвар христиан защитити». В походы на Казань бояре ходили только по принуждению со стороны царя («Сколько хождения не бывало в Казанскую землю, когда не с понуждением хотения ходисте!» — восклицал царь, обращаясь к Курбскому и другим боярам), а во время походов старались как можно скорее вернуться домой («скорейши во своя возвратитися»). Из-за их медлительности и нерешительности, вечных возражений («вся яко раби с понужением сотвористе... паче же с роптанием») русские войска не смогли быстро занять всю Ливонию несмотря на постоянные приказы царя.

Нетрудно видеть, что обвинения, вполне соответствующие действительности (как, например, обвинения в злоупотреблениях знати в годы боярского правления), соседствуют с вымышленными. Так, даже в той редакции официальной летописи Грозного, которая была составлена заведомо после написания послания (так называемой «Царственной книге»), мы не найдем обвинения бояр в сговоре с литовцами во время русско-литовской войны 30-х годов XVI века. Сами же обвинения не свободны от весьма серьезных логических противоречий: так, например, если царь был фактически лишен власти и

все делалось помимо его желания, то как он мог в то же самое время принуждать бояр совершать походы в Казанскую землю. Стоит отметить и то, что о государственной деятельности Боярской думы в 50-х годах XVI века царь по существу не мог сказать ничего плохого, кроме того, что все делалось помимо его воли и желания.

Все это, однако, мог заметить далеко не каждый читатель послания. В сознании же большинства читателей запечатлевался созданный яркими красками образ знати, всегда крамольной, всегда своекорыстной, не способной и не желающей действовать во имя интересов государства.

Не удовлетворившись обличением действий своей русской знати, царь стремился показать, что такие ее действия — не какая-то досадная случайность, не следствие дурного характера отдельных лиц. Напротив, в самых разных странах и в самые разные времена, там, где дела идут по ее «злобесному хотения разуму», это приводит к гибели государства. В этой связи царь обращается к самому авторитетному для древнерусского читателя примеру — истории Римской (затем — Византийской) империи. Ее правители некогда правили «всею вселенной», но постоянные раздоры знати привели к постепенному ослаблению этой державы, отпадению от нее разных стран, а затем — ее гибели. Этот очерк событий, приведших к упадку и гибели Византии, совсем не случайно предшествовал в послании обличению действий русской знати.

Все это должно было привести читателя к выводу, который настойчиво навязывал ему царь: его действия против «изменников», пытавшихся узурпировать власть и распоряжаться ею от имени монарха, не только справедливы и обоснованны, но и спасительны для государства, в особенности такого, как Россия, которому постоянно угрожает внешняя опасность. Когда власть полностью находилась в руках бояр, государство беспрепятственно разоряли внешние враги, когда же царь смог влиять на дела, он заставил бояр вести войну с «варварами», а когда он отстранил изменников от власти, «тогда и та царствия (Казанское и Астраханское. — *Б.Ф.*) нашему государству во всем послушны учинишася и множае треюдесять тысяч бранных исходит в помощь православию». Сформулированные в послании идеи о том, что знать всегда представляет собой реакционную, деструктивную силу, которую постоянно надо усмирять ради сохранения самого государства, и что лишь единоличная, сильная, ничем не ограниченная власть монарха может сохранить государство, укрепить и защитить его от внешних врагов, с этого времени заняли важное место в сознании русского общества не только эпохи Средневековья, но и Нового времени. В течение длительного времени они оказывали воздействие и на представления исторической науки о путях развития России.

Первым памятником древнерусской литературы и общественной мысли, в котором эти политические идеи Ивана IV нашли своеобраз-

ное воплощение, стала «Казанская история» — повествование об отношениях Руси с Золотой ордой, а затем — Казанским ханством и о покорении Казани Иваном IV. Подобно упоминавшемуся выше Ивану Пересветову, неизвестный автор «Истории» был человеком с необычной жизненной судьбой. Попав в юности в плен к казанцам, он был подарен казанскому хану Сафа-Гирею. Пленник сумел завоевать расположение хана, тот взял его «в двор свои... перед лицом своим стоять». Он выучил татарский язык и читал татарские книги. Во время походов Ивана IV на Казань он «изыдох» из этого города «на имя царев московского», был крещен и получил от царя небольшое владение («мало земли»).

Воздействие политических идей Ивана IV в этом произведении прослеживается как бы в двух планах. Прежде всего, в определенном противоречии с общей направленностью своего повествования о неизбежной победе христианской Руси над мусульманскими ханствами — наследниками Золотой орды автор называет одной из причин падения Казани раздоры в среде казанской знати. В «Казанской истории» можно прочесть о том, как после смерти сильного правителя — хана Сафа-Гирея казанские вельможи «всташа сами на ся и почаша ся ясти, аки гладные волци»; есть здесь и рассуждения казанцев о том, что царь Иван вряд ли смог бы взять Казань, если бы не распри в среде казанской знати, если «не брань бы в них была, и не междоусобица и не изменство к своим людям».

Однако не лучше в изложении автора «Казанской истории» выглядит и русская знать. Именно из-за «крамол» бояр, ослаблявших своими смутами страну, не желавших энергично вести войну против татар, а то и готовых прекратить войну за взятки, Русское государство в течение длительного времени не могло покорить Казань. Так, попытка подчинить Казань мирным путем не удалась из-за того, что посланные царем воеводы «почаше... веселиться... и прозабывашеся в пьянстве». В рассказе о походе 1552 года автор подчеркивал, что царь должен был сам возглавить войско, так как не мог положиться на бояр и воевод, которые «живут... в велицей славе и богатстве», а «подвизаютца лестно и нерадиво... воспоминающе... многие имение и красныя жены своя и дети». При выступлении в поход бояре, согласно «Казанской истории», каялись перед царем: «Иногда нерадением и ленью одержими бежом и лестию тебе служихом». Позднее те же бояре, «обленевающиеся служить», советовали Ивану IV снять осаду с Казани. В обличении боярских «крамол» автор «Казанской истории» заходил еще дальше, чем царь, обвиняя русскую знать в прямом сговоре с казанцами. Так, по его словам, бояре, казнённые царем в 1546 году в лагере под Коломной, были «крестьянстии губители, бесерменские поноровники», а вместе с ними в деле были замешаны и многие другие бояре, которые избежали смертной казни лишь благодаря поспешному бегству. Написанная в 1564 — 1565 годах «Казанская исто-

рия», несомненно, сыграла свою роль в политической борьбе, привлекая симпатии общества на сторону царя и против знати. Памятник, переписывавшийся позднее, в XVII—XVIII веках, в сотнях списков, стал одним из каналов, по которым политические взгляды Ивана IV проникали в сознание русского общества.

Вернемся, однако, к Первому посланию царя Курбскому. Хотя текст его содержит важные рассуждения на политические темы, перед нами не просто политический трактат, а полемический памфлет. Наряду с читателем, к которому в конечном итоге текст обращен, царь все время имеет здесь перед собой оппонента (или оппонентов), с которыми он ведет спор.

Даже беглое знакомство с произведением показывает, что, как и в разбиравшемся выше ответе Сигизмунду II, царь стремится всеми возможными способами продемонстрировать превосходство над оппонентом, морально «уничтожить» его, прибегая по очереди то к обличению, то к поучению, то к ядовитой насмешке. Однако эмоциональная острота послания оказывается гораздо более высокой. И это понятно. Сигизмунд был равным по рангу государем, который вызывал недовольство тем, что противодействовал политике царя на международной арене. Курбский же был слугой и подданным, который не только нарушил присягу, но и посмел публично оправдывать свой поступок и порицать действия царя. Отсюда та переполнявшая царя ярость, то эмоциональное возбуждение, которое быстро начинает ощущать читатель текста. Проявления этого эмоционального возбуждения разнообразны. Царь снова и снова обращается к одним и тем же сюжетам, цитируя и опровергая особенно возмущившие его слова, он постоянно задает вопросы, на которые его оппонент не сможет найти ответы, с его уст срываются грубые слова и выражения.

Послание не представляет собой литературного произведения в собственном смысле слова как плод сознательных усилий по созданию определенного текста. Напротив, создается полное впечатление, что текст возникает как бы на глазах читателя. Царь читает текст Курбского и тут же диктует возражения, затем снова возвращаясь к тем или иным местам, когда те или иные ассоциации снова вызывают их в памяти. Еще в большей мере, чем тексты ответа Сигизмунду II, многие фрагменты послания воспринимаются как своеобразные снимки конкретных психологических состояний. Видно, как по ходу диктовки, по мере того, как царь в полной мере ощущает значение слов Курбского, в нем нарастает раздражение. Становясь в позу ученого наставника, поучающего невежду, и прибегая при этом к возвышенным конструкциям ученого литературного языка своего времени, царь затем, приходя во все большее раздражение, все больше оставляет этот язык, переходя на изобилующее ругательствами просторечие, в котором наиболее часто употребляемыми словами оказываются эпитеты «злобесный» и «собацкий».

Такой своеобразный характер текста позволяет с исключительной яркостью представить себе черты личности его автора. Царь выступает как человек, уверенный в своем превосходстве над окружающими во всех отношениях. Он не только господин и повелитель, но учитель и наставник в разных областях и светского, и церковного знания. Вместе с тем это человек, который не терпит никакого прямого или косвенного противодействия, вызывающего у него приступы раздражения и гнева. Всякое такое противодействие, проявляющееся в словах или поступках, он воспринимает как измену, а изменники заслуживают самых суровых наказаний.

Поскольку советники царя придерживались освященных традицией и усиленных практикой 50-х годов норм отношений между государем и его советниками и пытались их отстаивать, новые конфликты между царем и его окружением были неизбежны. Особого внимания заслуживает та настойчивость, с которой царь снова и снова настаивает на своем «природном» праве на полную и неограниченную власть в государстве. Именно эта, почти маниакальная настойчивость, как представляется, говорит о живущем в сознании царя чувстве внутренней неуверенности в том, что его подданные с этим согласятся, что его право на неограниченную власть не встретит с их стороны возражений. Отсюда та ожесточенность, с которой царь клеймит всех тех, кто с этим правом не считается.

Могло ли написанное царем сочинение привлечь симпатии общества на его сторону в его споре со знатью? Вряд ли образ общества, разделенного на правителя и рабов, беспрекословно выполняющих все его распоряжения, мог вызвать большой энтузиазм. Однако общество не могло пройти и мимо рассуждений царя о вреде многоначалия, о том, что только сильная единоличная власть может обеспечить единство и целостность государства, находящегося во вражеском окружении. Боярские смуты малолетства Ивана IV были у всех в памяти. Думается поэтому, что послание царя в определенной мере способствовало тому, что политический переворот, предпринятый царем через несколько месяцев после появления послания, не столкнулся с открытым сопротивлением со стороны подданных.

ВВЕДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ

Внимательное изучение Первого послания Курбскому позволяет установить одну интересную особенность памятника. В явном противоречии с его основной тональностью, с его бесчисленными яростными выпадами против бояр, в целом ряде мест царь решительно утверждает, что конфликты между ним и знатью — уже в прошлом, а в настоящее время между ним и его советниками, даже теми, кто в прошлом вел себя дурно, царят мир и согласие. («Но сия убо быша.

Ныне же убо всем, иже в вашем согласии бывшем, всякаго блага и свободы наслаждающимся и богатеющим, и никакая же им злоба первая поминается в первом своем достоянии и чести суще».) Эти явно вынужденные, произнесенные как бы сквозь зубы высказывания отражают ту ситуацию в отношениях между царем и боярами, которая сложилась к середине 1564 года.

Для того чтобы понять, что же тогда произошло, следует коснуться еще одной особенности политического положения России начала 60-х годов XVI века. С зимы 1564 года начались казни высокопоставленных лиц без суда и следствия, по простому приказу царя. По-видимому, сообщения об этих убийствах явились последним толчком, побудившим Курбского к бегству. В своем послании он обвинил царя в том, что тот «мученическими кровьюми праги (пороги. — Б.Ф.) церковные обагрил». Что конкретно имелось в виду, явствует из написанной им десять лет спустя «Истории о великом князе Московском». Здесь Курбский рассказал о том, как в один день, 16 января 1564 года, по приказу царя во время службы в церкви были убиты бояре князь Михаил Петрович Репнин и князь Юрий Иванович Кашин.

О причинах казни Репнина в «Истории» читается следующий рассказ. Царь пригласил Репнина на пир, где, «упившись, начал и скоморохами в машкарах (масках. — Б.Ф.) плясати и сущие пирующие с ним». Когда Репнин, плача, стал говорить, что христианскому царю не подобает так себя вести, царь потребовал: «Веселись и играй с нами», и попытался надеть на боярина маску. Боярин «отверже ю и потопта», и тогда царь, охваченный яростью, «отогна его от очей своих», а затем приказал убить.

Рассказ, вводящий в обстановку жизни царского двора накануне опричнины, требует некоторых пояснений. Иногда, вслед за Курбским и официальной летописью, говорят о необыкновенно строгом, благочестивом, чуждом всяких развлечений образе жизни царя в те годы, когда он находился под духовной опекой Сильвестра. Однако это явное преувеличение. Пирь со своим окружением составляли по традиции важную часть образа жизни государя; они способствовали укреплению отношений между правителем и его верными слугами, и духовные люди (а в их числе, конечно, и Сильвестр) не могли возражать против этой освященной обычаем традиции. Старец Адриан Ангелов в своей повести о взятии Казани без всякого осуждения, а напротив, с одобрением писал о том, как в военном лагере царь, «похваляя» отличившихся при осаде воевод, с ними «на многих пирах веселяшася». Совсем иначе относилась церковь к присутствию на пирах скоморохов, в которых видела слугителей бесовских сил. Уже в XI веке записан был рассказ о печерском монахе Исаакии, которому явились бесы, игравшие «в сопели, и в гусли, и в бубны». В том же столетии митрополит Иоанн, разрешая священникам посещать «мирские пиры», строго предписывал тотчас «встать из-за стола», как

только начнется «играние и плясанье и гуденье». И позднее отношение церкви к «играм» скоморохов было последовательно отрицательным. Благочестивый человек не мог иметь ничего общего со скоморохами и их играми. Автор «Казанской истории», близкий к царю по своим политическим взглядам, но мало осведомленный о жизни царского двора, восхваляя благочестие государя, подчеркивал, что тот «от юны версты не любляше ни гуселнаго звяцания, ни прегудниц скрыпения... ни скомрах видимых бесов скакания и плясания». Появление скоморохов на царском пиру, действительно, могло огорчить благочестивого человека, а предложение принять участие в их играх — вызвать его возмущение.

Насколько можно отнестись с доверием к рассказу Курбского? Определенное подтверждение отыскивается в сочинениях самого Грозного. Отвергая обвинения князя, царь все же сквозь зубы признавал, что занимался «играми» — «сходя к немощи» своих подданных, «дабы нас, своих государей, познали, а не вас, изменников». Призвав ко двору скоморохов, некогда изгнанных Сильвестром, царь ясно давал понять, что более не намерен подчиняться каким-либо ограничениям и будет устраивать свою жизнь только так, как он сам считает нужным. Возможно, также сыграло свою роль пристрастие царя к пению и музыке, о чем речь пойдет впереди.

Однако если сам рассказ Курбского представляется вполне достоверным, то его утверждение о том, что именно произошедший инцидент послужил причиной казни боярина, вызывает сомнения. Ведь убитый одновременно с ним князь Юрий Иванович Кашин не имел к этому инциденту никакого отношения. В этой связи обращает на себя внимание, что оба боярина дважды вместе выступали поручителями по опальным — сначала по Ивану Дмитриевичу Бельскому, потом — по Александру Ивановичу Воротынскому. Таким образом, у царя были основания видеть в них главных предводителей недовольных в рядах Боярской думы. Инцидент на пиру мог послужить последним толчком для расправы.

Казнь двух бояр стала грубым нарушением всех традиционных норм отношений между царем и его советниками. Однако, судя по всему, убийства оказались тайными, и возложить прямую ответственность за них на царя было невозможно. Не случайно в своем ответе Курбскому царь отрицал всякую к ним причастность: «Кровию же никакою праги церковные не обагрям» (хотя имена обоих бояр вошли в так называемый «Синодик опальных» — список казненных царем людей, составленный в конце его правления).

Однако еще одно убийство, причастность к которому царя была более чем очевидной, привело к его конфликту со знатью.

Поводом для убийства послужила ссора двух царских приближенных, князя Дмитрия Ивановича Овчины-Оболенского и Федора Алексеевича Басманова. Это были молодые аристократы, успешно

начинавшие свою карьеру: в разряде Полоцкого похода 1563 года они упоминаются в числе молодых дворян, которые должны были «за государем ездить». Хотя служба Федора Басманова и началась с участия в Полоцком походе, уже в то время царь особо выделял его из своего окружения. Он был послан известить о взятии Полоцка тетку царя Евфросинию Старицкую (с аналогичным поручением к брату царя Юрию в Москву был послан сам царский шурин, князь Михаил Темрюкович). Федор был сыном боярина Алексея Даниловича Басманова, в то время одного из ближайших советников царя, но его возвышение объяснялось, очевидно, интимной связью с Иваном IV. Указания на эту связь встречаются в ряде записок иностранцев, а прямой намек на нее виден в выпаде Курбского против советников, губящих тело и душу государя, «иже детьми своими паче Кроновых жрецов действуют».

Рассказ о ссоре и последовавших за ней событиях сохранился в записке польского шляхтича Войтеха (Альбрехта) Шлихтинга, выходца из видной дворянской фамилии великопольской шляхты. Он попал в русский плен после взятия русскими войсками крепости Озерище в ноябре 1564 года. Несколько лет он бедствовал, пока в 1568 году его не «выпросил себе в качестве слуги и переводчика» царский врач Арнольд Лензей. В конце 1570 года Шлихтингу удалось бежать из России. В Польше при дворе Сигизмунда II им было составлено «Краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича», которое должно было дискредитировать царя в глазах христианской Европы.

В «Сказании» Шлихтинг писал о царе, что тот «злоупотреблял любовью этого Федора, а он обычно подводил всех под гнев тирана». Очевидно, одним из таких лиц и оказался Дмитрий Овчина. Рассердившись на Федора Басманова, «Овчина попрекнул его нечестным деянием, которое тот обычно творил с тираном». Басманов пожаловался царю, тот пришел в ярость и, пригласив Овчину на пир, послал его в погреб выпить вина за свое здоровье, а там царские псари задушили князя.

На этот раз причастность царя к убийству была совершенно очевидна. «Пораженные жестокостью этого поступка, — читаем далее у Шлихтинга, — некоторые знатные лица и вместе верховный священнослужитель сочли нужным для себя вразумить тирана воздержаться от столь жестокого пролития крови своих подданных невинно без всякой причины и поступка».

Таким образом, действия царя столкнулись с протестом со стороны не только бояр, но и «верховного священнослужителя» — то есть митрополита.

Со второй половины 1563 года отношения царя с митрополичьей кафедрой серьезно осложнились. В «Пискаревском летописце» это ухудшение отношений отнесено к концу правления Макария. Однажды, повествует автор летописца, царь попросил у митрополита

«душеполезной книги», а тот послал ему «погребален», то есть чин погребения. В ответ на слова разгневанного царя, что «в наши царские чертоги такие книги не вносятца», митрополит сказал, будто не знает более «душеполезной» книги: «аше хто ея со вниманием почитает, и тот во веки не согрешит».

Это полулегендарное свидетельство получает некоторое подтверждение в «Сказании о последних днях жизни митрополита Макария». Здесь читаем, что 3 декабря 1563 года святитель заявил о своем желании оставить кафедру и «отъити на молчалное житие» в Пафнутьев Боровский монастырь, где он некогда постригся в монахи. Настаивая на своем желании, он даже послал царю особое «писание». Царь с сыновьями посещал митрополита, упрасывая его «со слезами» остаться на престоле и «едва умоли его». Царь, очевидно, понимал, что уход Макария будет воспринят как публичное осуждение его политики, и стремился этого не допустить. Уговаривать Макария приезжала и царица Мария Темрюковна, которая, как видим, в отличие от Анастасии готова была активно поддерживать действия супруга. Лишь 21 декабря митрополит согласился на уговоры, и царь приказал «то писмо драению предати пред его очима».

31 декабря 1563 года Макарий умер. Царь приложил усилия к тому, чтобы митрополичью кафедру занял человек, на которого он мог бы всецело положиться.

24 февраля 1564 года собор епископов избрал митрополитом старца Чудова монастыря Афанасия, бывшего протопопа Благовещенского собора Андрея, который в течение многих лет был духовником царя. Остался он им и после того, как постригся в 1562 году в Чудове монастыре с именем Афанасия. Здесь, в Чудове монастыре, в 1562—1563 годах он явно по заказу царя работал над составлением «Степенной книги». Афанасий, несомненно, принадлежал к числу наиболее близких к царю представителей духовенства. Как и царь, он был приверженцем сильной единоличной власти правителя. Однако, разделяя с царем его политические идеалы, митрополит не мог одобрить те методы, с помощью которых царь хотел реализовать их на практике.

Не знаем, какие аргументы использовали бояре и митрополит в своих беседах с царем, но результат известен — царь должен был уступить их давлению: «подал надежду на исправление жизни и в продолжение почти шести месяцев оставался в спокойствии». Так сообщает Шлихтинг. Поскольку вслед за этим он рассказывает о событиях, происходивших в декабре 1564 года, очевидно, что столкновение произошло в конце весны — начале лета, то есть как раз тогда, когда царь писал свое послание Курбскому. Отсюда понятно появление на его страницах тех высказываний, которые приведены выше.

О том, как тревожно чувствовала себя в это время царская семья, выразительно свидетельствует рассказ об освящении собора Никит-

ского Переяславского монастыря, которое произошло 14 мая 1564 года. С этой обителью Ивана и членов его семьи связывали особые отношения. Когда после неожиданной смерти наследника царевича Дмитрия огорченная царская семья возвращалась в Москву из путешествия на Белоозеро, она остановилась в Никитском монастыре близ Переславля-Залесского. Здесь царица Анастасия «зачала», и рождение 28 марта 1554 года нового наследника — царевича Ивана было приписано чудесному покровительству патрона обители — преподобного Никиты Столпника. Когда через некоторое время маленький царевич заболел, он исцелился благодаря воде, освященной у мощей святого Никиты. Маленький монастырь, в котором жило всего семь монахов, был осыпан царскими милостями. Царь устроил здесь большую обитель, наделил ее землями, построил каменную ограду, трапезную и каменные храмы. На освящение главного из них, во имя «великомученика Христова Никиты», прибыли вся царская семья и митрополит Афанасий. После освящения храма царь поехал к гробнице своего покровителя святого Сергия «помощи просити... милости и устроения его царскому державству великия Росия». Мария же Темрюковна, оставшаяся на некоторое время в Никитском монастыре, просила монахов этой обители молиться «о устроении землем и мире всего православного християнства».

Небесные патроны должны были помочь царю в борьбе с непокорными подданными, желаниям которых он не был намерен уступать. Летом — осенью 1564 года царь, несомненно, обдумывал план переворота, который должен был привести к сосредоточению в его руках всей полноты власти в государстве. К сожалению, мы почти ничего не знаем о том, как вырабатывался такой план и кто вместе с царем участвовал в его создании. Официальная летопись не освещала эту сторону событий, а иностранцы, оставившие свои свидетельства об опричнине, ничего об этом не знали. Лишь в «Пискаревском летописце» указывается, что царь устроил опричнину «по злых людей совету Василия Михайлова Юрьева да Олексея Басманова и иных таких же».

Свидетельство это, очевидно, основано на какой-то достоверной традиции. Действительно, Василий Михайлович Юрьев и Алексей Данилович Басманов в 1563 — 1564 годах принадлежали к числу ближайших советников царя. В конце 1563 года именно они вели очень важные переговоры с литовскими послами, выступая в той роли, в которой ранее выступал Алексей Адашев.

Василий Михайлович Юрьев, двоюродный брат царицы Анастасии, уже неоднократно упоминался на страницах этой книги как один из членов боярского клана Захарьиных, возвысившегося после первого брака Ивана IV. Уже в первой половине 50-х годов он зарекомендовал себя как администратор (дворецкий Тверского дворца), дипломат и воевода. Удаленный от дел во второй половине 50-х годов

XVI века, он вернулся в близкое окружение царя после ухода Сильвестра и Адашева. По записи 1561 года, в случае смерти царя он должен был входить в состав регентского совета при малолетнем наследнике.

Алексей Данилович Басманов принадлежал к старому московскому боярскому роду Плещеевых, из которого в XIV веке вышел один из патронов московской митрополичьей кафедры митрополит Алексей. Все, что о Басманове известно, позволяет говорить о нем как об одном из лучших военачальников своего времени. К рассказам о его военных успехах есть все основания отнестись с доверием, так как в большинстве своем они читаются в той части официальной летописи, которая составлялась во времена, когда летописное дело находилось в руках Адашева, а Басманов вовсе не принадлежал к ближайшему окружению царя. Впервые Басманов отличился при взятии Казани, где вместе с князем Михаилом Ивановичем Воротынским командовал войсками на главном направлении штурма. Эти войска первыми поднялись на городские стены. Способности Басманова ярко проявились в неудачном для русской рати сражении с крымскими татарами при Судьбищах, когда крымский хан русское войско «потоптал и разгромил». Тогда не командующий армией боярин Иван Васильевич Шереметев, а один из воевод, Алексей Басманов, собрал бегущих с поля боя детей боярских и стрельцов. Они «осеклися в дубраве» и до вечера отбивали натиск орды, причем «из луков и из пищалей многих татар побили». Именно под командованием Басманова в начале Ливонской войны русские войска взяли штурмом Нарву. Еще раз военные способности Басманова проявились осенью 1564 года, когда крымский хан Девлет-Гирей со всей ордой вторгся в Рязанскую землю. Нападение татар застало местных воевод врасплох, в Рязани не оказалось войска и крепость не была подготовлена к обороне. Басманов, находившийся с сыном Федором в рязанском поместье, собрав соседей, напал на крымские «загоны», захватил языков и, узнав о намерениях хана идти к Рязани, поспешил в город. Город был спешно укреплен, население мобилизовано для обороны и нападения татар отбиты.

Если в 50-е годы XVI века Басманов, подобно Курбскому, был прежде всего военачальником, то с начала 60-х годов он перестал получать военные назначения. Царь поручал ему ведение важных дипломатических переговоров, в которых тот ранее никогда не участвовал. Очевидно, с этого времени царь стал ценить Басманова не столько как военного, сколько как политика.

Обоих советников царя объединяло то, что они принадлежали к старомосковским боярским родам и при существующей практике продвижения в рамках правящей элиты, которая регулировалась системой местнических счетов, не могли рассчитывать занять первые должности в государстве, предназначенные по традиции для представителей наиболее знатных княжеских родов — потомков Рюрика и Гедимины.

О событиях, предшествовавших установлению опричнины, со-

хранился подробный рассказ официальной летописи, а также свидетельство двух ливонских дворян на русской службе Иоганна Таубе и Элерта Крузе. Печатник рижского архиепископа Таубе и дерптский фогт (судья) Крузе попали в плен к русским в первые годы Ливонской войны. Предложив царю свои услуги в деле привлечения ливонских дворян и горожан на сторону русской власти, они в 1564 году были освобождены и взяты на царскую службу. Позднее они были приняты в опричнину и получили имения. Царь настолько доверял этим ливонским дворянам, что в 1570 году, когда в Москве было принято решение о создании вассального ливонского королевства во главе с датским принцем Магнусом, приставил их к «ливонскому королю» для наблюдения за его действиями. Когда желаемых результатов добиться не удалось, Таубе и Крузе в 1571 году бежали в Литву. Здесь, предложив свои услуги Сигизмунду II, они написали послание литовскому наместнику Ливонии Яну Ходкевичу. Читавшийся в послании подробный рассказ о жестокостях Ивана IV также должен был дискредитировать царя в глазах христианской Европы.

Послание начиналось рассказом о введении опричнины. Сопоставление этого рассказа очевидцев с рассказом официальной летописи показывает, что в обоих источниках ход событий характеризуется по-разному. Согласно рассказу Таубе и Крузе, царь 6 декабря, на праздник святителя Николая, созвал «светские и духовные чины» и заявил, что «они не желают терпеть ни его, ни его наследников, покушаются на его здоровье и хотят передать Русское государство чужеземному господству». Поэтому он, царь, отказывается от власти и отдает ее в их руки. Затем царь «сложил с себя в большой палате царскую корону, жезл и царское облачение».

Четырнадцать дней спустя в Успенском соборе царь «благословил всех первых лиц в государстве» и выехал из Москвы. Затем из Александровой слободы он написал в Москву «чинам», что «им... его изменникам, передает он свое царство, но может прийти время, когда он снова потребует и возьмет его».

Совсем иначе выглядят события в изложении официальной летописи. Согласно ей, 3 декабря царь вместе с семьей выехал из Москвы в село Коломенское, где отпраздновал Николин день. Две недели царский поезд простоял в Коломенском «для непогоды и безпуты», а 17 декабря двинулся в Троице-Сергиеву обитель, откуда затем проследовал в Александрову слободу. «Подъем же его, — сообщалось в официальной летописи, — не таков якоже преже того ездывал по монастырем молитися». Так, царь забрал с собою всю свою казну, включая хранившуюся в ней «святость» — «иконы и кресты, златом и камением драгим украшенные». Все понимали, что происходит что-то важное, но не было понятно что, так как царь ничего не сообщал о целях своего путешествия: «все же о том в недоумении и унынии быша такому государскому великому необычному подъему». Положе-

ние определилось лишь 3 января 1565 года, когда гонец Константин Поливанов привез в Москву грамоты Грозного с сообщением, что он отказывается от царства и отправляется «вселиться, идеже его, государя, Бог наставит».

Все, что мы знаем об Иване IV, его взглядах и образе жизни, ясно говорит о том, что он не допускал даже мысли об отказе от власти, не представлял для себя иной жизни, чем жизнь богоизбранного царя единственного в мире православного царства. Отречение от власти было способом принудить правящую элиту к уступкам, способом, осуществление которого таило в себе определенную опасность. Власть в Москве находилась в руках Боярской думы, имелся и родственник царя, князь Владимир Андреевич, который хотя и находился под наблюдением приставленных к нему царем людей, не принял участия в царском путешествии и мог быть приглашен занять опустевший трон. Успех в этом случае во многом зависел от того, удастся ли захватить правящую элиту врасплох, не дать ей времени для принятия каких-либо опасных для царя решений.

С этой точки зрения поведение царя в рассказе Таубе и Крузе выглядит весьма странно. Согласно их версии, царь дал враждебным «чинам» более месяца на обдумывание ситуации, сложившейся после его отречения от царства, то есть сам способствовал росту угрожавшей ему опасности. Кроме того, непонятно, с какой целью он вторично извещал эти «чины» из Александровой слободы о своем отречении от царства, если им это уже и так было известно. Некоторые детали рассказа Таубе и Крузе также противоречат их собственной версии событий. Так, их сообщение, что при прощании, уезжая из Москвы, царь «благословил всех первых лиц в государстве», находится в явном противоречии с их же утверждением, что за две недели до этого царь публично обвинил всех этих людей в измене. В рассказе Таубе и Крузе сообщается, что царь, не доезжая до Слободы, отправил в Москву «многих подьячих и воевод, раздетых до нага и пешком». Этот факт не вписывается в канву рассказа Таубе и Крузе, но получает хорошее объяснение в рамках версии официальной летописи: очевидно, что о своих намерениях царь объявил своей свите лишь когда они подъезжали к Слободе и отослал всех, кто в создавшейся ситуации обнаружил какие-то колебания.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что именно рассказ официальной летописи отражает действительное положение вещей. Хотя «подъем» царя в декабре 1564 года обратил на себя внимание своей необычностью и вызвал разные толки и беспокойство, намерения царя оставались для всех неясными, пока из Слободы в Москву не были привезены царские грамоты. Грамот было несколько. Одна из них адресовалась митрополиту Афанасию; к ней был приложен список, «а в нем писаны измены боярские и воеводские и всех приказных людей». Документы эти не сохранились, известен лишь их крат-

кий пересказ в тексте официальной летописи. Царь объявлял, что он «гнев свой положил» на митрополита, епископов, настоятелей монастырей и «опалу» на бояр, окольных, дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей.

Царь обвинял бояр и приказных людей в том, что в годы его малолетства они расхищали государственную казну и раздавали себе и своим родственникам «государские земли». «Собрав себе великие богатства», они «о всем православном христианстве не хотя радети и от недругов его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестьянства обороняти», «сами от службы учали удалятися и за православных крестьян стояти не похотели».

Царь же не может навести порядок в государстве: захочет он кого-либо из бояр, детей боярских или приказных людей «в их винах понаказати», а высшее духовенство, бояре, дворяне и приказные люди начинают их «покрывати». Видя, что при таком положении он не может ничего сделать, царь «от великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государство и поехал где вселитися, идеже его, государя, Бог наставит». В оригинале грамота представляла собой, вероятно, весьма обширный текст, едва ли уступавший по размерам посланию царя Курбскому, но текст этот не сохранился. Однако нет оснований сомневаться, что в летописи, составленной по приказу самого царя, основное содержание грамоты было передано правильно. Как видно из летописного рассказа, обвинения царя адресовались не только членам Боярской думы, но и всему правящему слою (дьякам, детям боярским «государева двора»), так как все они, как мы видели выше, поддерживая ходатайства бояр, участвовали в составлении поручных записей. Обвинения в злоупотреблениях, совершенных в годы «боярского правления», были обоснованными, но к 1564 году имели уже чисто историческое значение. Сам царь и его современники знали, что реформы 50-х годов положили конец многим из этих злоупотреблений, а в 50-е годы никто не расхищал государственную казну и не раздавал незаконно «государские земли». Эти обвинения должны были напомнить обществу, что ждет страну, если в ней снова не окажется государя.

Неудачи в войне, которую Россия вела одновременно с Литвой и Крымом в 1563—1564 годах, действительно, имели место, однако их значение царь, несомненно, преувеличивал. Эти неудачи были следствием не столько «нерадения» воевод, сколько ошибок царской дипломатии. Так как речь шла о войне православного царства с мусульманской страной и государством, в котором у власти находились еретики — протестанты, то, возлагая ответственность за дурное ведение войны на нерадивых бояр, царь получал возможность обвинять их в измене не только своему государю, но и всему православному христианству.

Центр тяжести послания состоял в утверждении, что царь вы-

нужден оставить престол, так как правящая верхушка не дает ему наказывать изменников. Зная все происходившее в предшествующие годы, можно с уверенностью утверждать, что царя не устраивало традиционное право членов Боярской думы и высших церковных иерархов «печаловаться» за вельмож, совершивших те или иные проступки, с которым в предшествующие годы ему приходилось считаться. Царь ставил перед обществом дилемму: или он получит право наказывать изменников по своему усмотрению, или государство будет не в состоянии успешно вести борьбу с внешними врагами по вине светской и церковной знати. Тем самым правящая элита оказывалась в таком положении, что ей ничего не оставалось, как согласиться с требованиями царя.

Иван предпринял и ряд других шагов, которые должны были обеспечить достижение его цели. Согласно официальной летописи, вместе с царем отправились в путешествие бояре, ближние дворяне и приказные люди, которым царь «повеле с собою ехати з женами и з детьми». Кроме того, царя сопровождали выбранные «дворяне и дети боярские изо всех городов» «с людьми и с конми и со всем служебным нарядом». Таким образом, в распоряжении царя имелось отборное дворянское войско, полностью готовое к ведению войны (дети боярские были полностью вооружены и их сопровождали их военные слуги). Как уже отмечалось выше, часть этих людей не была посвящена в намерения царя и, не доезжая до Слободы, была отправлена обратно в Москву. Однако с царем, несомненно, осталось достаточно много детей боярских, чтобы вести боевые действия, и достаточно воевод, чтобы ими командовать. Таким образом, накануне своего нового столкновения со знатью царь сумел обеспечить себе поддержку ряда бояр и дьяков, а также большого количества членов «государева двора» (в источниках второй половины XVI века именно их называли «выбором из городов»). Именно наличие такой поддержки позволило царю занять самостоятельную позицию и ставить знати свои условия. Как, с помощью каких доводов и обещаний царь сумел заручиться такой поддержкой? Ответ на этот вопрос автор попытается дать в следующей главе, характеризуя особенности нового режима, сложившегося в России после введения опричнины.

Другой важный шаг, предпринятый царем, касался московского посада. Вместе с грамотой митрополиту Афанасию царский гонец привез и грамоту, адресованную московским горожанам, «чтобы они себе никоторого сумления не держали, гневу и опалы на них никоторые нет». Судя по реакции горожан на этот документ, в нем, по-видимому, также подробно перечислялись измены бояр и приказных людей, которые заставили царя покинуть престол. Царь, очевидно, хотел таким образом подстрекнуть московский посад к выступлению против изменников. Ход оказался верным. Перспектива ухода государя и наступления «безгосударного времени», когда вельможи мо-

гут снова заставить городских торговцев и ремесленников все делать для них даром, не могла не взволновать московских горожан. Поэтому они не замедлили потребовать от митрополита и собора духовенства, «чтобы били челом государю и великому князю, чтобы над ними милость показал, государства не оставлял, их на разхищение волком не давал, наипаче же от рук сильных избавлял, а кто будет государских лиходеев и изменников, и они за тех не стоят и сами тех потребят (уничтожат. — Б.Ф.)». Это означало, что в конфликте царя со знатью население столицы решительно встало на сторону царя.

К сказанному следует добавить, что, объявив о своем уходе с престола, царь одновременно наложил на всех бояр и приказных людей опалу, то есть отстранил их от исполнения их обязанностей, и вся деятельность государства оказалась парализованной («все приказные люди приказы государские оставиша»). Фактически царь поставил правящей элите ультиматум. Она должна была отказаться от традиционных обычаев, ограничивавших свободу действий государя, или ей угрожала война со своим законным правителем, и в этой войне к услугам царя было вооруженное дворянское войско и поддержка населения Москвы.

Рассказ официальной летописи рисует картину всеобщего отчаяния, которое охватило всех бояр, детей боярских и приказных людей перед перспективой остаться без государя («ныне х кому прибегнем и кто нас помилует и кто нас избавит от нахождения иноплеменных»). Можно сомневаться в том, насколько этот рассказ передает реальную картину действительно происходившего в Москве. Однако не вызывает никаких сомнений, что вечером того же самого дня, когда в Москве были получены царские грамоты, в Слободу отправились наиболее близкие к царю лица из среды высшего духовенства — архиепископ Новгородский Пимен и архимандрит Чудова монастыря Левкий с ответом на царское послание. Высшее духовенство и Боярская дума обращались к царю с челобитьем, чтобы «гнев бы свой и опалу с них сложил и на государстве бы был и своими бы государством владел и правил, как ему, государю, годно; и кто будет ему, государю, и его государству изменники и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государская воля». Вслед за этим прямо с митрополичьего двора, где было принято это решение, «не ездя в дома свои», отправились в Слободу хлопотать о снятии опалы епископы, бояре, дворяне, приказные люди. Это была полная капитуляция.

В чем же были причины столь быстрой победы? Разумеется, следует учитывать, что действия царя оказались для правящей элиты полной неожиданностью. Решившись выступить против своего государя, она оказалась бы в весьма неблагоприятных условиях, особенно учитывая явную враждебность населения Москвы. Детей боярских невозможно было поднять на войну для защиты прав узкого круга советников государя и высших иерархов, а ведь только об этих

правах шла речь в царском послании. К этому стоит добавить, что в отличие от ряда стран средневековой Европы эти права нигде не были письменно зафиксированы, государь не приносил присяги их соблюдать, и, соответственно, не существовало «права на сопротивление» в случае их нарушения. Правящая элита не была и психологически готова к войне с «природным», наследственным государем, который к тому же недавно венчался царским венцом и покорил мусульманские царства.

Сложная международная ситуация, в которой оказалась Россия в середине 60-х годов XVI века, также действовала в пользу царя. Политические оппоненты Ивана IV разделяли представления о нем как главном защитнике и опоре православия. В «Послании» Таубе и Крузе приводится изложение речи, с которой послы митрополита (у Таубе и Крузе ошибочно говорится о самом митрополите, который на самом деле оставался в Москве) обратились к царю, убеждая его вернуться на трон. Называя царя «избранным властелином истинной апостольской веры», они просили его подумать о судьбе этой веры, «которая благодаря его отречению и передаче власти и благодаря семени еретиков будет загрязнена и даже в худшем случае уничтожена». Такие слова и выражения вряд ли могли самостоятельно появиться под пером ливонских дворян — протестантов, а, скорее всего, были заимствованы ими из какого-то русского источника. Поднять восстание против единственного в мире православного царя в условиях, когда он ведет борьбу с врагами православной веры, было психологически невозможно. Царь, показавший себя во время политического кризиса, вызванного его собственными действиями, ловким и одновременно жестким политиком, несомненно, учел все эти обстоятельства.

5 января послы прибыли в Слободу, превратившуюся к тому времени в большой военный лагерь, и были приведены к царю под стражей («за приставы»). В конце концов царь допустил к себе («очи свои видеть велел») сначала духовных иерархов и настоятелей, а затем, по их «челобитью», бояр и приказных людей и милостиво согласился вернуться на престол. «А как нам свои государства взяти и государьствы своими владети, о том о всем прикажем к отцу своему и богомолцу к Офонасию митрополиту всеа Руси» — такими словами заканчивался ответ царя на просьбы приехавших в Слободу «чинов». Эти условия были сформулированы в особом царском указе, присланном в Москву вместе с возвращавшимися епископами и боярами. Краткое изложение указа сохранилось в официальной летописи. Судя по сообщению Таубе и Крузе, указ имел обширную преамбулу, где перечислялись измены подданных своим государям со времен Владимира Мономаха, а затем излагались те условия, на которых царь соглашался вернуться на трон. Первым пунктом указа, как и следовало ожидать, утверждалось право царя карать изменников и вообще тех, кто в чем-либо оказались государю «непослушны»: «на

тех опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки (то есть движимое и недвижимое имущество. — *Б.Ф.*) имати». Однако если бояре, основываясь на тексте царского послания из Слободы, полагали, что этим все и ограничится, то они жестоко ошиблись. В указе царь заявил о своем желании «учинити ему на своем государстве себе опричнину», а это означало изменение всего традиционного политического устройства Русского государства.

СТАНОВЛЕНИЕ ОПРИЧНОГО ПОРЯДКА

Название «опричнина» происходит от слова «опричь» — кроме. Используя эту этимологию, Курбский называл опричников «крошниками», то есть людьми, причастными к аду — царству «крошной тьмы». В Древней Руси опричниной назывался удел, выделявшийся вдове умершего князя после раздела его владений — все достояние князя переходило к его сыновьям «опричь» (кроме) того, что выделялось вдове в пожизненное владение.

Опричнина Ивана IV и представляла собой такой удел, который государь выделил для себя из всей территории государства. Земли, не вошедшие в состав этого удела — опричнины, получили название «земщины». В указе перечислялись те города и волости в разных частях страны и слободы и улицы Москвы, которые царь включил в свою опричнину. Тем же документом предусматривалось, что если царю «доходу не достанет на его государский обиход», то он может «иные города и волости имати». Так как доходы требовались немалые, то неудивительно, что в состав особого государства Ивана IV были включены все районы, богатые солью, что давало в руки опричной администрации обильные средства обложения одной из наиболее прибыльных отраслей русской средневековой торговли. Для управления этой территорией государь создавал особый двор со своей особой Боярской думой и своими приказными людьми. В опричнине создавалось и свое особое войско («а учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых — 1000 голов»). Это войско в случае необходимости ходило в походы во главе со своими особыми воеводами, не смешиваясь с земским войском.

Своеобразной неофициальной столицей этого особого государства стала Александрова слобода, превращенная в крепость и окруженная заставами, которые не мог миновать ни один человек, направлявшийся в Слободу или выезжавший из нее.

Остальной территорией государства (земщиной) должна была по-прежнему управлять Боярская дума. Но несмотря на произведенный раздел, решение всех важных вопросов, касающихся этой территории и всего государства в целом, продолжало оставаться в руках царя

(«а ратные каковы будут вести или земские великие дела, и бояром о тех делах приходити к государю»).

Зачем царю понадобился такой раздел государства на две части? Сопоставление царского указа со свидетельствами иностранцев позволяет дать ответ на этот вопрос. Указ предусматривал, что те дворяне и дети боярские, которых царь возьмет в свое опричное войско, получают от него поместья в тех уездах, которые царь включил в состав своего опричного государства (соответственно, они должны были оставить свои поместья в других частях страны). Одновременно местные землевладельцы (и владельцы «условных владений» — помещики, и владельцы родовой наследственной собственности — вотчинники) должны были переселиться в другие районы страны («а вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати земли велел в то место в ыных городех»).

В подобных мерах для русской политики середины XVI века не было чего-то принципиально нового. Принудительный «вывод» землевладельцев, политическая лояльность которых вызывала опасения, использовался русской государственной властью неоднократно. Так, в 80-х годах XV века, когда бояре только что присоединенного Новгорода были заподозрены в тайных сношениях с польским королем и великим князем Литовским Казимиром, их лишили огромных родовых вотчин и переселили в другие районы государства, главным образом на восточные окраины. Здесь они получили новые земли, но уже как условные владения — «поместья», причем размер этих поместий не шел ни в какое сравнение с размером отобранных у них родовых наследственных владений. Когда после русско-литовских войн рубежа XV—XVI веков значительная часть Смоленщины вошла в состав Русского государства, крупные местные землевладельцы также были перемещены во внутренние районы государства. В составе «государева двора» первой половины XVI века они образовали целый слой так называемой «дворовой Литвы». Массовое выселение местных бояр произошло и после присоединения Пскова в 1510 году. Отобранные владения местных князей и бояр раздавались как поместья нуждавшимся в земле младшим отпрыскам московских дворянских семей.

Новое в политике Ивана IV состояло в том, что теперь не землевладельцы недавно присоединенных окраин, а дворянство центра России, длительное время являвшееся традиционной опорой власти московских государей, стало объектом такой политики. Так как царь специально оговорил свое право включать в состав своего удела любую территорию, какую он сочтет нужным, то одним из главных результатов произведенного переворота и одной из характерных черт опричного режима стало то, что ни один сын боярский, не причисленный к особому двору и не вошедший в особое войско го-

сударя, не мог рассчитывать на сохранение своей родовой собственности.

Таким образом, главной отличительной чертой опричнины можно считать то, что раздел территории государства на две части сопровождался и четким разделением на две части всего дворянского сословия.

О том, как это размежевание происходило на практике, сохранился яркий рассказ Таубе и Крузе. На следующий день после возвращения в столицу царь «приказал выписать в Москву всех военных людей областей Суздаля, Вязьмы и Можайска» — то есть тех областей, которые по царскому указу должны были войти в состав опричнины. Когда они приехали в Москву, царь «приказал каждому отдельному отряду воинов... явиться к нему и спрашивал у каждого его род и происхождение. Четверо из каждой области должны были показать после особого допроса происхождение рода этих людей, рода их жен и указать также, с какими боярами или князьями они вели дружбу. После того как он осведомился об этом, взял он к себе тех, против кого у него не было подозрений и кто не был дружен со знатными родами». Аналогичным образом производился и подбор хозяйственного персонала для разных служб царского дворца. В царском архиве, как важный документ, хранились «сыски родства ключников и хлебников и помясов и всяких дворовых людей».

Таким образом, для службы в опричнине отбирались только те дети боярские, кто сумел засвидетельствовать государю свою преданность и не имел каких-либо связей с вызвавшими недовольство Ивана IV знатными вельможами.

Взятые в опричнину дети боярские приносили царю особую присягу на верность, в которой среди прочего говорилось: «Я клянусь также не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего». Это свидетельство Таубе и Крузе существенно пополняют сообщения еще одного немца — Генриха Штадена. Сын вестфальского бюргера, учившийся в церковной школе, но из-за беспокойного нрава не сумевший стать пастором, на что рассчитывали его родственники, он пробовал счастья то как слуга, то как управляющий и наконец стал наемным солдатом, предложив свои услуги русским властям. В конце концов Штаден получил имения, был принят в опричнину, в течение нескольких лет обогащался всеми возможными способами и, улучив благоприятный момент, бежал из России с накопленным имуществом. На страницах своих «Записок» Штаден выступает как жестокий и циничный человек, озабоченный только своим обогащением. Все это заставляет его усердно изучать «теневую сторону» жизни русского общества в эти годы, а так как успехи, достигнутые благодаря этим познаниям, вызывали у него чувство гордости за свою ловкость и умение, то он много и охотно писал о том, как он справлялся с возможными конкурентами и использовал

сложившуюся обстановку для своего обогащения. О его «Записках» не раз будет идти речь в дальнейшем, при описании жизни русского общества в годы опричнины.

По свидетельству Штадена, «согласно присяге опричника не должны были ни говорить с земскими, ни сочетаться с ними браком. А если у опричника были в земщине отец или мать, он не смел никогда их навещать». За соблюдением установленных запретов строго следили, а за их нарушение виновного могло постигнуть самое суровое наказание. Говоря в своих «Записках» о запрете опричникам разговаривать с земскими, тот же Штаден отметил: «Часто бывало, что ежели найдут двух таких в разговорах, убивали обоих». Все это свидетельствует о сознательном намерении царя углубить размежевание между двумя частями дворянства. Опричники носили особую черную одежду, так что отличались от остальных дворян даже своим внешним видом.

Взятые в опричнину дети боярские обладали целым рядом прав, которых не имело дворянство, оставшееся на «земских» землях. Так, если при переселениях земские люди утрачивали вотчины и поместья в опричных уездах, то опричники сохраняли за собой вотчины, расположенные в земских уездах. Таубе и Крузе отмечали, что уже при первом переселении в 1565 году «дети боярские, изгнанные из опричнины, не могли взять с собой даже движимое имущество из своих имений», в то время как опричники могли увезти все, что пожелают.

Общим бедствием, вызванным нехваткой обработанной земли для наделения ею всех служилых людей, в середине XVI века было несоответствие между нормой поместного оклада служилого человека и его реальным владением. В опричнине царь щедро наделял земель своих слуг. Как отмечают те же Таубе и Крузе, «если опричник происходил из простого рода и не имел ни пяди земли, то великий князь давал ему тотчас же 100—200 или 50—60 и больше гаков земли». Соответственно и денежное жалованье за службу должно было выплачиваться опричникам без задержки. Не случайно «за подъем» царь наложил на земщину побор — 100 тысяч рублей. Наконец, по свидетельству Таубе и Крузе, владения опричников были освобождены от уплаты ряда налогов и «от конной службы», под которой, очевидно, следует понимать обязанность землевладельцев высылать своих крестьян на ямы — почтовые станции для перевозки гонимых с государственными поручениями. Все сказанное выше позволяет сделать однозначный вывод: суть нового режима, установившегося в России с начала 1565 года, состояла в создании особого, подчиненного только царю двора и особого дворянского войска, которое было наделено особыми правами и привилегиями, размещено на особых, выделенных для этого землях и с помощью самых разных мер отделено незримой, но прочной стеной от всего остального дворянства страны.

В своих сочинениях Иван IV ни разу не затронул вопрос о том, как, под воздействием каких факторов он принял решение о проведении подобной реформы и какие цели преследовал при ее осуществлении. Поэтому приходится обращаться к кругу более или менее правдоподобных гипотез.

Некоторые обстоятельства, впрочем, достаточно очевидны и неоднократно отмечались исследователями. Обвинения членов «государева двора» в «изменах», отраженные на страницах официальной летописи, ясно показывают, что царь перестал доверять тому «государеву двору», который традиционно был опорой власти московских государей. Когда царь попытался в предшествующие годы наложить по своему усмотрению наказания на неугодных вельмож, он столкнулся с противодействием всей правящей элиты, которая оказалась скомпрометированной в его глазах. Отсюда желание царя отделиться от старого двора, создав свой особый двор, где царь мог бы окружить себя людьми, в преданности которых он был уверен. Этот особый двор и особое опричное войско должны были стать опорой царя в его борьбе с изменниками. Не случайно по свидетельству Таубе и Крузе, которое подтверждается и данными других источников, опричники носили «собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище. Это обозначало, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны». Все это, безусловно, правильно, если речь идет о субъективных мотивах, определявших намерения, а затем и действия царя. Но имелись и объективные факторы.

Вести борьбу с изменниками царь, разумеется, не мог сам, один. Проводя свою политику, он был заинтересован в том, чтобы обеспечить этой политике массовую поддержку. Теоретически царь мог поступить так, как неоднократно делали боровшиеся со знатью правители, предоставив новые права и привилегии средним и низшим слоям дворянского сословия. Это, однако, привело бы к явному уменьшению объема его власти, а этого царь, конечно, не желал. Попытка царя создать себе группу преданных людей в составе Думы, взяв с них особые присяги на верность, оказалась безуспешной. В Первом послании Курбскому царь с горечью писал, что его советники «крестное целование преступивше, не токмо не отстаха от тех изменников, но и болши начаша им помогати и всячески промышляти, дабы их на первый чин возвратить». Это и понятно, так как присяга на верность сама по себе не могла нарушить общность интересов представителей правящей элиты.

В этих условиях единственным способом обеспечить себе такую поддержку оказывалась попытка расколоть формирующееся дворянское сословие. Части этого сословия царь предоставил особый привилегированный статус за счет умаления прав и привилегий всего остального дворянства. Несомненно, с точки зрения интересов царя

это было продуманным и правильным решением. Привилегированный статус дворян, взятых в опричнину, приводил к возникновению противоречий между интересами опричников и интересами всего остального дворянства. Обязанные своим возвышением власти монарха опричники тем самым оказывались заинтересованы в сохранении и укреплении этой власти. По-видимому, именно обещание этих новых прав и привилегий и привлекло на сторону царя сопровождавшее его в Слободу дворянское войско. Вряд ли такая попытка царя могла привести к успеху, если бы в России к середине XVI века сложилось единое дворянское сословие с четким сознанием общности своих сословных интересов. Тогда действия царя, наверное, встретили бы отпор со стороны тех, кому царь предлагал блага и милости за счет интересов их собратьев по сословию. Однако в России середины XVI века дворянское сословие находилось еще в стадии формирования, сознание общности сословных интересов только вырабатывалось, между отдельными локальными группами и разными слоями дворянства существовали многочисленные противоречия, чем и воспользовался царь для проведения своей политики.

Успеху политики царя способствовало и существование такого института, как местничество. Традиционная практика предоставления думных чинов и высоких военных и административных должностей в строгом соответствии со знатностью происхождения («породой») делало высшие государственные должности монополией группы наиболее знатных родов потомков Рюрика и Гедимина, породнившихся с царским домом. Это закрывало для отпрысков младших ветвей знатных родов и для представителей менее знатных старомосковских боярских фамилий (потомков старинных бояр московских князей, отодвинутых на задний план княжескими родами) путь к успешной карьере. Создание особого опричного двора открывало для них такие возможности.

В исторической литературе, в особенности в XIX — начале XX века, были распространены представления, что, вступив в борьбу со знатью, царь специально возвышал людей «худородных», низкого происхождения. Такое представление складывалось в значительной мере под воздействием ряда высказываний Таубе и Крузе, а отчасти и Штадена. Таубе и Крузе в разных местах своего послания писали об опричниках, что это были те, «кто были привычны ходить за плугом и вдобавок не имели ни полушки в кошельке; нищие и косопалые мужики», те, кто ранее были «слугами» казненных царем «господ». О том, что новые господа в опричнине были холопами прежних господ, также писал и Штаден.

Однако исследователи справедливо отмечали, что все известные данные об опричниках, занимавших в опричном дворе сколько-нибудь видное положение, говорят об ином: всех этих людей царь взял в свой двор из состава старого «государева двора» и к низам дворян-

ского сословия они никак не принадлежали. Да и сам Штаден сообщал, «что князья и бояре, взятые в опричнину, распределялись по ступеням (in gradus) не по богатству, а по породе (nach Geburt)».

Элемент истины в высказываниях иноземцев, как представляется, был. Борясь с изменой, опричные власти поощряли доносы боярских слуг на своих господ. Согласно сообщению Штадена, если кто-либо из боярских слуг являлся к одной из застав, окружавших Александрову слободу, и заявлял: «У меня есть дело господарское», его «тотчас доставляли от заставы в Слободу в приказ, и всему, что бы он ни говорил о своем господине, давали веру». Не исключено, что такие слуги, засвидетельствовавшие свою верность царю, могли получить часть владений прежних господ и даже быть принятыми в опричнину, но никакой значительной роли в опричном дворе они не играли и в окружение царя не входили.

Новый опричный двор по своей структуре и по своей иерархической организации во всем воспроизводил порядки старого «государева двора», а место того или иного сына боярского на иерархической лестнице определялось традиционными правилами. Принципиальное новшество состояло в том, что царь не пожелал взять в опричнину наиболее знатные княжеские и боярские роды, и поэтому открылся доступ к высоким должностям в опричном дворе для людей, которые при обычном положении вещей могли бы претендовать лишь на вторые роли. К тому же в сложившемся положении именно лица, служившие в опричном дворе, пользовались наибольшей близостью к государю и могли оказывать решающее влияние на положение дел в государстве. Именно поэтому часть политической элиты вместе с частью чинов двора стала на сторону царя во время политического кризиса рубежа 1564—1565 годов. В состав опричной Думы вошли члены старомосковских боярских родов — Плещеевы, Колычевы, Бутурлины и другие. В их числе не оказалось царских родственников — Захарьиных. Они, очевидно, принадлежали к числу тех советников, чье поведение в начале 60-х годов XVI века разочаровало царя.

Во главе опричной Думы Иван IV поставил брата царицы — Михаила Темрюковича. Своему шурина царь пожаловал в удел город Гороховец. Позднее вспоминали, что в годы опричнины Михаил был «человек великий и временной, управы было на него добиться не мочно». Однако царь не давал шурина ответственных государственных поручений, и можно думать, что его роль была скорее почетной. Наиболее влиятельным лицом в опричной Думе в первые годы опричнины был, конечно, ближайший советник царя Алексей Данилович Басманов, ставший, по существу, первым человеком в государстве после царя. Кроме Алексея Басманова и его сына Федора, ставшего царским кравчим, особенно близким к царю лицом в первые годы опричнины был князь Афанасий Иванович Вяземский. Читателям романа Алексея Толстого «Князь Серебряный» Вязем-

ский должен был запомниться как пример родовитого аристократа, пренебрегшего интересами своей касты и «вписавшегося» в опричнину ради карьеры. Этот пример, может быть, лучше, чем другие, показывает, как плохо представляли себе в XIX веке историю русского дворянства. Когда-то князья Вяземские были действительно владельцами крупных родовых вотчин на Смоленщине, в состав которых входил и сам город Вязьма. Однако, когда восточная часть Смоленщины в конце XV века вошла в состав Русского государства, князья Вяземские утратили родовые вотчины и вместе с другими местными землевладельцами были переселены на восточную окраину государства и получили поместья на Волге в Костромском и Романовском уездах. В составе «государева двора» князья Вяземские занимали невысокое положение. Когда в 1550 году из состава двора была выбрана тысяча лучших слуг для наделения их поместьями под Москвой, в их состав попал лишь один представитель этого рода. В «Разрядных книгах» до наступления опричнины князь Афанасий также не упоминается — очевидно, он не получал назначений ни воеводой в полк, ни наместником какого-либо города. Таубе и Крузе упоминают Афанасия Вяземского среди людей, сопровождавших царя в Слободу. Об особой близости Вяземского к царю говорит свидетельство Шлихтинга, что только из его рук Иван Васильевич принимал лекарства. Позднее, после возвращения царя в Москву, в начале 1565 года, Вяземский вместе с Алексеем Басмановым проводил «перебор» детей боярских из Суздаля, Вязьмы и Можайска. В следующем 1566 году он участвовал в важных переговорах с литовцами как царский оружничий, окольный и наместник Вологды. На этом примере ясно видно, какие возможности открывались в опричнине для карьеры сына боярского, не принадлежавшего к элите «государева двора».

Завершая характеристику некоторых наиболее важных черт нового порядка, следует остановиться на мерах, предпринятых царем для обеспечения своей безопасности и для укрепления своей власти. Как отметил Генрих Штаден, Мария Темрюковна «подала великому князю совет, чтобы отобрал он из всего народа 500 стрелков и щедро пожаловал их одеждой и деньгами, чтобы повседневно и днем, и ночью они ездили за ним и охраняли его». Перед нами еще одно свидетельство того, что вторая жена царя активно участвовала в его делах. Царь принял ее совет во внимание. Описывая в другом месте своих «Записок» особый двор, построенный для царя в Москве, Штаден отметил, что на нем постоянно «держали караул 500 стрелков». Во время походов на Казань в 1549—1550 годах была проведена важная военная реформа. Если до этого пехоту, вооруженную огнестрельным оружием, в случае войны набирали по разверстке из среды городского населения — торговцев и ремесленников, то теперь было создано специальное стрелецкое войско, которое должно было по-

стоянно нести военную службу, за что ему было определено ежегодное денежное жалованье. Трехтысячный отряд стрельцов был поселен в Воробьевской слободе под Москвой. Очевидно, из числа этих стрельцов, после соответствующего «сыска родства» и подобных мер избирались 500 человек, которые несли постоянную охрану царской особы.

Для понимания характера опричнины как явления не только политической, но и идейной жизни русского общества следует коснуться отношений царя с его ближайшим опричным окружением. Эти отношения были столь своеобразными, что произвели очень сильное впечатление на ливонских дворян Таубе и Крузе, которые внесли в свое «Послание» обширный материал, проливающий свет на эту сторону дела.

По их наблюдениям, во главе опричного государства стояло «особое братство из трехсот молодых людей». Главой «братства» — игуменом был сам царь, келарем — князь Афанасий Вяземский, пономарем — дворовый сын боярский из города Белой Григорий Лукьянович Бельский, вошедший позднее в русскую историю под своим «мирским» именем Малюта. Названия «игумен» и «келарь» говорят о том, что по своей внешней организации «братство» уподоблялось объединению монахов общежитийной обители. Об этом же свидетельствует и образ жизни, избранный членами «братства». Они носили «грубые нищенские или монашеские верхние одеяния на овечьем меху» и «длинные черные монашеские посохи». Уже ранним утром, в 4 часа, «братья» должны были присутствовать на службе в церкви. Царь сам созывал на нее «братьев» звоном колоколов «вместе с обоими сыновьями и пономарем». (Таковы были обстоятельства, при которых состоялось близкое знакомство царя со своим в будущем ближайшим сподвижником.) На отсутствующих налагалась восьмидневная епитимья. На службе, продолжавшейся с 4 до 7 часов утра, царь сам пел «вместе со своими братьями и попами». После часового перерыва служба продолжалась до 10 часов. Затем наступало время трапезы, во время которой «царь по должности настоятеля во все время обеда стоя читает им назидательные книги». Не съеденная за трапезой пища раздавалась нищим. После вечерней трапезы в 9 часов царь некоторое время отдыхал (также, очевидно, и другие члены «братства»), а в 12 часов снова появлялся «в колокольне и в церкви со всеми своими братьями» для совершения ночной службы. Сохранились переписанные в конце 60-х годов XVI века в Александровой слободе «повелением» Ивана Васильевича рукописи служебных миней, по которым члены «братства» совершали службы, а также рукописи четьих миней, по которым царь-настоятель читал своим «братьям» во время трапезы.

Хотя Таубе и Крузе лишь частично описали порядок дня, по которому жили «братство» и его глава царь-игумен, очевидно сходст-

во этого распорядка с распорядком жизни общежитийного монастыря.

Сходство, разумеется, было лишь частичным. На трапезах подавалась обильная пища с вином и медом, монашеские посохи были снабжены острыми железными наконечниками, под грубыми монашескими рясами опричники носили богатые одежды на меху, шитые золотом, и длинные ножи, о назначении которых речь пойдет в следующей главе книги. Однако желание царя в каких-то существенных чертах уподобить жизнь своего окружения жизни монашеской обители не вызывает сомнений.

Какие же цели он при этом преследовал? Подчас созданное царем «братство», имея, по-видимому, в виду известную склонность царя к насмешкам, называют пародией на монастырь. В каком-то смысле «братство» действительно оказалось на практике крайне далеко от своего образца, но вряд ли это соответствовало первоначальному замыслу. Создание «братства» было, несомненно, итогом напряженных размышлений царя над тем, как устроить отношения с новой, специально подобранной элитой власти, чтобы не возникали столкновения и конфликты, столь характерные для его отношений с прежней элитой. Царь с юношеских лет во время своих путешествий проводил много времени в наиболее известных и прославленных русских обителях — Троице-Сергиевом, Кирилловом, Иосифо-Волоколамском монастырях, где мог внимательно наблюдать за укладом и распорядком монастырской жизни, за тем, как складываются в этих условиях отношения монахов с их главой-настоятелем. Анализ написанного царем в начале 70-х годов XVI века послания братии Кирилло-Белозерского монастыря показывает, что царь внимательно изучал уставы, определявшие правила монастырской жизни, целый ряд из них он прямо цитировал в своем тексте.

По-видимому, в устройстве общежитийного монастыря, в котором никто из монахов не имел своего имущества, где все жили по единым правилам, определявшим весь распорядок жизни днем и ночью, подчиняясь воле единого главы — настоятеля, царь усматривал нечто вроде идеальной модели организации общества. Следуя ей, монахи становились послушными, дисциплинированными исполнителями воли вышестоящего. В перенесении многих черт этой модели в распорядок жизни своего окружения царь видел наиболее верный путь к тому, как превратить собственных приближенных в покорных дисциплинированных исполнителей своей воли.

Была и другая важная причина для этой попытки имитировать в светской жизни черты монастырского устройства. Царь считал себя не только правителем, но и учителем и наставником своих подданных не только в мирских делах, но и в делах веры. «Тшу же ся со усердием люди на истинну и на свет наставити, да познают единого истинного Бога в Троице славимаго от Бога данного им

государя», — писал он в послании Курбскому. Создание «братства» в представлении царя позволяло сделать постоянным объектом такого воспитания все его ближайшее окружение. Прошедшие такое воспитание должны были стать достойными помощниками Ивана IV в осуществлении им миссии, возложенной на него самим Богом, — укреплении веры и власти в Российском царстве, опоре мирового православия.

Не все характерные черты распорядка дня царя и его окружения можно объяснить, исходя из этих общих, несомненно, наиболее важных для царя соображений. Разумеется, долгие и частые церковные службы (в том числе и ночные) были важнейшей частью монастырского распорядка (а следовательно, «братства», этому распорядку следовавшего), однако никакой устав не предписывал царю-игумену, например, самому звонить в колокола, созывая братьев-опричников на ночную службу. Здесь находили свое отражение другие черты личности Ивана IV — его глубокая привязанность к церковной музыке и пению.

Серьезные интересы царя ко всему, что связано с церковным пением, определились довольно рано. Уже на Стоглавом соборе 1551 года царь обращал внимание собравшихся на различия в совершении богослужения в московских храмах, с одной стороны, и в храмах Пскова и Новгорода — с другой. В Москве в торжественные моменты вечернего и утреннего праздничного богослужения при торжественных входах духовенства гимны «Свете тихий» и великое славословие «речью говорили», в то время как в Новгороде и Пскове, как заметил сам царь, «святые славы поют и славословие поют же». Заботу о надлежащем устройстве богослужения царь проявлял до самого конца жизни. В Уставе Московского Успенского собора отмечено, что в «7092-м», то есть в 1583/84 году — Иван IV «приговорил... месяца ноября в 27 день пети Знамению пречистыя Богородицы единой». По инициативе царя новгородская практика пения праздничных гимнов была распространена и на московские храмы. Именно с его желанием перенести на московскую почву новгородские новшества, по-видимому, было связано приглашение в царский певческий хор Федора Крестьянина и Ивана Носа, учеников новгородского мастера пения Саввы Рогова. В XVII веке помнили, что эти выдающиеся мастера работали для царя «в любимом его селе, в слободе Александрове». Здесь Иван Нос «триоди распел и изъяснил». Царь сам охотно пел со своими певчими. В рассказе об освящении главного храма в Никитском Переяславском монастыре читаем: «На заутрени первую статью сам благочестивый царь чел и божественныя литургия слушал и крестным пением со своею станицею. Сам же государь пел на заутрени и на литургии».

Наконец, в составе «Стихиаря» первой половины XVII века, принадлежавшего голове хора) Троице-Сергиева монас-

тыря старцу Лонгину, сохранились и собственные сочинения Ивана IV для хорового пения. (Над ними в рукописи заголовки — «Творение Иоанна деспота российского», «Творение царево».) Это — стихиры на праздник преставления митрополита Петра и на праздник Сретения иконы Владимирской Божьей Матери*. Исследователи отмечают мажорные, радостные интонации этих произведений, прославляющих одного из патронов Москвы и московской митрополичьей кафедры и чудесное вмешательство Божьей Матери, некогда оградившей Московское княжество от нашествия войск Тимура. Вероятно, эти стихиры создавались в 50-е годы в обстановке подъема, связанного с победами над мусульманскими царствами.

По своей эмоциональной интонации от них заметно отличается «Канон Ангелу Грозному воеводе», созданный, очевидно, в более поздние годы. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев убедительно показал, что автор канона, укрывшийся под именем «Парфения уродивого», в действительности является царем Иваном IV.

Архангел Михаил, главный персонаж канона, неоднократно упоминается на страницах прозаических сочинений царя как невидимый предводитель русского православного воинства в его борьбе с силами, враждебными православию. В каноне архангел Михаил выступает в иной ипостаси, как «страшный» и «грозный» «творитель воли Господней и совершитель заповедей его», который является людям как вестник смерти, разлучающий души с телом. Он «смертию нас назирает и от суеты мира избавляет и на суд... Христу представляет». Никто из людей не может избежать встречи с ним («ни стара отриеши, ни млада отступиши»), никто и ничто не может отклонить архангела от исполнения предначертаний Бога («несть сильнее тебя и крепчайшие во брани... и пряма во исправлении»). Но «смертоносный ангел» не только неуклонно исполняет веления Бога, он врачует души, очищая от грешных страстей, и чистыми и непорочными приводит их к Божьему престолу. («Измени нас добротою здания твоего и приведи нас к свету светлейшего судии», «не устраши мою душу убогую, исполнену злосмрадия, и очисти и представи ко престолу Божию непорочну» — так обращается создатель канона к предводителю небесных сил.)

Как представляется, в образе архангела, созданном на страницах канона, царь изображал как бы идеальный образ себя самого — неумолимого исполнителя миссии, возложенной на него Богом, миссии, которая — через неизбежные страдания людей — должна привести к очищению их душ. Миссия царя оказывалась как бы земным отражением миссии главы ангельского воинства.

* Некоторые исследователи считают Ивана IV автором тропаря Никите Переяславскому на покрове, вышитом царицей Анастасией на гробницу этого святого. Характер отношений царской семьи к мученику Никите делает это предположение очень вероятным.

Даже человек, слабо и поверхностно знакомый с литературой об опричнине, хорошо знает, что важнейшим признаком опричного режима был террор. Созданный царем особый двор и особое опричное войско должны были стать опорой царя в борьбе с «изменниками». Дело не только в том, что царь намеревался жестоко наказывать подданных за «измену» и «непослушание», видя в этом единственный надежный путь к укреплению государства. Иван IV и его окружение, как представляется, понимали, что избранная ими политика, наносившая ущерб интересам многих сотен людей, которым приходилось покидать насиженные места, не пользуется поддержкой широких кругов дворянства и может натолкнуться на сопротивление. Террор должен был утешить несогласных и лишить их воли к сопротивлению. Царь не случайно требовал и добился того, что Боярская дума и церковь отказались от всякого «печалования» за опальных, судьба которых теперь должна была определяться всецело волей царя.

Первые казни начались вскоре после возвращения царя из Слободы в Москву. Как отмечено в официальной летописи, в феврале 1565 года «повеле царь и великий князь казнити смертною казнью за великие их изменные дела боярина князя Олександра Борисовича Горбатова да сына его, князя Петра, да околничего Петра Петрова сына Головина да князя Ивана княже Иванова сына Сухово-Кашина да князя Дмитрея княже Ондреева сына Шевырева». Наиболее видной фигурой среди казненных был князь Александр Борисович Горбатый, один из героев взятия Казани и первый русский наместник в завоеванном городе. Выдающийся полководец, видимо, давно был в немилости у царя, так как с начала Ливонской войны не получал никаких военных назначений. О том, какие «великие изменные дела» инкриминировались Горбатову, позволяет судить одно место в «Послании» Таубе и Крузе. Здесь среди обвинений царя в адрес бояр встречаем утверждение, что они «хотели сделать своим государем выходца из рода Garbatta» (Горбатых). Правдоподобие этим обвинениям придавало то, что род суздальских князей, одним из старших представителей которого был князь Александр, среди княжеских родов потомков Рюрика занимал почетное первое место. Курбский, рассказывая в своей «Истории о великом князе Московском» о казни Горбатого, отметил, что «княжата суздальские влекомы от роду великого Владимира и была на них власть старшая руская между всеми княжаты боле двусот лет». В 1547 году князь Александр Горбатый выдал дочь Ирину за князя Ивана Федоровича Мстиславского и, следовательно, находился в родстве с царским домом. После казни князя Александра и его сына Петра род Горбатых пресекался, их родовые вотчины отошли к царю, который позднее распорядился ими в своем завещании. 12 февраля он прислал в Тро-

ице-Сергиев монастырь 200 рублей — заупокойный вклад по князе Александре.

Казнь одного из наиболее знатных вельмож, находившегося в родстве с самим царем, должна была послужить для всех убедительным свидетельством, что времена «печалований» закончились, что самое знатное происхождение и самое высокое положение не смогут спасти виноватого от царского гнева.

После смерти Александра Горбатого казни продолжались, но они уже стали обыденным явлением, и официальная летопись перестала о них упоминать. Казни опричного времени отличает ряд особенностей, отмеченных и Курбским в «Истории о великом князе Московском», и немцами, служившими в опричнине.

В том, что виновного в измене карали смертной казнью и конфискацией имущества, не было ничего принципиально нового, такова была традиционная норма права, хотя наказание подчас и смягчалось благодаря «печалованию» духовных иерархов и светских вельмож. Новое заключалось в том, что теперь сам царь, своим произвольным решением, без всякого «суда и исправы», мог определять, кто именно является изменником. Как отмечают Таубе и Крузе, приказы убить того или иного человека царь неоднократно отдавал в церкви во время одной из столь частых и долгих церковных служб. И Курбский, и немцы-опричники свидетельствуют, что многие убийства совершались внезапно, в самый неожиданный для жертвы момент — в суде, в приказе, на улице или на рынке. Делалось это, очевидно, для того, чтобы приговоренный к смерти не успел покаяться и получить отпущение грехов. По существовавшим в то время понятиям лиц, умерших без покаяния, священник мог отпевать, не облачаясь в ризы, а хоронили их вне ограды кладбища. Однако и на такое погребение люди, которых постиг гнев царя, не могли рассчитывать. По свидетельству Таубе и Крузе, «казненный не должен был погребаться в его (царя Ивана. — Б.Ф.) земле, но сделаться добычей птиц, собак и диких зверей». Можно представить себе, какой ужас вызывали эти казни, которые не только лишали людей жизни, но и создавали угрозу спасению их душ. Трупы казненных нередко разрубали на куски или бросали в воду. Наконец, как показало изучение монастырских книг и синодиков, ни царь, ни родственники казненных не делали вкладов за упокой их души (вклад по Александре Горбатом — редкое исключение), тем самым их души и на том свете лишались предстательства и заступничества со стороны церкви.

Такое отношение к изменникам вытекало из убеждения царя, что те, кто препятствует ему в исполнении возложенной на него Богом священной миссии, сами поставили себя за пределы христианского мира, заслуживают самых страшных наказаний на земле и не могут рассчитывать на спасение своей души. Это убеждение с большой силой отразилось на страницах Первого послания Курбскому. «Аз же

исповедаю и свем, — писал царь, — иже не токмо тамо (то есть на том свете, в загробном мире. — *Б.Ф.*) мучение преступающим заповеди Божия, и zde Божия праведного гнева по своим злым делом чашу ярости Господня испивают и многообразными наказаниями мучатся, а по отшествии от света горчайшее осуждение приемлюще».

В ответ на угрозы Курбского, что казненные царем «у престола Господня стояще... отмщения на тя просят», царь восклицал: «Убиенных же по своим изменам у престола Владычня предстояти как возможно есть». Высказывался царь и более конкретно. Так, обращаясь к Курбскому, он писал, что раз князь сам поставил себя изменой вне христианства — «и по сему убо несть подобно и пению над тобою быти» (то есть по изменнику после его смерти не должны совершаться заупокойные службы).

В себе царь видел оружие Божьего гнева, очищающее православную землю от носителей зла. Не случайно в «Записках» Штадена, сохранивших некоторые отголоски опричной пропаганды, по поводу казни опричников, нарушивших клятву на кресте не общаться с земскими, читаем слова: «и таких наказывает Бог, а не государь». Такое убеждение ясно проявилось в поступках царя еще до учреждения опричнины. Показательно в этом плане, как он поступил с полоцкими евреями. Как отметил псковский летописец, Иван IV после взятия города «велел их и с семьями в воду в речную вметати». Это можно было бы считать актом бессмысленной жестокости. Однако, по сообщению польского хрониста Александра Гваньини, евреев утопили в Двине после того, как они «не захотели принять святое крещение». Евреи были для царя очевидным воплощением зла (они не признали истинного Бога, подвергли его мучительной казни и продолжают упорствовать в своих заблуждениях несмотря на распространение истинной веры по всему миру), а зло должно быть искоренено. Им не помогло и то, что, согласно сообщениям Штадена, они «предлагали великому князю много тысяч флоринов выкупа». Изменники же в представлении царя были, вероятно, немногим лучше евреев.

Таубе и Крузе с некоторым недоумением писали, что для совершения убийств царь не использует ни палачей, ни слуг, а только «святых братьев» (то есть членов созданного царем опричного «братства»). Братья пользовались для этого острыми наконечниками своих посохов и длинными ножами, которые носили под рясами. Однако в свете всего сказанного выше такое поведение царя вполне понятно. Доверенную Богом царю миссию по очищению православного царства от носителей зла могли исполнять не всякие люди, а лишь облеченные его доверием, достойные быть допущенными к исполнению столь важного дела.

Первый год существования опричнины был отмечен не только убийствами и казнями. Тогда же царь осуществил и ряд других мер, которые показывают, что своеобразный политический переворот в

стране был предпринят не только для того, чтобы покарать за измену отдельных вызвавших его недовольство подданных. После рассказа о первых казнях в Москве составитель официальной летописи отметил: «А дворяне и дети боярские, которые дошли до государские опалы, и на тех опалу свою клал и животы их имал за себя: а иных сослал в вотчину свою в Казань на житье з женами и з детми». Официальный летописец не объяснил, кого именно царь сослал в Казань. Ответ на это дает запись в «Разрядных книгах»: «Тово же году послал государь в своей государской опале князей Ярославских и Ростовских и иных многих князей и детей боярских в Казань и в Свияжской город на житье и в Чебоксарской город». Почему в «Разрядных книгах» появилась такая не характерная для этого источника запись, будет объяснено ниже.

Как следует из записи «разрядов», опале и ссылке подверглась самая знатная часть дворянского сословия — князья Рюриковичи. Сохранившиеся податные описания Казанского и Свияжского уездов, исследованные Русланом Григорьевичем Скрынниковым, позволяют составить более конкретное представление о круге лиц, подвергшихся опале.

В Казань были сосланы десятки князей не только ярославских и ростовских, но и стародубских — еще одной ветви потомков Рюрика. В Казанском крае они получили дворы в городах и поместья из фонда государственных земель, образовавшегося после присоединения Казанского ханства и гибели в войнах 50-х годов значительной части татарской знати. Родовые же их вотчины как владения лиц, подвергшихся опале, переходили под власть царя. В ряде документов отмечены составленные в 1565 году книги подьячего Максима Трифонова, «отписывавшего на государя» княжеские вотчины в Ярославском и Стародубском уездах. Не исключено, что посещение царем осенью 1565 года Ростова и Ярославля (о чем сообщает официальная летопись) было вызвано желанием лично проконтролировать, как выполняется его распоряжение. Утратив родовые вотчины, принадлежавшие им на протяжении веков, князья ростовские, стародубские и ярославские превращались в зависимых от правительства владельцев поместий в далеком, чужом, недавно завоеванном крае, где они не имели никаких корней.

Но этим дело не ограничилось. Их ссылка в Казань означала не только смену статуса их земельной собственности, но и решительные изменения их места на лестнице сословной иерархии. В состав «государева двора», в котором ростовские, стародубские и ярославские князья до опричнины занимали видное и почетное место, не входили представители дворянства окраин — Поволжья (начиная с Нижнего Новгорода), Смоленщины, Северной земли. Поэтому превращение князей — потомков Рюрика в помещиков среднего Поволжья означало их фактическое исключение из состава двора как объедине-

ния людей, причастных к управлению Русским государством. В новом положении они могли рассчитывать на какую-то карьеру лишь в пределах Казанского края. Именно поэтому и появилась запись в «Разрядных книгах» — со ссылкой в Казань ростовские, стародубские и ярославские князья уже не могли претендовать на военные и административные должности общегосударственного значения и участвовать в местнических спорах. К этому следует добавить, что на территории Казанского края, недавно завоеванного и управлявшегося по-военному, во второй половине XVI века не существовало тех органов сословного самоуправления, которые были созданы на территории России в ходе реформ 40 — 50-х годов XVI века. Таким образом, казанские ссыльные не могли здесь пользоваться всеми теми правами, которыми к середине XVI века пользовалось в общем порядке русское дворянство.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в результате мер, осуществленных новой, опричной властью, часть дворянского сословия, занимавшая самое почетное и видное положение, была отодвинута на периферию общественной жизни. Если к этому добавить, что по указу об учреждении опричнины в состав опричного государства был включен Суздаль и суздальские князья (еще один род потомков Рюрика), не принятые в опричину, должны были проститься со своими родовыми вотчинами, то станет окончательно ясно, какая часть дворянского сословия стала объектом репрессий после учреждения опричнины.

Изучая внимательно материалы о казанской ссылке, Р. Г. Скрынников сделал одно важное наблюдение, которое позволяет уточнить наши представления о том, кто именно подвергся репрессиям. К середине XVI века далеко не все из князей — потомков Рюрика владели вотчинами в своих старых родовых гнездах, многие из них уже были связаны с различными уездами, где находились их новые владения, подчас весьма далеко от старой родовой территории. Эти члены княжеских родов не подверглись гонениям и не были сосланы в Казань. Некоторые из них, напротив, попали в особый двор царя при учреждении опричнины и сделали там успешную карьеру. Примером может служить известный воевода второй половины XVI века князь Дмитрий Иванович Хворостинин. Член ярославского княжеского рода, он не имел земель в Ярославле, а служил как сын боярский сначала по городу Белой, а затем по Коломне. Уже в 1565 году он был воеводой в опричном войске, посланном против татар. Таким образом, репрессиям подвергались только те члены княжеских родов, которые имели родовые вотчины в своих старых родовых гнездах.

Чем аргументировал царь необходимость принятия новой опричной властью именно таких, а не каких-то иных мер? Прямого ответа на этот вопрос источники не дают. Можно лишь предполагать, что в князьях — потомках бывших удельных «государей», царь видел силу,

угрожавшую единству государства, и подозревал их в намерении снова разделить Россию на удельные княжества. Характерно в этой связи, что Курбского — члена княжеского ярославского рода, царь после его побега обвинял в том, что тот хотел «в Ярославле государити». Сходным образом понимали дело и некоторые исследователи нашего времени, начиная с такого выдающегося историка рубежа XIX—XX веков, как Сергей Федорович Платонов. Главной заслугой Грозного в их глазах было то, что репрессиями против княжат он устранил угрозу государственному единству. Однако не следует ли видеть в таком понимании исторических явлений дальний отголосок дилеммы, сформулированной в русском общественном сознании самим Иваном IV, — либо неограниченная власть государя, либо многоначалие, анархия, распад? Действительно ли знать (прежде всего ее верхушка — члены княжеских родов) серьезно задавалась мыслями о расчленении государства?

Практика «боярского правления», показавшая неспособность захвативших власть знатных родов наладить эффективное управление государством, свидетельствует в том числе и о том, что бояре использовали в своих интересах существующий государственный аппарат, не пытаясь заменить его каким-либо другим. Более того, когда в 1540 году малолетнему Владимиру Старицкому был возвращен удел его отца, стоявшие у власти бояре позаботились о том, чтобы на территории княжества были «пожалованы» владениями «дети боярские великого князя», что делало самостоятельность княжества эфемерной. Следует обратить внимание и на активное участие знати в проведении реформ 50-х годов, устанавливавших единые порядки на всей территории государства.

К весьма интересным в этом плане результатам приводит анализ взглядов человека, вышедшего как раз из среды княжат — потомков бывших удельных государей — князя Андрея Михайловича Курбского, члена ярославского княжеского рода и владельца родовых вотчин в Ярославском уезде. Свое главное сочинение, «Историю о великом князе Московском», он написал в эмиграции, в Великом княжестве Литовском — государстве, традиционно враждебном России. Ничто не мешало Курбскому в этой среде говорить о необходимости восстановления удельных княжеств. Однако ничего подобного в его сочинении не обнаруживается. Правда, он не дает характеристики того, каким, по его мнению, должен быть государственный строй России (не считая пожеланий, чтобы правитель считался с мнением своих советников), но об этом можно судить по ряду косвенных данных. Так, в «Истории» Курбский выступает горячим сторонником войны с мусульманскими царствами и наступления на них. Он горько порицает царя Ивана за то, что тот не послал войска для завоевания Крыма, как ему советовали Курбский и другие бояре. С одобрением писал Курбский и об успехах русских войск в Ливонии и завоевании находящихся

ся там «крепких градов». Очевидно, что такую масштабную и активную внешнюю политику, сторонником которой был Курбский, могло вести только сильное единое государство.

Все это, однако, не означает, что для мер, предпринятых царем, не было никаких оснований. Власти действительно могла угрожать со стороны княжеских родов серьезная опасность. Чтобы выяснить, в чем могла заключаться эта опасность, следует установить, какие особенности отличали князей-владельцев родовых вотчин от других слоев и групп в составе русского дворянства.

Разнообразные исследования показывают, что землевладение бояр московских великих князей (как, вероятно, и бояр других княжеств), на которые делилась средневековая Русь в эпоху феодальной раздробленности) сформировалось сравнительно поздно — уже в XIV—XV веках, главным образом за счет княжеских пожалований. Владения не только членов виднейших боярских родов, но и князей Гедиминовичей, выехавших на русскую службу и породнившихся с великокняжеской семьей, были разбросаны по многим уездам, не образуя никакого компактного единства. Так, земли, отобранные у Федора Свибла, боярина Дмитрия Донского, состояли из 15 владений, расположенных в семи уездах. Владения князя Ивана Юрьевича Патрикеева, потомка Гедимины и двоюродного брата Ивана III, складывались из 50 владений, расположенных в 14 уездах. При этом владения членов одних и тех же родов могли располагаться в совершенно разных уездах. Совсем иной характер имело родовое землевладение княжат. Это были земли, унаследованные ими от предков — бывших удельных государей. Поэтому, в отличие от владений московского боярства, родовые вотчины князей располагались компактно на территории того княжества, которым некогда владел их предок. Нормы права, установившиеся, по-видимому, еще в правление Ивана III, способствовали сохранению этих вотчин в руках княжат, запрещая продавать их родовые земли «мимо вотчич» (то есть за пределы круга родственников). Наличие в руках княжеских родов компактно расположенного значительного родового землевладения делало их влиятельной силой на территориях их бывших княжеств, центром притяжения для местных землевладельцев. Так, в тверских податных описаниях середины XVI века сохранились многочисленные сведения о местных детях боярских, служивших князьям Микулинским — членам тверского княжеского рода, вымершего еще до начала опричнины.

Другим источником силы и влияния представителей княжеских родов было то положение, которое они занимали на лестнице сословной иерархии. В обществе, где военные и административные назначения производились в соответствии с «породой» — благородством происхождения, принадлежность княжат Северо-Восточной Руси, как и самого царского рода, к потомкам Рюрика давала им целый

ряд важных преимуществ в борьбе за участие во власти. Показательна в этой связи структура списка членов «государева двора» 50-х годов XVI века — так называемой «Дворовой тетради». При оценке данных этого источника следует иметь в виду, что порядок перечисления в документах такого рода не был чем-то нейтральным, безразличным для русского дворянства XVI—XVII веков. В XVII веке известны местнические споры между отдельными «городами» — уездными дворянскими корпорациями из-за порядка перечисления «городов» в тексте оглашавшихся перед дворянским ополчением царских указов. В «Дворовой тетради» списки князей-владельцев родовых вотчин предшествуют перечислению уездных дворянских корпораций, который открывается Москвой. Так сам порядок перечисления показывает особое, исключительное место княжеских родов в структуре дворянского сословия. Особое место на лестнице сословной иерархии и наличие компактно расположенного родового землевладения — все это давало княжеским родам гораздо больше возможностей занимать самостоятельную позицию по отношению к государственной власти, выдвигать по отношению к ней какие-то требования.

Следует отметить и еще один фактор, определявший особое положение княжеских родов, — фактор психологический. К середине XVI века князья — потомки Рюрика ощущали себя жителями единого Русского государства, «слугами» его единственного главы — великого князя Московского, затем — царя. Однако в их среде сохранялась память о том, что создание этого государства происходило с ущемлением интересов их предков; здесь сохранялось критическое отношение к действиям государей, неоднократно в своих политических интересах нарушавших установленные нормы. Бесспорные свидетельства существования такой традиции дает «История о великом князе Московском». Разумеется, далеко не все оценки и сообщения, содержащиеся в этом сочинении, можно использовать как доказательство существования подобной традиции. Что касается оценок, то следует учитывать возможную радикализацию взглядов Курбского в условиях эмиграции и жизни в среде литовской знати, давно и традиционно считавшей русских правителей «тиранами». Что касается фактов, то, например, часть неблагоприятных для Василия III сообщений Курбский мог заимствовать из известной ему книги австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (впрочем, сам Герберштейн, возможно, почерпнул какие-то из этих сведений из бесед с дедом Андрея Курбского). Однако за вычетом того, что могло быть заимствовано у Герберштейна, в «Истории» остается много сообщений, восходящих, судя по всему, к неписаной, критической по отношению к московским государям традиции, существовавшей в той среде знати, из которой происходил Курбский. Примером может служить рассказ «Истории» о событиях, связанных с арестом новгород-северского князя Василия Шемячича. Этот наи-

более крупный из «служилых» князей Юго-Западной России, близкий родственник царской семьи, в начале 20-х годов был приглашен в Москву и, хотя сам митрополит гарантировал ему безопасность, арестован и брошен в тюрьму. Рассказ об аресте Шемячица Курбский мог прочитать в книге Герберштейна, но продолжение рассказа уже не находит никакого соответствия в сочинении ученого австрийца. Когда после ареста и заточения Шемячица Василий III посетил Троице-Сергиев монастырь, игумен монастыря Порфирий стал добиваться от него освобождения арестованного: «Аще... приехал еси ко храму безначальные Троицы от трисиянного Божества милости грехов просити, сам буди милосерд над гонимыми от тебя бес правды». Разгневанный великий князь приказал выгнать игумена из монастыря, а Шемячица «повелел... удавити вскоре».

В среде князей — потомков Рюрика, хорошо знавших, что они принадлежат к тому же роду, что и правитель, власть и личность монарха не были окружены таким ореолом, как в глазах других слоев дворянства.

Выше мы уже пришли к выводу о том, что к началу 60-х годов XVI века Россия оказалась на историческом перекрестке, когда развитие могло пойти либо по пути дальнейшего формирования сословного общества, по пути превращения сословий в сложные самоуправляющиеся структуры, в руки которых перешел бы ряд важных функций, принадлежавших традиционно государственному аппарату, либо по пути дальнейшего укрепления государства и подчинения его власти формирующихся сословных структур. В силу описанных выше особенностей своего положения и сознания слой княжеской аристократии, владеющей родовыми вотчинами, как раз и мог стать ядром консолидации формирующегося дворянского сословия в борьбе за расширение своих сословных прав. Меры, принятые царем, решительно отодвигали эту часть дворянства на периферию жизни русского общества и, следовательно, исключали перспективу такого пути развития страны.

ЗИГЗАГИ ПОЛИТИКИ

Все исследователи, изучавшие историю России в годы опричнины, пришли к общему заключению, что на втором году ее существования опричный режим заметно смягчился.

Наиболее значительным свидетельством перемен стал приезд в Казань 1 мая 1566 года «с государевым жалованьем» Федора Черемисинова: «государь пожаловал, ис Казани и ис Свияжского опальных дворян взял». Правда, снятие опалы касалось лишь части сосланных: «другую половину дворян, — как отмечено в записи «Разрядных книг», — пожаловал государь опосле». Начался возврат княжатам

отобранных было у них родовых вотчин. Мы не знаем, ни чем был вызван такой важный поворот, ни чем он мотивировался: официальная летопись, сообщая о ссылке опальных в Казань, не сообщает ничего об отмене царского указа. Возможно, попытка так решительно изменить всю традиционную структуру дворянского сословия встретила сопротивление даже той части дворянства, которая готова была поддерживать политику царя, ибо ставился под сомнение сам принцип осуществления назначений в соответствии с «породой». Впрочем, это только предположение. Как бы то ни было, сделанный шаг свидетельствовал о явном стремлении царя смягчить свои отношения с той частью дворянства, которая осталась в «земщине» и не пользовалась милостями монарха.

Этот жест царя оказался не единственным. В апреле 1566 года по ходатайству земских бояр и дворян во главе с конюшим боярином Иваном Петровичем Федоровым царь снял опалу с одного из главных героев Казанского взятия князя Михаила Ивановича Воротынского, сидевшего под стражей на Белоозере. Выше уже говорилось о том, что столкновения царя с окружающей его знатью еще до наступления опричнины затронули интересы служилых князей на юго-западе России: в 1562 году царь наложил опалу на наиболее могущественных из них, князей Воротынских, и отобрал у них родовое княжество. Один из Воротынских, князь Александр, был со временем помилован, но вскоре умер, а другой, князь Михаил, продолжал сидеть под стражей. При учреждении опричнины один из принадлежавших ранее Воротынским городов — Перемышль — был включен в состав особого «удела», чем, как представляется, царь явно показал желание и далее удерживать родовые владения Воротынских под своей властью. Тогда же у соседей Воротынских, князей Одоевских, царь отобрал и включил в состав своего удела город Лихвин.

Теперь с Михаила Воротынского была снята опала, он вернулся в Москву и уже 9 июня 1566 года обедал за столом у царя. Этим дело не ограничилось. Как следует из завешания князя Михаила, составленного в июле 1566 года, царь вернул ему значительную часть родовых вотчин: города Одоев, Чернь и Новосиль. Конфискация родовых вотчин и княжеской казны («все взято... в государеве опале на государя»), продолжавшаяся несколько лет ссылка разорили одного из крупнейших магнатов России того времени. Он оказался не в состоянии выплачивать свои долги. В своем завешании князь мог лишь выражать надежду, что царь прикажет «снять» с него долги или разрешит выплачивать их в рассрочку («по летам»). И царь оказал ему помощь. Известно, что князь получил из царской казны средства на обновление запустевшего Новосила.

Еще один важный шаг был предпринят царем летом того же 1566 года. Публично обвиненных им ранее в измене бояр и дворян царь теперь привлек к обсуждению одного из самых важных вопросов внеш-

ней политики Русского государства. Начавшаяся в конце 1562 года война между Россией и Великим княжеством Литовским из-за Ливонии после взятия русскими войсками Полоцка, а затем их поражения под Улой затянулась, не давая какого-либо перевеса той или иной из сторон. Недостатки в военной организации Великого княжества Литовского, которые позволили русским войскам добиться столь ощутимого перевеса на начальном этапе войны, не были устранены, но соотношение сил на главном театре уравнивалось той военной помощью, которую постепенно во все возрастающем размере стала оказывать Великому княжеству Литовскому Польша. Сигизмунду II удалось заключить союз с Крымом и в 1564—1565 годах татары дважды нападали на русские земли. Но союз этот заметно упал в цене, когда в следующем 1566 году султан потребовал от хана выслать войска в Венгрию на поля сражений между Османской империей и Габсбургами. Великому же княжеству Литовскому пришлось вести войну не только с Россией, но и со Швецией, с которой в эти годы у России был мир. Трудности ведения войны на два фронта заставили литовских политиков искать компромисс со своим главным противником.

В мае 1566 года в Москву прибыло «великое посольство» Великого княжества Литовского во главе с одним из первых вельмож этого государства Юрием Александровичем Ходкевичем. Переговоры с ним вели наиболее близкие советники царя Василий Михайлович Юрьев, Афанасий Вяземский и член опричной Думы ясельничий царя и думный дворянин Петр Зайцев. Литовские послы предложили разделить Ливонию между обоими государствами: каждое из них должно было сохранить за собой занятые к 1566 году земли, а те земли, которые находились в руках шведов, следовало «доступати за-один», а затем также «поделити». Такой раздел Ливонии мог быть вполне реальным, так как Швеция в XVI веке не была столь мощной военной державой, как в следующем XVII столетии, и не смогла бы сопротивляться совместному натиску двух своих соседей. Возможно, если бы царь дал согласие на эти предложения, исход Ливонской войны оказался бы иным.

Царь и его советники расценили эти предложения как свидетельство слабости литовской стороны и попытались использовать ситуацию для того, чтобы дипломатическим путем добиться отказа Великого княжества Литовского от главных центров Ливонии. Уступая Сигизмунду II Курляндию и часть земель в районе Полоцка, занятых в 1563 году русскими войсками, царь добивался признания его прав на всю остальную Ливонию, в частности на ливонские замки, лежащие на Западной Двине, и на расположенную в устье этой реки Ригу. Однако надежды на то, что литовскую сторону удастся принудить заключить такое соглашение, оказались необоснованными. Западная Двина была тем путем, по которому магнаты и шляхта Великого княжества через Ригу вывозили свой хлеб и «лесные товары» на европей-

ский рынок. Именно желание поставить этот путь под свой контроль было одним из главных мотивов вмешательства Великого княжества Литовского в ливонские дела. Неудивительно, что литовские послы категорически отказались уступить ливонские замки на Двине или обменять их «на Полтеск и со всем, что к Полтецку взято» (хотя Полоцк царь Иван им и не предлагал). К концу июня 1566 года переговоры зашли в тупик.

В этой ситуации царь нашел нужным 28 июня 1566 года собрать не только Боярскую думу, но и представителей разных «чинов», ознакомить их с результатами переговоров и запросить их мнение. Этому собранию придавалось важное значение, так как запись о его созыве и принятых решениях была включена в текст официальной летописи.

Кроме членов Боярской думы и думных дьяков высказать свое мнение пригласили 205 детей боярских — членов «государева двора», 4 помещиков из Торопца и 6 помещиков из Великих Лук, 33 дьяка и верхушку московского купечества — 12 гостей, 41 человека из «москвичей торговых людей», 22 «смольнян» (членов объединения купцов, переселенных в Москву из Смоленска после его присоединения к России в 1514 году). Изучение биографических данных о детях боярских — участниках собрания, позволило исследователям сделать вывод, что дети боярские — члены особого двора Ивана IV, опричники, в работе собрания участия не приняли.

В ответ на поставленный вопрос представители разных сословных групп подали свои «речи», общий смысл которых сводился к тому, что условия мира, предложенные литовской стороной, неприемлемы и следует продолжать войну. В этой связи дети боярские — участники собора заявляли, что они «на его государево дело готовы», а купцы, хотя и «люди неслужилые», были еще более решительны в высказываниях: «Не стоим не токмо за свои животы и мы головы свои кладем за государя везде». «Речи» участников собрания 2 июля были внесены в текст особой «грамоты». Церковные иерархи и члены Боярской думы скрепили грамоту своими подписями, а дети боярские и купцы «на своих речех крест целовали». При рассмотрении материалов о созыве этого собрания, его деятельности и принятых решениях возникает целый ряд вопросов, на которые до сих пор исследователям не удалось получить убедительного ответа.

Каким образом в правление государя, поставившего своей сознательной целью достижение неограниченной, ни в чем не зависящей от подданных власти, и к тому же после того, как он практически добился такой власти, было создано первое в русской истории собрание членов разных сословных групп для принятия решения, касающегося одного из наиболее важных вопросов русской внешней политики? Какие мотивы побудили царя собрать такое собрание, каких целей он при этом хотел добиться?

Определенно можно утверждать только одно — собрание созвали

не для того, чтобы оказать давление на литовских послов и продемонстрировать им, что русское общество поддерживает политику царя. На переговорах с литовскими послами, которые продолжались некоторое время и после 2 июля, ни созванное царем собрание, ни принятые на нем решения даже не упоминались.

По аналогии с сословными собраниями последующего XVII столетия, собрание, созванное Иваном IV летом 1566 года, называют Земским собором. Название это условное, так как в источниках середины XVI века оно не встречается. И по своему составу это собрание заметно отличалось от Земских соборов XVII столетия. На последние, как правило, собирались выбранные по определенным нормам представители уездных дворянских организаций и городских посадских общин. Поэтому исследователи правильно характеризуют их как собрания, на которых царь и его советники обсуждали важные политические вопросы с выборными представителями сословий. В собрании же, созванном Иваном IV, представители каких-либо городов, кроме Москвы, не участвовали. Что касается детей боярских — участников собрания, то исследователи пришли к общему выводу, что царь призвал для совета детей боярских — чинов земского «государева двора», находившихся в это время в Москве. Они, конечно, были одновременно членами своих уездных дворянских организаций, но, судя по всему, не были выбраны этими организациями для участия в собрании. Таким образом, до настоящего органа сословного представительства собранию, созванному царем Иваном, было далеко. И все же, несмотря на все эти оговорки, именно собрание, заседавшее в Москве в июне-июле 1566 года, приходится иметь в виду, говоря о зачатках феодального парламентаризма в средневековой России.

При всей очевидной неполноте наших данных об этом важном эпизоде истории России середины XVI века некоторые существенные заключения все же могут быть сделаны. Каковы бы ни были намерения царя, предпринятый им шаг снова характеризует его как политика, способного к нестандартным политическим решениям. Совершенно очевидно и другое. Пригласив земских бояр и дворян, которых царь еще недавно обвинял в измене и нежелании «оборонити христианство» от «Литвы», к обсуждению вопроса о будущих отношениях с этим государством и попросив их совета, царь явно сделал еще один шаг по пути улучшения своих отношений с земщиной.

В 1566 году лишь двоюродный брат, князь Владимир Андреевич Старицкий, вызывал какие-то подозрения царя. В январе — марте 1566 года по указанию Ивана IV земские советники царя во главе с боярином и конюшим Иваном Петровичем Федоровым составили записи об обмене удельного княжества на города Дмитров, Боровск, Звенигород и Стародуб Рязановский с частью прилегающих к ним земель. Цели этой меры очевидны. Всякие связи между детьми боярскими, традиционно служившими старицким князьям — князю Вла-

димиру и его отцу, тем самым разрывались, и старицкий князь полностью подпадал под воздействие приближенных, приставленных к нему царем в 1563 году. Переданные старицкому князю земли находились в разных районах страны и не граничили между собой. При этом только Дмитров с уездом полностью перешел под власть удельного князя. Боровск был передан только со станами около города, к Звенигороду была придана лишь одна волость Звенигородского уезда, в районе Стародуба Рязановского многочисленные села продолжали оставаться под властью царя.

Таким образом, осуществляя обмен земель, царь постарался, чтобы на новых землях количество военных слуг его двоюродного брата было сравнительно небольшим, а их владения в одних и тех же уездах соседствовали с владениями вассалов самого царя. Владелец такого удельного княжества вряд ли был способен предпринять какие-то самостоятельные действия, идущие вразрез с волей Ивана IV.

Внешне, однако, обмен выглядел почетным для Владимира Андреевича и, вероятно, был выгоден для него в финансовом отношении. Новый центр его княжества — Дмитров, который московские великие князья по традиции давали в удел второму сыну, несомненно, значительно превосходил Старицу, центр удела пятого, младшего сына Ивана III.

Весной 1566 года царь предпринял дружественный жест по отношению к двоюродному брату — разрешил ему расширить свой двор в Кремле, отдав ему для «пространства» «дворовое место боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского».

Однако если царь думал, что, сделав ряд уступок и дружеских жестов в адрес своего брата и земского дворянства, он добьется консолидации общества для продолжения трудной войны (один из возможных мотивов действий, предпринятых Иваном IV весной 1566 года), то он ошибся. Сделанные им уступки побудили недовольных подданных поднять вопрос об упразднении всего установленного в 1565 году режима.

Обозначившиеся трудности ярко проявились, когда встал вопрос о замещении вакантной митрополичьей кафедры. 19 мая 1566 года «за немощью велию» оставил кафедру и удалился в Чудов монастырь митрополит Афанасий. Иногда полагают, что этот уход был в действительности выражением протеста против политики царя. Однако Афанасий покинул кафедру как раз тогда, когда стали приниматься меры для заметного смягчения режима, и это заставляет думать, что в официальной летописи указана действительная причина ухода — тяжелая болезнь.

Уже в начале июня в Москве собрались епископы для избрания преемника митрополита, и здесь возникли сложности. По сообщению Курбского, первоначально царь решил возвести на митрополичью кафедру казанского архиепископа Германа Полева. Герман про-

исходил из семьи, тесно связанной с Иосифо-Волоколамской обителью, и сам был постриженником этого монастыря, занимал в нем высокий сан казначея. Для царя, вероятно, это гарантировало благонадежность кандидата. О доверии к нему Ивана IV говорит и тот факт, что Герман Полев получил казанскую кафедру в марте 1564 года, когда вопрос о лояльности советников (в их числе и высших церковных иерархов) приобрел для Ивана IV большую остроту. Между царем и собором святителей была уже достигнута договоренность по поводу кандидатуры Полева, и архиепископ уже въехал в митрополичьи палаты. Однако тут произошло непредвиденное. Он стал беседовать с царем, «воспоминающе... страшный суд Божий и стязания нелицеприятное каждого человека о делах, так царей яко и простых». Напоминание о Страшном суде, на котором придется отвечать за свои поступки, вызвало гнев царя («еще... и на митрополию не возведен еси, а уже мя неволею обвязуеш»), и Полев был удален с митрополичьего двора.

Новым кандидатом на митрополичью кафедру стал игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев. Выбор был необычным и противоречил традиционной практике, когда митрополичью кафедру занимал кто-то из епископов или настоятелей московских или подмосковных монастырей, хорошо известных правителю. Игумен далекой северной обители, расположенной на островах в Белом море, к кругу таких людей не принадлежал. Правда, в годы игуменства Филипп Колычев показал себя образцовым организатором монастырского общежития, построив в своей обители каменные храмы и склады, но все это вряд ли могло послужить основанием для того, чтобы предпочесть его другим кандидатам. Исследователи высказывают предположение, что кандидатуру игумена могли предложить его двоюродные братья — Федор и Василий Ивановичи Умные Колычевы, в то время близкие к царю (в начале 1567 года Федор Иванович Умной Колычев был послан с важной миссией в Литву). Возможно, царь думал, что взысканный его милостью игумен станет его послушным орудием. Но если так, то царь ошибся.

Когда игумену Филиппу была предложена митрополичья кафедра, то он стал говорить, чтобы «царь и великий князь отставил причину, а не отставит, и ему в митрополитех быти невозможно»; государство же «соединил воедино, как прежде того было». Свидетельство это почерпнуто из официальной грамоты о возведении Филиппа на митрополию, сохранившейся в оригинале, и не может вызвать никаких сомнений. Казалось, Филиппа ждала судьба Германа Полева. Однако этого не произошло. Исследователи задавались вопросом, почему царь в конце концов согласился возвести на митрополичью кафедру человека, который так открыто продемонстрировал враждебность его политике. Известное объяснение позволяет дать анализ текста, который читается в грамоте после изложения требований Фи-

липпа: «и архиепископы и епископы царю о том били челом о его гневе, и царь гнев свои отложил». Очевидно, собор епископов дал понять царю, что он настаивает на избрании именно Филиппа. Между сторонами начались переговоры, которые завершились тем, что 25 июля (более чем через два месяца после ухода Афанасия) Филипп Колычев был возведен на митрополичью кафедру после того, как дал обязательство «в опришнину.. не вступатися».

Обнаружившиеся в этих событиях уступчивость и нерешительность царя, очевидно, побудили земских дворян подать Ивану IV коллективную челобитную об отмене опричнины. В русских источниках сохранились лишь самые общие воспоминания об этом событии. В «Пискаревском летописце» читаем: «И бысть в людех ненависть на царя от всех людей, и биша ему челом и даша ему челобитную за руками о опришнине, что не достоин сему быти». Более конкретные сообщения сохранились в записках иностранцев. Наиболее подробен рассказ Шлихтинга: «В 1566 году сошлись многие знатные лица, даже придворные самого тирана, число которых превышало 300 человек, для переговоров с ним и держали к нему такую речь: «Пресветлейший царь, господин наш! Зачем велишь ты убивать наших невинных братьев? Все мы верно тебе служим, проливаем кровь нашу за тебя. Ты же за заслуги воздаешь нам теперь такую благодарность. Ты приставил к шеям нашим телохранителей, которые из среды нашей вырывают братьев и кровных наших. Чинят обиды, бьют, режут, дают, под конец и убивают». Два свидетельства, иностранное и русское, дополняют друг друга: за устным выступлением последовала подача челобитной, скрепленной подписями. Хотя весной-летом 1566 года царь пошел на определенные уступки своим подданным — «земским детям» боярским, от решения об отмене опричнины он был весьма далек. В мае 1566 года, когда было принято решение о помиловании казанских ссыльных, царь, не желая более оставаться в «земском» Кремле, приказал поставить себе особый двор в той части Москвы, что была взята им в опришнину, — «за Неглимною межь Арбатские улицы и Никитские» (примерно на том месте, где сейчас находятся старые здания Московского университета — аудиторный корпус и библиотека). Подача челобитной вызвала гнев царя. Челобитчики были брошены в тюрьму, а затем биты палками, а лица, признанные зачинщиками, казнены. Их имена названы в наказе посольству, отправленному в начале 1567 года в Литву: князь Василий Рыбин и Иван Карамышев — «про тех государь сыскал, что они мыслили над государем и над государскую землею лихо».

Князь Василий Федорович Рыбин Пронский, член рязанского княжеского рода, и Иван Михайлович Карамышев входили в состав земского «государева двора» и занимали в нем не последнее место. Присутствовавшие на созванном царем соборе «дворяне» делились на «первую» и «вторую» статьи. Рыбин Пронский и Карамышев принад-

лежали к первой, занимавшей более высокое положение группе. В списке дворян «первой статьи», однако, оба помещены в самом конце, а открывался список именами князей Шуйских и Оболенских. Это заставляет думать, что в составе «государева двора» было много дворян более знатных и занимавших более видное положение, чем Рыбин и Карамышев. Если такие сравнительно незнатные лица встали во главе коллективного обращения к царю, то можно полагать, что и собравшиеся под их руководством челобитчики вряд ли принадлежали к знатным княжеским и боярским родам. Установленный в стране режим явно вызывал недовольство не только верхушки знати.

Расправа с челобитчиками стала поворотным пунктом в политике царя. Разгневанный на неблагодарных подданных, не оценивших оказанные им милости, он вернулся к прежнему политическому курсу, который стал проводить в жизнь с еще большей решительностью.

НОВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Если в «государевом дворе» место князя Василия Рыбина Пронского не было особенно высоким, то совсем иное следует сказать о Костромском уезде, где располагались его владения и где он нес службу. В списке детей боярских по Костроме Василий Рыбин Пронский стоял первым. Это дает основание видеть в нем одного из руководителей местного дворянства и заставляет думать, что при составлении челобитья об отмене опричнины костромские дети боярские сыграли не последнюю роль.

У костромских детей боярских были особые основания для недовольства новым режимом. По свидетельству Курбского, после устранения от власти Адашева и Сильвестра царь «начал сродников Алексеевых и Силивестровых писати имена, и не токмо сродных, но... соседей знаемых». Затем он этих людей «имати повелел и мучити различными муками, а других множайших от имений их и от домов изгоняти в далние грады». Добрый костромской род Ольговых, к которому принадлежал Адашев, был связан с другими костромскими родами самыми разными родственными и соседскими связями, поэтому круг людей, подвергшихся гонениям, оказался достаточно большим. Некоторые из родственников Адашева были казнены, многие костромские дети боярские отправлены с ростовскими и ярославскими князьями в казанскую ссылку.

Все сказанное объясняет, почему в ответ на челобитную земских детей боярских царь решил включить в состав своего «удела» Костромской уезд. В феврале 1567 года начался вывод оттуда местных землевладельцев. Сообщая в своем «Послании» об этом новом переселении детей боярских, Таубе и Крузе отметили две особенности, отличавшие его от переселений более раннего времени. Во-первых,

на сей раз уезд должна была покинуть бо́льшая часть местных землевладельцев. Именно с этого времени в документах появляются упоминания о тех, кто переселен «с городом вместе, а не в опале». Во-вторых, если ранее переселение совершалось «с соблюдением некоторых приличий», то теперь переселявшиеся «должны были тронуться в путь зимой, среди глубокого снега», а «если кто-либо из горожан в городах или крестьян в селах давал приют больным хотя бы на один час, то его казнили без всякой пощады». Так, не налагая формально на костромичей своей «опалы», царь жестоко покарал их за участие в подаче челобитной об отмене опричнины.

С начала 1567 года территория опричного «удела» начала расти. К концу года в опричнину были взяты земли Боровского уезда, которые не вошли в княжество Владимира Андреевича, а также принадлежавшая ранее двоюродному брату царя Старица. Позднее Старица стала одной из любимых резиденций Ивана IV. В 1568/69 году в опричнину была включена и значительная часть Белозерского уезда. В XVII веке вспоминали, что «царь Иван Васильевич изволил белозерских помещиков и вотчинников всех из Белоозера перевести в ыные города, а их поместья и вотчины изволил взять на себя государь».

Наконец, «лета 7077 (1569) генваря в 21 день взял царь и государь князь великий Иван Васильевич Ростов град и Ярославль в опришнину». Около того же времени вошло в опричный удел и Пошехонье. Расширяя территорию «удела», царь укреплял и увеличивал преданное ему опричное войско и ослаблял положение недовольных его правлением. Не случайно свой рассказ об опричных переселениях немец-опричник Штаден заключал словами: «Так убывали в числе земские бояре и простой люд. А великий князь — сильный своими опричниками, усиливался все более».

Взяв в опричнину Ростов и Ярославль, царь в конце концов осуществил тот замысел, который ему не удалось полностью реализовать в 1565—1566 годах. Ростовские и ярославские князья, которых царь не захотел взять в опричнину, должны были окончательно протиться с родовыми вотчинами и превратиться в помещиков в самых разных районах государства. Правда, поместья они теперь получали, как правило, на территории «Московской земли» (многие ярославские князья стали, например, помещиками в Рязанском уезде) и поэтому не были исключены из состава правящей элиты, продолжая входить в состав «государева двора», но их сплоченность, опора их власти и влияния были подорваны. Когда Курбский в 70-х годах XVI века, работая над своей «Историей о великом князе Московском», размышлял о причинах казней и гонений, которые Иван IV обрушил на своих вельмож, он пришел к выводу, что царь губил их потому, что те имели «отчины великие». Представляется, что связь событий была иной: царь отобрал у ростовских и ярославских князей их родовые вотчины для того, чтобы лишить их власти и влияния.

Таким образом, в последние годы шестого десятилетия XVI века десятки и сотни детей боярских с женами и детьми, покидая свои привычные насиженные места, родовые усадьбы и могилы предков, должны были совершать подчас долгие и трудные путешествия в далекие и незнакомые места, где им предстояло заново устраивать свою жизнь. Помимо прямого ущерба, который переселения опричных лет принесли жизни и здоровью такого количества людей, они имели ряд последствий иного рода. Некоторые из этих последствий можно считать результатом сознательной политики власти, другие оказались явно непредвиденными и нежелательными.

Отобранные у не взятых в опричину землевладельцев земли — родовые вотчины — становились собственностью государя, который раздавал их своим опричникам уже как условные владения — поместья. Не случайно составители писцовых наказов первой половины XVII века предписывали писцам следить за тем, чтобы «которые вотчины у вотчинников иманы в опричину и раздаваны были в поместья», не захватывались опять прежними хозяевами.

Новые поместья получали на новых местах и перемещенные туда дети боярские. Если царь даже и желал лишить некоторые группы дворянства родовой собственности, то ни он, ни его советники вовсе не собирались лишать земских детей боярских земли и крестьян. Это значило бы в разгар большой и тяжелой войны лишиться главной военной силы — дворянского ополчения. Поэтому государственная власть специально занималась устройством детей боярских на новых местах. Так как опричники, судя по всему, наделялись землей по повышенным нормам, то тех поместий, которые они оставляли, переходя на земли царского «удела», явно не хватало для наделения всех высланных. Поэтому для наделения детей боярских стали использоваться государственные «черные» земли. Так, в Каширском уезде раздавались «черные» земли детям боярским, высланным из Суздаля, костромичам раздавались «черные» земли во Владимирском и Ярославском уездах. Для расширения фонда земель, пригодных для поселения, власть не останавливалась перед тем, чтобы наложить руку и на родовую собственность тех детей боярских, которые продолжали жить в «земских» уездах и которых опричные переселения как будто никак не затрагивали. Так, в 1567/68 году в Рязанский уезд был послан писец Степан Иванович Колединский, который «отписал» у местных вотчинников половину их земель и роздал их в поместья «иных городов веденцом», то есть переселенцам. Власть явно заботилась о том, чтобы дети боярские были наделены поместьями и могли нести службу.

Что касается отобранных у переселенцев вотчин, то здесь положение выглядело иначе. По букве царских указов за такие вотчины полагалась компенсация. Известен целый ряд случаев, когда сын боярский получал новую вотчину взамен утраченной. Но государство

об этом не заботилось, компенсация не предоставлялась механически, ее поиск был делом самого владельца. Костромичи, уже устроившиеся в новых поместьях, все еще выражали надежду, что царь «в прииск где против тое вотчины пожалует нас». В другом документе переселенцы упоминали, что царь «велел против тое вотчины в ыных городех дати, где приищем».

Все это, конечно, не было случайностью. Проводя такие масштабные переселения детей боярских, правительство явно ставило своей, может быть, дополнительной, но важной целью уменьшение удельного веса вотчинных родовых и увеличение удельного веса поместных земель, верховная собственность на которые принадлежала государству. Раздачи «черных» земель помещикам ясно показывают, что царь вовсе не собирался лишить свое дворянство земли и крестьян, но он хотел, чтобы на этих землях сидели послушные исполнители его воли, а такого послушания и повиновения было гораздо больше оснований ожидать не от владельца старинной родовой собственности, а от помещика, который легко мог лишиться своего владения за любую служебную провинность.

Вместе с тем то беззастенчивое обращение с наследственной родовой собственностью, которое все более энергично позволяла себе власть в годы опричнины, привело к созданию у детей боярских — вотчинников общего ощущения нестабильности и необеспеченности. Люди стали задумываться над поисками каких-то гарантий, которые исключали бы угрозу внезапной утраты всего родового достояния. В России опричного времени такой единственной гарантией казался монастырь — обиталище царских богомольцев, на достояние которых благочестивый царь не покушался. Отсюда желание все большего количества людей найти в одной из этих обителей приют и защиту. Люди передавали монастырю свои земли, а взамен либо получали право пожизненно пользоваться своей бывшей землей и доходами с нее, либо, постригшись в монахи, находили себе приют в стенах обители. Со второй половины 60-х годов XVI века владения монастырей стали быстро расти за счет родовых владений бояр и детей боярских. Это было явно непредвиденным и нежелательным последствием перемен. Царь и его советники, занятые другими делами, не обращали серьезного внимания на происходящее, и лишь в конце своего правления Иван IV стал принимать меры против роста владений церкви.

Все эти перемещения имели еще один важный объективный результат. Как уже неоднократно говорилось на страницах этой книги, основу вооруженных сил государства составляло дворянское ополчение. Оно формировалось из отдельных отрядов — так называемых «сотен», в которых объединялись дети боярские того или иного уезда. Боепособность ополчения напрямую была связана со сплоченностью и организованностью входивших в его состав отрядов. В свою

очередь, эта сплоченность достигалась благодаря существованию разнообразных связей между детьми боярскими уезда, практике совместной длительной службы. После опричных переселений привычные связи оказались нарушенными. В составе дворянских «сотен» теперь часто служили вместе люди незнакомые и раньше друг с другом никак не связанные. Все это не могло не сказаться отрицательным образом на боеспособности армии. Как представляется, царь и его советники (некоторые из них, как, например, Алексей Данилович Басманов, были опытными военачальниками) не могли не видеть этих отрицательных последствий своих действий. Но для них было более существенно, что уездная дворянская корпорация, утратив свое традиционное единство, становилась неспособной противостоять политике власти и предъявлять ей какие-то требования, как это произошло в 1566 году.

Другой важной чертой опричного режима начиная с 1567 года стало резкое усиление террора.

ЦАРЬ И БОЯРСКИЙ ЗАГОВОР 1567 ГОДА

Террор с самого начала был необходимой частью опричного порядка. Политика, которую проводил Иван IV, оказывалась в резком противоречии с интересами значительной части дворянства, наносила прямой и очевидный ущерб жизни, здоровью, имуществу весьма широкого круга людей. Соответственно, эта политика не могла не наталкиваться на сопротивление, хотя бы и пассивное, и такое сопротивление подавлялось с помощью террора.

Несомненно, царь был глубоко огорчен неповиновением подданных, которые, не удовлетворившись оказанными им милостями, стали добиваться упразднения опричнины. Однако поначалу все ограничилось казнью главных зачинщиков и наказанием костромичей, очевидно, как наиболее активной части недовольных. В 1567 году заботы царя были связаны с созданием укрепленных резиденций, где он мог найти себе надежную защиту против «измены». Вероятно, именно к этому времени превратилась в мощную крепость его любимая резиденция — Александрова слобода, где царь проводил все больше времени. Она постепенно становилась столицей его «удела», здесь были построены «избы» для приказов, управлявших опричными землями и опричным войском.

В январе 1567 года было завершено строительство особого опричного двора в Москве, куда царь и переехал из Кремля. Его подробное описание сохранилось в записках Штадена. Богато украшенный скульптурой — резными изваяниями львов и двуглавых орлов (один из этих орлов — черный, с раскрытыми крыльями — был обращен грудью в сторону земщины) — двор также представлял на-

стоящую крепость, где многочисленная охрана несла стражу днем и ночью. Еще одну укрепленную резиденцию царь стал строить для себя на севере — в опричной Вологде. По-видимому, решение о строительстве здесь каменной крепости было принято царем при посещении им города осенью 1565 года. В феврале 1567 года, как отмечено в официальной летописи, царь снова направился в город «досмотрити градсково основания на Вологде и всякого своего царского на Вологде строения».

Та же летопись отметила, что из Вологды царь «в Кириллов монастырь ездил молиться». В этом не было чего-либо необычного. Установление опричнины не отразилось на отношении царя к пользовавшимся его расположением общежитийным обителям. В своих путешествиях по стране он по-прежнему находил время для посещения монастырей. В Кириллов он ездил молиться и осенью 1565 года. Но на этот раз его визит положил начало особым отношениям царя с одной из самых знаменитых русских обителей. Несколько лет спустя в своем послании кирилловской братии царь вспоминал, как во время посещения монастыря он тайно призвал к себе в одну из келий игумена Кирилла и некоторых из старцев. Им царь «известих желание свое о пострижении». И дело не ограничилось одними словами. 15 мая 1567 года во время пребывания в обители царь дал игумену Кириллу 200 рублей для устройства для него в монастыре особой кельи. Когда келья была построена, царь продолжал о ней заботиться, посылая для ее украшения большие и малые иконы.

Чем был вызвано такое желание? Собирался ли царь действительно отречься от власти, найдя себе приют в далекой северной обители?

Представляется, что подобные настроения царя были вызваны его реакцией на все осложнявшиеся и обострявшиеся отношения с подданными. Не следует думать, что все происходившее в стране не оказывало на него никакого воздействия. Напротив, царь, как человек нервный и впечатлительный, тяжело переживал, что подданные не понимают его намерений, что приходится прибегать к суровым и жестоким мерам, чтобы подавить их своеволие. Когда после своего отречения от царства Иван IV вернулся в Москву, у него, по свидетельству Таубе и Крузе, выпали все волосы на голове — и это косвенное, но убедительное свидетельство пережитого им нервного напряжения, — а с того времени подданные дали царю все основания для новых огорчений.

В этих условиях царь искал успокоения в мечтах о том, что придет время, когда он усмирит «измену» и приведет в порядок государственные дела — и тогда он передаст царство сыновьям, а сам найдет себе успокоение в обители, где сможет погрузиться в идеальный, не знающий конфликтов и смут распорядок монастырской жизни, беседы со старцами о таинствах веры и других возвышенных предметах. Те практические шаги, которые царь предпринимал для достижения

желаемой цели, позволяли ему убеждать самого себя, что миг желанного успокоения не так уж и далек.

Эти особенности умонастроения царя позволяют понять, почему он избрал местом будущего пострига Кирилло-Белозерский монастырь. Иван IV, несомненно, ценил преданность и волоколамских старцев, и старцев Чудова монастыря, участвовавших в создании «Степенной книги». Об архимандрите Чудова монастыря Левкии царь и позднее отзывался с большой похвалой, при нем монастырь «сравняся всяким благочинием с великими обители». Однако и волоколамские, и чудовские старцы были участниками политической борьбы, сражавшимися на стороне царя; в их обществе он не мог хотя бы на время отвлечься от конфликтов, терзавших русское общество. Отсюда — предпочтение не вовлеченной в эти конфликты далекой северной обители.

Если царь и тешил себя мечтами о близости своего избавления и успокоения, то события осени 1567 года должны были убедить его в обратном. Именно в это время царю стало известно о заговоре, угрожавшем его жизни.

При попытке изучения этого важного эпизода биографии Ивана IV исследователь сталкивается с очень серьезными трудностями. Дело в том, что текст официальной летописи, служивший в предшествующих разделах одним из главных наших источников, обрывается на записи о строительстве по приказу царя крепости Копье в августе 1567 года. Таким образом, никакой официальной версии последующих событий в нашем распоряжении не имеется. Не сохранились и какие-либо дела арестованных заговорщиков с записями их допросов, ни судебные приговоры. В других русских источниках каких-либо сведений о боярском заговоре против царя мы также не находим. Лишь в «Пискаревском летописце» упоминается очень коротко и неясно, что люди стали «уклоняться князю Володимеру Андреевичю».

Напротив, сведения о заговоре встречаются во многих иностранных сочинениях второй половины XVI века, однако их анализ показывает, что все они в конечном счете повторяют рассказ одного автора — Шлихтинга. В 1570 году он писал, что «три года тому назад (то есть в 1567 году. — Б.Ф.) много знатных лиц, приблизительно 30 человек с князем Иваном Петровичем во главе, вместе со своими слугами и подвластными, письменно обязались, что передали бы великого князя вместе с его опричниками в руки» короля Польского, как только тот вступит с войском в пределы России. Но так как король «только отступал», то некоторые участники заговора, боясь разоблачения, решили выдать других заговорщиков царю. Владимир Андреевич Старицкий, князя Бельский и Мстиславский взяли у упомянутого выше Ивана Петровича список заговорщиков, который послали царю, находившемуся в походе, и тот немедленно вернулся в Москву.

В записках Штадена помещен иной рассказ о заговоре, более

краткий и не во всем совпадающий с рассказом Шлихтинга. Согласно Штадену, заговорщики также подписывали какой-то документ (contract), но речь шла о намерении возвести на престол Владимира Андреевича; автор ничего не упомянул о каких-либо соглашениях с королем. По словам Штадена, Владимир Андреевич передал царю составленный заговорщиками документ во время военного похода, и царь поспешно уехал в Александрову слободу.

Сообщения Штадена и Шлихтинга следует сопоставить с тем, что мы знаем о событиях, происходивших осенью 1567 года, из других источников.

После неудачи мирных переговоров лета 1566 года в Москве было решено положить конец войне, нанеся решительный удар по Великому княжеству Литовскому. Хотя в начале 1567 года в Литву направились посольство во главе с Федором Ивановичем Умным Кочичевым, продолжению переговоров в Москве не придавали никакого значения. «А в кою пору государские послы в Литву ходят, — говорилось в принятом в начале июля 1566 года приговоре, — государь к своему походу к болшему на Ливонскую землю в то время велит готовить всякие запасы и наряду (артиллерии. — Б.Ф.) прибавити».

Готовясь к военному походу, который должен был окончательно решить в его пользу спор из-за Ливонии, царь стремился найти себе союзника, и таким союзником стал в конце концов шведский король Эрик XIV. Этот незаурядный правитель многими особенностями своей личности живо напоминает Ивана IV. Один из самых образованных людей тогдашней Швеции, автор музыкальных сочинений, он был нервным человеком, временами впадал в безумие и не мог управлять государственными делами, но одновременно оставался жестким политиком, готовым на любые меры для укрепления своей власти в борьбе со своими братьями — удельными князьями, и аристократией. Орудием его политики был высший королевский суд. Заседавшие в нем королевские секретари «плебейского» происхождения вершили суд над нерадивыми чиновниками, неспособными полководцами, строптивыми вельможами, вынеся около 300 смертных приговоров.

Как правитель, стремившийся укрепить и расширить позиции своего государства в Прибалтике, Эрик XIV был, конечно, врагом и России, и Великого княжества Литовского, своих конкурентов в борьбе за наследство Ливонского ордена. Однако Великое княжество Литовское казалось ему опаснее. В 1562 году был заключен брак между его братом Юханом, герцогом Финляндским, и сестрой Сигизмунда II Екатериной. В этом браке Эрик XIV не без основания увидел угрозу своей власти. В следующем 1563 году его войска заняли Финляндию, Юхан и его жена были заключены в тюрьму. Тогда же Эрик разорвал дипломатические отношения с Великим княжеством Литовским, и между двумя государствами начались военные действия в Ливонии. В этих условиях Эрик XIV должен был искать сбли-

жения с Россией, что отвечало интересам Ивана IV, считавшего своим главным противником Сигизмунда II.

Переговоры о заключении союза шли в начале 1567 года в Александровой слободе, куда прибыло шведское посольство во главе с канцлером Нильсом Голленшерной. В переговорах вместе с многолетним руководителем русской дипломатии Иваном Висковатым участвовали ближайшие опричные советники царя — Алексей Данилович Басманов и Афанасий Вяземский. Переговоры завершились заключением союза двух государств, направленного против Великого княжества Литовского. Одним из важных условий договора было обязательство Эрика XIV передать царю жену его брата принцессу Екатерину, сестру Сигизмунда II. Оба правителя вели себя при этом так, как если бы заключенный в тюрьму герцог Юхан был уже мертв. Этому условию царь придавал особое значение. Из всех обязательств шведского короля лишь оно было внесено в текст официальной летописи с характерным пояснением: «А нечто король полсково короля сестры Катерины ко царю и великому князю не пришлет, и та докончальная грамота не в грамоту, и братство не в братство». Не дожидаясь официального подтверждения договора Эриком XIV, царь отправил на рубеж «встречу королевны Екатерины» бояр Михаила Яковлевича Морозова и Ивана Яковлевича Чеботова. Ясно, что с передачей принцессы в руки царя в Москве связывали какие-то важные политические планы, хотя отсутствие сведений в источниках не позволяет установить, какие именно. Имело значение и другое важное обстоятельство: после передачи принцессы в руки царя Эрик XIV, даже если бы международная ситуация в дальнейшем серьезно изменилась, не мог рассчитывать на установление дружеских отношений с Сигизмундом II и был вынужден держаться союза с Россией. Как увидим далее, предпринятые царем шаги привели совсем не к тем последствиям, на которые он рассчитывал. Однако в течение некоторого времени после заключения русско-шведского договора царь имел основания считать, что создались благоприятные условия для решающего удара по врагу.

20 сентября царь выехал из Москвы в Троице-Сергиев монастырь и, проведя там Сергиев день (25 сентября), направился к западной границе. В Твери к нему присоединился князь Владимир Андреевич. Князю Ивану Федоровичу Мстиславскому, командовавшему войсками, стоявшими на Оке против крымских татар, было приказано двигаться через Боровск и Вязьму к Великим Лукам. Здесь на 26 октября планировался сбор всех войск, предназначенных для участия в походе. Целью похода должны были стать замки у Западной Двины на подступах к Риге. 24 октября из Новгорода царь выехал к войскам, и здесь 12 ноября на Ршанском яме на собрании членов Боярской думы, участвовавших в походе, было принято решение об отмене похода и возвращении царя и Владимира Андреевича в Москву.

Сопоставление этих сведений, почерпнутых из таких современных официальных источников, как разрядные и посольские книги, с рассказом Шлихтинга показывает недостоверность сообщений последнего. Владимир Андреевич и Иван Федорович Мстиславский сопровождали царя в походе, а Иван Дмитриевич Бельский оставался в Москве. Поэтому они никак не могли вместе посещать «Ивана Петровича» — боярина Ивана Петровича Федорова, и посылать взятый у него список заговорщиков в военный лагерь к царю. Иван Петрович Федоров был в это время наместником в Полоцке, и все эти люди никак не могли встретиться осенью 1567 года во время военного похода.

Вызывает большие сомнения и утверждение Шлихтинга, что заговорщики хотели в походе захватить царя с его опричниками и передать его в руки польского короля. В походе царя сопровождало целое опричное войско во главе с Михаилом Темрюковичем и Афанасием Вяземским, что делало выполнение такого плана проблематичным. Кроме того, Ивана Петровича Федорова, на которого и Штаден, и Шлихтинг указывают как на главу заговора, в этом лагере не было. В приговоре о прекращении похода приводятся имена бояр, сопровождавших царя: никто из них не был казнен в 1568 году, когда царь карал заговорщиков. Наконец, представляется, что выполнение подобного плана оказалось бы самоубийственным для его авторов: кто бы ни занял после устранения Ивана IV русский трон, он должен был бы самым суровым образом покарать людей, выдавших своего православного государя, правителя «Святой Руси», правителю еретической земли Сигизмунду II.

Все сказанное заставляет отдать предпочтение рассказу Штадена: земские бояре и дети боярские хотели возвести на трон Владимира Андреевича Старицкого, и об их намерениях царь узнал во время военного похода в Ливонию не от кого иного, как от самого двоюродного брата. Почему это произошло именно в данный момент и какова была роль бывшего правителя Старицы?

Ответ на этот вопрос дает обращение к русско-литовским отношениям того времени. Как отмечалось выше, уже с начала 60-х годов под влиянием известий об обострении отношений между Иваном IV и знатю у политиков Великого княжества Литовского и союзной с ним Польши появились надежды на то, что недовольная знать перейдет на сторону Сигизмунда II и тем самым польский король получит возможность взять верх над противником. Отъезд в Литву Курбского показал, что эти надежды имеют под собой основание.

Когда к 1567 году правящим кругам Великого княжества Литовского стало ясно, что договориться с Иваном IV не удастся и придется продолжать войну, они предприняли попытку склонить ряд виднейших представителей русской знати перейти на сторону короля. Некий Иван Козлов, бывший слуга князей Воротынских, был тайно

послан в Россию с письмами Сигизмунда II и гетмана Григория Александровича Ходкевича, сменившего в этой должности командующего армией Миколая Радзивилла Рыжего. Письма эти не сохранились, но содержание некоторых из них можно восстановить по имеющимся ответам на них. Два из этих писем были адресованы князьям Ивану Дмитриевичу Бельскому и Ивану Федоровичу Мстиславскому, стоявшим во главе земской Боярской думы. Близкие родственники царя по женской линии, они, как и Сигизмунд II, были потомками Гедимина и близкими родственниками наиболее знатных княжеских родов Великого княжества Литовского. Сочувствуя столь знатым князьям, которые терпят от царя «неволю и безчестье», Сигизмунд II обещал дать им земли и сделать «удельными князьями» в Великом княжестве Литовском, если они отъедут в Литву со всеми, «кого бы вразумели годного к службам нашим». Третьим адресатом Сигизмунда стал князь Михаил Иванович Воротынский, только что вернувшийся после ссылки и опалы в свои родовые вотчины. Предложения Михаилу Ивановичу Воротынскому, чьи владения располагались у литовской границы, были несколько другими. Он должен был перейти на сторону короля со своими владениями, а король и гетман обещали помочь в этом «войсками немалыми». Король обещал также пожаловать князю Воротынскому «замки», которые «подошли» к его владениям, и обратиться с ним как с одним из «княжат удельных».

Еще одним адресатом «листов» короля и гетмана стал боярин Иван Петрович Федоров. О нем уже шла речь на страницах этой книги. В 1546 году в лагере под Коломной он едва не был казнен молодым великим князем. С этого времени Иван Петрович сделал блестящую карьеру. В начале 60-х годов XVI века, когда подготавливалась, а затем началась война с Великим княжеством Литовским, Иван Петрович занимал важный пост наместника Юрьева — фактически главы всех русских владений в Ливонии. Вскоре после взятия Полоцка Иван Петрович Федоров вернулся в Москву и стал здесь одним из наиболее уважаемых членов сначала Боярской, а после учреждения опричнины — Земской думы. По свидетельствам иностранцев Шлихтинга и Штадена, царь в случае отъезда из Москвы неоднократно поручал боярину ведать государственными делами в его отсутствие, что подтверждается и русскими источниками. Это, разумеется, говорит о доверии царя к Ивану Петровичу Федорову. О том же свидетельствуют поручения, которые давал ему царь в первые годы опричнины. Так, именно Федорову он поручил в 1566 году провести обмен землями со старицким князем. Злоязычный Штаден, с каким-то особым удовольствием писавший в своих записках о злоупотреблениях приказных судей и дьяков, об Иване Петровиче записал: «Он один имел обыкновение судить праведно, почему простой люд был к нему расположен». Свой авторитет и влияние Иван Петрович Федоров использовал для заступничества за опальных. В марте 1564 года

он выступал в качестве главного поручителя при снятии опалы с боярина Ивана Васильевича Шереметева Большого, в апреле 1566 года он же оказался главным поручителем при снятии опалы с князя Михаила Ивановича Воротынского. За Шереметева поручилось 83 человека, за Воротынского (уже после установления опричнины) — 111 человек. Эти цифры наглядно говорят о том, каким авторитетом в кругу детей боярских «государева двора» пользовался Иван Петрович Федоров. Когда с лета 1566 года дело снова пошло к войне с Литвой, Иван Петрович получил ответственное назначение — воеводой в пограничный Полоцк. Это назначение в Великом княжестве Литовском, по-видимому, расценили как знак немилости и опалы. Поэтому гетман и король отправили «листы» и к Ивану Петровичу Федорову, предлагая ему перейти на свою сторону, так как царь хочет над ним «кровопроливство вчинити». Ему обещали дать в Литве такое «жалование», какое он сам пожелает.

Иван Козлов с письмами при неизвестных для нас обстоятельствах попал в руки царя (возможно, его выдал царю один из адресатов, скорее всего, наместник пограничной крепости Иван Петрович Федоров). Перед смертью его пытали. Поскольку выяснилось, что посылке писем не предшествовали тайные сношения короля с боярами, царь пришел к выводу, что это интрига польского короля, который хочет посорить его со своими советниками. Об этом он говорил летом 1567 года английскому послу.

Можно было предать весь этот эпизод забвению или заявить официальный протест при возобновлении дипломатических отношений. Царь не сделал ни того, ни другого. Он продиктовал ответы королю и гетману от имени своих бояр. Никаких практических результатов такой шаг иметь не мог, но для личности Ивана IV он представляется очень характерным. Появилась возможность продемонстрировать противникам свое превосходство, и царь не упустил такого случая.

Как и в официальном ответе Сигизмунду II 1562 года, в новых письмах к Сигизмунду царь, говоря как бы от имени бояр, выступал снова в разных обличьях. Одно из них — обличье наставника. В своих письмах боярам король призывал их перейти на его сторону и, порицая царя за «неволю и бесчестье», которое терпят его подданные, писал, что так «негодно чинити» тем, кому Бог вверил в руки власть, так как «сам Бог сотворитель, человека сотворивши, неволи никоторое не учинил». Царь наставительно пояснял королю, что его «писание много отстоит от истины». Действительно, Бог сотворил первого человека Адама свободным («самовластна и высока»), но когда тот преступил заповедь и был изгнан из рая, это была «первая неволя и бесчестье», ибо он брошен был «от света во тму» в наказание за свои проступки. Царь снова повторяет свой излюбленный тезис, что государство не может существовать без твердой сильной власти: когда

подданные «государской воли над собою не имеют, тут яко пьяные шатаютца и никоего же добра не мыслят».

Недостойный поступок (попытка склонить верных советников царя к измене), в котором оказался замешан король, явился закономерным следствием того, что в Великом княжестве Литовском царит «самовольство» и король вынужден следовать дурным советам своих вельмож. Король говорит о свободе, но сам находится в неволе у своих панов, а его красивые слова только прикрывают его действительное бессилие: «А то прокрасу себе притворяешь, што будто ты милостию волю даешь, а ты сам не волен ни в чем». В одном из писем царь готов был скорбеть над тяжелой участью короля, припоминая все дурные поступки панов по отношению к своему государю: «И королеву твою Барбару отравою с тобою разлучили, какие тебе про нее укоризны от подданных были». Да и то, что король «повсегда прихворал и есть не доброго здоровья» — все это «от панов твоих повольства».

За этими припоминаниями уже отчетливо звучит другая характерная для текстов, вышедших из рук царя, интонация — интонация злой насмешки над восхваляющей «свободу» несчастной жертвой «самовольства» своих советников.

Интонация насмешки звучит открыто и вызывающе уже в тех разделах писем, где благодарные адресаты отвечают согласием на предложения короля. Иван IV хорошо знал прошлое Великого княжества Литовского и историю рода потомков Гедимина. Ему было хорошо известно, что предок Мстиславских князей Явнута после смерти Гедимина занимал великокняжеский трон в Вильне, с которого его согнал брат Ольгерд, предок Сигизмунда II. Он также хорошо знал, что среди потомков Ольгерда предок князей Бельских — Владимир — был старшим, а предок Сигизмунда — Ягайла — младшим сыном. Этим царь ловко воспользовался при написании ответов. Напомнив Сигизмунду II, что у его бояр более предпочтительные права на литовский великокняжеский трон, нежели у самого короля, он, от имени бояр, заявил, что те готовы пойти навстречу его предложениям, если король останется в Польше, а им передаст принадлежащее им по праву Великое княжество Литовское, добавив заодно к нему и Пруссию. После этого, говорят в послании Ивана князя Сигизмунду II, мы будем жить вместе мирно под защитой царя — «мошен есть обороняти» всех нас «от турок и от перекопского (крымского хана. — Б.Ф.) и от цысаря».

Полные веселого издевательства, эти тексты лучше всего показывают, что летом 1567 года, когда они писались, царь не верил в измену своих советников. Он готовился к нанесению решающего удара по Великому княжеству Литовскому; условия для этого складывались самые благоприятные и можно было всласть поиздеваться над незадачливым, попавшим в неловкую ситуацию противником.

Большой интерес для выяснения характера и взглядов царя представляют и продиктованные им от имени бояр ответы гетману Григорию Ходкевичу. В этих текстах царь выступает как строгий блюститель принципа иерархии, место в которой определяется благородством происхождения. От имени потомков Гедимины, князей Мстиславского и Бельского, он строго указывал Ходкевичу его место. Как потомок бояр Киевской земли, служивших потомкам Гедимины, он не может претендовать на равенство со своими «государями» и не может вести с ними переписку. По своему положению он может поддерживать сношения лишь с их «служебниками». Не устаивая его ответа, князь Бельский (от имени которого выступал царь) выражал удивление, что король сделал членами своей рады «таких неучоных собацких людей», а в ответе Мстиславского сказано еще более остро: «злобесовских собак людей». Смысл последнего выражения раскрывается при обращении к третьему тексту — ответу Ходкевичу от имени князя Воротынского.

При оценке этого текста следует иметь в виду, что в отличие от ряда литовских вельмож Григорий Ходкевич был православным, под его покровительством находилась одна из наиболее почитаемых православных обителей Западной Руси — Супрасльский монастырь. Гетман прилагал усилия к тому, чтобы отстоять позиции православия в Великом княжестве Литовском перед лицом распространяющейся Реформации. По весьма вероятному предположению ряда исследователей истории славянского книгопечатания, во время мирных переговоров 1566 года царь по просьбе Григория Ходкевича разрешил одному из первых русских типографов Ивану Федорову выехать в Великое княжество Литовское для издания там православных книг. В 1568 году в имении гетмана Заблудове началось печатание «Учительного Евангелия» патриарха Каллиста — книги, которая по убеждению и издателя, и заказчика должна была способствовать укреплению веры православных в их борьбе с еретиками. В свете этих фактов можно лучше оценить значение выражений, употребленных по адресу Григория Ходкевича в послании, написанном ему царем от имени князя Воротынского.

Послание было адресовано «отступному бесослужительному разуму», а далее содержание этой формулы подробно раскрывалось: Ходкевич отдал себя «служити бесом» и поэтому справедливо может быть назван «отступником» от христианской веры и «лжекрестьянином». Подобные Ходкевичу не должны упоминать ни Бога, ни Троицу, им не подобает «божественный глагол безбожными устами глаголати».

«Ныне, — подытоживая все сказанное, писал царь, обращаясь к Ходкевичу, а в его лице и к другим православным вельможам Великого княжества Литовского, — конечно от Бога отступили есте и противни Богу со Антихристом стали есте».

Высказывания самого царя позволяют выяснить, что послужило

основанием для столь суровых оценок. Это не столько посланные Ходкевичем письма, сколько само его участие в войне против России, то есть враждебные действия против опоры православия. «Вы,— писал царь, заключая письмо, — последствуя дьяволу, подобно Сенахириму и Навходоносору и Хоздрою и иным безбожным царем, яко птицу рукою своею хотите похити православие».

Значение этих высказываний далеко выходит за рамки личных отношений царя и гетмана. Как представляется, они дают новый яркий материал для характеристики взглядов царя на характер его власти, на характер миссии, возложенной на него Богом, подкрепляя ту высказанную ранее мысль, что всех, кто так или иначе препятствовал его деятельности, царь рассматривал как «отступников» от христианства, слугителей «бесов» и «Антихриста», носителей зла, от которых он должен очистить мир.

Иван Козлов не случайно был послан с письмами к боярам именно летом 1567 года. После неудачи мирных переговоров в Вильно также стали считать, что наступило время для нанесения серьезного удара по противнику. Уже в начале 1567 года было решено, что король поедет из Польши в Литву, чтобы лично возглавить армию в предстоящей кампании. Когда 12 ноября 1567 года русские войска собрались на Ршанском яме, то стало ясно, что нельзя рассчитывать на такой успех, который был достигнут в 1563 году под Полоцком: на территории Белоруссии собралась большая армия во главе с королем, которая медленно двигалась по направлению к Борисову. В боярском приговоре о прекращении похода упоминаются сообщения выходцев и лазутчиков, которых засылали в литовский лагерь, о движении королевской армии. Что же происходило в королевском лагере и что мог почерпнуть из показаний лазутчиков Иван IV?

Хотя в лагере была собрана большая армия, к которой в сентябре 1567 года присоединился сам король, активных действий она не предпринимала. Как видно из припоминаний более позднего времени в переписке Сигизмунда II с Миколом Радзивиллом Рыжим, здесь возлагали надежды не на военную удачу, а на переворот, на выступление русской знати против царя. Известия о жестокостях Ивана IV убеждали советников Сигизмунда II, что со дня на день надо ожидать восстания подданных против такого правителя. Все это было, конечно, «секретом Полишинеля», и ожидания такого рода определяли общую атмосферу в королевском лагере. В свете этого становится понятным, какого рода сведения мог получить царь от лазутчиков и почему вопрос о лояльности подданных так резко встал перед царем именно в военном лагере у Ршанского яма.

Принесенные лазутчиками слухи пали на хорошо подготовленную почву. Уже та забота, которую царь проявлял о создании укрепленных резиденций, говорит об опасениях, которые вызывали у него собственные подданные. В появлении таких опасений, впрочем, не

было ничего удивительного. Царь не мог не отдавать себе отчет в том, что его политика наносит ущерб жизни и благополучию большого круга его военных вассалов — бояр и детей боярских, профессионально вооруженных воинов. Насколько сильны были у царя опасения перед возможным мятежом подданных, показывают начатые им летом 1567 года переговоры с Англией.

Англия лишь в правление Ивана Грозного вступила в сношения с Россией. Произошло это в известной мере случайно, когда суда компании английских купцов, искавших северный морской путь в Китай, в 1553 году оказались на Северной Двине. Однако совсем не случайным было то, что это событие положило начало постоянным, быстро развивавшимся связям между двумя странами. Английские купцы оценили преимущества торгового пути в Россию в обход барьеров, установленных на Балтийском море ливонскими купцами. Русские власти накануне Ливонской войны также привлекала перспектива установления прямых связей с одним из государств Западной Европы. В 1556 году в ответ на просьбы английской королевы царь предоставил английским купцам «торг по всему государству поволной» и двор в Москве, а в следующем, 1557 году русский посол Осип Непея привез из Англии многих мастеров и оружие; русским купцам было разрешено беспошлинно торговать в Англии и выделен двор в Лондоне. Установленные связи продолжали в последующие годы успешно развиваться. «Московской компании» — объединению торговавших с Россией английских купцов — была предоставлена возможность вести торговлю с Ираном и закупать там драгоценные шелковые ткани; английские купцы привозили на Двину необходимые для производства вооружения цветные металлы, которых в XVI веке в России еще не добывали. Из всех европейских государств того времени Англия была самым дружественным по отношению к России. Не удивительно, что именно с послом этой страны Энтони Дженкинсоном летом 1567 года царь начал переговоры о предоставлении ему убежища в случае, если по каким-либо причинам ему придется покинуть свою страну ради собственной безопасности. С этими опасениями царя за свою судьбу была связана и его просьба к английской королеве Елизавете прислать мастеров, которые могли бы строить корабли и плавать на них. Очевидно, что построенные этими мастерами корабли должны были в случае необходимости отвезти царя в Англию.

Так оценивал царь характер своих отношений с подданными. Что же он должен был сделать, получив сообщения лазутчиков о надеждах, которые возлагают в литовском лагере на недовольную знать? Ответ подсказывают сообщения Штадена и Шлихтинга о том, что заговорщиков выдал царю князь Владимир Андреевич, который находился вместе с царем в военном лагере. Царь прекрасно понимал, что его двоюродный брат привлекает к себе всех недовольных как потенциальный претендент на престол. Поэтому он, очевидно, оказал дав-

ление на старицкого князя, и тот вынужден был назвать царю имена нескольких земских бояр. Тогда же, судя по всему, прозвучало и имя Ивана Петровича Федорова как главной фигуры среди недовольных. Вероятно, мы никогда не узнаем, действительно ли земские бояре готовили переворот, который должен был привести к власти Владимира Андреевича, или дело не пошло дальше жалоб на политику царя и сожалений, что на престоле сидит он, а не старицкий князь. Но даже жалобы эти воспринимались Иваном как настоящая измена, за которой должны были последовать самые жестокие кары. Как отмечал в своих записках Штаден, царь после разговора со своим двоюродным братом «вернулся... обратно в Александрову слободу и приказал переписать земских бояр, которых он хотел убить и истребить при первой же казни».

Царь был взбешен. Он хотел поиздеваться над своим противником королем Сигизмундом II, но оказалось, что у того были более серьезные основания для насмешек над ним самим. Выяснилось также, что один из тех бояр, которым царь склонен был доверять более других, стал организатором заговора, угрожавшего его жизни.

УСИЛЕНИЕ ТЕРРОРА. ЦАРЬ И МИТРОПОЛИТ

Стоит ли удивляться, что с осени 1567 года снова все чаще стали лететь головы заподозренных в измене. Казни следовали одна за другой. В записках иностранцев, одном из главных наших источников о репрессиях опричных лет, сведений об этих казнях сохранилось не так много. Для авторов, писавших свои сочинения после 1570 года, казни этого времени были отодвинуты на задний план страшным разгромом Новгорода. Лишь кропотливое изучение так называемого «Синодика опальных» — списка казненных, составленного в самом конце правления Ивана IV (об обстоятельствах, приведших к составлению такого списка речь пойдет в одной из заключительных глав книги), позволило установить круг лиц, подвергшихся казням после возвращения царя в Слободу.

Среди казненных были несколько бояр и окольничих, дети боярские — члены земского «государева двора», а также целый ряд дьяков и даже купцы. Количество жертв исчислялось сотнями. Как показано в исследованиях С. Б. Веселовского и Р. Г. Скрынникова, при составлении списка казненных часто делались выписки из хранившихся в архиве следственных дел, отчего в нем появились записи, странно звучащие в тексте, предназначенном для церковного поминания. В одной из таких записей читаем: «отделано 369 человек, отделано и всего отделано июля по 6 число». По месту записи в списке Р. Г. Скрынников определил, что речь должна идти о 6 июня 1568 года.

По сведениям, которыми располагал Шлихтинг, Владимир Андреевич назвал царю имена тридцати человек — участников заговора. Количество жертв во много раз превысило эту цифру. Конечно, изменников нередко казнили вместе с семьями; кроме того, в процессе расследования арестованные могли оговаривать родственников и знакомых. Однако следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев мы не знаем, за что казнены были люди, имена которых встречаются в перечне Синодика, сообщениях иностранцев и сочинении Курбского. Как видно из отдельных записей Синодика, которым соответствуют сообщения Курбского, казнь тех или иных людей далеко не всегда была результатом следствия, хотя бы и проведенного в опричном застенке. Неоднократно отряды опричников посылались из Москвы в те или иные города, где опричные «братья» предавали смерти заподозренных в измене. Так, даже в далекий южный город Данков летом 1568 года был послан Федор Басманов с отрядом опричников, чтобы умертвить воевод, князя Владимира Курлятева и Григория Сидорова, стоявших там с войском против татар. Лишь о смерти немногих особо выдающихся людей сохранились отдельные подробные сообщения. Так, в «Послании» Таубе и Крузе и в «Кратком сказании» Шлихтинга сохранились рассказы о гибели одного из царских казначеев, Хозяина Тютиня, грека по происхождению. Он был схвачен царским зятем Михаилом Темрюковичем вместе с семьей (женой, двумя сыновьями пяти-шести лет и двумя дочерьми), затем они все были приведены на «площадь» (вероятно, современную Красную площадь перед Кремлем) и здесь казнены по приказу царя. Тела, разрубленные на куски, были брошены на площади «для зрелища», чтобы своим видом устрашать тех, кто хотел бы встать на путь «измены».

Такое же жестокое наказание постигло и дьяка Казарина Дубровского, который был убит опричниками в своем доме вместе с двумя сыновьями и слугами. Как сообщает Шлихтинг, «обозники и подводчики» обвинили дьяка в том, что за взятки тот освобождал владения бояр и детей боярских от доставки подвод. Осенью 1567 года потребовалось большое количество подвод для перевозки артиллерии, участвовавшей в подготовленном царем Ливонском походе. Между тем при сборе войск у Ршанского яма выяснилось, что «с нарядом (артиллерией. — Б.Ф.) идут за государем неспешно, а посошные многие люди к наряду не успели». Расследование показало, что в таком положении дел виновен дьяк. Этот пример показывает, что человек мог быть наказан смертной казнью не только за измену, но и за любую серьезную провинность.

Штаден и Шлихтинг называют главой заговорщиков боярина Ивана Петровича Федорова. Он погиб 11 сентября 1568 года. По рассказу Шлихтинга, царь призвал его во дворец (Таубе и Крузе говорят о «большой палате»), заставил облечься в царские одежды и сесть на

трон. Затем, преклонив перед ним колени, царь сказал: «Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился, чтобы быть великим князем Московским и занять мое место: вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, которого жаждал». Затем царь сам заколол его ножом. Труп боярина «протащили за ноги по всему Кремлю к городу, и он брошен был на середине площади, являя жалкое зрелище для всех». Штаден видел тело Федорова, лежащее в навозной яме у реки Неглинной.

Эпизод с убийством Федорова является не только еще одним свидетельством той склонности царя к злой насмешке, которая столь ясно прослеживается во многих его литературных произведениях. Он говорит и о том, какие все более зловещие замыслы царь готов был приписывать изменникам. Иван Петрович Федоров, принадлежавший к одному из старых боярских родов, не бывший ни потомком Рюрика, ни потомком Гедимины, никак не мог рассчитывать занять царский трон в случае смерти царя Ивана. В предшествующие годы подобная мысль вряд ли могла прийти царю в голову, но в обстановке постоянной борьбы с «изменой» самые невероятные предположения в сознании царя приобретали реальность и порождали чудовищную жестокость.

Убийство Ивана Петровича так запомнилось современникам-иностранцам не только потому, что это было публичное убийство одного из первых лиц в государстве, совершенное самим царем. На них произвело сильное впечатление и то, что произошло после его смерти. Иван Петрович Федоров был одним из самых богатых людей своего времени. Он являлся потомком боярина Акинфа Великого, служившего владимирским великим князьям еще в начале XIV века, и последним представителем старшей ветви рода, возводившей свое происхождение к Ивану Андреевичу Хрому, боярину Дмитрия Донского (к младшим ветвям того же рода принадлежали служившие в опричнине Бутурлины и Чеботовы). Унаследованное им родовое достояние, и без того немалое, увеличилось благодаря удачному браку Федорова с Марией Васильевной Челядниной, племянницей Аграфены, мамки царя Ивана. Супруга принесла ему в приданое значительную часть родового достояния другой ветви того же рода — Челядних. Владения боярина, как и владения других бояр, служивших московским князьям, были расположены в самых разных уездах Русского государства от Коломны до Белоозера.

Как рассказывает Шлихтинг, после убийства Ивана Петровича царь, «сев на коня, почти год объезжал с толпой убийц его поместья, деревни и крепости, производя всюду истребление, опустошение и убийства». Часть захваченных при этом боярских слуг царь приказал «запереть в клетку или маленький домик и, насыпав туда серы и пороху, зажечь». Их жены были отданы на развлечение опричникам. Находившийся на боярских дворах крупный и мелкий скот уничто-

жался. Сами эти дворы сжигались вместе с находившимися на них запасами хлеба. Штаден, писавший о том же более кратко, отметил, что были сожжены даже церкви «со всем, что в них было, иконами, церковными украшениями».

Сообщения Штадена и Шлихтинга о посылке карательных отрядов во владения Ивана Петровича находят подтверждения в тексте «Синодика опальных». Так, из него мы узнаем, что в коломенских селах Федорова опричный ловчий царя Григорий Ловчиков «отделал Ивановых людей 20 человек». В другом его владении — Губине Углу — «Малюта Скуратов отделал 30 и 9 человек». Очевидно, с участия в этих казнях и началось возвышение Малюты, который еще во время похода в Ливонию осенью 1567 года занимал совсем незначительное место в опричном окружении царя. О самых зловещих подробностях рассказа Шлихтинга заставляет вспомнить и такая запись: «В Бежицком Верху отделано Ивановых людей 65 человек да двенадцать человек скончавшихся ручным усеченьем». Если лишь небольшая часть находившихся в бежецких селах боярских слуг была зарублена опричниками, то как же погибли остальные? Поневоле приходится вспомнить о людях, запертых в доме и сожженных затем по приказу царя.

Такие карательные экспедиции, сопровождавшиеся массовыми убийствами (судя по записям «Синодика», в вотчинах Федорова было убито более двух сотен боярских слуг) и уничтожением имущества, стали качественно новым явлением в жизни русского общества в годы опричнины. Они свидетельствовали о том, что в борьбе с «изменной» царь приходил к необходимости применения все более жестоких мер, чтобы устроить своих подданных и заставить отказаться от враждебных замыслов против него.

На этом мрачном и зловещем фоне протекал спор между царем и противостоявшим ему главой русской церкви, митрополитом Филиппом.

Когда казни стали все более частыми и жестокими, против них поднял свой голос митрополит Филипп. Сам факт столкновения между царем и митрополитом не может вызывать никаких сомнений. Он засвидетельствован источниками самого разного происхождения. Однако и в этом случае нам известно гораздо меньше, чем хотелось бы знать. Главным источником, содержащим наиболее подробные сведения о событиях, является Житие митрополита Филиппа, созданное в кругу почитавших своего бывшего настоятеля соловецких монахов, однако даже наиболее ранняя редакция этого памятника возникла много лет спустя после интересующих нас событий, в конце XVI века, когда после смерти Грозного новый царь Федор разрешил перенести останки митрополита в Соловецкий монастырь. Монахи, которых не было в Москве, когда происходили столкновения митрополита и царя, писали по устным рассказам очевидцев, не

очень ясно представляя себе хронологию событий. По слухам писал о столкновении царя и митрополита в далекой Литве и Курбский. Подробный и очень интересный рассказ сохранился в «Послании» Таубе и Крузе, находившихся в то время в окружении царя, однако следует учитывать, что эти ливонские дворяне, возвышенные царем и принятые в опричнину как иноверцы не могли присутствовать на православном богослужении или на собраниях с участием православного духовенства и поэтому не могут считаться очевидцами некоторых очень важных эпизодов.

Как мы видели выше, Филипп Колычев, скрепя сердце, согласился занять митрополичий стол, не требуя упразднения опричнины. Вероятно, он надеялся своим участием способствовать устранению или ослаблению наиболее отрицательных сторон нового порядка, однако с течением времени стала все более ясно обнаруживаться тщетность таких надежд.

Первоначально митрополит пытался увещевать царя «тайно и наедине», но это не дало никаких результатов. Для главы церкви, видевшего свой христианский долг в искоренении беззакония, оставался один путь — публичное осуждение действий монарха. Для совершения такого важного шага митрополит нуждался в содействии других епископов. Именно епископы совсем недавно в 1566 году побудили Филиппа занять митрополичий стол и отстояли его кандидатуру перед лицом царя. И теперь первоначально святители проявили готовность оказать поддержку своему главе. Как сказано в Житии, они «укрепившеся вси межи себя, еже против такового начинания (опричнины. — *Б.Ф.*) стояти крепче». Согласие это, однако, сохранялось недолго. Когда один из епископов «царю общий совет их изнесе» и об этом стало известно, то многие «своего начинания отпадоша». Не захотели поддерживать митрополита архиепископ Пимен Новгородский, епископы Пафнутий Суздальский и Филофей Рязанский, а духовник царя, благовещенский протопоп Евстафий, и вовсе «непрестанно явне и тайно нося речи неподобные», настраивал царя против митрополита. В итоге попытка митрополита объединить высшее духовенство для борьбы против казней закончилась полной неудачей: «страха ради и глаголати не смеяху и никто не смеяше противу что рещи, что царя о том умолити и кто его возмущает тем бы запретити». Митрополит решился вступить в борьбу в одиночку. Судя по сообщению Жития, такое решение было ускорено тем, что к митрополиту пришли «неции благоразумнии истинные правителие и искусные мужие и от первых вельмож и весь народ», прося «с великим рыданием» о заступничестве, «смерть пред очима имуще и глаголати не могуше».

Новгородский летописец записал: «Лета 7076 (то есть в 1568 году. — *Б.Ф.*) марта в 22 учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати о опришнине».

Столкновение произошло во время богослужения в Успенском соборе. Митрополит отказался благословить царя и обратился к нему с речью, увещающей и обвиняющей одновременно. Обычно речи главных героев в житиях святых не внушают доверия, их чаще всего следует рассматривать как продукт литературного творчества. Но с речью Филиппа дело обстоит иначе. Изложение речи митрополита имеется также в «Послании» Таубе и Крузе, написанном вскоре после событий. Сопоставление текстов показало многочисленные совпадения между ними, хотя послание ливонских дворян, конечно, не могло быть известно соловецким монахам. Очевидно, о речи митрополита рассказал им кто-то из очевидцев, и монахи правильно передали ее общий смысл.

«Мы, — говорил митрополит, обращаясь к царю, — приносим жертву Господеви чисту и безкровну, за тебя, государя, Бога молим, а за олтарем неповинна кровь лиется христианская и напрасно умирают». Если ты благочестив, обращался к царю Филипп, то почему «не праведная дела твориши». Главная обязанность правителя — праведный суд, а посему, снова обращался митрополит к царю, «суд сотвори праведен и истин, а оклеветаящая сыщи и обличи». Митрополит, видимо, еще надеялся, что его увещания смогут остановить царя и обратить его на правильный путь: «О царю свете, си-речь православия вседержавный наш государь, умилися, разори, государь, многолетное свое к миру негодование, призри милостивно, помилуй нас, своих безответных овец». Но в речи митрополита, как она передана в Житии, звучат и более суровые интонации. Митрополит требовал устранить пагубное «разделение» страны («твоя бо есть едина держава»), угрожал царю гневом Божиим: «Аще, государь, не велиши престати от сея крови и обиды, взыщет сего Господь от руки твоее».

Однако сила воздействия этих слов умахалась тем, что они не встречали отклика среди духовенства, собравшегося в соборе. «Царю угоджающе», митрополита поспешили осудить епископы («како царя утверждающе самому же неистовая творяща»). Даже низшее лицо на лестнице церковной иерархии, «анагност (чтец. — Б.Ф.) церкви соборные... начат износить на блаженнаго скверныя словеса». Таким образом, выступление митрополита не прозвучало, как он хотел, голосом всей церкви, но лишь выражением мужества одинокой, следующей своим убеждениям личности.

«Что тебе, чернцу, до наших царьских советов дело?» — так ответил царь на слова митрополита, согласно рассказу Жития. Гораздо более зловещий характер имела реакция царя, судя по рассказу Таубе и Крузе: «Я был слишком мягок к тебе, митрополит, к твоим сообщникам и моей стране, но теперь вы у меня взвоете».

Гнев царя упал на приближенных митрополита. По сообщению Таубе и Крузе, «советники и приближенные митрополита были си-

лой выведены, а затем их, вода по всем улицам, мучили и хлестали железными хлыстами». Имена погибших старцев и слуг митрополита перечисляются в «Синодике опальных»: «старца Левонтия Русинов, Никиту Опухтин, Федора Рясин, Семена Мануйлов». По сообщению новгородского летописца, после происшедшего столкновения митрополит «вышел из митрополича двора и жил в монастыре у Николы у Старого» в Китай-городе. Однако при этом митрополичьего сана он с себя не сложил. Тем самым митрополит открыто выражал протест против политики царя, показывая, что не в состоянии выполнять свои обязанности по управлению церковью под властью такого правителя.

Иногда в научной литературе спор царя и митрополита характеризуется как спор между государством и церковью из-за власти, вызванный попытками светской власти подчинить себе церковь. Ничто, однако, не подтверждает такого толкования. К тому времени, когда вспыхнул этот конфликт, царь не предпринял никаких действий, которые хоть как-то затрагивали права церкви или ее имущество. Напротив, ряд почитаемых обителей именно в годы опричнины получил такие щедрые жалованные грамоты, которых они не имели в годы реформ 50-х годов XVI века. В выступлении митрополита о правах церкви и не говорилось. Дело было в другом. Обличая царя, митрополит не только следовал своим христианским убеждениям, но и выполнял важную функцию гаранта традиционного общественного порядка, которая в представлениях русского общества была тесно связана с особой верховного пастыря. Можно было бы говорить и о попытке осуществления митрополитом его традиционного права «печаловаться» за опальных, но с существенной оговоркой: традиционно глава церкви ходатайствовал о прощении провинившимся их проступков, а митрополит Филипп добивался справедливости для невиновных.

Отец царя, великий князь Василий, а затем боярские правители времени его малолетства неоднократно сгоняли с кафедры неугодных митрополитов, но для царя, постоянно и старательно подчеркивавшего свою верность православному учению не только в главном, но и в каждой детали, такой путь был неприемлем. Выход нашелся: в Соловецкий монастырь направилась особая комиссия, чтобы добыть свидетельства о недостойной жизни Филиппа Колычева и тем самым получить формальные основания для лишения его митрополичьего сана. В летописце Соловецкого монастыря под 1568 годом отмечено: «На весну в монастырь в Соловки приехал суздальский владыка Павнудей да архимандрит Феодосий да князь Василей Темкин да с ним 10 сынов боярских дворян про Филиппа обыскивати». Состав комиссии гарантировал достижение желательного для царя результата. Суздальский владыка Пафнутий назван в Житии в числе епископов, которые с самого начала отказались поддерживать Филиппа. Архиман-

дritу Андроникова монастыря Феодосию Вятке предстояла блестящая карьера — он стал архимандритом Троице-Сергиева монастыря и духовником царя. Пафнутий и Феодосий Вятка сопровождали царя в походе на Ливонию осенью 1567 года. Член ростовского княжеского рода князь Василий Темкин, недавно выкупленный из литовского плена и принятый в опричнину, должен был особенно стараться, выполняя царское поручение. В итоге проведенного расследования «игумена Паисия к Москве взяли да десять старцов». Очевидно, их принудили дать нужные показания, и старцы должны были повторить их на соборе, созванном для низложения митрополита. Несомненно, в связи с организацией такого собора 31 августа того же года выехал из Новгорода и провел полтора месяца в столице новгородский архиепископ Пимен.

Собор для осуждения Филиппа, на котором читались доставленные комиссией «обыскные речи» и заслушивались показания приведенных свидетелей, состоялся поздней осенью 1568 года. Как записал новгородский летописец, «на Москве месяца ноября в 4 день Филиппа митрополита из святительского сана свергоша». 8 ноября на праздник святого Михаила Архангела, когда митрополит совершал службу в Успенском соборе Кремля, в церковь ворвался отряд опричников во главе с боярином Алексеем Басмановым. Прервав службу, боярин объявил о низложении Филиппа и «повеле перед ним и перед всем народом чети ложно составленные книги», очевидно, приговор собора. Когда чтение приговора было закончено, по-видимому, и случилось то, что описано в «Послании» Таубе и Крузе: Малюта Скуратов и другие опричники, выполняя приказ царя, силой сорвали со святителя митру и другие знаки его сана и стали «бить его по лицу этими же предметами». После этого митрополита, одетого в разорванные монашеские одежды, «изгнаша... из церкви яко злодея и посадиша на дровни, везуще вне града (то есть из Кремля. — Б.Ф.) ругающееся... и метлами биюще» в Богоявленский монастырь в Китай-городе. Филипп был приговорен к смертной казни, но по челобитью духовенства казнь заменили заточением в Тверском Отроче монастыре. Позднее в этом монастыре узник был задушен Малютой Скуратовым. 11 ноября 1568 года новым митрополитом стал архимандрит Троице-Сергиева монастыря Кирилл.

Спор царя и митрополита не касался вопроса об отношениях между светской и духовной властью, однако его исход наложил глубокий отпечаток на взаимоотношения государства и церкви в последующее время. Именно после низложения митрополита Филиппа царь стал по своему произволу низлагать с кафедр неугодных епископов, подвергать суровым наказаниям, а то и смертной казни протопопов и настоятелей монастырей, налагать руку на имущество церкви. Были аннулированы уступки духовенству, сделанные в годы работы Стоглавого собора и как-то ограничивавшие власть царя над ду-

ховным сословием. Так, была возобновлена практика выдачи «несудимых» грамот, непосредственно подчинявших власти монарха (и соответственно — изымавших из-под судебной-административной власти епископов) те или иные группы приходского духовенства или монастыри. Церковь в России приобретала характер «служилого» сословия, подчиненного контролю и руководству государственной власти.

РАЗГРОМ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО

Использование террора в борьбе с возможной оппозицией имеет свою логику, которая часто уводит тех, кто прибегает к этому средству, далеко за пределы первоначально намеченных задач и создает ситуации, о существовании которых они даже не предполагали.

По свидетельству Таубе и Крузе, в своей любимой резиденции, Александровой слободе, царь постоянно проводил значительную часть дня в пыточном застенке. Узников пытали не для того, чтобы они сознались в совершенных преступлениях (попавшие туда уже заранее являлись виновными), но для того, чтобы они указали своих сообщников. О том, как в пыточном застенке добывали сведения о новых изменниках, мы можем узнать из небольшого фрагмента следственного дела — единственного сохранившегося из множества следственных дел времени правления Ивана IV. В январе 1574 года из крымского плена вернулось несколько холопов князя Ивана Федоровича Мстиславского. Они оказались в застенке, где царь захотел выяснить, кто из его приближенных поддерживает тайные сношения с татарами. Под пыткой царь спрашивал: «Хто ж бояр наших нам изменяют: Василей Умой, князь Борис Тулупов, Мстиславской, князь Федор Трубецкой, князь Иван Шюйский, Пронские, Хованские, Хворостинины, Микита Романов, князь Борис Серебряной». Многие из названных здесь лиц были в то время наиболее влиятельными советниками монарха, а некоторые даже присутствовали при самом допросе. К этому времени царь уже мало кому верил из своего окружения. В прежние годы такого не было: члены опричного «братства» находились вне подозрения, но имена земских бояр и дворян, несомненно, постоянно звучали на допросах. Желание избежать новых пыток заставляло узников давать утвердительные ответы на вопросы, которые задавал царь. Так, холопы Мстиславского, когда их стали «огнем жечи», признали, что их хозяин действительно «посылал» их из Москвы к крымскому хану.

Был и другой способ получить нужные сведения об изменниках. Царь поощрял доносы боярских слуг на своих господ. Благодаря этому в распоряжении царя и его опричного окружения оказывалось все больше сведений об «изменниках». Их безжалостно казнили, но тем

самым только расширялся круг подозреваемых: чем больше было казненных, тем больше оказывалось их родственников и друзей, у которых были все основания для враждебного отношения к виновнику казней. А умножение количества изменников говорило о том, что прежние жестокие меры не эффективны и следует предпринять новые, более жестокие. Порочный круг, из которого не было выхода...

В этих условиях осенью 1569 года царь получил сведения о новом, еще более опасном заговоре, направленном против него.

На этот раз в нашем распоряжении имеются уже не сообщения иностранцев, а запись о подлинном следственном деле в Описи архива Посольского приказа 1626 года: «Статейной список из сыского из изменного дела... на наугороцкого (новгородского. — *Б.Ф.*) архиепискупа на Пимена и на новгородцких дьяков, и на подъячих, и на гостей, и на владычных приказных, и на детей боярских... о здече Великого Новгорода и Пскова, что архиепископ Пимин хотел с ними Новгород и Псков отдать литовскому королю, а царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси хотели злым умышленьем извести, а на государство посадить князя Владимира Андреевича». Речь шла не о тайном сговоре группы представителей знати, а о масштабном заговоре, в который оказались вовлечены и вся приказная администрация, управлявшая Новгородской землей, и социальные верхи ее населения (гости — богатые купцы, и дети боярские), и сам глава Новгородской епархии — архиепископ Пимен со своим двором. (Епископы на Руси издавна имели свои большие земельные владения и своих военных вассалов, которые управляли их землями.) Запись выглядит противоречиво: если заговорщики собирались перейти под власть Сигизмунда II, то не все ли им было равно, кто в дальнейшем займет царский трон? Возможно, дело следовало понимать в том смысле, что между заговорщиками и Сигизмундом II состоялось соглашение о том, что после перехода Новгорода под литовскую власть король будет способствовать низложению царя Ивана с тем, чтобы в дальнейшем у Новгородской земли был более мирный сосед.

Тайный сговор группы представителей знати, направленный против своего монарха, имеет мало шансов получить отражение в источниках: круг заговорщиков узок, они стараются не оставлять письменных следов своей деятельности. Поэтому так трудно установить факт боярского заговора, имевшего место осенью 1567 года и направленного против царя Ивана. Совсем иное дело — такой масштабный заговор, в который — если верить тому, что изложено в следственном деле, — вовлечены социальные верхи населения огромной Новгородской земли, к тому же заговор в пользу иностранного правителя. Вряд ли заговор мог бы вообще достичь таких масштабов, если бы заговорщикам не была обеспечена внешняя поддержка. В случае если бы такой заговор действительно имел место, он должен был найти отражение в переписке Сигизмунда с ведущими литовскими полити-

ками. Подобных документов сохранилось немало, среди них большое собрание писем короля к Миколаю Радзивиллу Рыжему, виленскому воеводе и одному из первых лиц в Великом княжестве Литовском. Однако сведений о каких-либо контактах с Новгородом в этих источниках нет.

Наши сомнения в существовании новгородского заговора еще более усилятся, если мы примем во внимание ряд особенностей положения Новгородской земли. Она, как и весь северо-запад России, представляла собой край средних и мелких поместий. Лишь причины исключительной важности могли подвинуть рядовых служилых людей — новгородских помещиков — на участие в заговоре. Таких причин, однако, указать невозможно. На русском северо-западе не было родовых вотчин, принадлежавших потомкам Гедимины и Рюрика. Опричные переселения и связанные с ними различные отрицательные явления практически не затрагивали Новгородскую землю. Более того, новгородским и псковским помещикам приносила выгоды внешняя политика царя Ивана. Именно они получали новые поместья в «немецких городах», на завоеванных в Ливонии землях. Новгородскому купечеству также импонировала политика царя: в 60-е годы XVI века оказавшаяся под русской властью Нарва превратилась в крупный центр международной торговли, который посещали суда из многих стран Западной Европы, и новгородские купцы активно участвовали в этой торговле. Что касается новгородской архиепископской кафедры, то русские правители понимали ее роль и значение в жизни не только Новгородской земли, но и всего русского северо-запада и со времени присоединения Новгорода тщательно следили за тем, чтобы ее занимали люди, в лояльности которых они могли быть уверены. К числу таких людей принадлежал и Пимен, поставленный в 1552 году на новгородскую кафедру из старцев Адриановой пустыни — обители на Лadoжском озере, тесно связанной с царским двором. Адриан, основатель обители, был крестным отцом первого ребенка Ивана и Анастасии, царевны Анны. Даже Курбский, который был в целом отрицательного мнения о современных ему русских архиереях, считал Пимена человеком «чистаго и жестокаго жительства». Однако готовность новгородского архиепископа сотрудничать с опричной властью не вызывает сомнений. Неоднократные указания в Житии митрополита Филиппа не оставляют сомнений, что Пимен был первым среди тех князей церкви, кто сначала не поддержал митрополита, а потом приложил руку к его осуждению.

Все это дает достаточные основания для того, чтобы считать новгородский заговор вымыслом. Исследователи (в особенности Р. Г. Скрынников) затратили много сил и изобретательности, чтобы выяснить, как и при каких обстоятельствах появился этот вымысел и кто был заинтересован в его распространении, однако до сих пор никакого определенного ответа на эти вопросы мы не имеем.

Вероятно, в иной ситуации царь и его советники не придали бы слуху о подобном заговоре никакого значения. Но в той обстановке психологического напряжения, которая сложилась в условиях постоянной борьбы с «изменой», к этим сообщениям относились со всей серьезностью.

Вероятно, уже в этих слухах называлось имя Владимира Андреевича как будущего царя, так как первой реакцией монарха на полученные сведения стало убийство двоюродного брата.

После участия в Ливонском походе осенью 1567 года Владимир Андреевич жил в своем уделе, не принимая какого-либо участия в государственных делах. Лишь летом 1569 года, когда под Астраханью появились османские войска, царь послал его в Нижний Новгород. В случае если бы появление османов под Астраханью привело к осложнению обстановки в Поволжье, присутствие представителя царского дома могло сыграть важную роль. Очевидно, во время пребывания князя в Нижнем Иван Грозный получил доносы, которые решили судьбу его двоюродного брата. Царь послал Владимиру Андреевичу приказ прибыть вместе с семьей к нему в Слободу. О том, что последовало дальше, сохранился подробный рассказ в «Послании» Таубе и Крузе, который в своих основных моментах подтверждается свидетельствами русских источников (в частности, «Пискаревского летописца»). До Слободы удельный князь так и не доехал. На ямской станции Богане его встретило вооруженное опричное войско. Опричные дворяне Малюта Скуратов и Василий Грязной объявили князю Владимиру, что «царь считает его не братом, но врагом, ибо может доказать, что он покушался не только на его жизнь, но и на правление». Соображения престижа, почти сакральный ореол, окружавший членов царского дома, не давали возможности ни устроить суд, ни тем более казнить двоюродного брата царя. Поэтому по приказу Ивана Владимир Андреевич, его жена и девятилетняя дочь 9 октября 1569 года были отравлены.

Тогда же царь приказал вызвать к себе и мать Владимира Евфросинью (в монашестве — Евдокию), которая после пострижения в 1563 году жила одиноко в Воскресенском монастыре на Горах, лишь изредка навещаясь в лежащий неподалеку Кириллов. Княгиню-монахиню также нельзя было судить и казнить, поэтому царь приказал ее «уморить в судне в ызбе в дыму» (княгиню, очевидно, везли в Слободу по какой-то реке). Вместе с ней, как видно из записи в Синодике, погибли 12 сопровождавших ее «стариц» и несколько слуг. Если, убивая двоюродного брата, царь избавлялся от неугодного человека, который мог бы стать знаменем для недовольных, то смерть старой одинокой женщины, не представлявшей никакой опасности после смерти сына, можно объяснить лишь желанием царя отомстить за неприятности, причиненные ему княгиней в прошлом, в частности в дни его болезни в 1553 году.

В истории русской культуры XVI века княгиня Евфросинья оставила заметный след, создав при своем дворе мастерскую, из которой вышли лучшие памятники русского лицевого шитья того времени: плащаницы с изображением оплакивания Христа, вложенные княгиней в Успенский собор Московского Кремля, Троице-Сергиев и Иосифо-Волоколамский монастыри. На одном из последних произведений мастерской, плащанице, данной вкладом в 1565 году в Кирилло-Белозерский монастырь, Мария Магдалина у гроба Христа, в отличие от других более ранних произведений мастерской, изображена как пожилая женщина, с резкими характерными чертами лица. Возможно, перед нами своеобразный портрет старой княгини. Как видно из записей во вкладных книгах Кириллова монастыря, инокиня Евдокия при посещении обители неоднократно дарила ей шитые покровы. Очевидно, мастерицы княгини последовали за своей госпожой в ссылку и вместе с ней погибли, задушенные дымом.

Царь оставил в живых старших детей удельного князя: сына Василия и дочерей Евфимию и Марию. Василия он через несколько лет пожаловал отцовским уделом, а с девушками, видимо, уже тогда связывал определенные внешнеполитические планы.

Уничтожив двоюродного брата, царь, как ему казалось, предотвратил угрозу близкого государственного переворота. Теперь на повестку дня вставала другая, не менее важная в его представлении задача — помешать заговорщикам оторвать Псков и Новгород от Русского государства.

Собрав опричное войско, по первому зимнему пути царь выступил в поход на Новгород. Иван постарался, чтобы цель похода, известная лишь узкому кругу его ближайших сподвижников, сохранялась в тайне. По свидетельству Шлихтинга, царь принял меры к тому, чтобы была перекрыта дорога, ведущая из Москвы в Новгород. В походе разосланные отряды также задерживали всех людей, идущих в Новгород. Сам маршрут движения войска был окружен тайной. Василий Зюзин, командовавший передовым отрядом опричного войска, «ежедневно поутру получал из рук самого тирана записку с указанием места, где тот должен был переночевать». Штаден также пишет, что «все города, большие дороги, монастыри от Слободы до Лифляндии были заняты опричными заставами, как будто бы из-за чумы, так что один город или монастырь ничего не знал о другом». В результате всех принятых мер «ни в городе Москве, ни в Новгороде, ни в другом месте не знали, где именно находится и что делает князь Московский». Новгородцы узнали о походе, когда отряды опричного войска уже подходили к городу.

Избранный царем способ действий не вызывает удивления. По его сведениям, заговор был весьма масштабным, в нем участвовали все духовные и светские власти Новгорода, а значит, узнав о карательном походе опричного войска, они могли попытаться организо-

вать сопротивление. Поэтому царь принимал все возможные меры, чтобы заставить заговорщиков врасплох. Действия царя были хорошо продуманы, но предпосылка, лежавшая в их основе, была абсурдна.

Двигаясь к Новгороду, опричное войско искореняло измену в городах и селах, лежавших на его пути. В селе Медне под Тверью и в Торжке было перебито несколько сотен семей недавно переселенных туда псковичей. Их считали изменниками, как и всех жителей Пскова. В Твери и Торжке были казнены находившиеся в тюрьмах литовские пленные — царь, вероятно, считал и их участниками заговора.

О том, что происходило в Новгороде, когда к нему подошли опричные войска, мы осведомлены, пожалуй, лучше, чем о многих других событиях царствования Грозного. Подробное описание оставил не только Шлихтинг, но и участвовавшие в походе немцы-опричники Таубе и Крузе, а также Штаден. Сохранились и современные немецкие брошюры, составленные со слов иноземных купцов, ставших свидетелями некоторых из происшедших в это время событий. Эти рассказы можно сопоставить и со свидетельствами русских источников. В списках XVII века сохранилась в нескольких редакциях повесть «О приходе царя и великого князя Иоанна Васильевича в Великий Новъград, еж оприщина и розгром именуется»; записи так называемой Новгородской Второй летописи позволяют судить о положении, сложившемся в городе сразу после отъезда царя; наконец, важные дополнительные сведения содержит уже неоднократно упоминавшийся «Синодик опальных».

Передовые отряды опричного войска подошли к Новгороду 2 января 1570 года и сразу окружили его, «кабы ни един человек из града не убежал». 6 января прибыл сам царь и стал укрепленным лагерем на Городище, там, где жили князья во времена независимости Новгорода. 8 января, в воскресенье, царь направился к обедне в храм Святой Софии. На «Волховском мосту великом» его встречал архиепископ Пимен со всем новгородским духовенством. По обычаю, архиепископ хотел благословить царя, но царь не принял благословения и «повелел» архиепископу идти в храм и служить литургию. После обедни архиепископ пригласил царя в свои палаты «хлеба ясти». Однако, как только начался обед, царь «возопи гласом великим яростию к своим князем и боярам... и тотчас повеле архиепископлю казну и весь двор его и келии пограбити, и бояр его и слуг переимати и за приставы отдати до своего государева указа, а самого владыку, ограбив, повеле за сторожа единого отдати и крепко стрещи» (стеречь). В записках Шлихтинга сохранился рассказ об издевательствах над арестованным архиепископом, одним из главных иерархов русской церкви. Из Новгорода его повезли в Москву на кобыле, посаженным задом наперед, с волынькой в руках, атрибутом скоморохов. Такой способ публичного поругания был избран неслучайно: так поступали византийские императоры с патриархами, замешанными в заговорах

против них. Члены «освященного собора» во главе с митрополитом Кириллом поспешили сообщить царю, «что приговорили они на соборе новгородскому архиепископу Пимину против государевы грамоты за его безчинья священная не действовать». На созванном в Москве церковном соборе Пимен был лишен сана. Он был заточен в Никольский монастырь в Веневе, где и умер в сентябре 1571 года.

Из Новгорода была вывезена владычная казна, из собора Святой Софии взяты иконы и церковная утварь, которые должны были украсить храмы в опричной резиденции царя — Александровой слободе. Вместе с опричным дворецким Львом Андреевичем Салтыковым изъятием руководил духовник царя, благовещенский протопоп Евстафий, некогда говоривший «речи неподобныя» о митрополите Филиппе. До сих пор Успенский собор в городе Александрове — преемнике Александровой слободы — украшают медные врата — выдающийся памятник древнерусского прикладного искусства. Они были изготовлены в 1336 году для Софийского собора по заказу новгородского архиепископа Василия Калики.

В этой связи Таубе и Крузе впоследствии с некоторым удивлением писали: царь велел в Слободе «во искупление своих грехов построить две большие каменные церкви и наполнить их знаменитыми иконами, колоколами и другим, так что у всех составилось мнение, и он сам так думал, что ему прощены все грехи Господом Богом». Дворяне — протестанты — не понимали логики действий и размышлений царя. Для них новгородский заговор был актом политической измены, попыткой перехода под власть иного государя. Иначе выглядело дело с точки зрения царя: это был прежде всего акт отступничества от веры, попытка перехода под власть правителя «латинян» и еретиков, у которых от христианства осталось только имя. Изъять святыни из рук людей, осквернивших себя замыслами отделения от «святой земли» и общением с еретиками, и взять их под собственную защиту было с точки зрения царя в высшей степени богоугодным поступком. Царь нашел и иной способ наказания «Дома Святой Софии»: издавна входившие в состав новгородской епархии обширные земли на русском Севере были отписаны от новгородской кафедры и переданы вологодско-пермской епископии. По приказу царя в Вологде строился огромный каменный Софийский собор, который Иван IV явно противопоставлял новгородскому кафедральному храму.

9 января на Городище начался суд над арестованными и другими людьми, заподозренными в измене. «Царь и великий князь сед на судище и повеле приводити из Великаго Новагорода владычных бояр, и служилых детей боярских, и гостей, и всяких городцких и приказных людей, и жены, и дети, и повеле перед собою люте мучити». После пыток царь приказывал «тела их некою составною мудростию огненною поджигати, иже именуется пожар». Затем осужденных привязывали за руки и за ноги к саням, волокли от Городища на «вели-

кий Волховский мост» и бросали в реку. Дело происходило зимой, когда Волхов был покрыт льдом, и его, очевидно, пришлось специально разбивать. Такой выбор способа казни вызывает удивление. Правда, в вечевом Новгороде именно так казнили преступников, но вряд ли Иван IV ставил своей целью возродить новгородские обычаи. Недавно А. Л. Юрганов указал на отразившееся во многих русских фольклорных текстах устойчивое представление о связи ада, преисподней с пропастью, дном рек. Отсюда делается вывод о том, что казни новгородцев имели символический характер: вероотступников прямо посылали в ад. Вместе с изменниками подвергались казни их жены и дети («а младенцев к матерям своим вязаху и повеле метати в реку»). Зловещие слова повести подтверждаются сообщениями «Синодика опальных» о казни новгородцев вместе с женами и детьми.

Гнев царя обрушился на окружение архиепископа Пимена. Были казнены многие из детей боярских, служивших новгородскому владыке, но наиболее видных среди них отправили в Москву, очевидно, для продолжения следствия о заговоре. В Новгородской земле — крае средних и мелких помещиков — главная роль в управлении принадлежала дьякам и подчиненному им приказному аппарату. Во время суда на Городище эта группа новгородского населения подверглась едва ли не поголовному истреблению: вместе с новгородскими дьяками были казнены несколько десятков новгородских подьячих (семейные с семьями) и даже самые низшие лица приказного аппарата — «розсылышники». Так, впервые за годы опричнины объектом массовых репрессий стало чиновничество — та социальная группа, которая в силу особенностей своего положения была заинтересована в существовании сильной центральной власти и являлась одной из ее традиционных опор. Жестокость репрессий говорит о том, что именно в приказных людях царь видел главных организаторов заговора.

Сохранился рассказ о смерти богатого новгородского гостя (в 50-х годах он был новгородским дьяком и надзирал за составлением Четьих миней для молодого царя) Федора Сыркова. Этот рассказ, который иностранцы слышали в Новгороде еще в XVII веке, появился сразу по следам событий (его записал Шлихтинг, покинувший Россию в сентябре 1570 года). Чтобы узнать, где богатый купец прячет свои сокровища, царь приказал привязать его к веревке и окунать в холодную воду Волхова. Когда спустя некоторое время купца подняли и царь спросил, что он видел в воде, Сырков ответил, что он был в аду среди злых духов и видел место, приготовленное там для царя. Так Иван в глазах новгородцев сам стал носителем зла и представителем темных сил.

Тяжелую руку Грозного особенно почувствовало на себе новгородское духовенство. Вина его в глазах царя была наиболее тяжкой. Люди, самым своим саном призванные блюсти чистоту веры и хра-

нить православное царство, вступили в сговор с «латинянами» и еретиками. Однако истребить поголовно священников и монахов Новгорода, как это было сделано с приказными людьми, царь не мог. Для них был придуман другой способ наказания. Отряды опричников еще до въезда царя в Новгород разъехались по всем городским монастырям. Церковная казна в каждом из них была запечатана, собранные монахи «яко до пятисот старцов и больши» приведены в Новгород. С каждого из них царь потребовал 20 рублей «новгородским числом». Так как старцы не могли или отказывались платить, их, как несостоятельных должников, поставили на правеж, «и повелеша бити их приставом из утра и до вечера... до искупа бесшадно». Приходские храмы Новгорода также были все запечатаны, а священники и дьяконы поставлены на правеж.

После окончания суда на Городище и казней на Волховском мосту царь с войском стал объезжать новгородские монастыри. Хранившаяся в них опечатанная казна перешла в руки царя, а прочее имущество уничтожалось так же, как некогда боярские дворы в селах Ивана Петровича Федорова. Царь «в житницах хлеб всякой стоячей в скирдах и на полях не молоченой хлеб повеле огнем сожигати и скот их всякой и лошади и коровы повеле посекати». Та же судьба постигла и «усадьбища боярские» тех новгородских помещиков, которых обвинили в участии в заговоре. Для этого отряды опричников были разосланы по всей территории Новгородского края. Конфискация монастырских имуществ не избавила новгородское духовенство от обязанности уплачивать наложенные на него штрафы. Уезжая из Новгорода, царь приказал тех попов и дьяконов, «которые не искупились от правежу», «отсылати за приставы в Олександрову слободу». Еще спустя почти год, 30 декабря, в Новгород прибыл государев посланник «правити на новгородцах от попов, которые на Москве не откупились». За городских священников, которые так и не сумели найти необходимых денег, должен был платить новгородский посад. Что касается монастырей, то в двадцати семи из них после отъезда царя остались приставы, которые продолжали выбивать из старцев деньги. Надзирал за приставами, побуждая их к действию, опричник Константин Поливанов — тот самый человек, который в 1564 году привез в Москву из Слободы грамоты Ивана IV о его отказе от царства. Все это продолжалось в течение многих месяцев. Не выдержав стояния на правеже, погибли записанные в «Синодике опальных» игумен Антониева монастыря Геласий, старец Нередицкого монастыря Пимен и многие другие, имена которых не сохранились. 13 октября 1570 года в Москву повезли выбитые из монахов деньги — 13 тысяч рублей, но лишь 5 января 1571 года «старцев государь велел сняти с правежа».

Все это до поры до времени не затрагивало жизнь новгородских горожан. По свидетельству Штадена, царь «купцам... приказал торго-

вать и от его людей — опричников брать (награбленное? — *Б.Ф.*) по доброй уплате». Но затем дело дошло и до них. Царь приказал «в лавках всякой товар грабити и торговые анбары и лавки повеле рассека-ти до основания». По свидетельству Таубе и Крузе, такие «грубые» то-вары, как воск, лен, сало, меха, сжигались; остальное, как свидетель-ствует уже Штаден, свозилось в один из монастырей под Новгоро-дом. Часть этого имущества (в частности шелковые и бархатные тка-ни) была роздана опричникам, а золото и серебро поступило в госу-дареву казну. Царь не ограничился конфискацией и уничтожением того имущества, которое находилось в Новгороде. Многие новгород-ские купцы пребывали в то время с товарами в Нарве, где вели тор-говлю с купцами из стран Западной Европы. Поэтому царь послал и в Нарву отряд опричников. То, что там происходило, подробно опи-сано в сравнительно недавно найденной немецкой брошюре, состав-ленной, по-видимому, со слов очевидцев событий — немецких куп-цов. Дома, в которых находились новгородские купцы, были ограбле-ны. Запасы их товаров частично сожжены, частично утоплены в реке Нарове. На купцов был наложен огромный штраф в 8 тысяч рублей; они были поставлены на правеж, и некоторые погибли от побоев.

Уничтожение товаров и разрушение торговых помещений еще не было концом новгородского разгрома. Дома новгородцев царь также приказал «ломати, а окна и ворота... без милости высекати». Послед-ние слова «Повести», звучащие несколько странно, подтверждаются свидетельством Штадена: «было иссечено все красивое: ворота, лест-ницы, окна». Вероятно, и в этом случае имела место какая-то симво-лическая процедура, смысл которой пока ускользает от нас. Во время этих карательных действий погибли и многие посадские люди, кото-рых опричники убивали «без пощадения и без останка». Лишь 13 фев-раля, почти через полтора месяца после появления опричных отря-дов под Новгородом, царь вызвал к себе посадских людей — «из вся-кой улицы по человеку» и объявил о прекращении казней, а через не-сколько дней с опричным войском покинул город, направившись во Псков.

Но испытания для запуганных и разоренных новгородцев на этом не кончились. Как отмечено в псковском летописце, царь еще «пове-ле правити посоху под наряд (то есть снаряжать подводы для пере-возки пушек. — *Б.Ф.*) и мосты мостити в Ливонскую землю». Обни-щавшие новгородцы не смогли, как делали ранее, нанять на свои деньги возчиков «и в посоху поидоша сами... и тамо зле скончашася нужно от глада и мраза и от мостов и от наряду». Так и не оправив-шись от последствий разорения, «мнози людие поидоша в нишем об-разе, скитаяся по чюжим странам». Писцовые описания начала 80-х годов рисуют картину страшного запустения Новгорода — ранее од-ного из наиболее крупных и богатых русских городов.

Между исследователями идут споры о том, в какой мере оприч-

ный разгром следует считать причиной такого упадка города, какая часть населения Новгорода погибла в этом разгроме. Помимо перечней казненных с указанием имен, в «Синодике опальных» помещена краткая запись, страшная в своей лаконичности: «По Малютине скаске новгородцев отдала тысящу четыреста девяносто человек». Исследователи спорят, говорит ли эта запись об общем числе казненных в Новгороде или 1490 человек убил лишь один из отрядов опричников во главе с Малютой Скуратовым. Однако и цифра в 1490 человек представляется очень значительной для средневекового города, население которого не превышало 15—20 тысяч человек. Возможно, от «морового поветрия» — эпидемии чумы, захватившей Новгород в следующем, 1571 году, людей погибло больше, чем от рук опричников, но именно опричный погром способствовал тому, что запуганные, потерявшие свои запасы и живущие в поврежденных постройках люди стали легкими жертвами «поветрия».

Поведение и самого царя, и опричников в Новгороде показывает, что царь и его советники были убеждены в существовании масштабного заговора, в котором участвовали все слои населения Новгорода. Чтобы подавить этот особенно опасный заговор и предотвратить возникновение новых, царь прибег к мерам еще более жестоким и угрожающим, чем те, которые использовались при расследовании боярского заговора 1567 года. Вместе с тем во время Новгородского погрома ярко проявилось стремление захватить и «выбить» из населения города как можно больше денег и товаров. Все это было не случайно.

По мере того как страна все более втягивалась в долголетнюю, не имевшую конца войну, росли государственные налоги. По расчетам Г. В. Абрамовича, сделанным на основе изучения комплекса новгородских писцовых книг середины — второй половины XVI века, в 70-е годы XVI века реальная тяжесть податей в 3,2 раза превышала уровень 50-х годов. Параллельно с ростом налогов стали возрастать трудности по их сбору; не спасала и жестокость государевых посланцев, безжалостно ставивших неплательщиков на правех. Будучи не в состоянии уплачивать все возраставшие налоги одни крестьяне бросали свои хозяйства, «бежали безвестно от голоду», другие резко сокращали размеры обрабатываемых земель (налог взимался в зависимости от размера обрабатываемой земли) и тайно пахали запустевшие земли. Трудности усугубили эпидемии чумы сначала 1566—1567, а затем 1570—1571 годов, значительно сократившие количество налогоплательщиков. В таких условиях царь использовал расправу над заговорщиками, чтобы пополнить свою опустевшую казну и наградить своих верных слуг — опричников.

Несомненно, царь и его советники уже в дни казней и конфискации должны были задаваться вопросом, как укрепить царскую власть в Новгороде, чтобы не допустить повторения подобных событий. Вскоре после отъезда царя, 13 марта 1570 года, на Торговой стороне

Новгорода началась очистка места для строительства «государева двора». «Государев двор» должен был стать своего рода укрепленной цитаделью, откуда власть могла бы следить за положением в городе. За этим важным шагом последовали другие. В конце февраля 1571 года в Новгород прибыли царские посланцы, объявившие, что царь берет в опричнину Торговую сторону Новгорода и две пятины — Бежецкую и Обонежскую. Часть местных дворян из Бежецкой пятины была выслана, а их поместья, наряду с поместьями казенных изменников, стали раздаваться опричникам. Осенью 1571 года царь нашел нужным даже оказать свое расположение городу, очищенному его усилиями от «измены». 30 сентября 1571 года по его приказу в Слободe мастер Иван Афанасьев слил колокол «в Великий Новъград» — очевидно, взамен большого 500-пудового «Пименовского» колокола, который во время разгрома был снят с колокольни у Святой Софии и увезен в Слободу.

Поход Ивана IV на запад окончился во Пскове. Через неделю после отъезда из Новгорода царь со своим войском подошел к этому городу. Так как планы заговорщиков, по представлениям царя, затрагивали не только Новгород, но и Псков, он намеревался и здесь покончить с «изменой». В данном случае мы не знаем, какие группы населения Пскова царь подозревал в измене. Правда, в черновиках описи архива Посольского приказа 1626 года упоминается еще сохранявшийся в то время «извет про пскович, всяких чинов людей, что они ссылались с литовским королем с Жигимонтом», но в подробной записи о составленном в Москве следственном деле псковичи не упоминаются.

О пребывании царя во Пскове в записках иностранцев сохранились лишь краткие упоминания. Единственный более или менее подробный рассказ читается в Псковской Первой летописи. По словам летописца, когда царь подошел ко Пскову, он услышал колокола, звонящие к заутрене, затем увидел псковичей, стоящих на улицах перед домами с хлебом и солью, и встречающее его духовенство во главе с игуменом Псково-Печерского монастыря Корнилием, и «умилися душею и прииде в чюство и повеле всем воем меча притупити о камень». Однако при обращении к «Синодику опальных» возникают сомнения в правдивости обрисованной летописцем картины. Здесь среди казенных встречаем имя печерского игумена Корнилия, встречавшего Ивана IV при въезде во Псков. Вместе с ним был казнен и некогда переписывавшийся с Курбским печерский старец Вассиан Муромцев. Таким образом, если даже въезд царя в город прошел мирно, то вскоре после его прибытия казни начались и здесь. То, что в итоге Псков не постигла судьба Новгорода, современники единодушно приписывали вмешательству псковского юродивого Николы.

Во всяком средневековом обществе (русское не составляло исключения) наибольшим уважением населения пользовались мона-

хи — люди, порвавшие связи с миром ради служения Богу. В сознании русского средневекового общества юродивые стояли еще выше монахов. Монах, порывая связи со светским миром, становился все же членом корпорации, обеспечивавшей ему строгий, но организованный распорядок жизни и помощь братьев в борьбе с возможными трудностями. Юродивый же порывал ради служения Богу со всеми привычными связями, со всеми формами организации. Его жизнь была крайне суровой: не имея крыши над головой, он даже зимой обитал на улицах; от мороза его защищали лишь разорванные лохмотья, а единственным украшением были железные вериги. Если монах даже самого строгого образа жизни, ушедший от собратьев в затвор, мог искать Бога в безмолвии, то юродивый служил Богу в гуще мира; его поведение, резкое и вызывающее, нарушающее общественные нормы, навлекало на него избиения и поругания. Служа Богу, такой человек сознательно обращал свою жизнь в мучения.

Русские люди, убежденные в избранничестве юродивых, приписывали им сверхъестественные возможности и пророческий дар. Не желающий в этом мире ничего, кроме мучений, не зависящий ни от кого, юродивый мог сказать и сделать то, на что не решился бы никто другой. Английский посол Джильс Флетчер, посетивший Россию в 1590 году, с удивлением записывал о московских юродивых: «Дозволяют им говорить свободно все, что хотят, без всякого ограничения, хотя бы даже о самом Боге». Флетчер записал и рассказ о московском юродивом Василии Блаженном, который «решался упрекать покойного царя (то есть Ивана IV. — *Б.Ф.*) в его жестокости и во всех утеснениях, каким он подвергал народ». В сохранившихся житиях Василия Блаженного об этом ничего не говорится, но столкновение царя и псковского юродивого Николы отразилось во многих источниках.

Это столкновение, по-видимому, произвело столь сильное впечатление, что о нем упоминают многие иностранцы, посещавшие Россию во второй половине XVI века, — Таубе и Крузе, Штаден, агент Московской компании Джером Горсей, появившийся в России после 1570 года, и уже упоминавшийся выше Флетчер. Рассказывает о нем и Псковская летопись. Из всех рассказов наиболее яркий принадлежит Флетчеру. Как записал английский посол, в ответ на присланные от царя дары юродивый послал ему кусок мяса. Когда царь удивился, почему святой муж посылает ему мясо в пост, Никола сказал: «Да разве Ивашка думает, что съесть постом кусок мяса какого-нибудь животного грешно, а нет греха есть столько людского мяса, сколько он уже съел?»

Однако авторы, писавшие ранее Флетчера, ни о чем подобном не говорят, ограничиваясь лишь сообщением о том, что юродивый угрожал царю Божьим гневом, если тот не прекратит казни. Более подробен и сложен рассказ Псковской летописи. Здесь рассказывается о том, что юродивый «ужасными словесы» требовал от царя «еже пре-

стать от велия кровопролития и не дерзнути еже грабити святых Божия церкви». Однако царь, «ни во что же вменив» его слова, приказал снимать колокол с главного псковского храма — Троицкого собора. В это время «паде конь его лутчий по пророчеству святого», и испуганный царь бежал из города. Лишь благодаря недавней находке немецкой брошюры 1572 года удалось понять смысл этого пророчества. Принимая царя, юродивый будто бы сказал: «Хватит мучить людей, уезжай в Москву, иначе лошадь, на которой ты приехал, не повезет тебя обратно».

Текст немецкой брошюры может служить доказательством того, что отраженный в летописном своде XVII века рассказ имеет действительно раннее происхождение. Вместе с тем в брошюре (как и в других свидетельствах) говорится о выступлении юродивого против казней, но вовсе не о защите им церковного имущества. Этот мотив, очевидно, был привнесен самим летописцем, принадлежавшим к среде псковского духовенства. Вставки он делал, по-видимому, в уже имевшийся рассказ, отсюда глубокие противоречия в его повествовании, которые бросаются в глаза при обращении к заключительной части его рассказа. Бежав из города, царь «стоял на посаде немного и отъиде к Москве», но перед этим «повеле грабити имения граждан», «а церковную казну по обителем и по церквам, иконы и кресты, и сосуды, и книги, и колоколы пойма с собою». Получается, что и после исполнения пророчества святого испуганный царь тем не менее наложил руку на имущество церкви. Как представляется, все встанет на свои места, если принять вслед за большинством свидетельств, что юродивый требовал прекращения казней, и когда его прорицание исполнилось, царь отступил от своих первоначальных намерений. Почему же слова юродивого произвели на царя такое впечатление, что он отказался от намерения «сыскывать измену» во Пскове? Почему юродивый добился успеха там, где потерпел поражение митрополит Филипп? Очевидно, подобно всему русскому обществу того времени, царь верил, что устами юродивого может говорить Бог, и, когда эта вера была подкреплена знамением, он подчинился Божьей воле. Однако можно полагать, что от своих подозрений в отношении Пскова царь не отказался. Об этом говорит вывоз из псковских храмов всего церковного убранства. Была пополнена и царская казна за счет имущества церкви и псковских горожан. Действия царя во Пскове еще раз подтверждают, что государство испытывало серьезные финансовые трудности и пополнение государственной казны было одной из главных задач похода опричного войска на северо-запад.

На обратном пути, в Старице, бывшей резиденции недавно убитого Владимира Андреевича, царь устроил смотр возвращавшимся из похода опричникам. Отсюда он направился в свою опричную столицу — Александрову слободу. К тому времени туда, вероятно, уже до-

ставили арестованных в Новгороде приказных людей и приближенных архиепископа Пимена. Здесь, в опричных застенках, царь желал узнать все о связях новгородских заговорщиков.

МОСКОВСКИЕ КАЗНИ

«Розыск об измене» продолжался вплоть до лета 1570 года, и новые изменники были найдены. Направление поисков во многом определялось тем, что власть в Новгородской земле находилась в руках «приказных людей» — новгородских дьяков и их подчиненных, которых царь и его окружение считали едва ли не главными организаторами заговора. Новгородские дьяки Кузьма Румянцев и Богдан Ростовцев, арестованные в Новгороде, были доставлены к царю, чтобы дать показания о своих связях с другими возможными изменниками. Все группы только возникавшего и еще достаточно немногочисленного чиновничества (в особенности его высшие слои) были тесно связаны между собой. Дьяков московских приказов неоднократно посылали в крупные провинциальные города, чтобы возглавить местную администрацию. В таких условиях допросы и пытки новгородских дьяков должны были привести опричных следователей в среду высшего московского чиновничества, а существовавшие в этой среде, как и в других частях тогдашней русской политической элиты, соперничество в борьбе за власть и влияние способствовали тому, что весьма влиятельные люди не только поддерживали подозрения царя в отношении обвиняемых, но и превращали их в уверенность. К лету 1570 года сыск по делу о новгородской измене был закончен. На площади в Китай-городе поставили плахи. Но когда 25 июля на площадь были выведены обвиняемые и им стали зачитывать смертный приговор, то главными лицами среди обвиняемых стали вовсе не новгородцы.

Главными фигурами среди обвиняемых оказались долголетние советники царя, выходцы из рядовых дворянских фамилий, возвысившиеся благодаря личным способностям и за это царем ценившиеся, — долголетний главный советник царя по вопросам внешней политики, хранитель большой государственной печати дьяк Иван Михайлович Висковатый и царский казначей Никита Афанасьевич Фуников Курцов, близкий родственник одного из крестных отцов царя. В сохранившейся записи о новгородском следственном деле отмечено, что с Висковатым и Фуниковым находились в сношениях новгородские заговорщики, которые вместе с ними царя «хотели злым умышлением извести, а на государство посадити князя Володимера Ондреевича».

Из подробного описания казней, которое оставил находившийся в то время в Москве Шлихтинг, видно, что этим обвинения по адре-

су «канцлера» (то есть Висковатого) не ограничивались. Его обвинили не только в том, что он обещал передать польскому королю Новгород и Псков, но и в сговоре с татарами и османами, которых он якобы тайно призывал совершать набеги на русскую землю. Именно по его совету султан якобы послал войска на Астрахань. Такие обвинения вряд ли могли исходить от арестованных новгородских дьяков. За ними угадывается лицо, гораздо более знакомое с положением дел в русской внешней политике, а именно один из главных врагов «канцлера» — дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов. Именно он зачитывал Ивану Михайловичу эти обвинения и именно он унаследовал его должность, а его брат Василий получил часть владений казенного.

В случае с Висковатым в нашем распоряжении есть редкая возможность проверить справедливость этих обвинений. Когда бежавший в сентябре 1570 года из России Шлихтинг сообщил литовским политикам о казни Висковатого и выдвинутых против него обвинениях, один из ведущих политиков Великого княжества Литовского, подканцлер Остафий Волович написал в письме одному из литовских вельмож: «Не знаю об этих басурманах (татарах и турках. — *Б.Ф.*), но к государствам нашего господина (короля Сигизмунда II. — *Б.Ф.*) не был благосклонен, всегда был труден для послов его королевской светлости». Да и верил ли в обвинения Висковатого в тайном сговоре с поляками сам царь? Обращает на себя внимание то, что совсем незадолго до казни и ареста печатника Иван IV воспользовался его дипломатическими способностями для заключения договора о перемирии с Сигизмундом II. 30 июня, менее чем за месяц до казни, Иван Михайлович Висковатый держал поднос с текстом договора, когда царь приносил присягу его соблюдать.

Исследователи давно обратили внимание на рассказ Шлихтинга, который проливает свет на истинные причины немилости царя. Судя по его сообщению, Висковатый уговаривал Ивана IV прекратить казни «и просил его подумать о том, с кем же он будет впредь не то, что воевать, но и жить, если он казнил столько храбрых людей». Вероятно, именно такого рода просьба и вызвала у царя подозрение в тайном сговоре его хранителя печати с новгородскими заговорщиками. Вместе с тем для царя был определенный смысл в выдвижении против Висковатого обвинений в сговоре с соседними враждебными России государствами. Произнесенные публично такие обвинения давали собравшемуся на площади народу ответ на вопрос, почему продолжается и никак не закончится Ливонская война, почему русская земля снова подвергается опустошительным набегам татар.

Вместе с Фуниковым и Висковатым на площади были публично казнены дьяки, стоявшие во главе целого ряда наиболее важных московских приказов: Василий Степанов, возглавлявший Поместный приказ, Иван Булгаков — глава Большого прихода — главного фи-

нансового ведомства России того времени, Григорий Шапкин — глава Разбойного приказа. Казни были жестокими и мучительными. Автор «Пискаревского летописца» записывал, что царь «повеле казнити дияка Ивана Висковатого по суставам резати, а Никиту Фуникова дияка же варом (кипятком. — *Б.Ф.*) обварити». Некоторые из арестованных были казнены вместе с семьями (это подтверждается записями в «Синодике опальных»). По установившемуся в опричнине обычаю в качестве палачей выступали лица из близкого окружения царя, причем не только опричники, но и земские бояре.

Еще в начале 60-х годов XVI века бежавшие за границу от царя недовольные упрекали его в том, что тот ищет себе опору в чиновничестве, выдвигая и возвышая его в ущерб родовитой знати и вообще благородному сословию. Так думал не один Курбский, чей отзыв уже цитировался в одной из предшествующих глав книги. Бежавший от гнева царя сын боярский Тимофей Тетерин язвительно писал преемнику Курбского на посту ливонского наместника боярину Михаилу Яковлевичу Морозову, что царь больше не опирается в осуществлении своей власти на бояр: «Есть у великого князя новые верники — дьяки, которые его половиною кормят, а другую половину себе едят, у которых дьяков отцы вашим (то есть боярским. — *Б.Ф.*) отцам в холопстве не пригожались, а ныне не токмо землею владеют, но и головами вашими торгуют».

Формирующееся чиновничество было одной из естественных опор сильной центральной власти. В особенности это относится к тем чиновникам, которые стояли во главе центральных органов управления: от силы и значения центральной власти прямо зависела их сила и влияние. Однако к 1570 году высшее чиновничество наряду со многими другими группами русского общества подверглось суровым репрессиям. Дает ли это основания для вывода, что в отношениях между высшим чиновничеством и властью возникли какие-то принципиальные противоречия? Как представляется, такой вывод был бы неверным. События июля 1570 года говорят скорее о другом. Состояние постоянной борьбы с «изменой», в котором оказалось русское общество с установлением опричного режима, постоянные поиски изменников везде и всюду — все это наложило глубокий отпечаток на характер отношений в русской правящей элите, придав особый специфический характер всегда происходившей в этой среде борьбе отдельных групп между собой за власть и влияние. В годы опричнины, по мере того, как репрессии усиливались, а масштабы их все более расширялись, наиболее эффективным орудием борьбы за власть и влияние оказывались обвинения соперников в измене. Так борьба за власть и влияние двух группировок высшей московской бюрократии — одной во главе с Висковатым и Фуниковым, а другой во главе с братьями Щелкаловыми — закономерно завершилась кровавым финалом, и высшие чиновни-

ки увеличили число лиц, казненных по обвинению в участии в новгородском заговоре.

Вместе с тем есть основания полагать, что казнь этих чиновников, подобно казни Висковатого, также была использована царем, чтобы создать у населения благоприятное представление о своей политике. К такому выводу приводят наблюдения над некоторыми особенностями записок Генриха Штадена. Хорошо известно, что его рассказ о «стране и правлении московитов» открывается подробным описанием различных злоупотреблений, которые совершаются в московских приказах: Штаден детально описывает различные способы, с помощью которых дьяки и подьячие присваивали себе часть государственных средств и вымогали взятки с просителей. Характерно, что при этом в качестве лиц, совершавших все эти злоупотребления, фигурируют не те дьяки, которые стояли во главе этих приказов в середине 70-х годов XVI века, когда Штаден покинул Россию, а те лица, которые их возглавляли до казней 1570 года. Интересен и контекст этого описания у Штадена. Рассказ о злоупотреблениях завершается словами: «Так управляли они при всех умерших великих князьях», а затем автор переходит к рассказу об учреждении опричнины. Из контекста можно сделать вывод, что опричный режим именно и был создан для борьбы с этими злоупотреблениями. И такой вывод мы находим в другом месте записок. «Он, — говорит Штаден о царе, — хотел искоренить неправду правителей и приказных страны... Он хотел устроить так, чтобы новые правители, которых он посадит, судили бы по судебникам без подарков, дач и приносов. Земские господа вздумали этому препятствовать». В этих высказываниях Штадена нельзя не видеть явные отголоски опричной пропаганды, связанной с казнями лета 1570 года.

Царь желал, чтобы его считали защитником своих подданных, и жестоко карал приказных людей за их злоупотребления. В уже упоминавшемся сочинении Флетчера сохранился рассказ о наказании царем дьяка, который в качестве взятки принял жареного гуся, начиненного деньгами. Царь «спросил палачей своих, кто из них умеет разрезать гуся, и приказал одному из них сначала отрубить у дьяка ноги по половине икр, потом руки выше локтя (все время спрашивая его, вкусно ли гусиное мясо) и наконец, отсечь голову, дабы он совершенно походил на жареного гуся». Как следует из рассказа Флетчера, казнь была совершена публично на торговой площади в Москве в присутствии царя, который перед наказанием дьяка сам обратился к собравшимся со словами: «Вот, добрые люди, те, которые готовы съесть вас как хлеб». Таким образом, царь не только жестоко карал недобросовестных слуг, но и желал, чтобы об этом было широко известно. Если Висковатый был причиной бедствий, обрушившихся на Россию со стороны внешних врагов, то другие казненные с ним дьяки довели народ России до того тяжелого бедственного состояния, в

каком он оказался на двенадцатом году Ливонской войны и на шестом году опричнины.

Однако московские казни лета 1570 года запомнились в общественном сознании совершенно иначе, чем этого желал царь. Именно эти события послужили толчком к созданию в московской посадской среде Повести о Харитоне Белоулине, сохранившейся в ряде списков XVII века. В повести рассказывается, что однажды, когда московские люди поднялись утром, они увидели, что на площади «уготовлено 300 плах, 300 топоров... 300 палачей стоят у плах». Все люди в Москве, князья и бояре, гости и «всякого чину люди», были охвачены страхом и только говорили: «Господи помилуй!» Затем на площадь выехал царь «в черном платьи и на черном коне». Царь приказал схватить 100 князей, 100 бояр, 100 «гостей больших» и «плахи клонить». «И людие московские быша в велицей погибели, не ведуще, за кою вину их схватиша».

Семи гостям уже отрубили головы, когда пришла очередь восьмого, Харитона Белоулина. Он был «собою велик, черны власы, страшен образом» и, отталкивая палачей, «з грубостию» закричал царю: «Почто еси неповинну нашу кровь излиешь!» На помощь палачам бросились царские псари и отрубили ему голову, но труп, страшно трясясь, поднялся, сбивая с ног палачей. «Царь же усумневся и страхом одержим и погна с своими холопы со всеми стрельцы и псари за Неглинную во свои царские хоромы». Через некоторое время от него пришел приказ освободить арестованных. «И плахи спряташа и разыдошася вси во своя домы». Труп же стоял, трясясь, весь день, и упал лишь во втором часу ночи.

Московские казни воспринимались как страшное бедствие, беспричинно обрушившееся на русских людей. Стоит отметить, что и здесь, как и в рассказе о смерти Федора Сыркова, главным героем оказывается человек, который смело выступает против царского произвола.

Мы не знаем, как отнесся царь к «измене» близких советников, верно служивших ему в течение многих лет. Вероятно, она стала для него еще одним доказательством того, что надо усилить борьбу с изменой и поиск изменников. Однако царя должно было глубоко потрясти то обстоятельство, что изменники обнаружили в рядах его ближайшего окружения в опричнине. В записи о новгородском следственном деле читаем, что новгородские заговорщики «ссылалися к Москве з бояры с Олексеем Басмановым с сыном ево с Федором... да со князем Офонасьем Вяземским» — то есть с ближайшими советниками царя, занимавшими самые высокие места в опричном дворе. Пытаясь объяснить, почему царь так резко разошелся со своими ближайшими приближенными, некоторые исследователи (например, Р. Г. Скрынников) полагали, что эти советники царя не поверили в существование новгородского заговора и возражали против царского

похода на Новгород. Следует, однако, иметь в виду, что это лишь логическое допущение, которое не подкреплено какими-либо серьезными доказательствами.

Как и во многих других случаях, хотелось бы знать гораздо больше об этом важном моменте в биографии царя и в истории опричного режима. В действительности, кроме упоминания в записи о новгородском следственном деле, нам неизвестно ничего о причинах опалы, постигшей Алексея Басманова и его сына. Несколько больше мы знаем о причинах опалы Афанасия Вяземского. По сообщению Шлихтинга, один из опричников, царский ловчий Григорий Ловчиков, донес царю на Вяземского, «якобы тот выдавал вверенные ему тайны и открыл принятое решение о разрушении Новгорода». По мнению Р. Г. Скрынникова, Вяземский известил о решении царя архиепископа Пимена, однако из текста Шлихтинга этого вовсе не следует, к тому же сам Шлихтинг утверждал, что донос был ложным. Сообщение Шлихтинга бросает определенный свет на обстановку, в которой произошел разрыв царя с его наиболее близкими доверенными людьми. Лишь в представлении Ивана опричное братство было объединением единомышленников для совместной борьбы с носителями зла. В действительности, братство было прежде всего собранием честолобцев, рассчитывавших благодаря службе в опричнине достичь влияния, власти и богатства. Первоначально, пока новый режим в стране лишь утверждался, члены братства, по-видимому, испытывали потребность держаться друг за друга, но когда эта цель была успешно достигнута, а возможная оппозиция раздавлена, в верхах опричного двора началась обычная борьба за власть и влияние. Не было ничего удивительного в том, что и в этой среде главным орудием борьбы стали обвинения в измене с фатальными для обвиняемых последствиями.

О судьбе Афанасия Вяземского сведения сохранились лишь в записках иностранцев — Шлихтинга и Штадена. По рассказу Шлихтинга, царь отстранил князя от участия в новгородском походе, приказав ждать в Москве его возвращения. А потом, подобно новгородским священникам, Афанасий Вяземский по приказу царя был поставлен на правех как несостоятельный должник. Князя постоянно били палками, требуя уплаты все новых и новых денежных сумм. Утратив все имущество, избиваемый, чтобы избавиться от наказаний, указывал на московских купцов, которые якобы были должны ему много денег. Покинувший Россию в сентябре 1570 года Шлихтинг записал, что «несчастный до сих пор подвергается непрерывному избиванию». Поскольку имени Вяземского в «Синодике опальных» нет, можно отнестись с доверием к сообщению Штадена, что князь умер в тюрьме «в железных оковах».

Что касается Алексея и Федора Басмановых, то, как рассказывали их потомки в начале XVII века, они были сосланы на Белоозеро и там

«их не стало в опале». Присутствие имени Алексея Басманова в «Синодике» не оставляет сомнений в том, что он был казнен по приказу царя. По свидетельству Курбского, царь приказал Федору Басманову убить собственного отца, но это, по-видимому, не спасло сына.

Своих опричных советников царь не стал выводить на площадь с другими арестованными для совершения публичной казни. Не сопровождалась их казни и «всеродным» истреблением их родственников. Многочисленные князья Вяземские были удалены из опричного двора, но, как видно из описания Романовского уезда конца XVI века, сохранили здесь свои владения, в том числе и те, что были получены ими в годы опричнины. По Федоре Басманове царь дал на помин души 100 рублей в Троице-Сергиев монастырь, а его сыновей через некоторое время «взял к себе, государю, и те им отца их вотчины, которые были в роздаче, все велел им отдать».

Сам царь, вероятно, считал, что он поступил с бывшими советниками слишком мягко, но в его глазах они были, конечно, самыми худшими из изменников, так как пренебрегли оказанными им милостями и злоупотребили его доверием. Царь не впервые расставался со своими близкими советниками, но на этот раз разрыв должен был оказаться для него особенно болезненным. Речь шла о людях, которых царь сам выбрал из числа ненадежных и неверных подданных за их преданность и верность, рассчитывая, что они будут надежной опорой его власти и защитой от крамольных подданных, но оказалось, что измена проникла в ряды не просто опричников, а в ряды опричного «братства», круга людей, по убеждению царя, связанных с ним не только долгом верности, но и узами своеобразного духовного родства.

Со времени опалы Басманова и Вяземского начались поиски изменников в рядах опричного окружения царя. И результаты не замедлили появиться: по приказу царя был пострижен в монахи в Троице-Сергиевом монастыре, а затем и казнен опричный дворецкий Лев Андреевич Салтыков, был казнен и наиболее знатный из опричных думных дворян царя — Иван Федорович Воронцов. В таких условиях опричное «братство» вокруг царя должно было распасться. Характерно, что агент Московской компании Джером Горсей, появившийся в России в 1573 году и подробно описавший в своих «Путешествиях» последний период правления Грозного, не упоминает о существовании в окружении царя чего-либо подобного.

Иван окончательно избавился от иллюзий в отношении окружавших его людей. Разумеется, в дальнейшем мы сможем увидеть возле него приближенных, которые пользовались его особым доверием, щедро одаривались, выполняли его важные и ответственные поручения. Но отношение царя к ним, как мы увидим далее, было далеко от того, что существовало между царем и членами его опричного «братства».

С продолжением Ливонской войны международное положение России все более осложнялось и запутывалось. Попытка царя осенью 1567 года решительным ударом изменить ход войны в свою пользу закончилась безрезультатно. Не удалось осуществить и планы русско-шведского союза. После завершения русско-шведских переговоров в Александровой слободе в Швецию выехало посольство во главе с боярином Иваном Михайловичем Воронцовым. Послы должны были добиться ратификации Эриком XIV договора о союзе и доставить в Россию сестру Сигизмунда II королевну Екатерину. Добравшись летом 1567 года до Стокгольма, послы оказались там в сложном положении. Уже на приеме послов 27 июля короля «изымал оморок», а потом дело долго не доходило до переговоров, так как король стал «не сам у себя своею персоною». К этому времени отношения Эрика XIV со шведской аристократией обострились. Несколько вельмож, обвиненных в государственной измене, были убиты незадолго до приезда русских послов. Длительным приступом безумия короля сумели воспользоваться его противники, освободившие из тюрьмы его брата, герцога Юхана. Хотя к весне 1568 года Эрик XIV выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей, в стране фактически установилось двоевластие и начался постепенный переход шведского дворянства на сторону Юхана. В этих условиях члены шведского правительства — государственного Совета стали выступать против заключения договора с Россией, предлагая королю примириться с братом. Король был готов выполнить договор после расправы с оппозицией и казни брата, но в сентябре 1568 года, когда войска Юхана подошли к Стокгольму, город открыл им ворота и Эрик XIV был низложен. Во время переворота русские послы были ограблены. Одного из организаторов переворота, младшего брата Юхана и Эрика, герцога Карла, они встречали в одних рубашках. На шведском троне оказался новый правитель, зять Сигизмунда II Августа и муж той самой королевны Екатерины, выдачи которой так настойчиво добивался Иван IV.

Произошедшие события, несомненно, лишний раз показали царю, насколько бдительным надлежит быть в борьбе с «изменой» и какие серьезные меры следует предпринимать для обеспечения своей безопасности. Вместе с тем было очевидно, что на планах союза со Швецией можно поставить крест. Когда осенью 1569 года от нового шведского короля прибыли послы для установления отношений между ним и Иваном IV, царь приказал их ограбить, как русских послов в Стокгольме, и сослать в Муром.

Наконец, в том же 1569 году произошло еще одно событие, неблагоприятно отразившееся на международных позициях России. 1 июля в Люблине было заключено соглашение об объединении Польши и Великого княжества Литовского в одно государство — Речь Поспо-

литу двух народов. Это означало, что в случае возобновления войны с Великим княжеством Литовским в нее вступят все военные силы Польши. Попытки решения балтийского вопроса в прямой конфронтации с этим государством теряли смысл. Со своей стороны Великое княжество Литовское, тяжело страдавшее от длительной войны и морового поветрия, желало мира. В итоге в начале июля 1570 года в Москве был заключен договор о трехлетнем перемирии между Россией и Речью Посполитой. Хотя по этому договору земли в Ливонии (в частности, в нижнем течении Западной Двины), занятые литовскими войсками, оставались на время действия договора за Речью Посполитой, русские власти получали запас времени, чтобы попытаться подчинить себе всю остальную Ливонию с ее главными портами — Таллином (Ревелем), находившимся под властью шведов, и Ригой, фактически превратившейся в 60-е годы XVI века в самостоятельную республику.

За прошедшие годы все более ясно становилось, что для русского правительства, не имевшего собственного флота, установление контроля над этими портами является наиболее трудно разрешимой задачей. Постепенно в Москве стали склоняться к тому, чтобы добиться их подчинения мирным путем.

Первый важный шаг в этом направлении был предпринят в апреле 1569 года, когда советники царя по ливонским делам Иоганн Таубе и Элерт Крузе вступили в переговоры с городскими властями Таллина. Убеждая жителей подчиниться власти царя, Таубе и Крузе доказывали, что под его властью Таллин будет жить на положении свободного имперского города, в нем не будет русских чиновников и его не будут обременять налогами. Государь, заверяли царские эмиссары, «сделает из него такой торговый город, какого не будет на всем Балтийском море». Все, что государь обещает городу, будет скреплено «печатами и удостоверено митрополитом русским и всем духовенством». Поскольку такого рода гарантии, по-видимому, показались жителям Таллина недостаточными, Таубе и Крузе пошли дальше, заявив, что «если регельцы сочтут нужным, то могут поставить над городом немецкого князя, которого найдут наиболее полезным для себя».

Тогда же, весной 1569 года, при участии Таубе и Крузе был найден и соответствующий князь. Им оказался брат датского короля Фредерика II, герцог Магнус, владелец тех земель в Ливонии, которые Дания сумела захватить во время распада Ливонского ордена. Он должен был стать главой особого государства, созданного в Прибалтике под русским протекторатом, — Ливонского королевства. После долгих переговоров с послами Магнуса в Александровой слободе в ноябре 1569 года были определены условия, на которых Магнус будет управлять этим «королевством», но лишь в июне 1570 года датский принц прибыл в Москву, принес царю вассальную присягу и получил от него грамоту, скрепленную большой золотой печатью, которая

оформляла положение Ливонского королевства как особого политического образования в рамках Русского государства.

Ливонское королевство должно было стать наследственным владением Магнуса и его потомков. Лишь после пресечения его рода преемник мог быть избран ливонскими сословиями. Обязанности ливонского монарха перед царем ограничивались тем, что для участия в военных походах русской армии он должен был выставять 1500 всадников и 1500 пехотинцев. Содержание этого войска в походе брала на себя русская сторона, и само это войско Магнус должен был выставать лишь в том случае, если царь будет лично участвовать в походе. Населению Ливонии гарантировались его традиционные сословные права и сохранение лютеранской религии. Купцам ливонских городов (прежде всего Риги и Таллина) предоставлялось право свободной и беспошлинной торговли на всей территории Русского государства. Таким образом, новое политическое образование должно было обладать весьма широкой автономией, на его территории не предполагалось иметь ни русских чиновников, ни сборщиков налогов в царскую казну.

Что же выигрывало русское правительство от создания такого государства? Ответ на этот вопрос дает пункт жалованной грамоты, по которому на жителей Ливонии налагалось обязательство свободно пропускать в Россию всех купцов с товарами и мастеров-ремесленников, направлявшихся через Ливонию. Содержание этого важного документа проливает дополнительный свет на те цели, ради которых Россия в конце 50-х годов XVI века вступила в войну с Ливонским орденом. Становится очевидно, что главной целью русской внешней политики было в данном случае не приобретение земель или стратегически важных пунктов, а установление свободного и непосредственного обмена со странами Западной Европы. Ради достижения этой цели русская власть была готова идти на далеко идущие уступки ливонским горожанам и рыцарству.

С какими именами в окружении царя следует связывать этот поворот в русской внешней политике? На первый взгляд, следует говорить прежде всего о ливонских советниках Таубе и Крузе, которые и вели от имени Ивана IV переговоры и с Таллином, и с Магнусом. Однако надо учитывать, что сама идея превращения Ливонии в государство под русским протекторатом появилась еще в конце 50-х годов XVI века, когда Таубе и Крузе сидели в русской тюрьме. Тогда эта идея родилась при непосредственном участии Адашева и Висковатого. В 1569 году, когда этот план активно реализовывался, Адашев был давно мертв, но Иван Михайлович Висковатый продолжал оставаться одним из главных руководителей русской внешней политики. В плане создания Ливонского королевства следует видеть один из последних замыслов многоопытного политика, вступивший в стадию практической реализации уже после его трагической смерти.

Однако от кого бы ни исходил этот план, он получил одобрение царя, а это характеризует Ивана IV как гибкого политика, способного и готового идти на уступки ради достижения важной цели. Царь не только одобрил план, но и активно старался способствовать его осуществлению. Именно в эти годы он охотно заявлял, что сам по происхождению — немец, что немцев как народ он ставит выше своих русских подданных, что он желает мира и дружбы с немецкими государями и хотел бы выдать двух своих сыновей за немецких принцесс. Царь даже намекал, что, может быть, сделает Магнуса своим наследником. Он приказал освободить из московских тюрем всех немецких пленных и разрешил вернуться в Юрьев (Тарту) высланным оттуда в 1565 году немецким горожанам.

Прибывший в Москву в июне 1570 года Магнус был обручен с племянницей царя Евфимией, дочерью недавно казненного Владимира Андреевича. В приданое за ней было обещано пять бочек золота. Магнуса и его свиту осыпали щедрыми дарами, среди которых имелись золотые и серебряные кубки, лошади редких пород, меха и драгоценные шелковые ткани.

Была весьма важная причина для того, чтобы при выборе «немецкого князя» для управления Ливонией остановиться на особе датского принца. Ливонское королевство, положение которого определяла жалованная грамота царя Магнусу, еще предстояло создать. Магнусу была передана часть русских владений в Ливонии, а в дальнейшем в состав его королевства должны были войти ливонские земли, находившиеся под властью Речи Посполитой и Швеции. Даже если бы ливонские горожане и рыцари встали на сторону Магнуса, войска этих государств все равно пришлось бы удалять силой. Поскольку с Речью Посполитой вскоре после приезда «ливонского короля» в Москву было заключено перемирие на три года, Ливонское королевство должно было образоваться прежде всего на землях, которые к 1570 году находились под властью шведов. В своей жалованной грамоте царь обязывался дать Магнусу войско для занятия этих земель, но при этом и царь, и его вассал рассчитывали на помощь со стороны датского короля Фредерика II. Фредерик был не только родным братом Магнуса, но и главой государства, которое в течение долгого времени соперничало со Швецией в борьбе за господство на Балтийском море. Между этими государствами уже в течение ряда лет шла война, которая не прекратилась и с низложением Эрика XIV. В сентябре 1570 года, извещая датского короля о том, что он «посадил Магнуса королем на своей отчине на Вифлянской земле», царь писал ему: «А тебе б, дацкому королю Фредерику, для того нашего царского величества жалованья с нами в единстве быти, против наших литовских и польских и свейских недругов стояти за один и послов своих к нам прислати и с нами о том dokonчание подкрепити».

В среде ливонского дворянства идея создания Ливонского королевства имела определенный успех. Уже в июне 1570 года Магнус прибыл в Москву в сопровождении отряда ливонских дворян, а затем, когда он выехал в свои ливонские владения, к нему присоединились новые отряды. Но с Таллином дело не пошло так легко. Городские власти упорно отказывались признать Магнуса своим господином и удалить из города шведский гарнизон. Поэтому было решено прибегнуть к силе. 25 июня 1570 года, почти сразу после заключения перемирия с Речью Посполитой, было принято решение о походе Магнуса под Таллин в сопровождении русского войска и «наряда» — артиллерии. 21 августа войска подошли к Таллину, а 2 сентября артиллерия начала обстрел города.

Пока русские войска обстреливали и штурмовали Таллин, Магнус вел переговоры с таллинским магистратом. Он обещал горожанам разнообразные блага и клялся, что если город признает его власть, русские войска не вступят в крепость, город вместе с ним посетят лишь самые знатные из русских военачальников. Возможно, в иной ситуации Магнус и преуспел бы в своих уговорах, но в памяти таллинских горожан еще свежо было такое недавнее событие, как разгром Новгорода. О казнях первых лет опричнины, судя по всему, здесь знали мало и они не привлекли к себе большого внимания. Разгром же Новгорода был событием, происшедшим совсем близко от Таллина, касался хорошо известного таллинским горожанам города, а его очевидцами были многочисленные немецкие купцы, торговавшие в России. Современник событий, таллинский пастор Балтазар Рюссов поместил на страницах своей хроники подробный рассказ об этом событии, местами очень близкий к тому рассказу новгородской повести, о котором говорилось выше. Свой рассказ Рюссов заключил следующими многозначительными словами: «...немцы, бывшие в Москве в то время... сознавались, что если бы неприятель со стотысячным войском пробыл в России, воюя целый год, то немыслимо, чтобы он нанес Московиту такие убытки, какие он нарочно наносил сам себе». Таллинские горожане не хотели, чтобы их город постигла судьба Новгорода. Поэтому они стойко отвергали все предложения Магнуса и поливали холодной водой стены крепости, чтобы не позволить осаждавшим на них взобраться.

16 октября войско под Таллином было усилено большим отрядом опричников. «Этот отряд, — записал в своей хронике Рюссов, — гораздо ужаснее и сильнее свирепствовал, чем предыдущие, убивая, грабя и сжигая, они бесчеловечно умертвили много дворян и простого народу».

Когда Магнус, справедливо опасавшийся, что подобные поступки могут помешать успеху переговоров, пожаловался царю, тот приказал отозвать опричников, а командовавших войском воевод, земского боярина Ивана Петровича Яковлева и опричника Василия

Ивановича Умного Колычева, как допустивших оплошность, арестовать и отправить в оковах в Москву. Но все происшедшее было для горожан Таллина дополнительным стимулом к тому, чтобы стойко держаться.

Положение защитников города стало бы критическим, если бы на таллинском рейде появился и поддержал действия русских войск датский флот. Но датский флот не пришел, и шведские суда могли беспрепятственно снабжать Таллин продовольствием и запасами. Более того, именно в то время, когда началась осада Таллина, в сентябре 1570 года начались мирные переговоры между Данией и Швецией, а в декабре между этими государствами был заключен мирный договор. С этого времени на содействие Фредерика II в войне со Швецией нельзя было рассчитывать. 16 марта 1571 года русские войска были вынуждены снять осаду. Царь не исключал, что Магнус может в будущем ему понадобиться. На содержание его войск он выделил часть доходов юрьевского наместничества, но план создания Ливонского королевства пришлось отложить до лучших времен.

Переписка, связанная с попыткой создания Ливонского королевства, позволяет проследить появление некоторых новых черт в русской внешней политике того времени. Именно в 1569—1570 годах через дипломатов Магнуса и датский двор царь стал искать сближения с австрийскими Габсбургами, с которыми Русское государство давно не поддерживало отношений.

Послы Магнуса просили советников датского короля довести до сведения главы австрийских Габсбургов императора Максимилиана II, какая опасность будет угрожать всему христианству, если после смерти Сигизмунда II на польском троне окажется его племянник, вассал турок трансильванский воевода Янош-Жигмунд. Император должен был узнать, что царь не желает лучшего соседа, чем член Австрийского дома на польском троне, и хотел бы заключить с ним союз против врага всего христианства — турок. Все эти заявления лишь отчасти имели своей целью ослабить противодействие со стороны Священной Римской империи планам создания Ливонского королевства. Главное было в том, что в Москве стали задаваться вопросом о поисках союзников для борьбы с опасностью, которая начала серьезно угрожать Русскому государству с юга.

По мере втягивания России в долгую и трудную Ливонскую войну все более ослаблялись позиции, завоеванные на юге к концу 50-х годов XVI века. Уже не могло быть и речи об активном наступлении на Крым, все труднее становилось удерживать в орбите русского влияния Ногайскую орду и оказывать помощь тестю царя — кабардинскому князю Темрюку. Началось брожение среди населения покоренных поволжских татарских ханств; в Крым потянулись посольства, призывавшие хана выслать на Волгу «царевича» с войском. В этих

условиях и в Бахчисарае, и в Стамбуле появились планы вытеснения Русского государства из Поволжья.

Планы эти в обеих столицах были разными. «Дума» крымской знати в декабре 1564 года приняла решение требовать от Ивана IV уступки Казани и Астрахани. В грамоте, посланной ханом Девлет-Гиреем в Москву, прямо указывалось, что для заключения мира с Крымским ханством недостаточно уплаты «поминок», как бы велики они ни были: «мне на тебя, брата своего, вельми гнев есть, большими поминками, многими кунами мысль моя утешена не будет». Прочный мир может быть заключен лишь тогда, когда Казань будет передана ханскому сыну Адил-Гирею, которому султан пожаловал Казань после смерти хана Сафа-Гирея. Выдвижение таких требований ясно показывало, что мир на юге сохранить не удастся и следует готовиться к тяжелой и трудной борьбе с Крымом.

Одновременно в Стамбуле намеревались использовать ослабление Русского государства для утверждения османского влияния на Северном Кавказе и в Прикаспии. Это позволило бы нанести удар по главному сопернику Османской империи Ирану на том направлении, где такого удара не ждали — на Каспийском море. В Стамбуле отдавали себе отчет в том, как долго и трудно пришлось бы прокладывать путь к Каспийскому морю, подчиняя различные народы Северного Кавказа. Отсюда появление в османской столице плана, осуществление которого позволило бы, как здесь думали, быстрее добиться поставленной цели. Уже в 1564 году крымский хан получил из Стамбула приказ готовиться к походу на Астрахань. Орде поручено было сопровождать в походе османский флот. Поднявшись по Дону до Переволоки (места, где Дон и Волга ближе всего подходят друг к другу), османский флот должен был по прорытому здесь каналу перейти на Волгу и по этой реке спуститься вниз к Астрахани. С приходом османского флота «астраханские люди» подняли бы восстание, и оказавшаяся в руках османов Астрахань стала бы опорным пунктом для утверждения османского влияния на Северном Кавказе и базой для нападения османского флота на прикаспийские владения Ирана. Обладая Астраханью, власти в Стамбуле рассчитывали установить также прямые связи с мусульманскими ханствами Средней Азии — своими союзниками в борьбе с Ираном.

Осуществлению этого плана помешала война Османской империи с Габсбургами, в которой приняла участие Крымская орда, но к концу 60-х годов XVI века в Стамбуле вернулись к прежним замыслам. В марте 1568 года хан получил новый приказ султана готовиться к походу на Астрахань, в мае в Крым были доставлены «судовые мастера» для строительства кораблей, в июле в Кафу, центр османских владений в Крыму, прибыл новый наместник Касим-паша, с ним снова приехали кораблестроители, а также «люди, которым под городом подкапываютца».

О приготовлениях к походу и планах османов относительно Астрахани известил царя Ивана не кто иной, как сам крымский хан Девлет-Гирей. Планы османов и крымской знати относительно Астрахани серьезно расходились. Крымскую знать не устраивало превращение Астрахани во владение султана и утверждение прямой османской власти на Северном Кавказе, который в Крыму традиционно рассматривали как сферу своих интересов. Окруженный османскими владениями Крым легко мог утратить ту широкую автономию, которой он пользовался в рамках Османской империи. Ослушаться приказов султана Девлет-Гирей не мог, но поспешил сообщить о них царю Ивану. Пытаясь извлечь для себя максимум выгод из сложившейся ситуации, хан предлагал: если царь согласится «посадить» в Астрахани одного из его сыновей, он убедит султана отказаться от похода на этот город.

Предложения эти не были приняты, но Москва благодаря им сумела правильно оценить размер опасности. Положение складывалось весьма серьезное: царю и его советникам было хорошо известно, что хана и султана побуждают к походу посольства из самого Поволжья. В октябре 1568 года в Крым пришли сообщения, что астраханские татары будут «на Волге приходить на московских людей», а затем прибыло посольство «от Луговых и от Горних людей от всея земли, чтоб за них царь (крымский хан. — *Б.Ф.*) стал и шел бы к Свияжскому городку и к Казани, как, деи, увидят царев шелом, и казанские, де, люди от царя и великого князя все отступят». Вызывала серьезные опасения и позиция Ногайской орды. Хотя ногайские мурзы регулярно участвовали в походах русских войск в Ливонию, в Москве было известно, что новый глава Ногайской орды Тинехмат, сменивший умершего в 1563 году Измаила, ведет тайные переговоры о союзе с Крымом. Наконец, незадолго до выступления османских войск, весной 1569 года, наиболее крупные князья на территории современного Северного Дагестана — хан Тюмени и глава кумыков шамхал заявили о своей готовности поддержать армию султана; шамхал даже обещал выдать османам находившегося у него русско-го посла.

Всю весну 1569 года в Крыму шли приготовления к походу, из Стамбула прибыли корабли с артиллерией и отрядами янычар. Сухопутным путем для участия в походе направилось 15-тысячное конное войско из балканских провинций империи. В Стамбуле были настроены весьма серьезно: если бы вопреки ожиданиям Астрахань сразу занять не удалось, османы намеревались здесь зимовать, поставив рядом с Астраханью свою крепость; вместе с ними должен был зимовать и крымский хан с ордой. В начале июля Касим-паша с османским войском и флотом двинулся из Азова вверх по Дону и к середине августа, не встречая какого-либо сопротивления, дошел до Переволоки, где соединился с крымским ханом. Отсюда Касим-паша по-

спешил сообщить в Стамбул, что задуманный план выполняется успешно. Далее, однако, начались трудности.

Во-первых, оказалось, что вырыть канал и переправить по нему османские суда в Волгу невозможно. Тогда паша приказал делать «волоки и колеса», чтобы перетащить суда «волоком», «и пошли к Волге и шли половину дни и стали волоки и колеса портиться». В измученном бесплодными работами войске начались волнения, турки пришли к паше «с великою бранью»: «И ты то манил, что мочно Дон с Волгою спустити в одно место, и мы нынеча твою ману видели». Хан предложил наместнику вернуться в Азов, и на этом поход бы закончился, но в это время прибыло посольство от астраханских татар: «Каторги (то есть галеры, гребные суда. — *Б.Ф.*) ваши нам не надобе, мы тебе судов привезем, сколько вам надобе». В итоге Касим-паша принял решение идти с войском под Астрахань, вернув в Азов корабли вместе с находящимися на них пушками.

16 сентября Касим-паша и хан подошли к Астрахани и «астороханские люди и со многими суды к ним приехали». Однако овладеть Астраханью не удалось. В Москве своевременно приняли меры к защите крепости. В начале 1569 года в Астрахань был послан новый воевода окольный Долмат Федорович Карпов, очевидно, с подкреплениями. Не имея артиллерии, османы не могли штурмовать город, а русские пушки со стен крепости успешно обстреливали вражеский лагерь. По приказу султана Касим-паша начал строить крепость на «старом городище» под Астраханью, чтобы «зимовать» там. Тем временем к Астрахани подошла на судах русская «плавная рать», которую собрали весной 1569 года, во главе с боярином князем Петром Семеновичем Серебряным Оболенским. «Плавная рать» нанесла удар по тем ногайским и астраханским татарам, которые перешли на сторону султана и снабжали продовольствием османское войско. В итоге турки снова «пришли... на пашю с великою бранью», и 26 сентября осада с Астрахани была снята. Как отмечали русские современники событий, Девлет-Гирей, желая убедить правящие круги в Стамбуле в бесполезности подобных походов, нарочно повел османское войско к Азову «по безводным местом», и значительная часть его погибла, так и не дойдя до этого города.

Астраханский поход закончился полной неудачей, но причиной неудачи были ошибочный план действий османов и разногласия между Бахчисараем и Стамбулом. Русское же войско не нанесло противникам решительного поражения, и угроза с юга продолжала сохраняться.

В следующем году планы похода на Астрахань в Стамбуле были оставлены: началась война с Венецией, и войска и флот потребовались на Средиземном море. Благодаря этому, однако, крымский хан мог приступить к осуществлению собственных планов, направленных против Русского государства. Хан не скрывал своих враждебных

намерений: раз царь не отдает Казани и Астрахани, писал он Ивану IV, «и меж дву нас миру и дружбе как быть». Весной 1570 года хан послал своего сына Адил-Гирея против царского тестя — кабардинского князя Темрюка. В начавшейся войне Темрюк потерпел поражение, был ранен, а двое его сыновей попали в плен к татарам. Эта неудача серьезно ослабила позиции России на Северном Кавказе. Не могло не беспокоить Москву и то, что неудача астраханского похода не привела к ослаблению связей между Крымом и Ногайской ордой: уже зимой 1569/70 года в Бахчисарае снова появились ногайские послы, которые вели переговоры о браке одного из ханских сыновей с дочерью Тинехмата.

Все это заставляло постоянно держать на южной границе по Оке войска, которые были так нужны на ливонском фронте. Здесь стражу от татар несли во главе русской рати первые лица в государстве: Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, Михаил Иванович Воротынский. В 1570 году дело ограничилось нападениями крымских царевичей на каширские, рязанские и новосильские места, а весной следующего, 1571 года в поход выступил хан со всей ордой. Хан рассчитывал на успех, так как захваченные пленные сообщали: «На Москве и во всех городех мор и меженина великая, а рать, де, свою всю... государь послал с королем да с Ываном Петровичем Яковля в Немцы».

Весной 1571 года на Оке, как и раньше, стояли войска во главе с Иваном Дмитриевичем Бельским и Иваном Федоровичем Мстиславским. Их должно было усилить опричное войско, которое во главе с самим царем 16 мая 1571 года выступило из «Слободы на берег».

Впоследствии, когда произошли трагические события, поставившие царя в трудное и исключительно опасное положение, по обыкновению был начат розыск изменников. Интересовавшие царя сведения доставил ему из Крыма гонец Севрюк Клавшов, отправленный к Девлет-Гирею в конце лета 1571 года. Оказалось, что хан с ордой, к которой присоединился большой отряд ногайцев, хотел предпринять набег в район Козельска, когда в его лагере появился перебежчик — галицкий сын боярский Башуй Сумароков, призвавший хана к походу на Москву. Затем, на «Злыньском поле», в лагере хана появилась целая группа перебежчиков — детей боярских из разных южных уездов, которые говорили хану, что «на Москве и во всех городех московских по два года была меженина великая и мор... многие люди вымерли, а иных многих людей государь в опале своей побил; а достальные воинские люди и татарове все в Немцах, а государя, де, чают в Серпухов с оприш니ною, а людей, де, с ним мало». Все эти сведения соответствовали действительности: страна была разорена голодом, моровым поветрием и опричными казнями, значительная часть войска еще находилась в Ливонии после безуспешной осады Таллина, опричное войско, сопровождавшее царя, было действительно неве-

лико и состояло всего из трех полков. Особую активность проявил сын боярский из Белева Кудеяр Тишенков, предложивший проводить татарское войско «через Оку и до Москвы». Видимо, благодаря содействию Кудеяра были найдены броды на верхней Оке в окрестностях Кром, и орда обошла стоявшую на этой реке русскую армию. Перед татарами оказалось лишь опричное войско во главе с самим царем. Однако оно не приняло боя и отступило.

Приказывая гонцу собирать «вести» в Крыму, царь хотел узнать, кто сообщил хану о местонахождении его ставки, как получилось, что многочисленное татарское войско неожиданно оказалось в опасной близости от нее. Вскоре после событий царь жаловался литовскому гонцу Ворушаю, что «мои привели меня на татарское войско, [оно было] в четырех милях, а я о них не знал». О том, что произошло далее, в «Разрядных книгах» сказано кратко и весьма сдержанно: царь «тогда воротился из Серпухова, потому что с людьми собратца не поспел». Более подробна, но столь же сдержанна современная запись, приписка к тексту Никоновской летописи: «Царь и великий князь Иван Васильевич с опричниною в те поры шол из Серпухова в Бронниче село в Коломенском уезде, а из Броннича села мимо Москву в Слободу, а к Москве не пошел, а из Слободы пошел в Ярославль и дошел до Ростова, и тут пришла весть, что Крымский хан пошел прочь». При всей сдержанности записи чувствуется удивление ее автора — царь не поехал в Москву, чтобы готовить столицу к обороне, а уехал на север и увел с собой значительную часть опричного войска: позднее под Москвой опричниками командовал князь Василий Иванович Темкин, который в этом войске ранее занимал не самое заметное место второго воеводы передового полка. Князь Курбский, у которого не было каких-либо причин для такой сдержанности, оценивал происшедшее гораздо более определенно — «бегун пред врагом и храняка (то есть тот, кто хочет сохранить себя. — *Б.Ф.*) царь великий христиански пред бусурманским волком».

Не вызывает сомнений, что царь испугался, но испугался не татар, а прежде всего собственных подданных. По убеждению царя, он оказался в тяжелой и трудной ситуации благодаря действиям «изменников». Что же могут сделать эти люди, если со своим небольшим войском он вступит в бой с татарами? Уже неоднократно упоминавшийся в нашей книге Джильс Флетчер, собиравший при царе Федоре Ивановиче сведения о недавнем прошлом, так и записал, что царь не посмел вступить в битву, «потому что сомневался в своем дворянстве и военачальниках, будто бы замышлявших выдать его татарам». Этими же опасениями за свою власть диктовалось и решение царя увести с собой опричное войско — если бы оно погибло в бою с татарами, была бы утрачена его главная опора.

Царь, однако, не хуже Курбского знал, что подобное поведение недостойно «великого христианского царя». В конце 1572 года в бе-

седе с литовским гонцом царь сам настойчиво обращался к этой теме и пояснял, что если бы его подданные показали ему хотя бы малые доказательства своей преданности («ко мне хотя бы двух татар привели», «хотя бы мне только бич татарский принесли»), то он «не боялся бы силы татарской». Тем самым царь убеждал не только иностранного дипломата, но и самого себя, что у него были очень веские причины поступать столь неподобающим для его достоинства образом. Гнев царя обращался против «изменников», которые довели его до такого положения. Одного из таких «изменников» удалось найти еще до бегства царя. Им неожиданно оказался царский шурин, князь Михаил Темрюкович.

В особом «опричном» государстве царя Ивана Михаил Темрюкович занимал очень высокое положение. Он стоял во главе опричной Думы и командовал в походах опричным войском, а если в походе участвовал сам царь, то стоял во главе царского полка. Этим высоким положением он был обязан свойству с царем. Выше уже говорилось о том, что в отличие от Анастасии Романовны вторая жена Ивана активно участвовала в его делах. В особенности это касалось отношений с Крымом, ибо Мария Темрюковна была родственницей некоторых представителей татарской знати. Так, знатный мурза Ахмет Сулешев писал царю: «А за тобою, государем нашим, Темиргукова княжая дочь, а она мне сестра, а ты нам зять и государь». Ее двоюродной сестрой была главная жена хана Девлет-Гирея Хансюер, с которой Мария Темрюковна находилась в переписке. Смерть царицы 9 сентября 1569 года не отразилась первоначально на высоком положении царского шурина. Отвечая на соболезнования ханши в связи со смертью жены, царь писал: «И в нашем законе хрестыанском обычаи и по смерти тело разлучаетца, а душа от любви духовного совета не отлучаетца. А мы, памятуя свою царицу и великую княгиню Марию, и по смерти ее скровных ее беречи и жаловати вперед ради есмя». Когда сыновья Темрюка попали в плен к татарам, царь хлопотал об их освобождении: «А у нас чего попросишь, и мы тебе против не постоим». Шлихтинг, покинувший Россию в сентябре 1570 года, сообщал, что царь любит своего шурина и «не пропускает никакого случая оказать ему свое расположение», хотя и позволяет по отношению к нему шуточки в духе характерного для него юмора; так, по его приказу к воротам дома князя Михаила привязали пару диких медведей и никто не мог ни выйти из дома, ни войти в него.

Однако в следующем, 1571 году его положение пошатнулось. По сообщению Таубе и Крузе, царь приказал казнить жену князя, дочь боярина Василия Михайловича Юрьева, вместе с малолетним сыном. Весной 1571 года в войске, которое сопровождало царя к Серпухову, Михаил Темрюкович уже не был дворовым воеводой, как раньше, а занимал гораздо более низкий пост первого воеводы передового полка. Тогда-то и распространился слух, который привел

к гибели кабардинского князя. В своих записках Штаден настойчиво утверждает, что в походе хана на Москву принял участие отец Михаила, князь Темрюк, вместе со своими отрядами. Слух этот, судя по всему, был ложным. В 1571—1572 годах сыновья Темрюка по-прежнему находились в плену у хана, а они, конечно, были бы освобождены, если бы Темрюк вступил в союз с Крымским ханством. Происхождение этого слуха объясняется, по-видимому, тем, что Темрюк был не единственным князем Кабарды, у него имелись противники, которых поддерживал крымский хан. Их отряды, вероятно, приняли участие в походе и были приняты за войска Темрюка. Разгневанный «изменой» царь приказал казнить своего шурина. Сообщения об этом Таубе и Крузе, а также Штадена подтверждаются упоминанием в «Синодике опальных» «князя Михаила Темрюковича Черкасского». Позднее выяснилось, что слух об измене Темрюка был неверен. Однако признать, что царский шурин был казнен по ошибке, было нельзя, и поэтому Севрюк Клавшов должен был объяснить в Крыму, что Михаил Темрюкович «ехал из полку в полк и погиб безвестно».

Итак, летом 1571 года, впервые за несколько десятилетий, крымские войска сумели прорвать русскую оборону и двинулись прямо к русской столице, где не было никаких крупных военных сил. После ухода царя с опричным войском на север тяжесть принятия решений пала на плечи земских воевод, стоявших с полками по Оке. Войска двинулись к Москве, чтобы защитить ее от татар, и подошли к столице 23 мая, за день до прихода орды. Хан остановился в царском дворе в селе Коломенском, а его сыновья — в Воробьеве. Под Москвой начались столкновения между татарами и русской ратью. В «Соловецком летописце» отмечено, что командующий русской армией князь Иван Дмитриевич Бельский «выехал против крымского царя и крымских людей за Москву реку забил за болото на луг». Русская армия, опиравшаяся на московские укрепления, оказалась для татар неудобным противником, но крымский хан нашел способ, как избавиться от нее. Как отмечено в краткой и сухой записи «Разрядных книг», «крымский царь посадки на Москве зажег и от того огня грех ради наших оба города (Кремль и Китай-город. — Б.Ф.) выгорели, не осталось ни единые храмины, а горело всево три часы». При сильном ветре пламя распространялось быстро. Горели не только деревянные постройки: «во государевых полатах, в Грановитай, и в Проходной, и в Набережной и в ыных полатах прутье железное толстое, что кладено крепости для на свяски, перегорели и переломались от жару». Взорвались пороховые погреба и «вырвало две стены городовых: у Кремля пониже Фроловского мосту против Троицы, а другую в Китае против Земского двора». Одни люди гибли в огне вместе с пытавшимися грабить город татарами, другие, кто сумел укрыться в каменных церквях и погребях, погибали от удушья. Так задохнулся в погре-

бе на своем дворе сам главнокомандующий, князь Иван Дмитриевич Бельский. Люди искали спасения в кремлевских рвах и Москве-реке и гибли, задавленные в обезумевшей толпе. Трупов было так много, что «Москва река мертвых не пронесла».

На следующий день татарская орда двинулась в обратный путь. Из всех стоявших под Москвой войск преследовать татар оказался способен лишь передовой полк князя Михаила Ивановича Воротынского. Стоявший на «Таганском лугу против Крутицы», он, по-видимому, менее других полков пострадал от пожара. Однако этот сравнительно небольшой отряд не мог помешать татарам разорить Рязанскую землю и увести в Крым огромное количество пленных.

15 июня царь прибыл в сожженную столицу и в подмосковном селе Братошине принял гонцов крымского хана. О переговорах, которые имели там место, сохранилось много рассказов, носящих явные черты полуфольклорного происхождения и расцвеченных яркими деталями, которые, однако, не подтверждаются официальной записью о приеме в книге, составленной в то время в Посольском приказе.

Переговоры оказались для царя тяжелым испытанием. Устами своих посланцев хан требовал передачи ему Казани и Астрахани. Вместо обычных поминков посланец хана вручил царю «нож окован золотом с камнем», что сопровождалось издевательским пояснением: «а были у нас аргамачи, и яз к тебе аргамачи не послал, потому что ныне аргамачи истомны». Еще более вызывающий характер носила ханская грамота. Хан, говорилось в ней, искал встречи с царем, но царь бежал от него, он не смог найти его даже в Москве. «И хотел есми венца твоего и главы, и ты не пришел, и против нас не стал. Да и ты похваляешься, что, де, яз — Московской государь, и было б в тебе срам и дородство, и ты б пришел против нас и стоял». Это грубое, беспрецедентное оскорбление свидетельствовало о том, что хан вовсе не считал войну законченной сожжением Москвы и намерен был продолжать ее до полной победы.

Уже то, что он — великий государь, глава всего православного мира, выслушивал такие оскорбления от «бусурманского пса», было для Ивана IV глубочайшим унижением, забыть и простить которое он никак не мог.

Оскорбление ощущалось тем более сильно, что в сложившейся ситуации царь не мог позволить себе дать достойный ответ на вызывающие заявления хана. Необходимо было делать все, чтобы предотвратить войну или, по крайней мере, отсрочить ее. Поэтому приходилось звать крымских гонцов на обед и одаривать их шубами. Отпуская гонцов 17 июня в Крым, царь заявил: «Мы з братом своим з Девлет-Киреем царем в братстве и дружбе быти хотим и Асторохани для любви брату своему хотим поступитися». В грамоте, отправленной в Крым, царь писал, обращаясь к хану: «А ты б, брат наш, к нам прислал своего посла и с ним к нам приказал, как нам тебе, брату свое-

му, Асторохани поступитись». Русскому послу в Крыму Афанасию Нагому были даны инструкции обсудить с ханом условия, на которых в Астрахани мог бы быть посажен один из ханских сыновей.

Готовность русской стороны обсуждать вопрос об уступке Астрахани показывает, что сложившееся положение в Москве оценивали как очень тяжелое. К потерям, понесенным страной в предшествующие годы от голода и эпидемий, добавилась гибель в московском пожаре почти всего населения столицы. Почти два месяца, до 20 июля, продолжалась очистка улиц и захоронение умерших жителей Москвы. Город пришлось практически заселять заново, принудительно переселяя в него купцов и ремесленников из городов по всей территории России.

Царь не мог не отдавать себе отчета, какой мощный удар по его престижу могущественного христианского государя, покорителя «мусульманских царств» нанесли эти события за пределами страны и в глазах его собственных подданных. Как лицо, избранное самим Богом для утверждения и распространения в мире истинной веры, царь мог требовать от своих подданных беспрекословного повиновения, но не оказывалось ли это право под сомнением, когда сам правитель явно изменял своему назначению?

Все это позволяет объяснить появление на свет одного из наиболее странных документов времени правления Ивана IV — поручных записей по князе Иване Федоровиче Мстиславском, составленных не позднее августа 1571 года. В главном из этих документов знатный вельможа, родственник царя, занявший первое место в земской Думе после смерти Ивана Дмитриевича Бельского, признавался в том, что «изменил, навел есми с моими товарищи безбожного крымского царя Девлет-Гирея»: «моею изменою и моих товарищев крестьянская кровь многая пролита, а крестьянство многое множество погребению не сподобилося». Таким образом, князь признавался в совершении самого тяжкого преступления — предательского сговора с татарами, который привел к массовой гибели населения Москвы. За это, однако, царь всего лишь наложил на Мстиславского свою «опалу», которая затем была с него снята по ходатайству митрополита Кирилла и освященного собора. После этого Иван Федорович Мстиславский был послан наместником в Новгород — город, который, как увидим далее, царь решил сделать своей укрепленной резиденцией на то время, пока страна будет отражать новое татарское нашествие. Все это заставляет согласиться с мнением исследователей, которые довольно единодушно полагали, что никакой «измены» Мстиславский не совершал, а его покаяние было услугой, оказанной царю. Подданные тем самым могли убедиться, что тяжелые несчастья, постигшие страну, произошли по вине одного из первых лиц государства, но не самого царя.

Понятно поэтому, что признания Мстиславского для царя вовсе не исключали необходимости поиска тех действительных изменни-

ков, которые «навели» хана на Москву. Как уже говорилось выше, с этой целью в Крым был отправлен гонец Севрюк Клавшов, который выяснил, что «навели» хана на Москву обездоленные опричным режимом и потому озлобленные дети боярские южных уездов. Но царь не мог поверить, чтобы люди столь низкого общественного положения могли поступить подобным образом, и видел в них лишь орудие в руках недовольной знати. «Брат наш Девлет-Гирей, — говорил он позднее крымскому послу, — сослався с нашими изменники з бояры, да пошел на нашу землю, а бояре наши еще на поле прислали к нему с вестью встречу разбойника Кудеяра Тишенкова».

В беседе с литовским гонцом Ворупаем в конце 1572 года царь объяснял, что изменники «привели его на татарское войско», не вели разведки, не брали языков. «Передо мной, — говорил царь, — пошло семь воевод с многими людьми, и они мне о войске татарском знать не дали». В этих словах нельзя не видеть прямого указания на воевод сторожевого и передового полков опричного войска, которые шли перед царским полком во время похода к Серпухову. Эти слова дают объяснения серии убийств опричных приближенных царя, имевших место летом 1571 года, после возвращения царя в Москву. Так, были казнены один из воевод сторожевого полка в майском походе 1571 года Василий Петрович Яковлев, а также его брат земский боярин Иван Петрович Яковлев, очевидно признанный виновным в неудачной осаде Таллина. По свидетельству Таубе и Крузе, они были забиты насмерть палками. Тогда же был казнен и опричный боярин князь Василий Иванович Темкин, некогда собиравший улики против митрополита Филиппа (он вместе с Михаилом Темрюковичем был воеводой передового полка в майском походе), и некоторые другие приближенные царя, занимавшие высокое положение в его опричном дворе, — кравчий Федор Игнатьевич Салтыков, занявший место Федора Басманова, и думный дворянин и царский ясельничий Петр Васильевич Зайцев. Последнего повесили на воротах его собственного дома.

Итоги 1571 года оказались для Ивана IV плачевными во всех отношениях. Он понес жестокое поражение в борьбе с татарами, подвергся неслыханному унижению со стороны крымского хана. Наконец, его надежды найти покой и безопасность в кругу опричников оказались ложными: в рядах его ближайшего окружения обнаружались все новые изменники.

КОНЕЦ ОПРИЧНИНЫ

У царя Ивана появились и новые важные причины для недовольства своими опричниками. Выше мы уже вспоминали слова Штадена о том, что царь «хотел искоренить неправду у правителей

и приказных страны. Он хотел устроить так, чтобы новые правители, которых он посадит, судили бы по судебникам, без дач и приносов». Однако в действительности новый порядок, долженствующий устранить злоупотребления в деятельности управлявших страной знатных вельмож и «приказных» людей, породил такие злоупотребления, которые значительно превзошли все то, что имело место в предшествующие годы. Следует сразу сказать, что ничего подобного царь от своих действий не ожидал, но все эти чудовищные злоупотребления явились неизбежным следствием избранной им политики.

О теневых, «неофициальных» сторонах опричного порядка мы узнаем по преимуществу из записок иностранцев — Таубе и Крузе и, особенно, Штадена, который в своих сочинениях с каким-то необъяснимым удовольствием описывал все негативные явления в жизни русского общества времен его пребывания в России.

Вскоре после учреждения опричнины, по словам Штадена, «великий князь послал в земщину приказ: судите праведно, наши виноваты не были бы» (последние слова в тексте Штадена написаны по-русски латинскими буквами). Таким образом, в случае возникновения споров между «земскими» и опричниками судьи должны были выносить решения в пользу последних.

В средневековом русском праве традиционным средством установления истины, если не было доказательств или свидетелей, служил судебный поединок: стороны выставляли своих бойцов, а Бог свидетельствовал истину, давая победу правой стороне. Однако с установлением опричнины «все бойцы земских признавались побитыми; живых их считали как бы мертвыми, а то и просто не допускали на поле». Земское население фактически было лишено правовой защиты, и это прямо толкало опричников на то, чтобы с помощью разных злоупотреблений захватывать имущество тех, кто принадлежал к земщине.

Одной из форм таких злоупотреблений было подбрасывание своих вещей в дома богатых людей в «земщине». Уличенные в совершенной «краже» ставились на правеж, пока не возместят стоимость украденного, а цену произвольно указывал якобы пострадавший опричник. Человек, которого до выплаты долга били палками, «должен был продавать за полцены и дом, и двор, и землю, и людей». Той же цели можно было добиться и более простым путем: «любой из опричных мог обвинить любого из земских в том, что этот должен будто бы некую сумму денег», и из обвиненного так же выколачивали деньги на правеже. Многие земские люди, пытаясь если не сохранить свое имущество, то хотя бы какое-то время пользоваться доходами с него, закладывались «вместе с вотчинами... за тех опричников, которых они знали, продавали им свои вотчины, думая, что этим они будут ограждены от других опричников», но чаще всего их знакомые, овла-

дев по заключенным сделкам их имуществом, прогоняли их прочь, заявляя, что закон запрещает им общаться с земскими.

Такого рода злоупотребления, как представляется, имели место там, где в границах одного крупного центра соседствовали опричные и земские владения. Таким, например, было положение в Москве и в Новгороде после разгрома 1570 года.

Злоупотребления имели место и там, где граничили между собой земские и опричные поместья. По установлениям Судебника 1550 года переход крестьян из одного имения в другое, от одного владельца к другому разрешался лишь в определенное время — в течение недели до и недели после «Юрьева дня осеннего» (26 ноября); уходивший крестьянин должен был рассчитаться с землевладельцем и выплатить ему «пожилое». Опричники не считались с этими нормами. «Кто не хотел добром переходить из земских под опричину, тех вывозили насилием и не по сроку», а их старые дворы сжигали. Эти сообщения Штадена находят подтверждение в документальных материалах, относящихся к Новгородской земле. Когда после взятия в опричину Бежецкой пятины здесь появились поместья опричной знати, опричники стали предпринимать настоящие вооруженные наезды на соседние земские территории, вывозя оттуда крестьян.

Важные царские поручения также использовались в своих интересах опричниками, ставшими на путь беззастенчивого и незаконного обогащения. После смерти Марии Темрюковны в 1570 году по стране разъехались царские посланцы собирать красивых девушек на смотрины для выбора царской невесты. И вот среди опричников, как рассказывает Штаден, нашлись многие предприимчивые люди, которые, изготовив подложные указы, отправились на русский север и «принялись переписывать по посадам... дочерей как богатых купцов, так и крестьян, будто бы великий князь требовал их на Москву. Если какой крестьянин или купец давал денег, дочь его выключалась из списка». Этих людей можно было бы признать безобидными жуликами по сравнению с теми, кто «сами составляли себе указы, будто бы великий князь указал убить того или другого из знати или купца, если только они думали, что у него есть деньги».

Когда царь с опричным войском стал предпринимать карательные походы против изменников, резко возросли возможности неограниченного обогащения с помощью насилия. Теперь не было уже нужды подделывать документы для оправдания грабежа и убийств. Яркие свидетельства того, как это происходило, обнаруживаются на страницах записок Штадена. Этот немец-опричник, участник похода на Новгород, был разочарован тем, что все захваченное в городе добро по приказу царя свозили в один из подгородных монастырей, где была поставлена охрана, чтоб «никто ничего не мог унести». Тогда предприимчивый опричник начал собирать «всякого рода слуг.. и повел своих людей назад внутрь страны. Всякий раз, когда они заби-

рали кого-нибудь в полон, то расспрашивали, где — по монастырям, церквам или подворьям — можно было бы забрать денег и добра, особенно добрых коней. Если же взятый в плен добром не хотел отвечать, то они пытали его, пока он не признавался». «Когда я выехал с великим князем, — подытоживал Штаден результаты своих подвигов, — у меня была одна лошадь, вернулся же я с 49-ю, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра».

Штаден отнюдь не один занимался подобным промыслом. В своем походе он встретил целую группу опричников, которые так ретиво грабили, что население стало вооружаться для защиты своего имущества. По свидетельству Штадена, сведения о таких столкновениях заставили его прервать столь удачно для него протекавший «поход».

Так в русском обществе складывалось представление об опричнине как о политике открытого грабежа и насилия. Когда в 20-х годах XVII века известный русский писатель князь Семен Иванович Шаховской, основываясь на рассказах людей старшего поколения, давал характеристику царствования Ивана IV, он написал об опричнине: «царь царство, порученное ему от Бога, раздели на две части: часть едину себе отдели... и заповеда своей части оную часть людей насилovati и смерти их предавати, и дома их напрасно потребляти». Устанавливая новый режим, царь, конечно, не преследовал подобной цели, но такое положение в стране действительно сложилось как закономерное (хотя и не предвиденное) следствие проводимой им политики.

Сложившееся положение активно использовали уголовные элементы, разбойники, количество которых в условиях разорения, вызванного моровым поветрием, голодом, непомерным ростом налогов и не в последнюю очередь насилиями опричников должно было заметно возрасти. «Многие рыскали шайками по стране, якобы из опричнины, убивали по большим дорогам всякого, кто им попадался навстречу, грабили многие города и посады, били насмерть людей и жгли дома. Захватили они много денег, которые везли к Москве из других городов». Грабежи и насилия опричников и тех, кто выдавал себя за опричников, приняли такой размах, что само поступление средств из периферии в столицу оказалось под угрозой.

Даже в то время среди земских людей находились смельчаки, решавшиеся подавать жалобы на беззакония опричников (не будь этих жалоб, о многом не знал бы, вероятно, и Штаден). В течение длительного времени «все жалобы... клались под сукно». Однако наступил момент, когда злоупотребления достигли таких размеров, что под угрозой оказалось сохранение элементарного порядка в стране. Для государства, находившегося в состоянии тяжелой войны с соседями, это было смертельной опасностью.

Царь в конце концов оказался перед необходимостью принятия

срочных мер для предотвращения беспорядка и анархии. «Он приказал подобрать все жалобы» и провести по ним расследование. Штаден записал, что, если бы не пожар Москвы в мае 1571 года, «земские получили бы много денег и добра» по своим жалобам на опричников. Очевидно, что расследование злоупотреблений началось еще в первой половине 1571 года. Опалы и казни «начальных людей» из опричнины в 1570—1571 годах, о которых шла речь выше, были, вероятно, определенным образом связаны и с результатами этих расследований. И выявившиеся размеры злоупотреблений, и то, что они совершались от имени власти, дискредитируя ее в глазах общества, — все это, думается, должно было произвести сильное впечатление на царя и вызвать у него сомнения в целесообразности сохранения того порядка, который привел к столь многим негативным последствиям для самой власти.

Исследователи отмечают и некоторые другие признаки, указывавшие на изменение отношения царя к своему детищу начиная с 1570 года. При создании опричнины царь демонстративно не включал в состав опричной Думы и опричного войска представителей наиболее знатных княжеских родов. При формировании опричного войска производилось специальное расследование, не связаны ли взятые в опричнину с этими князьями родственными или иными связями. С осени 1570 года положение заметно изменилось, и в составе Боярской думы появились представители целого ряда княжеских родов, принадлежавших к самой элите дворянского сословия. Некоторые из них были в прошлом приближенными Владимира Андреевича Старицкого (опричный боярин Петр Данилович Пронский был ранее его боярином, а другой опричный боярин, князь Андрей Петрович Хованский, родственник княгини Евфросинии, был его дворецким). Членами опричной Думы в 1571 году стали и некоторые «служилые князья» юго-западной Руси, последние полусамостоятельные «государи» в Русском государстве XVI века, — князь Федор Михайлович Трубецкой, правитель небольшого родового княжества вокруг города Трубчевска, и князь Никита Романович Одоевский, утративший с учреждением опричнины родовые вотчины в Лихвине (его сестра была женой Владимира Андреевича Старицкого и погибла вместе с мужем).

Некоторые из этих аристократов были ко времени учреждения опричнины молодыми людьми: так, Федор Михайлович Трубецкой и Никита Романович Одоевский в «Разрядных книгах» впервые упоминаются как участники похода на Полоцк в 1563 году. Они, очевидно, не успели ко времени установления опричнины вызвать недовольствие царя, а позднее послушно выполняли его поручения, а возможно, дали и доказательства своей преданности. Любопытна, например, фигура князя Петра Даниловича Пронского — потомка рязанских князей, владельцев города Пронска. В 1558 году князь был

«в удел дан», то есть по приказу царя включен в состав двора князя Владимира Андреевича, очевидно, для присмотра за царским двоюродным братом. В 1565 году, уже после установления опричнины, он получил от царя боярский сан и занял пост главного лица в русских владениях в Ливонии — наместника Юрьева. В 1569 году царь поставил его наместником Новгорода, и он остался на этом посту и после отъезда царя из Новгорода зимой 1570 года. Так как все подчинявшиеся ему «приказные люди» были почти поголовно истреблены, а наместник остался на своем посту, то очевидно, что он и был тем человеком, который известил царя об измене новгородцев. В начале 1571 года князь Петр был принят в опричнину и получил в управление опричные владения в Новгородской земле.

Не всегда свидетельства верности своему государю столь выразительны, как в случае с князем Пронским, но, очевидно, они имели место — в противном случае царь не проявил бы к этим боярам своего расположения и не принял их в ряды своего опричного двора. Складывался тип новой служилой знати, готовой верно служить своему государю и заходить достаточно далеко в проявлениях своей верности. В этих условиях уже не было необходимости в целенаправленном подавлении знати.

К началу 1572 года у царя были налицо все основания для серьезных размышлений о судьбе опричного режима. Его отрицательные стороны (с точки зрения интересов самой власти) обрисовались со всей определенностью, а цель, ради которой этот режим был установлен, оказывалась в известной мере достигнутой.

В 1572 году страна жила в ожидании нового вражеского нашествия. Вызывающее поведение хана после пожара Москвы не оставляло сомнений в его намерениях. В ответ на мирные предложения царя он ответил, что уступка Астрахани его не удовлетворит, и требовал Казани. Впрочем, и в Москве уже решили не покупать мира уступками и готовились к войне. В грамоте, отправленной в Крым русскому послу Афанасию Нагому в начале весны 1572 года, царь сообщал о своих намерениях как можно скорее «поуправитца... с свейским и рати к лету прибавити» и всю ее направить на Оку. По берегу реки на большом протяжении устанавливали бревенчатый частокол, засыпанный землей: он должен был помешать татарской коннице прорваться во внутренние районы страны. На Оку направлялись все войска, которые удалось собрать. В апреле при участии царя в Коломне был проведен смотр войск. Впервые опричные и земские войска были объединены в одну армию: опричные и земские воеводы должны были служить вместе в одних полках. Во главе этой армии царь поставил князя Михаила Ивановича Воротынского.

Михаил Иванович Воротынский принадлежал к числу тех представителей русской знати, на которых неоднократно отражались перемены политики опричных лет. Правда, после того как в 1566 го-

ду царь вернул Воротынского из ссылки и отдал ему часть родовых вотчин, боярин больше не подвергался опале, но отношения его с царем продолжали оставаться сложными. Попавшие в руки царя письма Сигизмунда II и гетмана Ходкевича, в которых Воротынскому вместе с его пограничным княжеством предлагалось перейти на литовскую сторону, не привели к опале князя, но возбудили подозрительность царя. В 1568 году в главном городе Воротынского княжества — Одоеве — стояли по приказу царя воеводы «из опришчины», затем воеводы появились и в другом городе его княжества — Новосили, а в 1569 году царь снова отобрал у Михаила Ивановича его родовые владения, дав ему взамен земли в Стародубе Рязполовском, принадлежавшие ранее князю Владимиру Андреевичу. Положение князя казалось столь шатким, что, когда в связи со сменой владений Михаил Иванович Воротынский составил новое завещание, князь Иван Федорович Мстиславский и царский шурин Никита Романович, к которым он обратился, отказались быть душеприказчиками.

Очевидно, что о каких-либо взаимных симпатиях между боярином и царем вряд ли можно говорить, и лишь необходимость заставила Ивана IV передать Воротынскому командование армией. Конечно, определенное значение имело и то, что после смерти Ивана Дмитриевича Бельского и отсылки в Новгород Ивана Федоровича Мстиславского Михаил Иванович Воротынский оставался самым знатным среди русских военачальников, которому другие воеводы могли подчиниться без «порухи» для своей чести. Однако еще более важно было то, что войско знало Воротынского как одного из главных героев взятия Казани. Лишь подобный человек, «муж крепки и мужественной, в полкоустроениях зело искусны» (как отзывается о нем Курбский, сам известный военачальник), мог возглавить войско, которое должно было противостоять вражескому нашествию.

Два других важных дела занимали внимание царя после сожжения татарами Москвы: устройство своей семейной жизни и поиск надежного убежища на время татарского нашествия.

Выше уже говорилось о том, что в 1570 году по стране разъехались царские посланцы собрать девушек, из числа которых по уже введенному обычаю царь мог выбрать себе невесту. Ни татарское нашествие, ни сожжение татарами Москвы не помешали этим хлопотам. Когда 26 июня 1571 года Таубе и Крузе посетили Александрову слободу, смотрины были в полном разгаре. С удивлением и интересом наблюдали немецкие дворяне за обычаями, неизвестными другим европейским странам. В Слободе было собрано 2000 девушек. Когда их приводили во дворец, царь «входил в комнату... кланялся им, говорил с ними немного, осматривал их и прощался с ними». Постепенно из числа девушек осталось лишь 24, затем — 12. Их, как отметили Таубе и Крузе, осматривали обнаженными, а «доктор (недавно посту-

пивший на царскую службу воспитанник Кембриджа Елисей Бомелий. — Б.Ф.) должен был осмотреть их мочу в стакане». У будущей царицы не должно было быть ни каких-то телесных недостатков, ни болезней. Выбор царя остановился на дочери коломенского сына боярского Василия Собакина Марфе. 28 октября 1571 года он торжественно отпраздновал свою свадьбу. Однако все предосторожности оказались напрасными. По свидетельству самого царя, невеста серьезно заболела еще до свадьбы, царь, «положа на Бога упование, любоисцелее», все же вступил с ней в брак, но через две недели после свадьбы новая царица скончалась. Царь полагал, что сам дьявол «воздвиге ближних многих людей враждовати на царицу нашу, еще в девицах сущу... и тако ей отраву злую учиниша». В его распоряжении, таким образом, оказались новые доказательства того, что создание особого опричного двора вовсе не гарантирует безопасности царю и его семье.

О всех этих деликатных обстоятельствах мы узнаем из обращения царя к участникам созванного по его просьбе церковного собора. Созыв собора был вызван тем, что после смерти третьей жены царь оказался в трудном положении, особенно трудном для такого правителя, как Иван IV, который постоянно ссылался на свои глубокие знания церковных канонов и постоянно подчеркивал свою негибкую преданность православному учению вплоть до мельчайших деталей. Дело в том, что и церковное право, и пользовавшиеся таким же большим авторитетом установления православных царей, осуждая вступление христианина в третий брак и налагая на него за это наказания, категорически запрещали четвертый брак. Запрет этот был специально подтвержден церковным собором 920 года, созванным в связи с попыткой вступить в четвертый брак византийского императора Льва VI.

Прося о разрешении на новый брак, царь ссылался на то, что фактически он так и не вступил в брак со своей третьей женой («девства не разрешил»). 29 апреля 1572 года церковный собор позволил царю «ради его теплого умиления и покаяния» вступить в четвертый брак. На царя была наложена «епитимия»: в течение первого года ему не разрешалось входить в церковь (он мог быть допущен туда лишь на Пасху), во второй год разрешалось стоять в церкви с «припадающими» — грешниками, которые должны были выстаивать службу на коленях, и лишь на третий год он мог стоять в церкви вместе с верующими и на Пасху духовник мог допустить его к причастию. Однако все эти установления сопровождались важной оговоркой: «А пойдет государь против недругов за святых Божия церкви, и ему, государю, епитимья разрешити». Так как царь постоянно совершал походы против соседних государств — врагов православной веры, у него открывались возможности для того, чтобы избавиться от установленных наказаний. Поступив так, участники собора, духовные иерархи и настоятели монастырей, проявили покорность царской воле. По на-

блюдениям знаменитого историка русской церкви митрополита Макария, царь, «хотя и подчинился было соборной епитимии, но только на самое короткое время». Отправившись вскоре в Новгород, он 31 мая в Хутынском монастыре слушал службу, стоя у дверей храма, но уже 7 августа спокойно присутствовал в Софийском соборе на благодарственном молебне по поводу победы над татарами. В последующие годы, вступая в новые браки, Иван IV (цитируем далее Макария) «все это делал без всякого разрешения с стороны церковной власти и не считал нужным даже просить у нее прощения и молитв».

Возможно, однако, что в отношениях царя и церкви не все обстояло именно так, как думал Макарий. Итальянский иезуит Антонио Поссевино, побывавший в Москве в начале 80-х годов XVI века, записал в своем сочинении «Московия», что у царя есть свой духовник, который его повсюду сопровождает. «Хотя государь каждый год исповедуется ему в грехах, однако не принимает больше причастия, так как по их законам не позволено вкушать тела Христова тому, кто женат более трех раз». Епитимии, очевидно, все же не остались только на бумаге.

Очевидно, к тому времени, когда царь обращался к собору со своей просьбой, у него уже была на примете новая невеста. Как отметил новгородский летописец, уже 31 мая новгородский архиепископ Леонид «пел молебны... за великую царицу Анну». Новая царица Анна Колтовская также была дочерью сына боярского из Коломенского уезда.

Одновременно с этими хлопотами царь энергично занимался устройством для себя резиденции в Новгороде. С этой целью царь «с миром» посетил Новгород в декабре 1571 года. Вместе с ним в город доставили его казну, размещенную в подклетах нескольких новгородских церквей; стеречь царские сундуки приставили 500 стрельцов. Царь вскоре уехал, а в феврале 1572 года в город была доставлена основная часть его казны на 450 возах. Снова царь приехал в Новгород 31 мая с новой женой и сыновьями, а также любимыми певчими. Вместе с царем прибыл и его двор, в среде которого, по-видимому, продолжались поиски изменников. Новгородский летописец отметил: «Того же лета царь православный многих своих детей боярских метал в Волхову-реку, с камением топил». В Новгороде царь провел два месяца, с тревогой ожидая известий с южной границы.

Именно в эти тревожные для царя дни принял свой окончательный вид сохранившийся черновик царского завешания. Как уже отмечалось выше, завешание это заметно отличалось от завешаний предшественников Ивана IV — московских великих князей. Те в своих завешаниях распоряжались судьбой собственных земель и казны, деля то и другое между наследниками. В отличие от них завешание царя Ивана IV не исчерпывалось подобными распоряжениями; им предшествует своеобразная исповедь царя, обращенная

к Богу, и его подробные наставления сыновьям. В этих своих частях завещание Ивана IV до сих пор не подвергалось внимательному анализу, нет и точного представления о том круге литературных текстов, которые царь использовал при его составлении. Все это заставляет ограничиться лишь некоторыми предварительными сообщениями.

Для понимания того эмоционального состояния, в котором царь находился летом 1572 года, наибольший интерес представляют два мотива «исповеди» царя: покаяние в грехах и жалобы на людскую неблагодарность. На современного читателя не могут не произвести впечатления слова, с которыми всемогущий самодержец кается перед Богом в совершении самых жестоких и отвратительных поступков: «главу оскверних желанием и мнению неподобных дел, уста — разсуждением убийства, и блуда, и всякаго злаго делания, язык — срамословия и сквернословия, и гнева, и ярости, и невоздержания, руце — осязания неподобно и грабления насытных»; и далее перечень едва ли не всех частей тела и совершаемых ими дурных действий. Однако следует учитывать, что слова покаяния адресовались не подданным и даже не сыновьям — будущим читателям завещания, а Богу, и должны рассматриваться в связи с характером отношений царя и Бога, как они сложились к тому времени. Голод и моровое поветрие, а в еще большей мере сожжение Москвы татарами — все это были очевидные знаки Божьего гнева. Бога можно умиловить покаянием, и царь готов был каяться. Однако между покаянными словами царя на страницах его завещания и словами покаяния, произносившимися царем в его молодые годы, в частности в речи на Стоглавом соборе, очевидно существенное различие. Тогда рядом с царем стоял его духовник Сильвестр, ясно указавший ему на те его прегрешения, которые привели к несчастьям для страны и за которые следовало просить прощения у Бога. Теперь рядом с царем не было ни Сильвестра, о котором он вспоминал с постоянным чувством раздражения, ни другого подобного ему человека, который осмелился бы наставлять царя. Иван IV должен был сам решать вопрос о своих отношениях с Богом. Текст завещания показывает, что царь ограничился формальным покаянием во всех возможных дурных мыслях, поступках и пороках, в том числе и в таких, которых он никак не мог совершить. При всем желании Иван IV, например, никак не мог уподобиться библейскому праотцу Рувиму, «осквернившему отче ложе». Такой характер покаяния ясно говорит о том, что, понимая необходимость каяться, в глубине души царь не считал себя на самом деле виновным в чем-либо конкретном. Весь этот перечень оказывался на деле всего лишь благочестивым примером смирения христианина, знающего, что, будучи смертным человеком, он подвержен любым порокам, присущим человеческой природе. К тому же признание своего глубокого несовершенства не мешало царю на последующих

страницах завещания выступать в роли авторитетного учителя и наставника своих сыновей.

Стоит отметить, что перечень присущих ему пороков самодержец заключал словами: «Но что убо сотворю, понеже Авраам не уведет нас, Исаак не разуме нас, Израиль не позна нас». Нетрудно увидеть, что царь если и совершил что-либо греховное, то потому, что окружающие не понимали его добрых намерений. Помимо роли носителя всевозможных пороков царь выступает и в другой роли, в роли бедной жертвы своих подданных. В завещании царь говорит о себе: «Изгнан есмь от бояр самоволства их ради, от своего достояния и скитаюся по странам». Эти слова заставляют вспомнить о желании царя найти себе убежище в Англии. Переговоры об этом, начатые в 1567 году, продолжались затем в течение ряда лет, и царь настойчиво требовал от английской королевы грамот, торжественно скрепленных подписями и присягами, которые гарантировали бы ему безопасное пребывание в этой стране.

Тема «правитель и подданные» прослеживается и в наставлениях царя сыновьям. Сыновья должны учиться не только «как людей держать и жаловати», но и «как от них беречися». Побуждая сыновей усердно учиться «ремеслу государя», собирать сведения о самых разных сторонах общественной жизни («а всякому делу навывайте... и священническому, и иноческому, и ратному, и судейскому»), царь пояснял, что, лишь обладая такими навыками и знаниями, они смогут «своими государствами владеть и людьми»: «Ино вам люди не указывают, вы станете людям указывать». Таким образом и на страницах завещания, как и в других своих сочинениях, Иван IV выступает идеологом сильной власти, решительно подчиняющей общество своему руководству.

Вместе с тем в тексте завещания обнаруживается ряд новых тем, необычных для более ранних произведений Ивана IV.

Так, Иван настойчиво советует сыновьям быть осторожными при установлении наказаний: «И вы б... опалы клали не вскоре, по разсуждению не яростию». Не ограничившись этими словами, царь снова возвращается к этой теме в конце своих наставлений: «Правду и равнение давайте рабам своим, послабляюще прощения»; «во всяких опалах и казнях, как где возможно, по разсуждению на милость претворяли»; «долготерпения ради от Господа милость примете». В подтверждение своих слов Иван IV даже процитировал слова византийского книжника VI века диакона Агапита: «Подобает убо царю три сия вещи имети, яко Богу не гневатися, и яко смертну не возноситися и долготерпеливу быти к согрешающим». Все это резко противоречило действиям царя в годы опричнины и может рассматриваться как косвенное осуждение им самим поступков, совершенных в предшествующие годы.

Исследователи давно обратили внимание на читающиеся в самом

начале завещания царя жалобы на людскую неблагодарность: «Ждах, иже со мною поскорбит и не бе, утешающих не обретох, воздаша ми злая во благая и ненависть за возлюбление мое». Следует согласиться с С. Б. Веселовским, что эти слова царя относятся не к «боярам», которых царь обвинял в «самовольстве», ссылал и казнил. «Воздаша злая во благая» окружавшие царя опричники: возвышенные и осыпанные милостями, они изменили и оказались замешаны в злоупотреблениях. Перед нами еще одно свидетельство разочарования царя в опричнине и опричниках.

В наставлении сыновьям заслуживает внимания еще один мотив — подчеркивание необходимости единства государства. «А докудова вас Бог не помилует, свободит от бед, — писал царь, обращаясь к сыновьям, — и вы ничем не разделяйтесь, и люди бы у вас заодин служили и казна бы у вас заодин была, ино то вам прибыльные». Есть основание видеть и в этих словах косвенное осуждение проведенного ранее самим царем разделения государства на две противостоящие друг другу части.

В завещании имеются и прямые высказывания об опричнине. В самом конце документа, уже после всех распоряжений о разделе земель между наследниками, читаем: «А что есми учинил опришнину, и то на воле детей моих Ивана и Федора, как им прибыльнее, так и учинят, а образец им учинен готов». То, что царь оставлял на усмотрение своих сыновей сохранение или упразднение после его смерти опричного режима, также говорит об определенном разочаровании царя в своем любимом детище.

31 июля в Новгород пришли «вести о царе крымском», которых Иван упорно дождался. Хан выступил в поход со всем крымским войском и Ногайской ордой. «И от Магмет-паши (великого везира султана Сулеймана, Мехмеда Соколовича. — Б.Ф.) великого двора мнози, — по свидетельству Курбского, — быша на помощь послани перекопскому цареви». По сообщению Штадена, планы татар заходили весьма далеко: «Города и уезды Русской земли все уже были расписаны и разделены между мурзами, бывшими при крымском царе». К этому сообщению Штадена исследователи иногда относятся с доверием, но, как представляется, в нем отразились лишь слухи, ходившие в русском обществе накануне и во время вторжения орды. Слухи эти получили свое выражение и в народной песне, записанной в 1619 году англичанином Ричардом Джемсом. В ней рассказывается, как на походе, в шатрах, поставленных на берегу Оки, крымские мурзы обсуждают, «а кому у нас сидеть в каменной Москве, а кому у нас в Володимере, а кому у нас сидеть в Суздале». Опасность была столь значительной, что заставила русских людей вспомнить о временах нашествия Батыя, но вряд ли правители Крыма могли ставить перед собой подобные цели: сил и средств в их руках было для этого явно недостаточно.

Для понимания реальных планов крымской знати гораздо больший интерес представляет другое сообщение Штадена — о том, что хан «дал своим купцам и многим другим грамоту, чтобы ездили они со своими товарами в Казань и Астрахань и торговали там беспопламенно». Если принять во внимание, что одновременно с походом Девлет-Гирея на Москву в Поволжье началось восстание против русской власти, то в достоверности этого свидетельства вряд ли можно сомневаться. Положение было очень серьезным. Поражение русской армии в войне с татарами могло привести к потере Поволжья, и Русское государство снова оказалось бы под угрозой нападения и с юга, и с востока, как в годы малолетства Ивана IV.

Подробный рассказ о войне, сохранившийся в тексте «Разрядных книг», позволяет нарисовать достоверную картину борьбы русского войска с пришедшим с юга противником. 27 июля хан с крымскими и ногайскими войсками появился на берегу Оки; начались столкновения на переправах: татары пытались перейти реку, русские войска им препятствовали. Наконец отрядам ногайцев удалось прорвать русскую линию обороны на участке сторожевого полка князя Ивана Петровича Шуйского у Сенькина брода через Оку. Ногайцы «детей боярских розогнали и розгромили и плетени ис подкопов выняли да перешли на сю сторону Оки-реки». Вслед за ногайскими отрядами переправился и Девлет-Гирей со всей ордой. Задержать орду на переправах не удалось, и татарская конница устремила к Москве. Двинувшееся вслед за татарами русское войско догнало и остановило орду «у Воскресения на Молодах» в районе Пахры, в 45 верстах от Москвы.

30 июля началось жестокое сражение. На поле битвы русские войска сумели поставить «гуляй-город» — подвижную деревянную крепость на колесах, в которой разместились стрельцы и артиллерия, встречавшие огнем татарскую конницу. В поле билось с татарами дворянское ополчение. Во время одной из схваток суздалец сын боярский Темир Алаыкин сумел взять в плен одного из главных крымских полководцев Дивея-мурзу, главу рода Мангитов, занимавшего второе место на лестнице иерархии крымской знати.

Обе стороны понесли большие потери, и военные действия на время прервались. Два дня происходили лишь короткие стычки, но затем сражение возобновилось. 2 августа хан бросил свое войско «к гуляю городу выбивати Дивея мурзу». Начался штурм деревянной крепости: «и татаровя пришли к гуляю и изымались у города за стену руками и тут многих татар побили и руки поотсекли бесчисленно много». Перелом в сражении произошел благодаря удачному маневру Михаила Ивановича Воротынского, который с «большим полком» сумел обойти татар и ударить по ним с тыла. Одновременно «из гуляя города князь Дмитрий Хворостинин с стрельцы и с немцы вышел». Штурм гуляй-города не удался, в сражении погибли сыновья хана и

второго лица в ханстве — калги, «а многих мурз и тотар живых помимали». Ночью орда снялась с места и двинулась на юг к Оке, вслед за ней вернулась на Оку русская рать.

Образ действий татар в этом походе разительно отличался от их обычного поведения. Во время своих набегов на русские земли они стремились, как правило, как можно скорее захватить добычу и пленных, всячески уклоняясь от встречи с русскими войсками. Ожесточенный характер сражения при Молодях со всей очевидностью свидетельствует о том, что поход Девлет-Гирея не был обычным грабительским набегом, за ним стояли далеко идущие, крайне опасные для Русского государства планы. Участие в походе османских войск показывало, что за спиной Крыма стоит и подталкивает его к враждебным по отношению к России действиям Османская империя. Вскоре после битвы царь получил новые доказательства того, что дело обстояло именно так.

Еще в апреле 1571 года, пытаясь предотвратить обострение обстановки на юге, Иван IV отправил в Стамбул своего посланца Андрея Кузьминского. В грамоте говорилось, что царь, желая поддерживать дружбу и любовь с султаном, «показал братской любви знамя», разрешил турецким людям свободно посещать Астрахань и приказал снести поставленную в 1567 году по просьбе князя Темрюка крепость на Тереке, постройка которой вызвала недовольство в Бахчисарае и Стамбуле. Со своей стороны царь просил, чтобы султан приказал крымскому хану жить в мире с Россией. Сведения, собранные Кузьминским, оказались очень тревожными. В Астрахань и Казань были посланы с грамотами султана лазутчики, которые должны были призывать местных мурз и население восстать против русской власти. Ногайской орде из Стамбула обещали большое жалованье, если она захватит Астрахань и передаст ее султану. Ответная грамота султана, доставленная Кузьминским в Москву в декабре 1572 года, была по своему тону столь же грубой и вызывающей, как и грамота, присланная Девлет-Гиреем после сожжения Москвы: султан обещал Ивану IV свою дружбу, если тот передаст султану Астрахань, хану Девлет-Гирею — Казань, а сам согласится быть подручным у его «высокого порога». После битвы при Молодях о выполнении этих условий не могло быть и речи, но борьба против угрозы с юга становилась теперь одной из главных задач во внешней политике Ивана IV.

6 августа гонцы с известием о победе при Молодях прибыли в Новгород, и в новгородских храмах начались благодарственные молебны.

Честь победы приписывали не только храбрости и мужеству русской рати, но и чудесному заступничеству черниговских чудотворцев — казненного татарами в XIII веке князя-мученика Михаила Черниговского и разделившего его участь боярина Феодора. «Толикое отступников многочисленное воинство, — писал, обращаясь к

чудотворцам царь, — и злокозненное их ухищрение вашими святыми молитвами ни во что же положено». Тогда же царь решил перенести останки святых из Чернигова в Москву. В Чернигов от имени царя и собора духовенства во главе с митрополитом Антонием было отправлено послание, в котором святых просили «не яко властельски и заповедающе, но яко рабски и припадающе» согласиться на перенос их останков в столицу. Доставленные в Москву мощи нашли свое пристанище в храме, поставленном над Тайницкими воротами Кремля. В тропаре, написанном царем «на перенесение честных мощей», Иван выражал надежду, что заступничество черниговских чудотворцев избавит Русскую землю «от варварского нахождения и междоусобных брани». Ожидания эти не сбылись, но в конце 1572 года могло казаться, что они исполнятся. Наиболее опасный враг был разбит, и, вернувшись в Москву к концу августа 1572 года, царь отменил опричину.

К сожалению, об этом очень важном событии в биографии царя Ивана и в истории России мы знаем совершенно недостаточно. Собиравший сведения о царствовании Ивана IV в конце XVI века ученый англичанин Джильс Флетчер отметил только, что опричина просуществовала семь лет, то есть ее существование прекратилось в 1572 году. Гораздо более конкретно сообщение современника, служившего в опричнине Генриха Штадена. По его словам, после победы над татарами царь не только отменил опричину, но и запретил даже упоминать о ней; нарушившего же запрет приказано было, обнажив до пояса, бить кнутом на торгу. Еще одно свидетельство, обнаруженное сравнительно недавно, принадлежит черныбыльскому старосте Филону Кмите. Правитель крепости, расположенной на границе с Россией, он регулярно сообщал литовскому гетману Миколаю Радзивиллу о том, что происходит в этом государстве. 3 ноября 1572 года он доносил, что «князь великий з землею своею умирил и опричину зламал».

Достоверность всех этих сообщений подтверждается и данными других источников. С введением опричины дьяки при составлении разрядов, делая записи о назначениях на должности или перечисляя приближенных, сопровождавших государя в походах, отмечали, кто из них из «земского», а кто «из опришнины». Со второй половины 1572 года такие пометки в тексте разрядов уже не встречаются. Обращение к материалам Новгородских писцовых книг показывает, что со второй половины 1572 года лица из опричного окружения царя начинают получать поместья в «земских» пятинах Новгородской земли.

Все это с достаточной уверенностью позволяет утверждать, что с осени 1572 года разделение государства на две противостоящие друг другу части перестало существовать. В истории России и в биографии царя Ивана IV начиналась новая глава.

После издания осенью 1572 года царского указа об отмене опричнины в жизни русского общества произошли значительные перемены. Соединились в одно целое земский и опричный дворы, стали служить вместе в одних полках, под командованием одних воевод дети боярские из земских и опричных уездов. Прекратились принудительные переселения и массовые убийства без суда и следствия. Одна часть населения не имела теперь каких-либо особых преимуществ перед другой.

У Штадена, оставившего наиболее подробные сведения о том, как происходила отмена опричнины, читаем очень важное свидетельство: «...Опричники должны были возвратить земским их вотчины. И все земские, кто еще оставался в живых, получили свои вотчины, ограбленные и запустошенные опричниками». Известны и отдельные документы, подтверждающие сообщение Штадена. Так, переяславские вотчинники Таратины, передавая в монастырь свое село Селиваново, отметили в данной грамоте: «Нас государь пожаловал, велел нам тое вотчину отдати в 80-м (то есть в 1572-м. — *Б.Ф.*) году». Из этого как будто можно сделать вывод, что после отмены опричнины произошла почти полная реставрация старых доопричных отношений: все люди, утратившие во время опричных переселений свою родовую собственность, если они не стали жертвами репрессий, смогли получить ее назад. Однако уже такой глубокий знаток эпохи, как С. Б. Веселовский, предостерегал против того, чтобы понимать эти сообщения буквально. Можно не сомневаться, что власть объявила о возможности возврата вотчин к их бывшим владельцам. В отдельных случаях этого удалось добиться, но в целом осуществить подобную меру в масштабах всего государства было делом достаточно долгим и сложным. Сам Штаден обратил внимание на одно серьезное препятствие, возникавшее при этом, отметив, что «опричникам должны были быть розданы взамен этих другие поместья». Таким образом, прежде чем вернуть земли их бывшим владельцам, следовало обеспечить новых владельцев, а это было весьма затруднительно. К тому же, как мы увидим дальше, на такие хлопоты история отвела бывшим владельцам довольно короткий промежуток времени — всего около трех лет. Недавно петербургский исследователь А. П. Павлов собрал и проанализировал сведения писцовых книг первой половины XVII века о родовых вотчинах, которые в это время находились в руках ростовских и ярославских князей. Исследование показало, что это были жалкие остатки тех земельных владений, которые принадлежали этим княжеским родам до опричнины. Таким образом, есть основания полагать, что перемены в судьбах родового землевладения и титулованных князей, и обычных детей боярских, происшедшие в годы опричнины, в очень значительной части оказались

необратимыми и в этом отношении реставрации доопричных порядков не произошло.

Как бы то ни было, очень большая часть населения страны после отмены опричнины смогла вздохнуть с облегчением, и в отношениях между представителями разных общественных групп появилась долгожданная стабильность. Все это, однако, не касалось отношений между царем и его окружением. Здесь картина мало отличалась от той, которую можно было наблюдать в последние годы опричнины. Людей, которых осыпали царскими милостями, завтра ожидала казнь или ссылка. Щедрых пожалований после победы над татарами удостоился командующий войском князь Михаил Иванович Воротынский: царь вернул ему родовую вотчину — город Перемышль, который сам отобрал у воротынских князей в 1563 году, а в следующем году включил в свой опричный удел. Весной 1573 года Воротынский снова был назначен командующим армией, стоявшей на Оке против крымских татар, однако его служба еще не успела закончиться, как царь «положил на князь Михаила Воротынского свою государеву опалу и велел государь с службы из Серпухова князь Михайла взять к Москве». Здесь, согласно записи «Разрядных книг», он был «казнен смертью».

Воротынский был государственным деятелем еще доопричных лет и неоднократно навлек на себя немилость царя. Однако подобный трагический финал мог стать уделом и молодого человека, только начинавшего свою карьеру в последние годы опричнины. Примером служит карьера молодого аристократа из рода стародубских князей князя Бориса Давыдовича Тулупова. Борис Давыдович начал свою службу «головой» в царском полку в 1570 году. В январе 1572 года во время походов на шведов он «ездил с самопалы с государем». Тогда же ему было дано важное поручение — отвезти в любимую обитель царя, Кириллов монастырь, огромный денежный вклад — 2000 рублей. Летом 1572 года во время пребывания царя в Новгороде Тулупов выдал свою сестру замуж за царского шурина Григория Колтовского и так породнился с царской семьей. В 1573 году он уже упоминается как «дворянин ближней думы», а в следующем 1574 году был пожалован в окольничие. Тогда же он стал принимать участие в важных переговорах с иностранными послами. Для человека, принадлежавшего к второстепенной отрасли знатного рода, это была блестящая и быстрая карьера. Современник — англичанин Горсей — называет его «большим фаворитом» царя. Однако летом следующего, 1575 года он был «уличен в заговоре против царя» и по приказу Ивана IV посажен на кол.

Характерная для этих лет нестабильность нашла свое выражение и в быстрых переменах в семейной жизни царя. Вступив в апреле 1572 года в брак с Анной Колтовской, Иван IV, не прожив с ней и двух лет, отправил ее в монастырь и в начале 1575 года взял себе другую жену — Анну Васильчикову, происходившую из семьи кашир-

ских детей боярских. Все эти перемены отражались на судьбах новых царских родственников. За внезапным возвышением по милости царя и получением высоких чинов следовали столь же внезапные опалы и казни. Примером может служить судьба таких царских родственников, как Собакины, принадлежавшие к младшей отрасли тверского боярского рода. Когда царь в октябре 1571 года отпраздновал свой брак с Марфой, отец жены, Василий Степанович Собакин, был пожалован боярским саном, дядя, Василий Меньшой, стал окольным, двоюродный брат царицы, Каллист, — царским кравчим, другой сын Василия Меньшого, Семен, — царским стольником. Однако не прошло и двух лет, как Каллист и Семен Собакины были обвинены в том, что «хотели чародейством извести» царя и его детей, и были казнены вместе со своим отцом. Позднее сходная судьба постигла и родственников царицы Анны Колтовской.

Осложнились отношения царя и с ближайшими к нему духовными лицами. Круг этих лиц для последних лет опричнины вырисовывается достаточно определенно. Среди них первое место занимал Феодосий Вятка, бывший архимандрит Андроникова монастыря, оказавший важные услуги царю в деле митрополита Филиппа и ставший после этого настоятелем первой русской обители — Троице-Сергиева монастыря. Вместе с царем Феодосий Вятка находился в Новгороде тревожным летом 1572 года.

Исследователи давно указывали на особо тесные связи, существовавшие между такой важной подмосковной обителью, как Симонов монастырь, и опричным режимом. В 1569 году монастырь был взят в опричину «со всею вотчиною». «Человеком» царя был и настоятель обители Иов. Именно по желанию царя молодого монаха сначала поставили архимандритом Успенского монастыря в Старице, а затем перевели оттуда в Симонов монастырь. Настоятеля ждала в будущем блестящая церковная карьера — в 1589 году он стал первым русским патриархом, но начало карьеры было положено в последние годы опричнины. Иов сопровождал царя в его поездках в Новгород в декабре 1571 и в мае 1572 года. Старые связи царя с братией Чудова монастыря сохранялись и после смерти пользовавшегося симпатией Ивана IV архимандрита Левкия. Именно его преемника, архимандрита Леонида, царь возвел на одну из важнейших кафедр московской митрополии, сделав архиепископом Новгородским после низложения Пимена. Новый настоятель обители Евфимий также оказался в окружении царя.

Круг этих людей и в последующие годы оставался прежним, но отношение к ним царя изменилось. В Симоновом монастыре по-прежнему оставался настоятелем Иов, но в послании в Кирилло-Белозерский монастырь, написанном в начале 1573 года, царь говорил как о чем-то общеизвестном, что на «Симонове кроме сокровенных раб Божиих точию одеянием иноцы, а мирская все совер-

шаются». Еще более резко и пренебрежительно отзывался царь о самой почитаемой русской обители: «У Троицы в Сергиеве благочестие иссякло и монастырь оскудел: ни пострижется ни кто и не даст ни кто ничего».

Осложнились отношения царя и с той обителью, где в годы опричнины он мечтал найти себе отдых и забвение, — с Кирилло-Белозерским монастырем. О событиях в монастыре, которые нанесли удар по этим надеждам царя, мы узнаем из его послания, отправленного им кирилловской братии в сентябре 1573 года. Непорядки в монастыре, по словам царя, начались 7 июня 1571 года, когда здесь постригся под именем Ионы боярин Иван Васильевич Шереметев Большой. Иван Васильевич давно не пользовался расположением царя, еще до установления опричнины ему пришлось побывать в тюрьме, и, возможно, постригаясь в далекой северной обители, он хотел избежать царской опалы и иных еще более серьезных неприятностей. Как бы то ни было, в дальнейшем старец Иона не проявил желания подчиняться суровым тяготам иноческой жизни. За монастырем поставили двор, куда боярину привозили запасы из его вотчин, построена была и «поварня», чтобы готовить ему пищу. По сведениям, которые поступали к царю от разных информаторов, образ жизни не желавшего ни в чем отказывать себе боярина стал оказывать разлагающее воздействие на монастырскую братию: в келью к Шереметеву приходят монахи и «едят да пьют, что в миру, а Шереметев нивести с свадьбы, нивести с родин розсылает по келиям пастилы, ковришки и иныя пряныя составныя овощи», «а инии глаголют будто, де, вино горячее потихоньку в келию к Шереметеву приносили». Власти монастыря, судя по всему, смотрели на поведение боярина и монахов сквозь пальцы, и, возможно, царь так и не узнал бы о том, что происходит в обители, если бы не ссора между Шереметевым и другим высокопоставленным монахом — тестем царя Василием Степановичем Собакиным, принявшим иночество с именем Варлаама.

Постриг Собакина, как можно заключить, не был следствием опалы. Наоборот, избрание царем в качестве его местопребывания любимой своей обители, куда Собакин и отправился как авторитетный, близкий к царю человек, стало проявлением особой милости. Из послания неясно, из-за чего началась ссора между Собакиным и Шереметевым; некоторые монахи говорили, что они были врагами еще в мирской жизни. В происшедшем конфликте монастырская братия приняла сторону Шереметева. Находившиеся в окружении царя племянники Собакина, Каллист и его братья, пожаловались на «утеснение великое», которое их дядя терпит от монастырской братии из-за Шереметева. Все это происходило осенью 1572 года.

Царь решил вызвать к себе инок Варлаама, но дело задержалось из-за того, что зимой 1573 года царь отправился в поход в шведскую

Ливонию. По-видимому, лишь весной он отдал соответствующее распоряжение, и один из монастырских старцев доставил Варлаама Собакина к царю. Царь был уязвлен тем, что братия не отнеслась с вниманием к человеку, которого он сам прислал в монастырь, но монастырской братии помогло то, что к этому времени уже были казнены обвиненные в «чародействе» племянники Собакина. Да и сам старец Варлаам в разговоре с царем показал себя как человек, далекий от монастырских обычаев, мирянин в рясе, подобно Шереметеву. «Бесов сын» Собакин утратил расположение царя, но непорядки в обители были налицо, и царь «своим словом» приказал, чтобы впредь Шереметев питался в трапезе вместе с братией. Ободренная опалой Собакина братия стала ходатайствовать за Шереметева, ссылаясь на его болезнь. Новое неповиновение вызвало гнев царя, и он взялся за перо.

В своем послании братии Кирилло-Белозерского монастыря, как и в ряде других, вышедших из-под его пера текстов, царь выступает в разных обликах. В пространной вступительной части послания, как и в начальных разделах написанного незадолго до этого завешания, царь предстает смиренным грешником, носителем самых разных пороков, который поэтому вряд ли может кого-либо учить и наставлять. «А мне, псу смердящему, кому учить и чему наказати, и чем просветити. Сам повсегда в пьянстве, в блуде, в прелюбодействе, во скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе». Ему самому подобает «просвещатися» от тех, кто является «светом» для «мирских людей»: «свет инокам — ангели, свет же миряном — иноки».

По контрасту с такой преамбулой тем более сильное воздействие на читателя оказывают последующие разделы послания, в которых царь выступает в роли сурового наставника. Цитируя церковные установления, приводя многочисленные истории из жизни святых подвижников христианского Востока и самой Руси, дополняя их собственными наблюдениями над жизнью русских обителей, он назидает братию, как следует строго блюсти предание — «устав» чудотворца Кирилла, ибо самые малые послабления могут привести к упадку иноческой жизни. Главная опасность грозит устоям монашеской жизни на Руси от «любострастных» — то есть бояр, которые «свои любострастные уставы и ввели» и тем привели к упадку уже многие и даже знаменитые обители («ныне бояре по всем монастырем то испразнили своим любострастием»). Теперь же старец Иона Шереметев «тщится погубити последнее светило, равно с солнцем сияющее и душам совершенное пристанище спасения, в Кирилловом монастыре, в самой пустыни, постническое житие искоренити». Как видим, отмена опричнины не изменила отношения царя к боярам. Иван IV по-прежнему видел в них источник всякого зла.

Царь решительно настаивал на том, что в идеальном сообществе монахов не должно быть никаких различий, вызванных их прежним



Иван Грозный. Надгробный образ (копенгагенский портрет).
XVII (?) в.

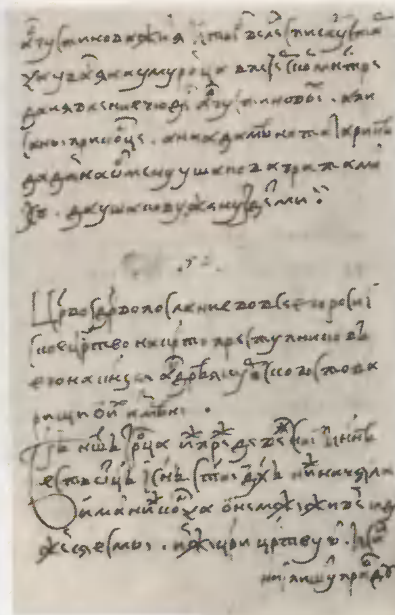


Русские всадники в 40-е гг. XVI в.
Гравюра из книги Сигизмунда
Герберштейна «Записки о Московии».



Шлем Ивана Грозного.

Развалины орденского замка в Вильянди (Феллине). Конец XIII в.



Первое послание
Ивана Грозного
Андрею Курбскому.
Список XVII в.

Замок в Нарве (крепость
Германа). Вторая половина
XIV в.





Дьяк. Гравюра XVI в.



Изображение опричника на поддоне подсвечника XVII в. из Александровой слободы.



Предполагаемое изображение княгини Евфросинии Старицкой. Фрагмент плащаницы «Положение во гроб». Вклад Старицких в Кирилло-Белозерский монастырь. 1565 г.



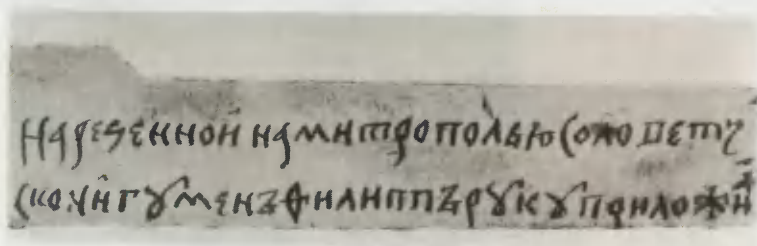
Казни Ивана Грозного. Гравюра из немецкой книги «Разговоры в царстве мертвых». 1725 г.



◀ Александрова слобода. Гравюра XVI в.



Митрополит Филипп Колычев. Миниатюра XVII в.



Иван Грозный. Западно-европейская гравюра на дереве. XVI в.

◀ Автограф митрополита Филиппа на приговоре Освященного собора об избрании его митрополитом и о его невмешательстве в дела опричнины. 20 июля 1566 г.



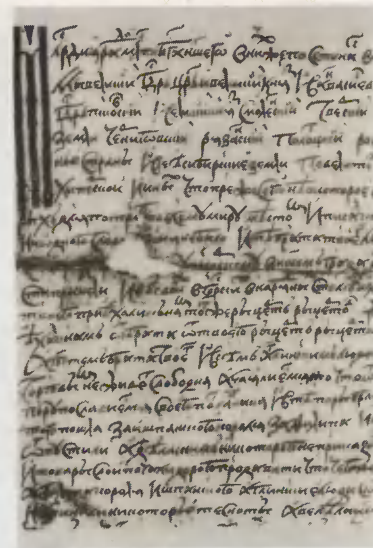
Король Сигизмунд-Август.
Гравюра 1554 г.



Стефан Баторий, воевода
Семиградский. С гравюры 1576 г.



Елизавета I, королева Англии.
Около 1588 г.



Послание Ивана Грозного
Елизавете Английской. 1570 г.

Русское посольство в Регенсбурге, у императора Максимилиана II.
1576 г. Гравюра XVI в. Фрагмент.





Иван Грозный.
Портрет из немецкого
летучего листка. XVI в.

Евангелие 1571 г.
Вклад Ивана Грозного
в Благовещенский собор.



Большая государственная печать Ивана IV.
Изображение и прорись.



План Новгорода Великого в XVI в. Перерисовка с иконы.





Богемский кубок синего стекла из гробницы Ивана Грозного. XVI в.



Заздравная чаша. Вклад Ивана Грозного в Троицкий монастырь.

Монашеская ряса
Ивана Грозного.



Цесис (Кесь). Замок магистра Ливонского ордена.



Взятие Нарвы шведами в 1580 г. Фрагмент надгробия
П. Делагарди из собора Девы Марии в Таллине. 1589—1595 гг.



Иван Грозный.
Портрет
из «Титулярника».
1672 г.



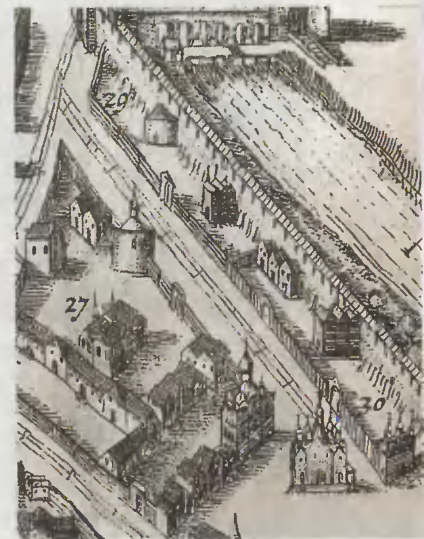
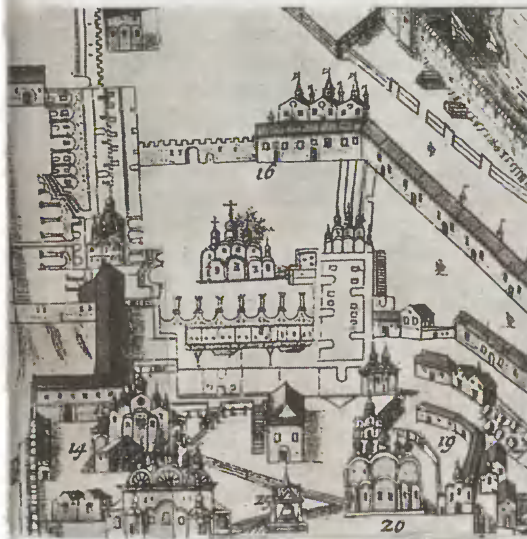
Моление царя Ивана
Грозного с сыновьями
Федором и Дмитрием
пред иконой
Владимирской Божией
Матери. Икона.



Царь Федор Иванович.
Парсуна. XVII в.



Фрагмент плана «Кремлена-града». Конец XVI — начало XVII в.
Слева: Царский двор (16), Патриарший двор (19), Успенский
собор (20), Казна (14). Справа: дворы Бельского (27),
С. Н. Годунова (29), Д. Н. Годунова (30).





Иван Грозный. Скульптурный портрет М. М. Антокольского.

положением в «миру». Обитель не сможет верно следовать «преданию», «только пострижением вражды мирские не разрушити». «Ино то ли путь к спасению, что в черныцех боярин боярства не състрижет, а холоп холопства не избудет?» «Ведь коли ровно, ино то и братство, а коли не ровно, которому братству быти, ино то иноческаго жития нет!»

«Рыболов Петр и поселянин Богослов», писал он монахам, будут судить на Страшном Суде и Давида, и Соломона, и «всем сильным царем, обладавшим вселенною». Указывал царь монахам и на примеры высокопоставленных светских людей, которые, отрекшись от мира, явили пример совершенной иноческой жизни: Иоасафа, сына индийского царя, который «ризы царския премени власяницею и многия напасти претерпе», Саввы Сербского, который ради иноческой жизни «царство и с вельможами остави», князя Николы Святоши, который «предержавый великое княжение Киевское» отрекся от мира и много лет был простым привратником в Киево-Печерском монастыре.

Царь призывал братию монастыря быть непоколебимо твердой в защите монастырского предания — «усердно последствовати великому чудотворцу Кириллу и предания его крепко держати и не быти бегуном, пометая щит и ини». В пример монахам царь ставил Иоанна Златоуста, который «пострада за обидащих», выступая против «лихоимания» византийской императрицы. «И аще святой, — писал царь, — о малых сих вещех сице страдаху, кольми паче, господие мои и отци, вам подобает о чудотворцове предании пострадати». (Перед монахами был близкий пример того, что случается с человеком, который, следуя Златоусту, заступился за обиженных, — митрополит Филипп, но вряд ли они могли указать на это своему царственному корреспонденту.)

В тексте послания ясно вырисовываются причины интереса царя к высокому идеалу монашеской жизни в том ее варианте, который воплотился в жизни общежитийной обители. Такая идеальная обитель рисовалась ему как сообщество людей, не знающих смут и конфликтов, тесно связанных между собой общим образом жизни и духовной близостью. Отступления от этого идеала, очевидные в жизни современных ему монастырей, вызывали у царя острое возмущение. Но он настойчиво рекомендовал лишь один рецепт лечения от болезни — полное беспрекословное подчинение авторитету «предания», оставленного братии основателем обители, и недопустимость малейших отступлений от него. Решающей при этом оказывалась воля настоятеля, который должен был добиться от братии подчинения этому авторитету. Царь писал кирилловским монахам о своих наблюдениях над жизнью кремлевской обители — Чудова монастыря: «Быша архимандрити: Иона, Исак Собака, Михайло, Васиян Глазатой, Аврамей — при всех сих яко един от убогих бысть монастырей. При

Левкий же како сравняся всяким благочинием с великими обители и духовным жительством мало чим отстоя. Смотрите же, слабость ли утверждает или крепость?»

Так в рассуждениях о сохранении идеала монашеской жизни обнаруживаются характерные для взглядов царя представления о взаимоотношениях между обществом и властью.

Подобно другим большим текстам, вышедшим из-под пера царя, это послание отличается большим стилистическим многообразием. Часть наставлений, в особенности те, где говорится о древних подвижниках, выдержана в строгом торжественном стиле, последовательно воспроизводит нормы «книжного» литературного языка. Там же, где речь идет о собственных наблюдениях царя над жизнью монастырей, автор переходит на живой, разговорный язык, не гнушаясь ярких и сочных выражений. «А на Сторожех (в Савво-Сторожевском монастыре. — *Б.Ф.*) до чего допили? Того и затворити монастыря некому, по трапезе трава растет».

Нарушения монастырского «предания» — главная, но не единственная тема послания. Царь сурово выговаривает монахам за невнимательность к его «слову», неуважение к его распоряжениям. Варлаам Собакин, конечно, плохой монах, который подобно Шереметеву «хочет жити и чести по тому же, как в миру», вообще «мужик очюнной, врет и сам себе не ведает что», но Собакин «приехал с моим словом, и вы его не поберегли», «ано было пригоже нашего для слова и нас для его дурости и покрыти». Для монахов Шереметев значит больше, чем царское слово. «Другой на вас Селивестр наскочил», — припомнил царь ненавистного ему ныне бывшего наставника, который также относился к его распоряжениям без должного почтения.

Царь не был бы самим собой, если бы в столь большом литературном тексте не выступил перед читателем в еще одном обличье — злого насмешника. Здесь, впрочем, эта насмешка имеет особое назначение, она должна показать братии все неприличие ее поведения. Если для братии важно бывшее светское положение монаха, то Шереметев должен быть для нее гораздо авторитетнее Кирилла Белозерского: «А Кирилла вам своего тогды как с Шереметевым поставити — которого выше? Шереметев постригся из боярства, а Кирилло и в приказе у государя не был!» (Кирилл Белозерский в молодости был слугой своего родственника, окольничего Тимофея Вельяминова.)

Вместе с тем в послании обнаруживаются такие эмоциональные интонации, которые мы не встречали в более ранних текстах, исходивших от царя. Как и ранее, царь уверен в своем обладании истинной и своим праве всех поучать и наставлять, но уже совсем не так очевидна его воля, желание заставить монахов этим наставлениям следовать. В конечной части послания, после целой череды резких и категорических утверждений, с некоторым удивлением читаем: «Как лутче, таки и делайте! Сами ведаете, как себе с ним (Шереме-

тевым. — Б.Ф.) хотите, а мне до того ни до чего дела нет!» Царь требует не столько повиновения своим наставлениям, сколько того, чтобы монахи оставили его в покое и больше не занимали его внимания ссорами в своей обители: «А вперед бы есте о Шереметеве и о иных о безлепихах нам не докучали»; «но доколе молвы и смущения, доколе плища и мятежа, доколе рети и шептания и суесловия». В этих словах отражались не только усталость человека, измученного интригами в своем окружении, но и разочарование в надежде когда-нибудь найти себе мир и покой в стенах Кирилловской обители. «И только нам благоволит Бог у вас пострищися, — писал царь, обращаясь к кирилловским монахам, — ино то всему царскому двору у вас быти, а монастыря уже и не будет». В последующие годы царь не оставил обитель своими милостями, но хлопоты, связанные с устройством в ней царской кельи, прекратились. Внимание царской семьи стали теперь привлекать обители, расположенные еще дальше на север, чем Кириллов, в которых монахи подвизались в еще более трудных и суровых природных условиях — такие, например, как Антониев Сийский монастырь, расположенный на одном из притоков Северной Двины, но о пострижении в них царь больше не думал. Так царю Ивану пришлось проститься с еще одной иллюзией.

В первые годы после опричнины осложнились отношения царя с еще одной группой его особо близких и доверенных слуг, игравших с течением времени все большую роль в управлении страной, — думными дворянами.

Дума предшественников царя, его отца и деда, такого чина не знала. «Думцами» — советниками великого князя могли быть только бояре и окольничие, принадлежавшие к наиболее знатным княжеским и боярским родам. Лишь изредка по решению великого князя в работе Думы мог принимать участие какой-либо сын боярский, в советах которого великий князь особенно нуждался, но который по худородству не мог получить думного чина. Такими «детьми боярскими», допущенными в Думу, были, например, любимец Василия III, незнатный тверской вотчинник Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, а во дни молодости царя Ивана — Алексей Адашев.

Когда царь с начала 60-х годов XVI века перешел к политике ослабления влияния знати, положение изменилось. В условиях опалы и казней размеры Боярской думы сильно сократились: в 1564 году в Думу входило 34 боярина, в 1572 году, после отмены опричнины, — 18. Одновременно в годы опричнины появилась целая группа «думных дворян», вошедшая в состав опричной Думы. Одного из этих дворян, Романа Алферьева, царь даже сделал печатником — хранителем государственной печати. Таким образом, царь смог привлечь к управлению страной и принятию важных политических решений тех своих близких слуг, которые завоевали его доверие, но из-за своего

низкого происхождения не могли претендовать на думные чины. С отменой опричнины новый чин не был ликвидирован и опричные думные дворяне вошли теперь в состав уже единой Боярской думы. Среди этих думных дворян главной фигурой к концу опричнины стал печально знаменитый Малюта Скуратов — Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Пример его карьеры показывает, какого высокого положения мог в эти годы достичь незнатный и небогатый сын боярский.

В середине XVI века Малюта был рядовым сыном боярским, служившим в «государеве дворе» по городу Белой (отсюда, очевидно, и его прозвище — Бельский). В окрестностях этого города на Смоленщине получали поместья младшие отпрыски обедневших дворянских фамилий. Среди детей боярских, служивших по Белой, Малюта не занимал особо видного положения: в соответствующем перечне имена его и его братьев читаются в середине списка; в число тысячи лучших слуг, выбранных в 1550 году для несения службы в окружении государя в Москве, Малюта и его братья не попали.

Первая ступенька в его карьере была связана со вступлением в опричнину и получением должности пономаря в опричном братстве. Должность была невысокая, но Малюта уже попал в круг людей, лично известных царю. В первые годы опричнины сколько-нибудь заметной роли Малюта не играл, но когда по приказу царя начались массовые казни и погромы, началось и возвышение Малюты. Он активно участвовал во всех погромах и казнях (отчасти об этом уже говорилось в предшествующих главах книги). Известия об этом многочисленны и красноречивы; стоит отметить, например, что именно Малюта начал публично казнить изменников на Красной площади 25 июля 1570 года. Нет сомнений, что именно эти доказательства преданности снискали Малюте доверие царя и стали причиной его возвышения. В народную память Малюта Скуратов и вошел как главный царский палач. Так, в народной песне об Иване Грозном и сыне именно он доносит на царевича, будто тот проявляет милосердие к изменникам, а затем берется выполнить вынесенный царем смертный приговор.

Малюта завоевал полное доверие царя. В то время как начиная с 1570 года многие опричники, приближенные царя, впали в немилость или даже были казнены, Малюта продолжал уверенно двигаться вверх по лестнице чинов. В 1570 году он вошел в число думных дворян, хотя и занял среди них последнее место, а уже осенью следующего, 1571 года на свадьбе царя с Марфой Собакиной Малюта был «дружкой» царицы, а его жена Марья — царицыной «свахой». Когда весной 1572 года царь предпринял поход против шведов, Малюта участвовал в походе в качестве «дворового воеводы» и возглавлял царский полк вместе с потомком Гедимины князем Федором Михайловичем Трубецким. Вознести выше обычного сына боярского было уже просто не-

возможно. Царь поручал Малюте вести и важные переговоры с послами иностранных государств.

Малюта погиб в начале 1573 года при взятии крепости Пайде в Ливонии. Он был похоронен в Иосифо-Волоколамском монастыре, и царь «дал по холопе своем по Григорье по Малюте Лукьяновиче Скуратове» большой вклад — 150 рублей, больше, чем по своему брату Юрию и жене Марфе. Штаден записал о Малюте, что «по указу великого князя его поминают в церквах и до днесь».

Другим видным лицом среди думных дворян царя был Василий Грязной. Он принадлежал к старому роду ростовских бояр, но это не обеспечило ему особо высокого места на лестнице сословной иерархии: бояре, служившие местным ростовским князьям, стояли ниже тех, кто служил великим князьям и удельным князьям московского дома. Его род, конечно, был гораздо более «честным», чем род Малюты. Двоюродный брат Василия Грязного, Василий Ошанин, в 1550 году попал в число «лучших» слуг. Однако у самого Грязного шансы на карьеру были не очень высокими. При выделении в 1519 году удела пятому сыну Ивана III, Андрею, отец Василия Григорий пошел на службу к этому князю, получив у него землю в Алексинском уезде. Сын его, судя по всему, также служил сыну этого князя — Владимиру Андреевичу Старицкому. Позднее царь насмешливо советовал Грязному вспомнить «свое величество и отца своего в Олексине» и напоминал, что у одного из бояр старицкого князя тот был «мало что не в охотниках с собаками».

Служба в старицком дворе служила не лучшей рекомендацией для человека, желавшего делать карьеру в опричнине. Возможно, помогла протекция. По свидетельству Таубе и Крузе, двоюродный брат Василия, Григорий Грязной, был у царя Ивана «спальником... который всегда одевал и раздевал его». Как и Малюта в опричном дворе, Василий был поначалу на вторых ролях и стал возвышаться, когда начался массовый террор. Вместе с Малютой он принудил принять яд своего бывшего государя — князя Владимира Андреевича. Вместе с Малютой в 1570 году он вошел в число думных дворян и вместе с ним участвовал в походе под Пайде, где при взятии крепости был послан в «пролом», но остался жив. От царя Василий Григорьевич получил поместья в целом ряде опричных уездов, а после отмены опричнины — большие владения в Шелонской пятине. Хотя Грязной и не достиг такого высокого положения, как Малюта, он, без сомнений, принадлежал к тому узкому кругу доверенных слуг, которых царь возвысил и привлек к участию в управлении государством.

Весной 1573 года Василий Грязной был послан воеводой в южную крепость Данков и во время разведки в степи попал в плен к татарам. Когда в Крыму узнали, что в плену находится близкий приближенный самого царя, хан потребовал за него выкуп в 100 тысяч рублей или предложил обменять его на главу рода Мангитов Дивей-мурзу,

попавшего в русский плен после битвы при Молодях. Грязной решил написать об этих предложениях в Москву.

Тогда царь взялся за перо. Письмо, написанное им своему думному дворянину, проливает свет на его отношение к этим возвысившимся в годы опричнины людям. Сам Грязной позднее писал, что царское письмо «писано жестоко и милостиво». Милость заключалась в том, что Иван Васильевич велел дать за Грязного 2 тысячи рублей выкупа. Это была большая сумма, особенно, если учесть, что в 1570 году за сыновей Темрюка — царских родственников, оказавшихся в татарском плену, царь давал всего полторы тысячи рублей. О согласии царя выплатить такой выкуп сообщили крымским гонцам в Москве его советники, боярин Василий Умной Колычев и дьяк Андрей Шелкалов. Если выкуп был выплачен не сразу, а лишь в марте 1577 года, то тому причиной были проволочки крымских вельмож и их попытки получить еще больше. Но этим знаки милости со стороны царя не ограничились. Отправленный в Крым гонец Иван Мясоедов должен был сообщить Грязному, «что сына его государь пожаловал поместьем и денежным жалованьем велел устроить». Таким образом, царь не оставил своей милостью попавшего в беду слугу.

Вместе с тем письмо царя было и «жестоко». То, что Грязной называл себя в Крыму «великим человеком» и счел себя достойным обмена на одного из наиболее видных крымских вельмож Дивея-мурзу, вызвало недовольство царя, который нашел нужным жестко указать слуге на его место. Дивей-мурза — знатный вельможа, за его сына хан выдал свою дочь, «а ногойский князь и мурзы ему все братья». «Ровня» Дивею — такие большие вельможи, как знаменитый воевода, член тверского княжеского рода и владелец больших родовых вотчин в Тверском уезде князь Семен Иванович Микулинский или дядя царя князь Михаил Васильевич Глинский, «а у Дивея и своих таких полно было, как ты, Вася». Грязному следовало бы вспомнить «свое величество и отца своего в Алексине» (иронический отклик на слова Грязного, что он у царя «великий человек»). Царь не отрицает, что Грязной «у него в приближенье был», но достиг он этого положения не по своему происхождению и достоинствам, а по царской милости, вызванной особыми обстоятельствами: «по грехам моим учинилось, — писал царь, — что отца нашего и наши князи и бояре нам учили изменяти, и мы и вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды». «Князи и бояре», хотя подчас и «изменяют», занимают в обществе подобающее им положение, а возвышенные царем «страдники» (слово это, производное от «страда» — работа, обозначало в языке того времени человека, занятого работой в барском хозяйстве) всем обязаны царской милости и должны об этом помнить.

Хотя по своему положению в опричнине Грязной должен был, конечно, входить в опричное братство, ни в тексте письма, ни в тексте ответа Грязного нельзя найти никаких намеков на существование ка-

кой-либо особой духовной связи между царем и его опричником. Перед нами еще одно доказательство того, что с концом опричнины был положен конец иллюзиям царя относительно своих ближних слуг. Теперь царь видел в них простые орудия своей воли, назначение которых — «верная» служба, беспрекословное выполнение царских приказаний. Такой характер отношений был ясен и для самих приближенных царя. В своем ответе Грязной так и писал: «А величество, государь, што не памятовать? Не твоя б государская милость, и яз бы што за человек? Ты, государь, аки Бог и мала и велика чинишь».

Некоторые из думных дворян были казнены в последние годы опричнины, но опалы и казни продолжались и позже. В самой посылке Василия Грязного на разведку в степь исследователи с полным основанием видят признак приближавшейся немилости. Примером такой явной немилости стала карьера двоюродного брата Грязного Василия Ошанина. Начав службу вместе с братом в опричном дворе, он также сумел завоевать доверие царя, и ему было поручено везти из Новгорода в Москву арестованного архиепископа Пимена. Аресты и казни последних лет опричнины его не коснулись. После взятия Пайде Ошанин был оставлен в этой крепости воеводой, но затем царь приказал его арестовать, и на этом известия о нем обрываются.

Ощущение общей нестабильности, неожиданных перемен и колебаний возникает при анализе высказываний и действий царя в эти годы. Царь, несомненно, не был удовлетворен тем положением, которое сложилось в стране после отмены опричнины. Опричнину он был вынужден отменить, но возвращение к прежним порядкам его также не удовлетворяло.

Отмена опричнины вовсе не означала, что царь стал теперь больше доверять своим подданным и что вопрос об обеспечении его безопасности утратил для него актуальность. На отношение царя к подданным проливает яркий свет ряд пассажей из наставлений сыновьям в тексте царского завещания, написанного, как мы помним, совсем незадолго до отмены опричнины. Так, в наставлениях младшему сыну Федору царь предполагал, что может сложиться такая ситуация, когда его наследник, старший сын Иван, «государства не достигнет», и предписывал младшему сыну, чтобы тот со своим старшим братом «вместе был заодин, и с его бы еси изменники и с лиходеи некоторыми делы не ссылался». Федор не должен соблазняться и заманчивыми обещаниями, даже если его «учнут прельщать славою и богатством и честию или учнут тебе которых городов поступать». Таким образом, царю представлялось вполне вероятным, что после его смерти подданные могут поднять мятеж, чтобы не допустить его старшего сына на трон, и станут натравливать его сыновей друг на друга. Царь предполагал и худший вариант, при котором оба его сына будут изгнаны из страны. Не случайно он настойчиво предписы-

вал сыновьям всегда поминать в молитвах своих родителей «не токмо, что в царствующем граде Москве, но аще и в гонении и во изгнании будете».

Показательно и то, что поиски убежища в Англии с отменой опричнины вовсе не прекратились. Правда, в 1572 году царь сам прервал переговоры на эту тему, заявив английскому послу Энтони Дженкинсону, что «тому делу время поминалось». Однако в 1574 году он снова вернулся к этому вопросу, дав понять английскому гонцу Даниелю Сильвестру, что, помимо грамоты Елизаветы, гарантировавшей ему почетное пребывание в Англии, он хотел бы получить такую же грамоту за подписями ее советников.

Летом 1575 года произошли события, подтолкнувшие царя к решению принять особые меры для обеспечения своей безопасности. Эти события не получили отражения в каких-либо нарративных источниках (за исключением сочинения Горсея), и исследователям лишь с большим трудом, изучая «Синодик опальных» и сопоставляя его с другими источниками, удалось установить, что же тогда случилось на самом деле. Выяснилось, что в августе 1575 года был казнен не только «фаворит» царя князь Борис Тулупов. Вместе с ним казнили боярина Василия Ивановича Умного Колычева, одного из главных советников царя после отмены опричнины, думного дворянина Михаила Тимофеевича Плещеева, двоюродных братьев фаворита — князей Андрея и Никиту Тулуповых и ряд других дворян. На свадьбе царя с Анной Васильчиковой все эти люди занимали видное место (кто сидел на скамье возле молодых, кто ходил с платьем, кто мылся в мыльне вместе с царем) — иначе говоря, все они принадлежали к близкому окружению монарха.

По сведениям Горсея, князь Борис Тулупов был «уличен в заговоре против царя и в сношениях с опальной знатью». Очевидно, такое же обвинение было предъявлено и другим казненным. Располагая лишь этим свидетельством Горсея и именами казненных, крайне трудно установить, сколько правды было в этих обвинениях. Ясно, однако, что сам царь, как и во многих других случаях, считал эти обвинения истинными. Оказалось, что «измена» снова свила себе гнездо в близком окружении монарха, и это, несомненно, заставило его не медлить более с осуществлением новых мер, которые укрепили бы его власть и обеспечили его безопасность.

ИВАН IV И ПОЛЬСКАЯ КОРОНА

Сообщение о победе русских воевод над татарами было не единственным важным известием, полученным царем во время его пребывания в Новгороде летом 1572 года. В это же время ему стало известно о смерти 19 июля 1572 года польского короля Сигизмунда II.

Трон, который занимал Сигизмунд, теоретически был выборным едва ли не с конца XIV века, но польские паны дорожили союзом с Литвой, и это заставляло их фактически без всякого выбора возводить на него Ягеллонов — наследственных правителей Великого княжества Литовского. Теперь, когда последний из Ягеллонов, Сигизмунд II, умер, не оставив потомства, а незадолго до его смерти в 1569 году Польша и Великое княжество Литовское объединились в единое государство — Речь Посполитую двух народов, выборным и уже не только формально, но и фактически стал трон правителя огромного государства, границы которого охватывали территорию современной Польши, Литвы, Белоруссии и большей части Украины. Государство это было главным западным соседом России, и царю и его советникам было, конечно, совершенно безразлично, кто займет опустевший престол. Наилучшим, с их точки зрения, решением было бы такое, при котором место короля Сигизмунда II занял бы сам царь Иван IV.

В такой идее для русских политиков не было ничего принципиально нового. Уже в 1506 году, когда умер великий князь Литовский Александр Ягеллончик, отец царя Василий III предлагал литовским панам-радам, «чтобы они похотели его на государство литовское». Позднее и сам Иван IV, предвидя близкую смерть бездетного Сигизмунда II, поручил литовскому вельможе Яну Глебовичу, попавшему в русский плен и отпущенному в 1566 году обратно в Литву, вести переговоры с литовскими магнатами, чтобы после смерти короля «взяли сына его (Ивана IV. — *Б.Ф.*) себе за пана». С заключением Люблинской унии положение осложнилось, так как царь должен был добиваться своего избрания преемником Сигизмунда II не только в Великом княжестве Литовском, но и в Польше — стране, внутренние отношения в которой были русским политикам мало знакомы. Однако и выгоды в случае успеха оказывались гораздо более значительными, чем в случае, если бы Иван IV занял только литовский трон: были бы решены все проблемы, над которыми бились и сам царь, и его советники с конца 50-х годов. Спор двух государств из-за Ливонии потерял бы всякое значение, и никто более не мешал бы царю утвердить свою власть над балтийскими портами, по крайней мере над Таллином, который еще оставался под властью шведов. Соединение под властью одного монарха военных сил России и Речи Посполитой позволило бы не только организовать успешную защиту обоих государств от набегов крымских татар, но и приступить к еще более важной задаче — уничтожению самого Крымского ханства. Если бы Россия и Речь Посполитая объединились под его властью, говорил в то время царь, то «татарскому хану указал бы я дорогу за море». Наконец, избрание Ивана IV польским королем привело бы к усилению русского влияния на белорусских и украинских землях. Тем самым был бы сделан важный шаг на пути к решению главной задачи внеш-

ней политики московских правителей — «собирацию» всех земель Древней Руси под властью московских государей — потомков святого Владимира. Такими важными выгодами царь пренебречь не мог, и неудивительно, что он принял решение добиваться своего избрания на польский трон.

Царь отдавал себе отчет, что ему придется столкнуться с серьезными трудностями. Его методы обращения со своими подданными, жестокие казни, подробно описанные в брошюрах, распространявшихся по Европе противниками царя, вряд ли могли снискать ему симпатии польских и литовских магнатов и шляхты, которых при всех разногласиях между ними никак не могла привлекать перспектива видеть на своем троне такого самовластного и жестокого правителя. К этой трудности добавлялись и другие, связанные с религиозными разногласиями.

В Великом княжестве Литовском, правда, большинство дворянства было православным, но и там наиболее влиятельная политическая группа — литовская аристократия — исповедовала католицизм. В Польше же католицизм был вероисповеданием большинства населения. В середине XVI века многие магнаты и простые шляхтичи (как католики, так и православные) стали приверженцами протестантизма разных толков. В такой сложной ситуации Ягеллонам удавалось сохранять религиозный мир в стране благодаря политике широкой веротерпимости, и от преемника Сигизмунда II дворянство Речи Посполитой ожидало продолжения этой политики.

Царь Иван IV в глазах польско-литовского дворянства никак не выглядел сторонником веротерпимости. Уже гибель монахов бернардинского монастыря в Полоцке при сдаче города русским войскам в 1563 году произвела весьма сильное впечатление на магнатов и шляхту Речи Посполитой. Много лет спустя после этого события коронный канцлер Ян Замойский напоминал царю, что по его приказу монахи были потоплены «в озере под Полоцком з жидами». Сам царь постоянно демонстрировал не только свою враждебность к инославным учениям, но и готовность ограждать подданных от их вредного влияния. В записках польского шляхтича Самуеля Маскевича, побывавшего в России в годы Смуты, сохранился рассказ, записанный им со слов одного из членов знатного рода Головиных, о книготорговце, который привез в Москву на продажу книги духовного содержания. Царь захотел познакомиться с этими книгами, а затем приказал купить их у книготорговца и сжечь.

Положение царя осложнял и тот факт, что совсем незадолго до смерти Сигизмунда II он публично продемонстрировал свою враждебность к протестантам и католикам перед представителями Речи Посполитой. В 1570 году, когда начались очередные переговоры о перемирии между Сигизмундом II и Иваном IV, в Россию впервые выехало посольство, состоявшее из представителей Польши и Лит-

вы. Во главе посольства стоял польский вельможа Ян с Кротошина, протестант, сторонник учения «чешских братьев» — одного из наиболее радикальных направлений европейской Реформации. Вместе с ним в качестве его проповедника в Москву приехал «министр» чешских братьев в Польше Ян Рокита. Неутомимый участник споров между приверженцами разных христианских конфессий, Рокита прибыл в Москву, надеясь, что царь разрешит ему проповедовать в России его учение.

К просьбе проповедника царь отнесся серьезно и задал ему десять вопросов, чтобы уяснить характер его учения. Рокита написал на эти вопросы подробные ответы. Царь воспользовался этим, чтобы, отвечая Роките, публично продемонстрировать свое отношение к протестантам в присутствии послов, Боярской думы и духовенства.

Его «ответ» открывался словами, что Иисус Христос учит своих верных «не давати святого слова псом неверным и неверующим Святому писанию», но царь все же берется за перо, чтобы Рокита не подумал, будто он не понимает, «яковый яд излиял еси». В своем ответе царь последовательно уподобляет Рокиту и его единоверцев — протестантов «бесам», которые самовольно присвоили себе учительский сан и, не считаясь с мнением святых отцов, толкуют христианское учение по своему разуму и тем разрушают его: «Так и вы чрез преграды Божественного учения прелезше и на учительском месте ставше и своим учением Христовы словесныя овца, их же искуп своею честною кровию, крадете и разбиваете». Именно критическое отношение к традиции, стремление ее пересмотреть и тем поставить под сомнение ее авторитет, нежелание считаться с авторитетом тех, кому по традиции доверено право толковать учение, вызывали гнев царя: «Вы же от самовольства взявшиися и на учительство воскочисте... сего ради татие и разбойници нарицаетесь». «Вы же, претекше священников, претекше учителей, претекше святители, претекше и апостолов... самовластно учителя статсте».

«Самовольство» и «самовластие» — желание поступать в соответствии с собственными желаниями, не подчиняясь авторитету власти, было главным «грехом» крамольных бояр. В этом же грехе были повинны и самозванные толкователи Священного Писания.

Царь со своей стороны подчеркивал необходимость для христианина во всем следовать авторитету предания: «Как же разумети, аще не от Писания или кто наставит? сего ради нужда належит, яко Божественных апостол и святых отец яко наставники почитати и молитися, тогда и Писанию их веровати и от Писания их поучатися». В противном случае «все человецы яко же скоты будут, ничто же разумеюще». По убеждению царя, Рокита — не христианин, «враг Креста Христова», он способствует «бесовской прелести», а так как он не служит литургии и «смерти Господне не возвещает», то он «антихрист и развратник веры Христове».

По представлениям царя, он поступил милостиво по отношению к представителю столь опасных взглядов, «еретику» и «слуге анти-христа». Он лишь запретил Роките проповедовать в России свое учение, но не наложил на него «опалы» и позволил выехать из Москвы вместе с посольством. Однако на членов посольства, присутствовавших 10 мая 1570 года на встрече царя с Рокитой, происшедшее должно было произвести иное впечатление. Хотя по понятным причинам в ответе царя речь шла почти исключительно о протестантизме, Иван IV нашел возможность кратко, но определенно выразить и свое отношение к латинской церкви: «яко латына прелесть, тако и вы тьма».

Своим высказываниям царь придавал, по-видимому, особое значение, так как, не удовлетворяясь устным обличением еретика, 18 июня 1570 года, перед отъездом посольства из Москвы, приказал передать Роките свой письменный ответ. Текст ответа царя был довольно быстро переведен на польский язык и на латынь (латинское издание «Ответа» в 1582 году стало первой печатной публикацией сочинения Ивана IV) и, следовательно, стал хорошо известен образованной элите польско-литовского общества. Это сочинение — свидетельство непримиримого отношения царя к иноверцам, должно было стать серьезным препятствием на его пути к польскому трону.

Трудности, с которыми сталкивался царь, усугублялись тем обстоятельством, что рядом с ним не было опытного советника. Многолетний глава Посольского приказа Иван Михайлович Висковатый был казнен по приказу самого Ивана IV, его преемник Андрей Яковлевич Щелкалов, руководивший Посольским приказом вплоть до смерти Ивана IV, хотя и участвовал ранее в дипломатических переговорах, не имел ни опыта Ивана Михайловича Висковатого, ни его связей. Не мог помочь царю в этом отношении и его наиболее близкий советник в те годы — Малюта Скуратов.

Для начала своей предвыборной кампании царь воспользовался приездом к нему в сентябре 1572 года гонца от сената Речи Посполитой Федора Ворыпая с сообщением о смерти Сигизмунда II. Уже и ранее Иван неоднократно нарушал установленные нормы дипломатического церемониала, непосредственно обращаясь к иностранным дипломатам. И на этот раз царь нарушил эти нормы и обратился к гонцу с большой речью, в которой постарался рассеять возможные сомнения избирателей. Говорят, что я зол и склонен к гневу, объяснял царь гонцу, но я караю только злых, а ради доброго готов снять и цепь и шубу со своих плеч. Пусть паны-рада присылают на службу к царю или к его сыновьям своих детей, тогда они на деле смогут убедиться в том, злым или добрым является царь Иван. Чтобы опровергнуть сложившееся представление о своей жестокости, царь торжественно обещал в случае своего избрания на польский трон простить вины беглецам из России, нашедшим приют в Речи Посполитой (эту своеобразную амнистию царь не распространял лишь на Курбского).

Нашлись в царской речи и слова для последователей учения Мартина Лютера. Им следовало передать, что, по убеждению царя, Священное Писание дано людям «не на брань и гнев, только на тихость и смирение». Царь торжественно обещал, если его возведут на польский трон, не только сохранить все «права» и «вольности» польского и литовского дворянства, но еще и умножить их.

Главный упор в своей речи царь сделал на тех выгодах, которые принесет соединение сил двух государств под властью одного монарха. Тогда они не только смогут одержать верх над «погаными»; таким сильным союзникам не будут опасны «ни Рим, ни какое иное королевство». Ради союза и мира с Речью Посполитой царь выражал готовность уступить в ее пользу недавно завоеванный Полоцк с пригородами и еще добавить к ним что-либо из своих «московских земель».

Пусть только паны-рада скорее пришлют к царю послов, чтобы договориться с ним по всем вопросам, выбрав для этого «добрых людей». Этому предложению придавалось особое значение, так как, провожая гонца, Малюта Скуратов подчеркнул, что послов следует прислать скорее, чтобы «добрая договоренность в злую не превратилась».

Принимая Ворыпая, царь проявил явную заинтересованность в том, чтобы паны и шляхта посадили его на опустевший польский трон. Однако его заинтересованность не простиралась так далеко, чтобы, пренебрегая своим достоинством, отправлять послов в Речь Посполитую и просить магнатов и шляхту о своем избрании на польский трон. Напротив, царь ждал, когда те сами обратятся к царю с такими предложениями. Так как другие заинтересованные в судьбе польского трона монархи, не разделяя этих представлений царя, поспешили отправить в Речь Посполитую посольства, чтобы привлечь избирателей на сторону удобного им кандидата, то уже благодаря этому конечный успех царя в борьбе за польский трон оказывался под сомнением.

И донесения послов, и местные источники свидетельствуют, что с самого начала избирательной кампании сторонники Ивана IV представляли собой достаточно заметную величину среди избирателей из рядов польской шляхты. На первый взгляд это может казаться удивительным: как в рядах польской шляхты, видевшей смысл своего существования в защите и увеличении своих дворянских «вольностей» (прежде всего за счет уменьшения власти монарха), могли найтись сторонники правителя, который категорически отвергал саму возможность наличия у его подданных каких-либо «свобод», ограничивавших его власть?

Проявление симпатий к личности Ивана IV связано с особенностями внутривосточной ситуации в Польском королевстве, где с конца 50-х годов XVI века шла упорная борьба между магнатами и шляхтой за власть и влияние. Шляхетские политики добивались воз-

вращения государству заложенных магнатам земель королевского домена, требовали принятия законов, которые запрещали бы соединять в одних руках несколько высших государственных должностей, настаивали на создании в провинциальных округах института «инстигаторов» — людей, которых шляхта выбирала бы из своей среды на дворянских собраниях округов — провинциальных сеймиках и которые осуществляли бы от ее имени контроль за действиями магнатов, представлявших на местах государственную власть. Король Сигизмунд II в этом конфликте встал на сторону шляхты, но вел себя робко и непоследовательно, и ко времени его смерти реформы, намеченные шляхетским лагерем, были осуществлены лишь частично. Понятно поэтому, что шляхетские политики хотели видеть на троне такого правителя, который решительными действиями сломил бы сопротивление знати. Отсюда их интерес к кандидатуре царя.

Но имелась и другая важная причина их интереса к личности Ивана IV, связанная с особенностями представлений шляхетских политиков об окружающем мире и месте в нем Польши. Шляхетские политики смотрели на Россию как на дикую и варварскую страну, в которой невозможно иное правление, кроме «тиранического». Один из публицистов, сторонников царя, Петр Мычельский утверждал, что «дикая натура» москвитов «не возделана» ни искусством, ни добрыми нравами, ни предписаниями законов, поэтому Иван IV, чтобы добиться выполнения своих приказаний, «должен править ими тиранически». Иное дело, если бы царь попал в более развитую и культурную польскую среду. В этом случае, писал Мычельский, царь, «проникнувшись отвращением к простоте людей своих и их обычаев, полюбит столь благородный народ польский». А вслед за царем последовало бы и все русское общество. Шляхетские политики были уверены: подобно тому, как после установления в конце XIV века династической унии с Литвой дворянство Литвы, Белоруссии и Украины подчинилось влиянию польской дворянской культуры, заимствуя польские обычаи, институты и нормы права, так после династической унии с Россией по такому пути пошло бы и русское дворянство. «Если мы (к себе на трон. — Б.Ф.) Московского взяли, то, без сомнения, все тамошнее варварство с течением времени было бы нами реформировано», — полагал автор одной из появившихся в это время брошюр.

Как видим, взгляды шляхетских политиков весьма отличались от представлений их избранника Ивана IV о роли и месте России в мире. Эти расхождения, надо полагать, неизбежно выявились бы при контактах избирателей с русскими дипломатами, но до этого дело так и не дошло: шляхта ожидала послов Ивана IV, а царь ожидал, когда послы Речи Посполитой пригласят его занять польский трон.

Напротив, уже осенью 1572 года с царем в переговоры о судьбе

польского трона нашли нужным вступить литовские магнаты. На первый взгляд их инициатива вызывает еще большее удивление, чем симпатии шляхетских польских политиков к кандидатуре Ивана IV. Ведь в отличие от поляков литовские магнаты постоянно получали сведения о том, что происходит в России, от своих купцов и лазутчиков, встречались с многочисленными беглецами из России (Курбский, писавший в это время «Историю о великом князе Московском», был своим человеком в их кругу) и, несомненно, имели достаточно точное представление о личности царя и методах его правления. Даже в страшном сне они не могли представить Ивана IV своим государем.

Однако знакомство с составленными ими документами показывает, что это в их планы вовсе и не входило. На польском троне литовские магнаты хотели видеть вовсе не царя, а его младшего сына, царевича Федора. Выбор в качестве кандидата именно младшего, имевшего малые шансы унаследовать русский трон, сына царя, говорит о том, что литовские магнаты всячески стремились избежать перспективы соединения России и Речи Посполитой под властью одного монарха. Привлекала магнатов и личность кандидата — молодого человека (к тому времени ему исполнилось 19 лет), о котором уже было известно, что он не способен заниматься государственными делами: на собравшемся осенью 1572 года съезде великопольской шляхты один из его участников говорил как об общеизвестном факте, что младший сын царя «ничего не умеет». От него трудно было ожидать попыток установления в Речи Посполитой режима, подобного опричнине. Добиваясь дополнительных гарантий в этом отношении, литовские магнаты желали бы, чтобы не только их кандидат, но и его старший брат и отец принесли присягу, что Федор будет сохранять все шляхетские права и вольности и способствовать их расширению.

Появление этого условия показывает, что у самих инициаторов такого замысла эксперимент с русским кандидатом вызывал известные сомнения. Но налицо были и важные преимущества.

Великое княжество Литовское было не менее России разорено «моровым поветрием» и долголетней войной. В начале 1572 года признанный лидер литовских магнатов Миколай Радзивилл Рыжий писал своему племяннику, что страна опустошена и возобновление войны может привести к ее полному разорению. Избрание царевича должно было привести к установлению длительного и прочного мира с Россией. Но дело не только в этом. Литовские политики полагали, что в обмен на свое согласие способствовать возведению царевича на польский трон царь согласится вернуть Великому княжеству те земли, которые долгое время были предметом спора между Россией и Великим княжеством Литовским, — не только пограничные крепости Усвят и Озерище, но также Полоцк и Смоленск. Кроме того,

«для учтивости» царь должен был пожаловать сыну еще «иные города и волости».

Литовские вельможи были глубоко не удовлетворены условиями унии, заключенной в Люблине, когда польское дворянство, используя тяжелое положение Великого княжества Литовского в войне с Россией, лишило его значительной части территории. Киевское, Брацлавское и Волынское воеводства — вся южная часть Великого княжества, а также его наиболее западная часть — Подляшье — вошли в состав Польского королевства. Тем самым в федеративном Польско-Литовском государстве Литве досталась роль младшего, подчиненного партнера. Возвращение земель на востоке должно было способствовать увеличению удельного веса Великого княжества Литовского в Речи Посполитой.

К осуществлению своего плана литовские магнаты приступили уже осенью 1572 года. Известив царя о своих намерениях избрать Федора и «приводить» к такому решению поляков, они просили дать «опасную грамоту» для посла, который обсудил бы с царем условия избрания его сына. Такая грамота была выслана, и в конце декабря 1572 года в Россию отправился один из наиболее талантливых дипломатов Великого княжества писарь Михаил Богданович Гарабурда. Переговоры протекали в Новгороде, где находился царь, в конце февраля — начале марта 1573 года.

Инициатива литовских магнатов была встречена царем благосклонно (он не только выслал «опасную грамоту», но и просил, чтобы литовский посол приезжал к нему «не мешкаячи»), но условия, привезенные литовским дипломатом, вызвали его резкое недовольство. Царь недвусмысленно заявил, что никаких своих земель он Речи Посполитой отдавать не намерен: «Наш сын не девка, чтоб за него давать приданое»; «нам сына нашего Федора для чего вам давать к убытку своего государства?» На предложение дать сыну «для учтивости» «города и волости» царь резко заметил, что в королевстве Польском и Великом княжестве Литовском «довольно городов и волостей», на доходы от которых может жить их правитель; наоборот, если паны и шляхта Речи Посполитой хотят видеть на троне царя или его сына, они должны «для нашего царского именованья» отдать Ивану IV Киев, хотя бы и без пригородов. К вопросу о Киеве в дальнейшем царь не обращался, и значение употребленного им оборота остается не совсем ясным. Вероятно, имелся в виду не собственно «царский титул» Ивана IV, а его наименование «государем всея Руси»: с переходом Киева — древней столицы всей Руси под власть царя этот титул должен был приобрести наконец реальное содержание. С учетом этого был подготовлен новый титул Ивана IV: «царь государь и великий князь всея Руси, киевский, владимирский, московский». Совсем нетрудно было сообразить, что переход Киева под власть Ивана IV мог стать прологом к распространению его власти и на другие вос-

точно-славянские земли в границах Речи Посполитой. Все это никак не соответствовало тем надеждам, с которыми литовские вельможи посылали Гарабурду в Москву.

Этой неприятностью дело не ограничилось. Царь недвусмысленно дал понять, что вовсе не намерен отправлять своего младшего сына в чужую страну. Официально такое решение мотивировалось молодостью и неопытностью царевича: «лет еще не дошел, против наших и своих неприятелей стать ему не можно». Об истинных же причинах говорят, как представляется, слова царя по адресу панов-рада, вырвавшиеся у него при продолжении переговоров: «А мы их воле сына своего давать не хотим». Подозрительный царь опасался, что его молодой и неспособный к ведению государственных дел сын может стать орудием в руках польских и литовских вельмож. Ссылаясь на то, что некоторые поляки хотят видеть на троне не его сына, а самого царя, Иван IV заявил Гарабурде, что «гораздо лучше, чтобы я сам вашим паном был». Гарабурда пытался отклонить царя от такого решения, указывая, что вряд ли он сможет успешно вершить справедливость и организовывать защиту столь огромного государства, которое нуждается в постоянном присутствии правителя, но царь отмел эти сомнения как необоснованные. Все это, естественно, не могло устроить литовских вельмож.

Наконец, во время переговоров царь сделал еще одно важное заявление, которое, как представляется, сыграло главную роль в провале его кандидатуры. Хотя в самом начале переговоров царь поспешил заявить, что готов сохранить все «права» и «вольности» польской и литовской шляхты («те которые обычаи в землях сохраняются и все дела в соответствии с ними идут и отменять это никогда не годится»), это не помешало ему потребовать, чтобы после его избрания власть над Речью Посполитой переходила по наследству к его потомкам, пока будет существовать его род. По-видимому, по убеждению царя, в этом не было ничего нового: он требовал для себя и своих потомков такой же наследственной власти, которой обладали его предшественники Ягеллоны. В глазах дворянства Речи Посполитой дело выглядело совершенно иначе. Право свободного выбора монарха было важнейшей из шляхетских вольностей: шляхтичи считали себя людьми «свободными» именно потому, что они «свободно» выбирали себе правителя, которому в дальнейшем обязывались повиноваться. Желание сохранить союз с Литвой заставляло выбирать в качестве таких государей правителей Литвы — Ягеллонов. Выборы в этом случае становились во многом формальными, хотя дворянство постоянно использовало их для получения от нового государя новых «прав» и «вольностей». Теперь, когда династия Ягеллонов пресеклась, а Польша и Литва соединились в одно федеративное государство, польско-литовская шляхта намерена была воспользоваться этим правом в полном объеме. В то самое время, когда Иван IV вел переговоры с Га-

рабурдой, сейм, собравшийся в Варшаве, принял решение, обеспечивавшее каждому члену дворянского сословия право участвовать в выборах короля. В условиях, подготовленных избирателями для своего нового государя, пунктом первым стояло его обязательство никому при своей жизни не передавать власти, не назначать себе преемника, ни в каких документах не называть себя «наследственным» правителем Речи Посполитой. Требование Ивана IV предоставить ему и его потомкам наследственную власть в этом государстве объективно лишало его всяких шансов на победу в борьбе за польский трон.

Если в своем ответе Воряпаю царь явно прилагал усилия к тому, чтобы привлечь к себе симпатии дворянства Речи Посполитой, то в ответе Гарабурде он уже жестко диктовал партнерам возможные условия соглашения. Очевидно, приезд литовского посла стал для него доказательством того, что польско-литовское дворянство хочет мира и союза с Россией, и ему остается лишь определить цену, которую придется за это заплатить.

Изучение царского ответа Гарабурде показывает, что царь тщательно обдумывал разные аспекты своих отношений с будущими подданными, стараясь предусмотреть самые разные ситуации. Среди выставленных им условий находим и такое, которое представляет интерес для понимания личности царя: если царь захочет оставить трон и постричься в одном из русских монастырей, паны-рада не должны ему в этом препятствовать. Появление этого условия подтверждает высказанное ранее на основе других источников предположение, что царь серьезно размышлял о том, чтобы на закате дней найти себе приют в монастырских стенах. Однако позиция, занятая царем на переговорах, хотя и была им тщательно продумана, основывалась на неверной оценке положения в Речи Посполитой. Литовские магнаты, действительно, искали мира и союза с Россией, но они представляли лишь одну, и отнюдь не самую влиятельную группировку дворянского сословия Речи Посполитой, да и они за согласие выбрать царевича запрашивали достаточно высокую цену. На кандидатуре царя свет клином не сошелся. В начале 1573 года в борьбе за польский трон, стремясь превзойти друг друга в своих обещаниях избирателям, столкнулись представители крупнейших европейских династий — Габсбургов и Валуа. Речь Посполитая не проиграла войну в Ливонии, и при ее продолжении могла получить поддержку новых сильных союзников, а потому у нее не было никаких стимулов к тому, чтобы идти на соглашение, продиктованное Иваном IV. В таких условиях переговоры не могли привести ни к каким позитивным результатам.

Впрочем, один, хотя и побочный, но весьма важный результат встречи Ивана IV с Гарабурдой имели. Середина XVI века была временем серьезного оживления культурной жизни православного об-

щества на украинских и белорусских землях. В кругах образованных представителей православной знати постепенно складывались планы организации печатного дела и издания наиболее важных памятников восточно-христианской духовной традиции. Оригиналы для этих изданий могли быть получены в России, где древнерусское письменное наследие сохранилось гораздо полнее, чем на землях Западной Руси. Среди этих планов заметное место занимал замысел издания славянской Библии, чтобы православные имели в своем распоряжении свой текст Священного Писания и могли бы противопоставить его тем текстам, которые имели в своем распоряжении протестанты и католики. В 1561 году в Москву за текстом Библии был послан диакон Исайя из Каменец-Подольского, но он попал в России в тюрьму и не смог выполнить свое поручение. Теперь Гарабурда обратился с просьбой о передаче ему рукописи Библии к самому царю. Царь нашел нужным оказать любезность православным вельможам — будущим избирателям и приказал передать посланцу рукопись «с прилежным молением испрошеную». Позднее эта привезенная Гарабурдой рукопись легла в основу первого печатного издания славянской Библии, увидевшего свет в Остроге на Волыни в 1580—1581 годах. В предисловии к изданию специально отмечалось, что рукопись была получена «от благочестива и в православии изрядно сиателна государя и великаго князя Ивана Васильевича Московскаго».

Литовский дипломат, несомненно, хорошо понимал, что условия, предложенные царем, совершенно неприемлемы для польского и литовского дворянства, но объяснять это царю не стал. Выяснив, что план, выработанный литовскими магнатами, невыполним, он сосредоточил свои усилия на решении других задач. Как бы ни были нереальны расчеты царя, объяснять ему это и тем лишать надежд на получение польского трона было не в интересах Речи Посполитой. Лишившись этих надежд, царь мог отдать своим войскам приказ начать военные действия как раз в то время, когда элита польско-литовского дворянства будет занята выборами нового короля. Поэтому Гарабурда, не вступая с царем в спор по поводу его предложений, напротив, заверил, что паны-рада и шляхта хотели бы иметь своим государем такого правителя, как царь, который может обеспечить Речи Посполитой надежную защиту от ее врагов, и обещал, что после получения царских предложений в Москву будут направлены «великие» послы, чтобы выработать окончательный текст договора об условиях, на которых Иван IV мог быть возведен на трон Речи Посполитой. Ничего подобного ни в Вильне, ни в Кракове делать не собирались, но таким образом можно было выиграть время.

Важным предметом забот для литовских политиков было недопущение контактов между Иваном IV и его сторонниками среди польской шляхты. Было известно, что эти люди ищут связей со сво-

им кандидатом, и отправленный ими в Москву гонец был задержан в Литве. Избранный способ действий позволял надеяться, что, ожидая послов из Речи Посполитой, царь не будет принимать никаких шагов со своей стороны и не отправит в Речь Посполитую послов, которые вступили бы в нежелательные контакты с враждебно настроенной по отношению к магнатам польской шляхтой. Следуя этой линии, литовские магнаты скрыли от царя решение о созыве сейма для выборов нового короля, и когда в апреле 1573 года на поле под Варшавой собрались для выборов короля магнаты и шляхта со всего государства, то и обсуждение кандидатур, и принятие решений протекали без всякого участия русских представителей. Вместе с тем литовские магнаты позаботились о том, чтобы условия, предложенные царем Гарабурде (включая требование предоставления ему и его потомкам наследственной власти в Речи Посполитой), были доведены до сведения избирателей. Как заметил современник, хронист Мартин Бельский, «когда это услышали, отпало у всех сердце от Московского».

Тем временем в ожидании «великих послов» из Речи Посполитой царь продолжал обдумывать условия, на которых он был бы готов взойти на польский трон. В апреле 1573 года, когда в Варшаве уже происходили выборы, к Гарабурде были посланы дополнения к ранее сделанным предложениям. Иван IV беспокоился, не может ли «по грехом для которого случая учиниться какой мятеж промеж государем и землею», и желал получить от панов-рада обязательство, что в этом случае он будет иметь возможность уехать к себе в Россию «без всякого задержания».

Литовские магнаты сумели прервать всякие сообщения между Россией и Речью Посполитой, так что еще и в июне в Москве не имели никакого представления о том, что происходит в этом государстве. Когда 19 июня в пограничный Велиж прибыли гонцы из Варшавы с сообщением об избрании на польский трон французского принца Генриха Анжуйского, то их приняли очень любезно, так как думали, что они везут сообщение о времени приезда «великих послов», которых столь долго ждали в Москве. Как записал в своем отчете польский гонец Андрей Тарановский, узнав об избрании Генриха, царь не проявил никакого недовольства и на пиру после приема любезно потчевал иностранных дипломатов старым мёдом. Однако такой исход выборов, вне всякого сомнения, был для Ивана IV очень серьезной неприятностью. За спиной Генриха Анжуйского стояла Франция — в то время традиционный союзник Османской империи, а это означало, что приходилось проститься с надеждами на создание мощного союза против османов и татар. Еще принимая Гарабурду и узнав о том, что французский принц желает быть избранным на польский трон, царь пригрозил Речи Посполитой войной, если она предпочтет французского кандидата: «А возьмете ли французского, и

вы, Литва, ведайте, что мне над вами промышлять». Но его угрозы явно не возымели действия.

В этой неприятной ситуации единственным основанием для оптимизма служило решение сейма, что в случае, если избранный король не прибудет в Польшу до дня святого Мартина, Речь Посполитая будет считать себя свободной от принятых обязательств. Надеюсь, что противники Генриха Анжуйского, прежде всего Габсбурги, не пропустят нового короля в Польшу, Иван IV стал активно готовиться к возобновлению борьбы за польский трон. С Тарановским он направил грамоты сенату Речи Посполитой с просьбой выслать «опасную грамоту» для послов, которых он намерен отправить в их государство. Содержание грамот не оставляет сомнений, что послы должны были возобновить переговоры об избрании царя польским королем: «И мы с Михайлом (главой посольства Михаилом Васильевичем Кольчевым. — Б.Ф.) приказали, как нам быти на королевстве Польском и Великом княжестве Литовском, што наша воля». В тех же грамотах царь недвусмысленно намекал на то, что он готов пересмотреть условия, предложенные ранее Гарабурде: «и што будет вам в том письме супротивно, ино на то послы да разговорят». Еще дальше Иван IV пошел в беседе с Тарановским, заявив, что готов принять те условия, на которые согласились при выборе Генриха французские послы. Однако из всего этого ничего не вышло — Генрих Анжуйский благополучно прибыл в Польшу к указанному сроку и 21 февраля 1574 года был торжественно коронован в Кракове.

Такой исход борьбы за трон Речи Посполитой не мог не вызвать у царя и его советников серьезного беспокойства, и для такого беспокойства были все основания. За кандидатурой Генриха Анжуйского стояли те силы в Речи Посполитой, которые вовсе не были заинтересованы в мире и союзе с Россией, а стремились решить спор о Ливонии с помощью оружия. В числе обязательств, принятых на выборах французскими послами от имени брата Генриха, французского короля Карла IX, было и обязательство оказать помощь Речи Посполитой войсками и флотом в ее новой войне с Россией. Отданные по приезду Генриха в Польшу распоряжения об усилении блокады Нарвы говорили о том, что дело движется к возобновлению войны.

НОВАЯ ОПРИЧНИНА

Осенью 1575 года царь снова поразил своих как будто уже отвыкших удивляться подданных. В официальном источнике — «Разрядных книгах» к этому времени относится следующая краткая запись: «Тово же году в осень посадил государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси на великое княжение в Москве великого князя Симеона Бекбулатовича».

Симеон Бекбулатович принадлежал к числу татарских царевичей, занимавших весьма видные места в Боярской думе в первой половине 70-х годов. Как и все они, он принадлежал к потомкам ханов Большой орды. Его отец, Бекбулат, троюродный брат Шах-Али, появился в России в начале 60-х годов XVI века. Сына Бекбулата, Саин-Булата, около 1570 года Иван IV «учинил на Касимове городке царем», передав ему владение его дальнего родственника Шах-Али. В начале 1570-х годов он неоднократно по приказу царя участвовал в походах в Ливонию, а в 1573 году крестился, приняв имя Симеона. Этого служилого татарского царя Иван IV в октябре 1575 года женил на Анастасии, дочери князя Ивана Федоровича Мстиславского (так Симеон стал царским родственником) и провозгласил «великим князем всея Руси». Однако подданных поразило даже не это необычное возвышение служилого татарского вассала, не имевшее никаких прецедентов в историческом прошлом. Поразительным было то, что царь одновременно с этим объявил себя подчиненным Симеону «удельным князем Иваном Московским». В соответствии с этим Симеон Бекбулатович поселился в Кремле, а «Иван Московский» — «за Неглинною на Петровке, на Орбате против каменного мосту старово».

Что скрывалось за этим совершенно необычным шагом царя? Каковы были его последствия? Какие перемены произошли осенью 1575 года в жизни русского общества? Исследователи долгое время терялись в догадках, выдвигая самые разные гипотезы, и лишь сравнительно недавно, благодаря исследованиям С. М. Каштанова и В. И. Корецкого, удалось получить определенный ответ на все эти вопросы.

Сведения самых разных источников не оставляют сомнений, что возведение Симеона Бекбулатовича на великокняжеский трон сопровождалось новым разделом страны на две части. Одна осталась под властью великого князя Симеона Бекбулатовича, другая вошла в состав особого «удела» князя Ивана Московского. С осени 1576 года эти территории стали называться «дворовыми».

Формирование особого удела царя началось тогда же, осенью 1575 года. Так, 19 ноября 1575 года «князь Иван Васильевич московский, псковский и ростовский» отправил грамоту на Двину, в которой население извещалось, что «весь Двинской уезд — станы и волости и всякие денежные доходы поместили есмя к себе в удел». Исследователи установили круг тех владений, которые, судя по разного рода сведениям, вошли в состав царского удела в 1575—1576 годах. Однако в полноте этих сведений нельзя быть уверенным. В документах следующего, 1577 года упоминается еще ряд «дворовых городов», которые, возможно, и раньше входили в ту часть страны, которую царь выделил для себя. С другой стороны, известно, что территория царского удела со временем расширялась: так, сравнительно недавно выяснилось, что в 1580 году по приказу царя был «взят во двор» Суз-

даль. Таким образом, в настоящее время можно дать лишь самое общее представление о том, какие территории царь выделил в свое «особое государство» в последний период своего правления. Часть этих земель (Поморье и Вологда, Ростов, Пошехонье, Козельск, Перемышль и Лихвин, отобранные некогда царем у «служилых князей») входила ранее в состав опричнины, другие (как, например, Дмитров) лишь теперь царь включил в состав своего нового удела — «двора». Обращает на себя внимание, что в состав сюда же вошел большой комплекс земель, расположенных на западе страны — Псковская земля, к которой был присоединен Порховский уезд Шелонской пятины, Ржев, Зубцов, Старица. Старица, в которой царь с начала 70-х годов проводил все больше времени, стала своеобразной столицей нового «государства». С середины 70-х годов ливонские дела стали занимать все больше места во внешней политике царя, и это сказалось на структуре его нового удела. Царь хотел, чтобы на подступах к Ливонии, на ведущих туда путях, находились верные ему люди.

Уже сам перечень владений, взятых царем под свою особую власть, показывает, что новый «удел» представлял собой целое небольшое государство, не уступающее по размерам владениям Ивана опричных лет. В уделе был свой особый двор и свое войско, были созданы и свои органы управления: деятельностью войска ведал дворовый Разряд, сбором налогов — дворовая Двинская четверть, дворовый Большой приход, высшей судебной инстанцией для населения удела был дворовый Судный приказ. «Избы» этих приказов располагались отдельно от земских приказов «в дворовой стороне» Москвы.

С разделом страны на две части произошло разделение на две части и дворянского сословия. Снова часть дворянства оказывалась в особых, близких отношениях с монархом, от которого она могла ожидать особых прав и привилегий, недоступных для остального дворянства. Для понимания характера нового режима очень важно, что раздел дворянского сословия на две части должен был произойти отнюдь не механически, не путем простого зачисления во двор детей боярских тех уездов, которые царь «пометил» в свой удел.

О намерениях царя дает ясное и четкое представление челобитная, с которой «Иванец Васильев» обратился к новому «великому князю» 30 октября 1575 года. Принимая позу покорного вассала, царь просил своего сюзерена, чтобы тот «милость показал, ослободил людишек перебрать, бояр и дворян, и детей боярских, и дворовых людишек, иных бы еси ослободил отослать, а иных бы еси пожаловал, ослободил принять». Таким образом, царь был намерен произвести всеобщую проверку всех своих слуг, от бояр и дворян до поваров и истопников, чтобы установить, кто из них достоин того, чтобы быть взятым на службу в царский удел. Очевидно, как и при установлении опричнины, облеченные его доверием люди должны были

созывать детей боярских на смотры и расследовать их отношения свойства и родства. Те, кто после расследования были бы признаны заслуживающими доверия, должны были оставить свои поместья в земщине и переселиться на территорию удела, как это было и при за-рождении опричнины: в челобитной Иванец Васильев просил великого князя, чтобы тот при переезде «ис поместишок их хлебишко и денженка и всякое рухлядишко пожаловал, велел отдати». Вместе с тем, как и при учреждении опричнины, дети боярские, взятые в удел, могли сохранить за собой свои вотчины на территории земщины. В сохранившихся документах имеются ясные указания на то, что эти предписания выполнялись: так, дети боярские Обонежской пятины, которых царь взял в свой двор, должны были оставить свои поместья на территории пятины и переселиться в Порховский уезд. Одновременно те дети боярские, которых царь не почтил своим доверием, должны были оставить свои поместья на землях, взятых царем в свой удел. В сохранившемся списке 1577 года той части двора, которая осталась в новой земщине, встречаем пометы: «высланы из Старицы», «изо Пскова высланы», «высланы з Зубцова». Эти пометы относятся к детям боярским, вынужденным покинуть уезды, вошедшие в состав царского удела. На землях удела могли оставаться владения только тех людей, в преданности которых царь был уверен. Раздел дворянского сословия на две части, таким образом, должен был сопровождаться и четким территориальным размежеванием между ними.

Все эти черты нового установившегося осенью 1575 года порядка позволяют выяснить, как именно намеревался царь обеспечить себе преданность слуг, которые могли бы стать его опорой в борьбе с возможной изменой. Снова разделив дворянское сословие на две части, приблизив к себе одну из них и наделив ее правами и привилегиями, которых другая часть не имела, царь создавал значительную прослойку лиц, заинтересованных в сохранении своего особого привилегированного положения и потому безусловно преданных своему монарху.

Царь снова пришел к выводу, что не может управлять Россией обычными, традиционными способами, и установил в стране режим, который по способу установления и по многим параметрам живо напоминал опричнину.

Для оценки характера этого режима весьма показательно, что с его утверждением возобновилась проводившаяся в годы опричнины политика, направленная против вотчинного землевладения княжеских родов. С землевладением ярославских и ростовских князей в предшествующие годы было покончено, лишь немногие представители этих двух ветвей потомков Рюрика, которых царь удостоил своим доверием и согласился принять в опричнину, сохранили свои родовые земли. Часть суздальских княжат (прежде всего Шуйские)

смогли вернуть свои владения ценой полного подчинения воле государя. Сохранилась, однако, еще одна большая ветвь потомков Рюрика — стародубские князья, чьи родовые вотчины практически не были затронуты бурями времен опричнины. Город Стародуб Рязанский вместе с большей частью владений стародубских князей вскоре после начала опричнины царь отдал Владимиру Андреевичу Старицкому, а после его смерти — Михаилу Ивановичу Воротынскому. Ни тот, ни другой не имели никакого желания лишать стародубских князей их вотчин, и те благополучно сохранялись в руках своих традиционных владельцев.

Совсем недавно были найдены документы, согласно которым в 1580 году был издан царский указ «стародубским князем за их вотчины денги давати из наших казны, а их вотчины в поместья раздавати». Таким образом, должен был производиться принудительный выкуп родовых владений стародубских князей. К подобному способу решения, отличному от практики, имевшей место в годы опричнины, царь и его советники, по-видимому, склонились потому, что в условиях катастрофического запустения страны трудно было найти соответствующую земельную компенсацию за эти владения.

Это решение представлялось царю весьма важным, если он готов был тратить на эти цели деньги даже в условиях, когда, как увидим далее, война в Ливонии приняла неблагоприятный оборот и казна весьма нуждалась в средствах на снаряжение армии. Споры, возникшие в связи с применением этого указа, разбиравшиеся уже в правление следующего царя, Федора Ивановича, не оставляют сомнений в том, что царский указ проводился в жизнь. Хотя после смерти Ивана IV он, по-видимому, был отменен и действовал таким образом всего несколько лет, за это время значительная часть родовых вотчин стародубских князей превратилась в поместные земли, которые в ряде случаев отдавались во владение тем же стародубским князьям. В итоге еще одна группировка княжеской знати, входившая в состав верхнего правящего слоя дворянского сословия, утратила свою родовую собственность и оказалась в зависимости от милости и расположения монарха — верховного собственника поместных земель.

Таким образом, характер порядка, установившегося в России осенью 1575 года, вряд ли может вызывать какие-либо споры. Это был режим, по своему характеру во многом близкий к опричному. В выяснении нуждается иной вопрос: почему во главе новой «земщины» царь поставил Симеона Бекбулатовича, да еще придал ему статус верховного правителя всего государства.

В свидетельствах современников сохранились разные ответы на этот вопрос. Наиболее обстоятельный и развернутый принадлежит Джерому Горсею. Причиной действий царя стали, по его мнению, финансовые трудности, опустошение царской казны в результате многолетней войны. Провозглашение Симеона формальным главой

государства дало Ивану «возможность отвергнуть все долги, сделанные за царствование: патентные письма, пожалования городам, монастырям — все аннулировалось». Позднее, когда царя просили вернуться на трон, он взял за свое согласие с подданных богатые «дары и подношения», а затем смог взыскать с купцов, городов, монастырей большие суммы денег за выдачу новых жалованных грамот.

Так как от этого времени сохранилось довольно много жалованных грамот монастырям, то имеется возможность проверить достоверность утверждений Горсея. Такая проверка, проведенная С. М. Каштановым, не подтверждает свидетельства англичанина. Если бы жалованные грамоты Ивана IV с вокняжением Симеона были аннулированы, то вместо них должны были бы выдаваться жалованные грамоты нового правителя, но известен лишь один документ такого рода, обнаруженный совсем недавно. На худой конец это можно было бы объяснить тем, что жалованные грамоты Симеона после его «сведения» специально уничтожались, однако в любом случае должно было бы сохраниться большое количество жалованных грамот, выданных Иваном IV после возвращения к власти. Никакой массовой выдачи таких грамот в 1577—1578 годах не происходило.

Как представляется, всю эту историю следует рассматривать как вымысел Горсея, основанный на наблюдениях над хорошо известной ему практикой английской монархии. Зависящая при сборе доходов от решений парламента королева Елизавета (а затем ее преемники — Стюарты) испытывала периодически нехватку средств и должна была делать долги, которые становились головной болью для английских государственных деятелей. Иван IV находился в качественно ином положении — для покрытия расходов он мог повышать обычные и вводить чрезвычайные налоги, и никакие решения парламента его при этом не ограничивали. Правда, и царский двор периодически мог испытывать нехватку средств. Именно таким недостатком средств следует объяснять проведенное в 1574/75 году по приказу царя изъятие из казны Троице-Сергиева монастыря больших сумм денег и драгоценной утвари, пожертвованной обителем его предшественниками, церковными иерархами и боярами. Однако для проведения такой операции Иван IV не нуждался в содействии Симеона Бекбулатовича.

В составе одной из летописных компиляций середины XVII века, так называемого «Московского летописца», сохранились записи современника, по-видимому, священника одного из кремлевских соборов, о событиях второй половины XVI века. Этот современник записал, что царь «мнети почал на сына своего царевича Ивана о желании царства и восхоте поставити ему препону, нарек на великое княжение царя Симеона Бекбулатовича». Как увидим далее, основанием для появления такой версии послужили некоторые события, связанные с вокняжением Симеона. Однако и эта версия не убеждает. Каким об-

разом татарский царевич, по определению самого царя «иноземец, у которого нет ничего общего с нами, нашей страной и короной» (слова, сказанные английскому гонцу Даниелю Сильвестру), мог стать препятствием для законного сына и наследника царя? Симеон не мог служить препятствием ни возможным планам переворота, если таковые у сторонников наследника имелись, ни законной передаче ему власти в случае смерти царя.

Подозрительный царь старался убедить себя и других, что никаких законных прав на власть Симеон не имеет. В беседе с Даниелем Сильвестром он подчеркивал, что Симеон не коронован и не избран, а посажен на трон по его, Ивана, изволению, что в его руках остаются и скипетр, и другие знаки власти, и вся царская сокровищница. Очевидно, что опыт с Симеоном вызывал у самого царя какие-то опасения. Вместе с тем в целом ряде свидетельств отразились впечатления современников, запомнивших, как старательно царь подчеркивал, что является лишь простым подданным правителя — Симеона: «а как приедет к великому князю и сядет далеко, как и бояря, а Симеон князь великий сядет на царском месте»; «и к образам припушал прикладыватца наперед себя Симеона, и к митрополиту благословлятися также наперед». Свои пожелания, обращенные к Симеону, царь облекал в форму прошений — челобитных к государю от имени его подданного: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всеа Руси Иванец Васильев с своими детишками с Ъванцом да с Федорцом челом бьют».

Для создания режима, подобного опричному, возведение Симеона на великокняжеский трон вовсе не было необходимым условием: ничто не мешало царю передать управление новой земщиной в руки Боярской думы, как царь это сделал в 1565 году. Стоит обратить внимание и на другое: когда, пробыв на княжении год, Симеон был сведен с великокняжеского московского стола, никаких изменений в порядке, установленном осенью 1575 года, не произошло.

Представляется, что и все эти особенности поведения царя, и странную судьбу Симеона позволяют объяснить слова, приведенные в «Пискаревском летописце»: «А говорят нецыи, что для того сажал (Симеона на царство. — Б.Ф.), что волхви ему сказали, что в том году будет пременение: московскому царю смерть». На этот год царю и потребовался фиктивный заместитель, что, может быть, случайно совпало с его решением произвести новый раскол страны на две части.

Такое толкование может встретить, однако, серьезное возражение: мог ли монарх, столь постоянно и старательно подчеркивавший свою верность православию, руководствоваться предсказаниями (в частности, астрологическими гороскопами) — ведь церковь постоянно подчеркивала свое отрицательное отношение к предсказаниям, исходившим не от благочестивых мужей, а от «волхвов». Известно, что в 50-х годах XVI века царь отказался принять от датского короля

подарок — автомат, изображающий движения планет. Он заявил, что православному государю не подобает иметь у себя чего-либо подобного. Этим демонстративным жестом царь показывал свое враждебное отношение к астрологии. Как известно, в решениях Стоглавого собора 1551 года указывалось, что тем, кто занимается астрологией, «от царя в великой опале быти».

С того времени, однако, утекло много воды. В начале 70-х годов в окружении царя появилась колоритная фигура доктора медицины Елисея Бомелия, вестфальского немца, получившего образование в Кембридже. «Шельмовский доктор», как его называют в своем «Послании» Таубе и Крузе, снискал себе расположение царя тем, что по его приказу отравлял того или иного из неугодных Ивану IV приближенных. Стоит отметить, что этого человека, в течение ряда лет близкого к царю, Горсей называет не только врачом и математиком, но также «живым колдуном» и «магом» — Бомелий, очевидно, составлял для царя астрологические гороскопы. И он, судя по всему, был в окружении царя того времени совсем не единственным лицом, занимавшимся предсказаниями. К концу 70-х годов о таких предсудительных с православной точки зрения увлечениях царя уже узнал и Курбский. «Яко нам зде поведают... — писал он царю, — чаровников и волхвов от далечайших стран собираешь, пытающе их о счастливых днях». Так что версия «Пискаревского летописца» не может вызывать удивления. Сведя через год Симеона с «великого княжения», царь щедро наградил его за оказанную услугу. Он отдал ему в удел Тверь и Торжок с титулом «великого князя тверского». Этими землями Симеон благополучно управлял до самой смерти Ивана IV.

Вокняжение Симеона сопровождалось публичными казнями. Сообщения об этом сохранились в двух летописцах и донесении австрийского дипломата Даниила Принца. Сопоставление этих свидетельств с «Синодиком опальных» позволило исследователям установить круг казненных. Он оказался довольно разнородным. Вместе с боярином князем Петром Андреевичем Куракиным, окольничими Иваном Андреевичем Бутурлиным и Никитой Васильевичем Бороздиным, дьяками Семеном Мишуриным и Дружиной Володимировым был казнен целый ряд высокопоставленных духовных лиц — архиепископ Новгородский преемник Пимена Леонид, настоятели Чудова и Симонова монастырей, Иван, протопоп Архангельского собора, которого в отличие от других казненных царь «посадил в воду».

Что могло объединить между собой всех этих людей? Автор «Пискаревского летописца», описывая казни, ничего не говорит об их причине. В донесении Даниила Принца помещено стандартное обвинение казненных в заговоре на жизнь царя. Гораздо более интересно сообщение «Московского летописца». Когда царь принял решение посадить на великокняжеский трон Симеона Бекбулатовича, «елицы же, — рассказывает летописец, — супротив стаща, глаголающе: «Не

подобает, государь, тебе мимо своих чад иноплеменника на государство поставляти». Необычное, не имевшее прецедентов решение царя, в мотивы которого он, конечно, не намерен был посвящать подданных, вызвало, очевидно, беспокойство не только светской, но и духовной элиты общества. Правдоподобным представляется предположение В. И. Корецкого о том, что государю была подана коллективная челобитная с просьбой отказаться от своих намерений, которую подписали духовные и светские лица. Сообщения «Московского летописца» находят косвенное подтверждение в жалобах царя Даниилу Сильвестру на подданных, которые «ворчат и ропщат против нас».

Царь давно привык видеть «измену» в каждой несогласии со своей волей и с течением времени все меньше мог и хотел себя сдерживать. Даниил Принц, встречавшийся с царем как раз в это время, записал: «Он так склонен к гневу, что, находясь в нем, испускает пену, словно конь, и приходит как бы в безумие». Неудивительно поэтому, что, столкнувшись с проявлением несогласия, царь, «возъяряся, казнил» недовольных.

По сообщению летописцев, казни совершались «на площади у Пречистых в Большом городе», или «на площади под колоколы», то есть на Соборной площади Кремля. Очевидно, царь хотел придать этим казням публичный характер. Столкнувшись с проявлением несогласия, он этими казнями был намерен запугать земщину, предотвратить возможное сопротивление реставрации опричного режима. Не случайно, как отмечено в «Пискаревском летописце», головы казненных «меташа по дворам к Мстиславскому ко князю Ивану, к митрополиту, Ивану Шереметеву, к Андрею Щелкалову и иным», то есть тем лицам, которым должно было принадлежать управление новой земщиной.

Новый режим многими своими чертами воспроизводил опричный порядок, но не был, однако, его точным подобием.

Так, в уделе царя Ивана, судя по всему, не существовало ничего подобного опричному братству. Еще более существенно то, что вслед за казнями, сопровождавшими образование удела, не последовали новые казни, опалы и ссылки. Не было ни карательных экспедиций, ни разгрома крупных городов. Новый режим, таким образом, не был связан с постоянной практикой массового террора.

В особом дворе и дворовом войске царь видел главную опору своей власти и прилагал усилия к тому, чтобы дворовые дети боярские были обеспечены землей и жалованьем лучше, чем дети боярские, которые оставались в новой земщине. В одном Ржевском уезде для наделения дворовых детей боярских было роздано 29 тысяч четвертей земли из дворцовых и черных земель. Образованные на этих землях поместья по своему среднему размеру значительно превышали поместья детей боярских в земщине. Когда в 1576 году царь со своим дворовым войском собрался в поход на южную границу, он потребо-

вал от Симеона Бекбулатовича, как главы земщины, «на подъем» 40 тысяч рублей, которые, конечно, пошли на жалование этому войску. Однако на этот раз царь не пытался поставить своих детей боярских над правом, и для этого времени не сохранилось сведений о массовых насилиях дворовых детей боярских над земскими людьми. Очевидно, царь учитывал отрицательный опыт времен опричнины, когда неконтролируемый произвол опричников привел к дезорганизации всей общественной жизни в стране, и старался избежать повторения подобной ситуации, тем более что, судя по всему, дворовые дети боярские не пользовались у царя таким доверием, как опричники в первые годы существования опричного режима.

Хотя есть основание рассматривать новый порядок, установившийся в стране с середины 70-х годов, как режим гораздо более мягкий по сравнению с опричниной, можно полагать, что его установление привело к серьезным осложнениям в жизни сотен людей, вынужденных снова погружаться в напряженную атмосферу споров и допросов и лихорадочно искать доказательства своей верности, вынужденных снова покидать свои владения и опять отправляться в новые, незнакомые места, где их никто не ждал и не приветствовал. Совсем иное значение события осени 1575 года имели в жизни царя. Был положен конец колебаниям, неясности и неуверенности предшествующих лет в отношениях царя с кругом его приближенных. Теперь наступила желанная стабильность. В стране установился порядок, отвечавший представлениям царя о характере его власти, а из состава своего окружения царь сумел выбрать тех слуг, которые, по его мнению, заслуживали его доверия. Сказанное, разумеется, лишь предположение, которое, однако, серьезно подкрепляется тем, что ни установленный в стране порядок, ни круг лиц, составивших с осени 1575 года ближайшее окружение царя, не подвергались серьезным изменениям вплоть до самой смерти Ивана IV.

Разумеется, круг людей, наиболее близких к царю, составили прежде всего те из его приближенных, которых царь поставил во главе своего особого удела. О происхождении, связях, карьере многих из этих людей мы имеем едва ли не исчерпывающие сведения благодаря тщательному исследованию А. Л. Станиславского и С. П. Мордовиной.

Во главе «дворовой» Думы стояли выдающиеся по своему положению представители знати: потомок Гедимины, один из последних служилых князей юго-восточной Руси Федор Михайлович Трубецкой и представитель наиболее знатного рода потомков Рюрика, суздальских князей, князь Иван Петрович Шуйский. Вместе с ними в состав особого двора Ивана IV вошел и ряд их родственников. Это были те представители знати, которые уже в годы опричнины дали царю доказательства своей преданности. Федор Михайлович Трубецкой в 1570 году был принят в опричный двор, а Шуйские в начале 70-х годов сумели породниться с опричной верхушкой: князь Дмитрий

Иванович Шуйский женился на дочери самого Малюты Скуратова Екатерине. Хотя Трубецкие благополучно сохранили за собой свое родовое княжество с центром в городе Трубчевске, а Шуйские сумели получить от царя не только свои родовые вотчины, но и часть владений своего казненного сородича, князя Александра Борисовича Горбатого, они, по существу, принадлежали уже к новому типу знати — знати «служилой», которая своей карьерой была обязана царским милостям и ради их сохранения готова была оставаться послушным орудием в руках своего государя.

Этим довольно узким кругом лиц присутствие знати в составе особого двора Ивана IV и ограничивалось. Представители всех других наиболее знатных княжеских и старомосковских боярских родов остались в земщине.

Главную роль в управлении и особым «государством» царя, и страной в целом играли в последнее десятилетие правления царя думные дворяне, которые все вошли в состав его особой дворовой Думы. Думные дворяне, по существу, составляли ее основную часть: в 1575 — 1577 годах в состав этой Думы входило двое бояр, четверо окольничих и восемь думных дворян. Думные дворяне не только сопровождали царя в походах как воеводы царского полка и командовали стражей, обеспечивавшей безопасность правителя, но и выполняли важные поручения царя, связанные с ведением военных действий, участвовали в важных переговорах с иностранными послами. Когда с конца 70-х годов обстановка на военных фронтах стала меняться для России в худшую сторону, царь постоянно посылал думных дворян для наблюдения за воеводами, в способности или желании которых выполнять его приказы у царя были сомнения.

Наиболее видной фигурой среди думных дворян был Богдан Яковлевич Бельский. Итальянский иезуит Антонио Поссевино, побывавший в России в начале 80-х годов XVI века, записал, что Богдан в течение 13 лет жил в спальне у царя. Попасть сразу в число наиболее доверенных, близких слуг царя молодому сыну боярскому, несомненно, помогли родственные связи — он был племянником Малюты Скуратова. В начале 70-х годов Богдан был рындой — входил в число молодых юношей, которые на торжественных приемах стояли с топориками перед царским тронном. По традиции рындами начинали службу при дворе молодые аристократы из самых знатных фамилий. Поэтому назначение рындой молодого родственника Малюты было для него знаком особой царской милости. О том, что молодой сын боярский уже в это время занимал видное место в окружении царя, свидетельствует такая важная деталь: в 1571 году на свадьбе царя с Марфой Собакиной, где его дядя Малюта был «дружкой» невесты, Богдан мылся в «мыльне» вместе с самим Иваном IV. В последующие годы карьера его развивалась стремительно: к 1573 году он стал стольником, в 1576 году вошел в число думных дворян, в 1578 году

получил важный придворный чин оружничего. Большого для такого худородного человека, как Богдан Бельский, царь сделать не мог.

Об особом доверии Ивана Васильевича к Бельскому говорит тот факт, что под надзором Богдана Яковлевича готовились лекарства для больного монарха. У современников не было сомнений в особом, исключительном расположении царя к Бельскому. Англичанин Горсей называл Богдана Яковлевича «главным любимцем прежнего царя», а младший современник, дьяк Иван Тимофеев, писал, что «сердце царево всегда о нем несытне горяше». Царь осыпал своего любимца щедрыми пожалованиями. Худородный сын боярский из Белой превратился в могущественного магната, владельца не только поместий, но и вотчин во многих уездах страны. Даже его слуги давали в монастыри такие богатые вклады, измерявшиеся десятками рублей, которые обычно могли себе позволить лишь члены «добрых» боярских родов.

Богдан Бельский был не просто любимцем царя, взысканным его милостями человеком, которому Иван IV глубоко доверял. Он был советником царя, с мнением которого тот считался при решении государственных дел. Из подробных записей «Разрядных книг» о походе Ивана IV в Ливонию в 1577 году видно, что, когда во время похода, в целом протекавшего успешно, возникали затруднения, царь для их устранения неоднократно обращался именно к Богдану Яковлевичу. С конца 70-х годов Бельский стал принимать участие в переговорах с иностранными послами. С этого времени ни одни важные дипломатические переговоры не обходились без его участия, и есть все основания считать Богдана Бельского одним из главных руководителей русской внешней политики России конца 70-х — начала 80-х годов XVI века.

Другим ближайшим советником царя в эти годы стал Афанасий Федорович Нагой. Его жизненный путь до возвышения по милости царя существенно отличался от жизненного пути Богдана Бельского. В отличие от худородного Бельского, Афанасий Нагой происходил из «добрного» рода тверских бояр, которые после присоединения Твери в 1485 году стали служить великим князьям Московским. При обычной системе продвижения, принятой при формировании русской правящей элиты в первой половине — середине XVI века, у него были все основания рассчитывать на получение видного, но не первостепенного места, подобно своему отцу, увенчавшему карьеру получением чина окольничего в 1547 году. Уже в конце 50-х годов Афанасий получил важное поручение — провести податные описания земель в Ливонии, занятых русскими войсками.

Блестящая карьера Афанасия Нагого началась в 1563 году, когда он был отправлен с дипломатической миссией в Крым. Нагой должен был возобновить в Крыму связи, прерванные во второй половине 50-х годов по инициативе русской стороны. Миссия носила предварительный характер — Нагой подготавливал почву для приезда в

Крым «великих послов» с «поминками», которые должны были заключить мирный договор между Россией и Крымом. В обстановке, когда Ливонская война постепенно превращалась в большой международный конфликт и вопрос о том, как удержать Крымское ханство от присоединения к противникам России, приобрел особое значение, подобное поручение могло быть дано лишь человеку, о дипломатических способностях которого дьяки Посольского приказа имели достаточно высокое мнение.

Добиться договоренности между государствами не удалось, приезд больших послов для заключения договора откладывался, в результате Нагой задержался в Крыму на долгие десять лет. Эти годы стали временем острого кризиса в русско-крымских отношениях, когда дело дошло до большой войны и крымская орда спалила Москву. Положение русского посланника в Крыму стало в этих условиях очень трудным. За время своей миссии Нагому вместе со всеми посольскими людьми неоднократно приходилось находиться в заточении в «жидовском городе» Кырк-ере (ныне Чуфут-кале) под стражей верных хану караимов. Добиться установления мира Нагому не удалось, но эта задача едва ли была посильной для любого другого русского дипломата того времени. Немалым успехом, однако, было то, что, несмотря на строгие условия содержания, Нагому постоянно удавалось собирать и пересылать в Москву обширную информацию о планах хана и крымской знати, направленных против Русского государства, об их сношениях со Стамбулом, Ногайской ордой, недовольными русской властью народами Поволжья. Эта деятельность получила в Москве высокую оценку: по приказу царя в 1571 году Афанасию Федоровичу и его товарищу по посольскому делу Федору Андреевичу Писемскому было послано «жалование из опричнины». Хан, имевший определенные представления об этой невыгодной для него стороне деятельности русского посланника, неоднократно угрожал «выбить» его из Крыма и летом 1573 года привел угрозу в исполнение.

Деятельность Афанасия Нагого протекала вдали от двора, а родственники не могли оказать ему какой-либо протекции, они не были приняты в опричину, да и в земщине находились явно на второстепенных ролях. Они стали получать более видные должности лишь после приближения Афанасия Федоровича к царю. Его возвышение, очевидно, следует связывать с теми дипломатическими способностями, которые он обнаружил во время своей долгой крымской миссии. Вскоре после возвращения Нагого из Крыма польский трон снова стал вакантным, и царю потребовалось иметь в кругу близких советников опытного дипломата, каким, несомненно, стал Афанасий Федорович после десятилетнего пребывания в Крыму. В особом дворе царя Нагой занял одно из самых высоких мест. В походе дворового войска на Калугу в 1576 году он занимал пост второго дворового воеводы, а первым был сам глава дворовой Думы князь Федор Михайло-

вич Трубецкой. О доверии царя к Нагому красноречиво говорит тот факт, что когда князь Федор Михайлович Трубецкой и некоторые его родственники какими-то поступками вызвали недовольство царя и от них потребовали присягу на верность у гробницы митрополита Петра, то именно Афанасий Нагой был прислан из Александровой слободы, чтобы привести князей к присяге. О близких связях между царем и его советником свидетельствует и заключенный в 1580 году последний брак царя Ивана с племянницей Афанасия Нагого Марией.

Особое положение Бельского и Нагого в кругу советников царя подчеркивалось и чисто формально: при приемах послов Речи Посполитой в 1581—1582 годах они стояли по обе стороны царского трона.

Было бы неправильно полагать, что лица, стоявшие во главе земщины в 1575—1576 годах и продолжавшие управлять этой частью государства и после сведения Симеона Бекбулатовича с великокняжеского стола — князь Иван Федорович Мстиславский, царский шурин Никита Романович Юрьев, думный дьяк Андрей Щелкалов, были полностью отстранены от решения общегосударственных дел. Они, напротив, постоянно принимали в них участие. Так, Никита Романович вместе с Нагим и Бельским постоянно вел переговоры с иностранными послами. Но по отношению к этим людям царь сохранял известную дистанцию, демонстрируя им свое недоверие и недовольство. Во время публичных казней осенью 1575 года дело не ограничилось бросанием голов казненных на их дворы: сын князя Мстиславского Василий был лишен придворного чина кравчего, а своего шурина Никиту Романовича царь приказал «огрabitь», и явившиеся на двор боярина на Варварке стрельцы забрали домашнее убранство, лошадей, оружие. По свидетельству Горсея, Никита Романович должен был просить помощи у проживавших рядом с его двором английских купцов. В записках того же Горсея сохранился рассказ о том, как по приказу царя брат Афанасия Нагого Семен «выколотил из пяток у Андрея Щелкалова пять тысяч рублей». Когда царь праздновал в 1580 году свою последнюю свадьбу, такие близкие его родственники, как князь Иван Мстиславский и Никита Романович, не были на нее приглашены, и свадьба была отпразднована в узком кругу «дворовых» советников царя.

Как уже отмечалось неоднократно, в древнерусском обществе существовала строгая зависимость между происхождением того или иного лица и местом, которое он мог занимать на лестнице сословной иерархии. Тем самым обеспечивалась монополия на все сколько-нибудь высокие государственные должности для группы княжеских и наиболее знатных старомосковских боярских родов, а на должности более низкие, второго и третьего уровня, могли претендовать представители других «добрых» боярских семей, испокон века служивших московским князьям. Каждый сын боярский знал, какого примерно положения он мог достичь даже при успехах по службе и милости со стороны правителя. С учреждением опричнины, когда за

бортом опричного двора остались все наиболее знатные боярские и княжеские фамилии, положение изменилось — расширились возможности карьеры для лиц второго и третьего плана, получавших возможность претендовать на более высокие должности, но принцип продвижения по лестнице чинов сохранялся. Единственным серьезным отступлением от него было создание института думных дворян для людей, которые по своему происхождению никак не могли рассчитывать на получение думных чинов.

В земщине традиционный порядок отношений полностью сохранялся, как сохранялся он в земском дворе, снова появившемся после раздела страны осенью 1575 года. Иной порядок отношений сложился в особом дворе царя. Правда, думные чины бояр и окольничих оставались и здесь прерогативой представителей наиболее знатных боярских и княжеских родов (в этом была главная причина сохранения и после 1575 года института думных дворян), однако принцип пополнения иных дворовых чинов существенно изменился.

Характер этих изменений можно проследить, рассматривая состав таких групп в составе этого двора, как «стольники» и «стряпчие». Те и другие составляли близкое окружение монарха, играя роль своеобразной охраны и выполняя его различные поручения. По традиции стольниками становились молодые представители наиболее знатных княжеских и боярских семей, для которых эта служба была ступенькой к получению думного чина; стряпчими же становились по преимуществу молодые представители старомосковских боярских фамилий. Такой порядок пополнения этих групп сохранялся и в земском дворе второй половины 1570-х годов. Совсем иная картина вырисовывается при обращении к составу этих чинов в особом дворе Ивана IV. В соответствии с традицией здесь в стольниках служили такие молодые представители знатнейших княжеских семей, как Трубецкие и Шуйские, однако вместе с ними в числе стольников мы видим Годуновых, представителей младшей ветви одного из московских боярских родов, родственников Малюты Скуратова и Богдана Бельского, и обычного дворового сына боярского, служившего по Белой Федора Фофанова. Что касается стряпчих, то среди них мы также встречаем Постника Бельского, Ивана Фофанова и даже Никиту Канчеева, происходившего из самых низов дворянского сословия — городских детей боярских.

Эти наблюдения показывают, что к концу правления Ивана IV традиционный способ пополнения чинов в его особом дворе в значительной мере утратил силу. Милость и расположение монарха стали играть во многих случаях не меньшую, а подчас большую роль, чем происхождение из доброго рода. На этом фоне блестящая карьера худородного сына боярского Богдана Бельского оказывается выдающейся, но не уникальной.

В последние годы своего правления Ивану IV наконец удалось

создать для себя близкое окружение из лиц, чье возвышение было связано исключительно с его милостью и которые могли сохранить это положение, лишь выступая в роли послушных орудий его воли.

В СОЮЗЕ С ГАБСБУРГАМИ

Случайные обстоятельства способствовали тому, что Русское государство не постигли те неприятные последствия, которыми угрожало избрание Генриха Анжуйского на польский престол. Французский принц, тяготившийся пребыванием в чужой и далекой стране с незнакомым языком и непонятными порядками, в июне 1574 года получил известие о смерти своего брата Карла IX и тут же тайно бежал из своего королевства в Париж, чтобы занять французский королевский трон. За ним была послана погоня, но король со своими французскими придворными уже успел пересечь австрийскую границу. Хотя от польской короны Генрих отнюдь не отказался, всем было ясно, что в Польшу он больше не вернется. Польский трон снова стал вакантным, и все как будто вернулось к исходному пункту. Однако опыт, приобретенный в годы первого «бескоролевья», не мог не наложить отпечаток на мысли и действия участников политической игры.

Наступление второго «бескоролевья» принесло с собой новое обострение отношений между магнатами и шляхтой Речи Посполитой. К этому времени произошла определенная консолидация магнатских группировок вокруг идеи избрания на польский трон императора Священной Римской империи и главы дома Австрийских Габсбургов Максимилиана II. Это расходилось с планами Габсбургов, рассчитывавших увидеть на польском троне одного из сыновей императора, эрцгерцога Эрнста. Но магнаты не зря настаивали на кандидатуре самого императора: так как Максимилиан, как правитель одновременно нескольких государств, не мог все время пребывать в Польше, власть во время его отсутствия находилась бы в руках магнатов. В этом лагере далеко не последнее место принадлежало тем литовским вельможам, которые еще сравнительно недавно вели переговоры с Иваном IV.

Чем более определенными становились планы магнатского лагеря, тем более враждебную реакцию они вызывали со стороны польской шляхты. В условиях растущего антагонизма двух политических сил снова ожил интерес польской шляхты к кандидатуре Ивана IV. Правда, его предложения, изложенные в ответе Гарабурде, никак не устраивали шляхетских политиков, но в их среде постепенно складывалось убеждение, что этот текст вовсе не исходил от царя, а был сфабрикован литовскими магнатами, чтобы оттолкнуть избирателей от «их» кандидата. Поэтому с начала нового «бескоролевья» шляхта стала искать контактов с царем.

Положение литовских магнатов оказалось при этом весьма нелегким. Еще более, чем ранее, они были заинтересованы в том, чтобы воспрепятствовать всяким контактам между царем и шляхтой. Но на этот раз они не могли рассчитывать на то, что им снова удастся ввести в заблуждение царя и взять в свои руки все нити переговоров. Царь оценил по достоинству, что его не поставили в известность о созыве сейма, заседавшего под Варшавой в течение шести недель с участием послов всех кандидатов, кроме Ивана IV, и дал ясно понять это своим партнерам, назвав их в особой грамоте к литовской раде «наводцами на зло христианское». В таких условиях магнатам ничего не оставалось, как поставить заставы на всех дорогах и не пропускать никого ни в Речь Посполитую, ни из Речи Посполитой.

Однако, несмотря на все меры предосторожности, одному из посланцев шляхты, шляхтичу Кшиштофу Граевскому, удалось пробраться в Россию, и 6 апреля 1575 года царь принял его в Александровой слободе. Граевский доставил очень важные сведения. Он прямо предостерегал царя против переговоров с литовскими магнатами и предлагал ему вступить в сношения с его сторонниками в Польском королевстве. Съезд представителей сторон для решения всех спорных вопросов он советовал устроить в Киеве, за пределами литовских границ. После того как на этом съезде было бы достигнуто соглашение между царем и его сторонниками, Иван мог прибыть в Киев и ехать через Киевщину и Волынь «все русскими землями до Кракова на коронацию».

Победа Ивана IV на выборах в свете этих сообщений казалась реальной. Многое здесь зависело от того, какие условия он предложит своим избирателям. Царь воспользовался случаем, чтобы изложить эти условия Граевскому. Сделанная Граевским запись царской «речи» с изложением этих условий стала известна совсем недавно. Она представляет большой интерес и характеризует царя как политика, способного учиться на собственных ошибках и находить новые оригинальные решения стоявших перед ним проблем.

В некоторых отношениях Иван, правда, продолжал настаивать на своем. Так, он по-прежнему требовал передачи ему Киева — старой «вотчины» его предков, так как «оттуда начало ведет» русское царство. В этой связи царь упоминал и о шапке Мономаха, которую его предки «взяли у цесарей константинопольских».

Однако по целому ряду вопросов царь существенно изменил свою позицию, стремясь пойти навстречу пожеланиям шляхты. Так, по-прежнему настаивая на том, что королевская власть должна быть наследственной, он заметно смягчил свое требование, указав, что дворянство будет «свободно избирать» нового государя из числа его потомков. Таким образом, выборность государя формально сохранялась, хотя и ограниченная рамками царского рода.

Опыт предшествующих лет ясно говорил о том, что одних обеща-

ний мира и союза против общих врагов недостаточно для того, чтобы заинтересовать избирателей кандидатурой царя. Характерно, что на этой стороне дела царь в своей речи совсем не останавливался, посвятив свое внимание другим вопросам.

Наиболее важное место среди предложений царя заняло, несомненно, его обещание соединить Русское государство с «Короной Польской и Великим княжеством Литовским на вечные времена тем же обычаем, как соединилось и объединилось Великое княжество Литовское с Короной Польской». Так в Восточной Европе должно было образоваться огромное федеративное государство во главе с правителями из рода Ивана IV. Правитель России должен был бы в дальнейшем не наследовать власть, а выбираться из числа потомков царя русским дворянством совместно с польским и литовским, «чтобы все вместе свободно и единодушно выбирали себе одного государя». Как видим, ради достижения своей цели царь готов был поступиться таким важнейшим компонентом своей власти, как ее наследственность (это, впрочем, касалось не самого царя, а его потомков).

Идеалом для шляхетских политиков было такое государство, в котором правитель оплачивает все государственные расходы доходами от своих имений, не накладывая никаких налогов на владения шляхты. Шляхта именно потому требовала от магнатов вернуть Сигизмунду II заложенные его предшественниками государственные земли, рассчитывая, что доходами от этих земель будут обеспечиваться все государственные нужды. Поэтому шляхте не могло не заинтересовать предложение царя, чтобы они «все доходы и пожитки земские обратили на свои нужды», а все государственные расходы он будет оплачивать из собственных средств. «А я, — говорил царь, — на своем буду жить, ибо есть на чем».

В отличие от Русского государства, в Речи Посполитой государственная власть не регулировала оборот земли, поэтому здесь во второй половине XVI века достаточно далеко зашли процессы поляризации в рядах дворянского сословия: образование огромных латифундий магнатов сопровождалось обезземеливанием многочисленной мелкой шляхты. Для многих представителей этого слоя поддержание своего социального статуса становилось проблемой. Этим шляхтичей должно было привлечь обещание царя раздавать пустые неосвоенные земли, «которых есть в Москве немало, людям тем, которые бы того годне заслужовали».

Существовало еще одно серьезное препятствие на пути Ивана IV к польскому трону. Уже Гарабурда на переговорах с царем заявил, что вряд ли он может быть увенчан польской короной «без принятия веры закона римского», то есть без перехода в католицизм. Так как царь совсем не собирался отказываться от православия, перед ним возникла сложная задача, как убедить шляхту не принуждать будущего монарха к смене веры. Царь нашел весьма оригинальный, учитывав-

ший особенности шляхетской психологии, выход из положения. Непримиримый враг ересей и еретиков апеллировал к практике отношений между представителями разных конфессий, сложившейся во второй половине XVI века в самой Речи Посполитой. После распространения в этой стране протестантизма разных толков и неоднократной смены конфессий целыми группами дворянства здесь утвердилось представление, что каждый дворянин может свободно избирать себе веру, соответствующую его убеждениям, и эта свобода составляет неотъемлемый компонент его дворянских «вольностей». Наиболее яркое выражение это представление нашло в выступлении на сейме посла протестанта Ежи Немирича: «Так как мы родились польской шляхтой, мы свободные граждане в свободной республике, никто не может у нас того отнять, чтобы мы верили в то, во что хотим».

Апеллируя к этому представлению, царь утверждал, что ему нельзя отказывать в том, что признается правом для каждого дворянина. Царь не исключал, что он может сменить веру, но лишь по своему убеждению («но пока сам не соглашусь, чтобы меня к этому не принуждали»). Пусть богословы разных конфессий устроят диспут, а царь готов выслушать их доводы, чтобы решить, какая вера лучше. «Если же мне покажут, — дипломатично говорил он, — и познаю (сам), что вера Римская лучше, чем Русская, то кто же так глуп, чтобы, найдя лучшее, не оставил худшего». Такие обещания ничем не связывали царя, но могли серьезно ослабить оппозицию планам его возведения на польский трон.

Эта версия царских предложений, адресованных польскому дворянству, как видим, была создана с явным знанием особенностей государственного устройства Речи Посполитой и характерных черт шляхетской психологии. В этом выступлении царя ощущается рука умного и квалифицированного советника, которого Ивану IV явно не хватало во время первого «бескоролья». С большой долей уверенности можно утверждать, что этим советником был Афанасий Нагой. По сообщению Граевского, именно Нагой после приема у царя разъяснял польскому шляхтичу смысл высказываний своего государя.

На границе, при выезде из России, Граевский был арестован по приказу литовских магнатов и посажен в тюрьму. Однако ему удалось вступить в контакты со своими родственниками, и благодаря им по Польше стали распространяться слухи о каких-то важных предложениях царя к польской шляхте, которые вез Граевский. Это лишь усилило интерес шляхетских политиков к кандидатуре Ивана IV.

Вопрос о судьбе польской короны стал предметом обсуждения на съезде, собравшемся в Стенжице, в Малой Польше, в конце мая 1575 года. Съезд стал ареной столкновения сторонников разных кандидатов — магнатов, поддерживавших кандидатуру Максими-

лиана II, и шляхты, враждебной Габсбургам, среди которой было много сторонников Ивана IV. Узнав о том, что в Литве находится его гонец, и полагая, что тот привез с собой предложения царя, о которых рассказывал Граевский, они требовали, чтобы гонец был доставлен в Стенжицу и получил возможность изложить то, что ему поручено, участникам съезда. Гонец Федор Ельчанинов был послан также к Генриху Анжуйскому с просьбой об «опасной грамоте» для послов, которых предполагал послать к нему царь. О судьбе польского трона в присланной с ним грамоте ничего не говорилось, потому литовские магнаты легко согласились на требования шляхты и доставили Ельчанинова в Стенжицу. Однако при этом они следили за тем, чтобы русский дипломат не смог вступить в сношения с шляхтичами — сторонниками Ивана IV. Гонец был размещен под охраной в лесу в 15 верстах от Стенжицы, и пристав не пускал к нему «никакова человека». Однако посланцы шляхты сумели, «утаяся пристава», проникнуть к Ельчанинову. От них гонец узнал о желании собравшейся в Стенжице шляхты «видеть... на государстве московского государя». Посланцы передали гонцу образцы грамот, которые царю следовало направить к своим сторонникам в Речи Посполитой. Главной должна была стать грамота «рыцарству» — шляхте. В ней в уста царя вкладывались слова, будто он знает, что в Польше «людей мудрых много», и он их «рад имети своими товарищами», что царь хочет быть для них «не так паном, але рыцерским людем, как братом». Перед царем обрисовывалась реальная возможность попытаться занять польский трон, опираясь на поддержку враждебной магнатам шляхты. Но этой возможностью царь пренебрег.

Иван IV не последовал пожеланиям шляхты и не отправил в Речь Посполитую грамот, которых от него ждали. Он ограничился тем, что послал в июне 1575 года с просьбой об «опасной грамоте» для своих послов гонца Семена Бастанова, которого литовские магнаты задержали в Литве до самого наступления новых выборов. Бастанов должен был добиться договоренности о приезде посланника, который бы в свою очередь подготовил почву для поездки «больших послов». Иван IV явно стремился затянуть переговоры о судьбе польского трона. В действиях царя была определенная логика. Хотя, как показывает запись его речи, обращенной к Граевскому, Иван IV был готов на важные уступки польско-литовскому дворянству, но делал он их не с легким сердцем, они явно противоречили его представлениям о характере власти государя. (Чего стоило одно согласие, хотя бы и словесное, на свободный выбор государя из числа его потомков.) Быть «братом» и «товарищем» польских шляхтичей он не желал. Конфликт между магнатами и шляхтой, о котором царь узнал из сообщений Ельчанинова, открывал возможность попытаться получить польский трон без этих уступок. Затягивая переговоры, царь рассчи-

тывал, что конфликтующие стороны, запутавшись в своих противоречиях, будут сами просить его занять польский трон, и тогда он сможет продиктовать им свои условия.

Действуя так, царь, по его мнению, ничем особенно не рисковал. Сообщения Ельчанинова ясно указывали, что у царя на этот раз есть только один важный соперник — император Максимилиан II, а у Ивана IV к лету 1575 года были серьезные основания считать, что многие свои политические планы ему удастся осуществить и в том случае, если Максимилиан II займет польский трон.

Среди государей католической Европы XV—XVI веков представители Австрийского дома — Габсбурги — занимали особое место. Так сложилось, что с середины XV века только представители этого рода занимали трон императоров Священной Римской империи. Носившее это имя огромное государство, границы которого охватывали в эпоху раннего Средневековья территорию современной Германии, Нидерландов, Швейцарии, значительную часть Франции и Италии, уже давно превратилось в эфемерное политическое образование, но обладателю императорского трона было обеспечено наиболее почетное первое место в иерархии европейских государей, а историческая традиция возлагала на носителя императорского сана (подобно тому, как это было в православном мире с василевсом Византии) особую ответственность за судьбы христианского мира. В эпоху Нового времени эта изрядно обветшавшая традиция стала наполняться новым содержанием. Дело в том, что в первой половине XVI века под властью Фердинанда Габсбурга оказались такие страны, как Австрия, Чехия и Венгрия, лежавшие на пути продвижения османов в Европу. Волею обстоятельств носители императорского сана оказались в роли защитников христианской Европы от угрозы со стороны мира ислама. Османская империя представляла собой мощную военную державу, с которой было нелегко бороться, поэтому Габсбургам приходилось, апеллируя к общехристианской солидарности, выступать организаторами союза христианских государств — союза, который положил бы конец продвижению османов и даже, может быть, отбросил их в Азию, откуда они пришли.

Эта роль Габсбургов в европейской политической жизни была хорошо известна в Москве, где в правление отца царя Василия III неоднократно появлялись австрийские послы (одним из них был упоминавшийся на страницах этой книги Сигизмунд Герберштейн), предлагавшие свое посредничество для заключения мира между Россией и Великим княжеством Литовским, чтобы затем эти государства вместе с Габсбургами обратили оружие против османов. В малолетство Ивана IV эти связи прервались и долгое время не возобновлялись. Попытка императора Фердинанда I после начала Ливонской войны взять под свою защиту Ливонию как часть Священной Рим-

ской империи встретила в Москве резкий отпор и никак не способствовала восстановлению отношений. Лишь в начале 70-х годов XVI века, когда резко возросла опасность, угрожавшая России со стороны Османской империи и Крыма, царь принял решение возобновить утраченные связи с Веной.

Речь, разумеется, шла прежде всего о том, чтобы найти союзников в борьбе с угрожавшей опасностью с юга. Однако уже в это время у царя существовали гораздо более далеко идущие планы. Несомненно, что Иван IV глубоко переживал события 1571 года — бегство перед наступающими татарами, пожар своей столицы, унижения перед крымскими послами — это был страшный удар по его престижу, по его репутации покорителя мусульманских царств. Сделать так, чтобы эти события изгладились из памяти современников, можно было только одним способом — одержать новые великие победы над врагами из мусульманского мира. Сближение с Габсбургами было одним из путей, ведущих к этой цели. К началу 1572 года царь уже знал, что его инициатива встретила благоприятный отклик в Вене: император Максимилиан II просил «опасной грамоты» для послов, которых он намеревался прислать в Москву.

Иван IV отдавал себе отчет в том, что его союз с Габсбургами против османов вряд ли будет действенным, если к нему не присоединится Речь Посполитая, которая стремилась поддерживать мирные отношения с Османской империей. Однако после смерти Сигизмунда II появились надежды на то, что такое положение можно изменить. Наиболее предпочтительным для царя был, конечно, такой вариант, когда он сам, вступив на польский трон и заключив союз с Габсбургами, повел бы соединенные силы России и Речи Посполитой против османов. Однако понимая, что его выбор на польский трон отнюдь не гарантирован, царь не мог не задуматься над вопросом, кого из кандидатов следует поддерживать, если у него самого шансов не окажется. О том, к какому решению царь пришел, говорит запись его переговоров с Гарабурдой. Во время этих переговоров царь заявил послу, что если Речь Посполитая никак не согласится на его избрание, то пусть она изберет польским королем сына императора. Тогда он готов заключить с императором и его сыном польским королем договор о союзе против всех врагов, о помощи друг другу войском и деньгами. «И будем, — говорил царь, — с цесарским сыном потому ж, как были бы в постановлении с сыном нашим Федором, если бы его вам на государство дали». Он выражал уверенность, что если удастся заключить такой союз, то «тогда с помощью Божьей могут все государи христианские с нами стать за едино на все государства поганские».

Стоит подчеркнуть, что все эти важные и ответственные заявления царь сделал тогда, когда еще никаких серьезных переговоров между австрийским и русским дворами не было и тем более не было никакой договоренности о том, какую политику по отношению к

России будет проводить австрийский кандидат в случае, если он станет польским королем. Так велика была уверенность царя, что с избранием на польский трон Габсбурга откроется дорога к заключению антиосманского союза между державами Габсбургов, Россией и Речью Посполитой. В расчетах царя был еще один важный аспект, на котором он избегал акцентировать внимание на переговорах с Габсбурдой: заинтересованный в поддержке России против османов Габсбург на польском троне будет готов пойти на уступки русским интересам в Ливонии. Так благоприятным образом были бы одновременно решены две главные проблемы русской внешней политики тех лет.

Когда царь делал такие важные заявления, в его распоряжении, по существу, не было никаких серьезных данных, позволявших думать, что Габсбурги согласятся играть ту роль, которую Иван IV отводил им в своих больших политических планах. Вскоре, однако, он мог убедиться, что его расчеты были правильными.

В ноябре 1572 года Максимилиан II отправил в Москву своего дипломата Магнуса Паули. Как увидим далее, одной из целей миссии было договориться о согласованных действиях обоих государей на польских выборах. Но своевременно выполнить свою миссию Паули не удалось. Отправившись в путь, посланец был вынужден задержаться в Риге, так как Таубе и Крузе, теперь служившие литовскому наместнику в Ливонии Яну Ходкевичу, «по всем дорогам в Ливонской земле стерегли», чтобы захватить австрийского дипломата и отобрать у него грамоту императора. Лишь после долгого пребывания в Риге посланцу удалось с помощью городских властей проехать во владения Магнуса, а оттуда — в Новгород. Магнус Паули прибыл к царю в то самое время, когда гонцы Речи Посполитой официально сообщали о выборе Генриха Анжуйского. Со своим поручением Магнус Паули безнадежно опоздал, но сделанные им заявления имели важное значение для развития русско-австрийских отношений в последующие годы.

То, что сообщал Магнус Паули царю, было как бы зеркальным повторением собственных слов Ивана IV, которые он произносил перед Габсбурдой. Император заявлял, что хотел бы видеть на польском троне своего сына, но, если бы это оказалось невозможным, он рад был бы видеть на польском троне сына царя. Однако император пошел даже дальше, предложив план раздела Речи Посполитой между обоими кандидатами: «а прирадил цысарь (цесарь, то есть император. — *Б.Ф.*), чтоб то государство поделити: Коруну б Польскую к цысарю, а Литовское великое княжество к Московскому государству». Это предложение о своеобразном разделе сфер влияния заканчивалось следующими, имевшими весьма важное значение для царя словами: «И стоят б им с одново против турецкого и против всех татарских государей». Таким образом, соглашение двух государств о разграничении сфер влияния на территории Речи Посполитой должно было со-

проводятся заключением между ними союза, направленного против Османской империи. О заинтересованности Габсбургов в заключении такого союза Магнус Паули говорил и специально: «И цысарь со всем цысарским чином приговорили со государем Московским мир вечной постановити, на татарских государей стояти с одного».

В то время когда Магнус Паули произносил свои «речи», которые для царя были веским доказательством правильности его расчетов на союз с Габсбургами, в Вене, несомненно, было уже известно о заявлении царя Гарабурде, ведь ответ царя литовскому послу зачитывался на избирательном сейме в присутствии послов Максимилиана II. С этого времени можно говорить о тесном сближении двух дворов. Оба государя добивались от датского короля, чтобы он не пропускал в Балтийское море через Зунд французские суда с Генрихом Анжуйским. В суровых выражениях оба осудили жестокость, проявленную Генрихом Анжуйским, организатором избиения еретиков-гугенотов в Париже — знаменитой Варфоломеевской ночи. Если в устах Максимилиана II, известного своей веротерпимостью и предоставившего австрийскому дворянству право беспрепятственно исповедовать «Аугсбургскую конфессию», такие обвинения могли звучать вполне искренне, то царя скорее всего никак не заботила судьба еретиков — «слуг антихриста», казненных принцем католиком. Его сожаление о том, что «такое безчеловечие Французской король над толиким народом учинил и кровь толикую без ума пролил», было продиктовано прежде всего враждебным отношением к французским политикам, сумевшим взять над ним верх в борьбе за польский трон.

Представители обоих дворов договаривались между собой «вместе сопча заодин беречи того, чтоб то государство Коруна Польская и Великое княжество Литовское от наших государств не отошло».

После бегства Генриха Анжуйского из Польши пришло время для осуществления этой договоренности. В декабре 1574 года царь снова принимал в Слободе Магнуса Паули. Император сообщал о своем намерении прислать в Москву «великих послов», которые выработали бы соглашение по всем интересующим стороны вопросам и «промеж ими любительное приятельство и суседство крестным целованьем закрепили». Чтобы ускорить приезд посольства для заключения соглашения «о литовском деле», царь отправил в Вену своего гонца Никона Ушакова. В посланной с ним грамоте царь подтверждал свою верность достигнутой договоренности: «нам то единственно (едино. — Б. Ф.), что наш сын будет на том государстве или сын твои будет на том государстве».

В свете всего этого планы большого антиосманского союза Габсбургов, Речи Посполитой и России приобретали реальные очертания. Царь, не дожидаясь окончания борьбы за польский трон, стал предпринимать первые шаги для их осуществления. Были приняты меры для обновления связей с запорожским казачеством: весной 1575 года

в Бахчисарае узнали, что царь «грамоты днепрским казаком писал не по однажды, ходите, деи, вы на улусы крымские». Отряды казаков разорили окрестности Аккермана, Очакова, Ислам-Кирмена. Вступивший с ними в сражение наместник Перекопа мурза Дербыш был разбит и бежал. К этому времени при дворе Ивана IV нашел себе приют и изгнанный незадолго до этого османами молдавский воевода Богдан Александрович. Царь пожаловал ему в удел Лух и Тарусу и обещал помочь с возвращением в родную землю. Весной 1575 года воевода с большим войском стоял в Чернигове. В окружении царя появились и другие знатные выходцы с Балкан: «Радул мутьянской воеводич, Стефан волоской воеводич, Микифор гречанин».

Долго ожидавшееся посольство из Вены во главе с Иоганном Кобенцлем прибыло поздней осенью 1575 года и привезло весьма важные предложения. Император просил царя прислать грамоты в Польшу и в Литву, чтобы его сына Эрнста «за короля себе обрали мимо иных всех», обещая в этом случае польским и литовским панам и шляхте «правдивое приятельское суседство» и «соединение против всех недругов». Если Эрнст «доступит» польского трона, обещал император, так он бы «ежечас против вашего величества недругов, где будет надобе, всегда был готов». Ради поддержки царя император готов был пойти на важные уступки. Так, он обещал, что новый польский король передаст царю «для брацкие любви» город Киев, так как император хорошо знает, что Киев «исконная» «вотчина» Ивана IV, а сам император шведского короля, который вел войну с русскими войсками в Ливонии, «наклонит, учинит его перед царским величеством покорна».

Как следовало ожидать, на переговорах видное место занял вопрос о создании антиосманского союза. С избранием Эрнста, говорили австрийские послы, откроется дорога к созданию большой антиосманской коалиции, в которую помимо держав австрийских Габсбургов, Речи Посполитой и России войдут папство, Испания и другие христианские государства. Они все объединятся, чтобы «тех неверных людей могли выгнать за Арапы до Азии» и чтобы «все цесарство Греческое на всход солнца к твоему величеству пришло». Перед Иваном IV рисовалась перспектива утверждения его власти после победоносной войны с османами в бывших владениях Византийской империи — перспектива, к которой царь не мог остаться равнодушным.

Как бывало неоднократно в истории контактов между средневековыми государствами, разделенными большими расстояниями, и в частности в истории русско-австрийских отношений, миссия Кобенцля опоздала. Когда в январе 1576 года царь в Можайске вступил в переговоры с австрийскими послами, его гонец Бастанов привез из Речи Посполитой известия о том, что выборы на польский трон уже состоялись и завершились тем, что магнаты — сторонники Максимилиана II провозгласили его польским королем.

Для царя это был важный шаг на пути к утверждению Габсбурга на польском троне, а следовательно, важный шаг на пути к осуществлению тех планов, которые с этим связывались. Правда, Ивану IV было известно, что поддержка кандидатуры Максимилиана II была далеко не единодушной, но существованию оппозиции он не склонен был придавать серьезного значения. Два таких великих государя, как он единственный в мире православный царь, и император, первый среди государей Запада, должны были легко подавить возможное сопротивление, и царь обещал Максимилиану свою поддержку, чтобы «войною промышлять» и «наклонять» его противников примириться со вступлением Габсбурга на польский трон. Существование такой оппозиции было царю даже выгодно, так как император, нуждаясь для ее подавления в поддержке России, будет вынужден выполнить свои обещания. Царь не исключал, что при благоприятных условиях ему удастся добиться того раздела Речи Посполитой между двумя государствами, который сам император предлагал царю в 1574 году. «А наше хотенье то, — писал царь Максимилиану II, — чтоб... Литовское бы Великое княжество и с Киевом и что к нему города, были к нашему государству Московскому».

Однако главное внимание царя в тот момент привлекало решение другого вопроса. Избрание Максимилиана II побудило его перейти к практическим шагам по формированию антиосманского союза. Захарий Сугорский, потомок белозерских князей, еще недавно по поручению Ивана IV возивший «поминки» в Крым, теперь повез в Вену «опасные грамоты» для «великих послов» Максимилиана II, папы и испанского короля, которых приглашали в Москву для заключения союзного договора.

Подготавливая почву для формирования такого союза, царь одновременно предпринял новые шаги для подготовки наступления на Крым и османские крепости в Северном Причерноморье. Зимой — весной 1576 года к гетману запорожских казаков князю Богдану Ружинскому было послано денежное жалованье, «запасы» и порох, и казаки «ялись государю крепко служить». Тогда же за днепровскими порогами появились и отряды «государевых», то есть московских служилых казаков. После новых нападений на крымские улусы, как сообщал в Москву русский гонец Иван Мясоедов, «за Перекопом, де, никою людей не осталось, все, де, за Перекоп збежали от казаков». Летом 1576 года под стенами крепости Ислам-Кирмен в низовьях Днепра произошло настоящее сражение между войсками хана и отрядами запорожцев и русских служилых людей, и татары были вынуждены отступить, бросив крепость на произвол судьбы.

Запись «Разрядных книг» о том, что воеводы и запорожские атаманы поспешили известить царя о взятии города, не оставляет сомнений в том, что поход на Ислам-Кирмен был инспирирован русским правительством. Все это вызвало серьезное беспокойство престарелого Дев-

лет-Гирея, с тревогой вспоминавшего события, предшествовавшие взятию Казани: «Так, деи, он, — говорил хан о царе, — казаков напустил к Казани, дале, де, Свяжское поставил, а после, де, Казань взял».

На этот раз нападениями казаков дело не ограничилось. Получив известия об избрании Максимилиана II на польский трон, царь решил разорвать отношения с Крымом. Прибывшим от хана гонцам не выслали шуб и «встречново корму», а 26 апреля 1576 года царь «приговорил со всеми своими бояры и з дворяне, которые в думе у государя живут» крымских гонцов не принимать и сослать их в Углич. Через два дня, 28 апреля, было принято решение о выступлении царя в поход «на свое дело и на земское» в Калугу.

В походе царя сопровождала армия его удела во главе с Федором Михайловичем Трубецким и большая земская рать во главе с главой земской Думы князем Иваном Федоровичем Мстиславским. По специальному решению в этом походе воеводы должны были служить «без мест». Кроме этого большого войска, занявшего города на Оке от Коломны до Калуги, была организована «плавная судовая рать» во главе с князем Никитой Тюфякиным из трех полков; в их состав наряду со служилыми людьми из разных городов входили донские атаманы и казаки.

История словно возвращалась. Как и в конце 50-х годов, царь снова стоял войском на Оке, а «плавная рать» снова готовилась к морскому походу на Крым. Царь, по-видимому, ожидал известий об утверждении Максимилиана II в Речи Посполитой, чтобы дать «плавной рати» сигнал к походу. Весь конец весны и почти все лето «государь и сын ево государев царевич Иван Московские ездили по берегу и смотрели бояр и воевод и дворян в всех полках». Однако известия об увенчании императора Максимилиана II польской короной все не приходили.

Попытки магнатов распоряжаться польским тронном вызвали резкую реакцию шляхты. Столкновение произошло на самом выборном поле и приняло самые резкие формы. Как сообщал русский гонец Семен Бастанов, ставший невольным свидетелем происходившего, магнаты, «убоявся всех шляхт, с великою боязнью до места (города. — *Б.Ф.*) утекли, а оне тех панов хотели побить». Со своего подворья гонец видел, как возмущенные шляхтичи «учали из луков и самопалов стрелять... так, де, нам над немцы делати» (немцы здесь, конечно, Габсбурги, стоявшие во главе Священной Римской империи германской нации). В противовес Максимилиану II шляхта выдвинула кандидатуру противника Габсбургов и вассала турецкого султана трансильванского воеводы Стефана Батория. Австрийские власти пытались задержать его на карпатских перевалах, но воевода сумел переехать в Польшу, где его сторонники заняли столицу страны Краков и завладели королевскими регалиями.

Первоначально царь не придавал всему этому серьезного значения.

Однако с течением времени, когда выяснилось, что император медлит с вмешательством, а Баторий постепенно овладевает положением в стране, Иван IV стал проявлять серьезное беспокойство. В грамоте, отправленной Максимилиану II 11 июля 1576 года, он призывал своего союзника: «А промышлял бы, еси... о том деле наскоро, покаместа Степан Батора... на тех государствах... не утвердился». В условиях, когда вассал султана, пользовавшийся активной поддержкой Стамбула, сумел овладеть польским тронem, планы большого антиосманского союза стали отходить на задний план. Царь приказал вернуть крымских гонцов в Москву, и Афанасий Нагой и Андрей Щелкалов стали выяснять, какие «поминки» следует уплатить хану, чтобы он заключил мирный договор с Иваном IV.

Если вопрос о создании антиосманского союза стал временно неактуальным, то, напротив, ясно обрисовывалась перспектива большого конфликта между Речью Посполитой и Габсбургами. Царь был уверен, что такие великие государи, как Габсбурги, не потерпят подобного ущерба для своей чести, какой нанесла им польская шляхта, и император будет оружием отстаивать свое право на польский трон. Весной 1576 года в Вене серьезно обсуждали планы военного вмешательства в дела Речи Посполитой. 8 апреля 1576 года Максимилиан II писал царю: «Семиграцкой воевода (Стефан Баторий. — *Б.Ф.*) хочет силою прав быти, татар, турков и иных многих своих товарищей на великую силу надеется, а мы против силы турецкого, как надобе быти, начаемся, что им не стерпим». При таком положении поддержка России становилась особенно необходимой, и Максимилиан II не жалел любезных слов, чтобы расположить к себе русского союзника. «А нам, — писал он царю, — то великая честь и слава стояти нам всем вместе за все христианство с великим приятельским братством. А опроче тебя, любительного брата, не могли себе такова любительна приискати, кто б за веру хрестьянскую так мог стояти». Можно себе представить, как ласкали слух Ивана IV такие слова, исходившие от первого государя христианского Запада.

Император сообщал, что 1 мая в Регенсбурге он собирает рейхстаг, на котором намерен просить помощи у имперских князей. В сентябре 1576 года, отпуская из Регенсбурга Захария Сугорского, император сообщал царю, что «в коротких часах» в Москву будут отправлены «великие послы» для заключения договора о союзе, очевидно, направленном против Батория. Император отпуская послов тяжелобольным, лежа на постели, и вскоре после их отъезда, 12 октября 1576 года, скончался. Это, однако, не положило конец конфликту. Сугорский сообщал царю, что преемник императора, его сын Рудольф II, «как его коронуют и ему итти на Батора и на поляки вскоре, и люди в войну конные и пешие собираются, а итти ему из Ведна (Вены. — *Б.Ф.*) на Краков». Правильность этих сообщений косвенно подкрепляла грамота Рудольфа II, отправленная вскоре после смер-

ти отца, где говорилось, что, подобно отцу, новый император желает быть с царем «в братстве и в любви».

Складывалась новая ситуация, в которой Иван IV вовсе не хотел оставаться безучастным зрителем. Через своего посланца Ждана Квашнина он сообщал новому императору, что находится в Новгороде, «чтобы быть ближе у дела литовского, договорясь с братом своим с Руделфом цесарем». С Квашниным была послана и «опасная грамота» для послов, которых царь ожидал от «цесаря» для заключения договора о союзе. Действуя так, царь, конечно, подстрекал Рудольфа II к выступлению против Батория. Кроме того, Иван IV был намерен использовать конфликт между Речью Посполитой и Габсбургами, чтобы решить в свою пользу затянувшийся спор из-за Ливонии.

ЛИВОНСКИЙ ПОХОД 1577 ГОДА

Внимание царя Ивана к польским и крымским делам в 70-е годы XVI века вовсе не означает, что он выпустил из поля своего зрения Ливонию и не принимал мер для укрепления и расширения своей власти на этой территории. Ряд факторов, однако, ограничивал его возможности в этом отношении. Сразу после поражения татар при Молодях зимой 1572/73 года Иван IV предпринял большой поход в Ливонию, который завершился взятием стратегически важной крепости Пайде (Вейссенштейн). Этому приобретению царь придавал важное значение: воеводами в Пайде были назначены его близкие дворяне — сначала Василий Федорович Ошанин, двоюродный брат Василия Грязного, а затем Михаил Андреевич Безнин — двоюродный брат Романа Олферьева. Однако на этом пришлось пока остановиться.

Отношения с Крымом и после битвы при Молодях оставались враждебными. Хан демонстративно выслал из Крыма русского посла Афанасия Нагого, «и дела с ним ко царю и великому князю никоторого не приказал». Все это заставляло по-прежнему держать на Оке крупные военные силы. Большой проблемой для русских политиков стало и восстание в Поволжье, которое отнюдь не прекратилось после битвы при Молодях. Зимой 1572/73 года одновременно со своим походом на Пайде царь отпустил бояр и воевод в Казань — на «изменников на казанскую Горную и Луговую черемису». Против «изменников» была послана большая армия из пяти полков во главе с князем Никитой Романовичем Одоевским. Но этот поход не привел к прекращению восстания. О серьезности сложившейся ситуации говорит принятое в Москве в сентябре 1573 года решение вступить в переговоры с «казанскими людьми». Пока в Муроме осенью 1573 года собиралась новая рать из пяти полков, сюда прибыл для переговоров с послами казанских людей ряд первых лиц государства — князь

Иван Федорович Мстиславский, царский шурин Никита Романович, дьяк Андрей Щелкалов. После переговоров, которые были довольно продолжительными и напряженными, в начале следующего 1574 года соглашение было достигнуто, а его условия были закреплены в жалованных грамотах, выдававшихся разным волостям Казанской земли. В них говорилось от имени царя, «что били нам челом всею Казанскою землею за свои вины» и он, «выслушав казанских людей всею Казанской земли челобитье, вины их покрыл своею милостью». В грамотах четко определялись обязанности «казанских людей» по отношению к государству, а наместникам строго предписывалось «обид и насильства... никому ни в чем не чинить и управа чинить в суде безволокитно». Если наместники не станут поступать, как им предписано царем, то царь разрешал «бить челом к нам и мимо бояр и воевод. И яз, царь и великий князь, выслушав их челобитье... от бояр и от воевод оборону велю учинити». В грамотах отчетливо проявилось желание царя закрепить за собой выгодную роль верховного арбитра в спорах между воеводами и населением.

Приведенные тексты не оставляют сомнений, что главной причиной восстания Луговой и Горной черемисы были насилия и злоупотребления властей, управлявших краем. Ценой обещаний и уступок мир в Поволжье был восстановлен, и это позволило Ивану IV возобновить активные военные действия в Ливонии.

Впрочем, и во время вынужденного бездействия царь продолжал обдумывать свои планы относительно Ливонии. В них в то время значительное место продолжал занимать ливонский король Магнус. 12 апреля 1573 года был, наконец, заключен его брак с тринадцатилетней дочерью Владимира Андреевича Старицкого Марией (прежняя невеста Магнуса Евфимия к тому времени умерла). Тем самым датский принц породнился с царским домом. Почетное место на свадьбе принадлежало брату невесты князю Василию, которому дядя пожаловал удел его отца — город Дмитров. Подробное описание свадебного обряда, сохранившееся в «Разрядных книгах», показывает, что царь не требовал от зятя перехода в православие, и в церемонии бракосочетания участвовали одновременно лютеранский пастор и православный священник («обручать и переменять перс[т]ни на месте у короля попу римскому, а княжну обручать попу русскому по греческому закону»). Этот факт, как и некоторые другие, свидетельствует о том, что царь, бывший в теории яростным и непримиримым врагом протестантов, на практике умел находить с ними взаимопонимание и отступать от своей принципиальности в соблюдении религиозных правил, когда находил это выгодным для себя.

Активные военные действия русских войск в Ливонии начались весной 1574 года и были направлены против Таллина — главного центра шведских владений в Ливонии. В результате шведская администрация в значительной мере утратила над ними контроль. По со-

общению таллинского хрониста Балтазара Рюссова, даже «на две мили пути от города» крестьяне просили охранных грамот от русского наместника Пайде и должны были «платить этим русским такие же подати, какие платили своим немецким господам». В следующем 1575 году, когда приняли широкий размах нападения запорожских казаков на Крым и татарские набеги на русские земли прекратились, русские войска перешли к планомерной осаде ливонских замков. 9 апреля русским войскам во главе с Никитой Романовичем сдался Пярну, крупный город и порт на побережье Балтийского моря. Условия капитуляции были очень мягкими: все горожане, которые не желали жить под русской властью, получили возможность удалиться, взяв с собой все свое имущество. Очевидно, в то время планы привлечения населения Ливонии на свою сторону продолжали занимать заметное место в политике царя. И действительно, по свидетельству Рюссова, многие ливонские дворяне «отправились к великому князю в Москву и снова служили ему советом и делом».

В следующем, 1576 году военные действия продолжались. 12 февраля капитулировал Хаапсалу — также крупный порт на балтийском побережье. Шведский король Юхан III к этому времени утратил почти все свои владения в Ливонии, в его руках оставался лишь Таллин с близлежащей округой. Походы русских войск не затрагивали польско-литовских владений в Ливонии. Пока шла борьба за вакантный польский престол, Иван IV избегал шагов, которые могли настроить против него литовскую и польскую шляхту. Когда же «бескоролевье» закончилось избранием Батория, основания для такой сдержанности в значительной мере отпали.

Разумеется, выбор польским королем именно Батория был неудачей для царя, но этой неудаче в Москве пока не придавали большого значения. Положение трансильванского князя на польском троне не представлялось прочным. В Москве было хорошо известно, что польские и литовские магнаты избрали на польский трон вовсе не его, а императора Максимилиана II. От своих дипломатов царь знал, что при дворе императора находятся польские магнаты — его сторонники, которые побуждают императора оружием отстаивать свои права. Кроме того, о непрочности положения нового польского короля свидетельствовали и другие данные: город Гданьск, своеобразная городская республика в составе Польско-Литовского государства, отказался подчиниться его власти, и Баторию пришлось, собрав наемное войско, отправиться под стены этого города, «а панове и земли обе, Польская и Литовская с ним не пошли».

Принимая послов нового короля, сообщавших о его вступлении на трон, царь спрашивал о его здоровье «сидя», не допустил послов целовать свою руку и «ести их не звал». В ответной грамоте царь объяснял, что не может называть короля своим «братом», так как ему по его положению трансильванского князя равняются своим рангом

«Бельские, Мстиславские, Трубецкие и иные», которые служат царю. Позднее бояре объясняли королевским послам, что Баторий не ровня прежним «великим государям», сидевшим на польском и литовском тронах, а его брак с сестрой Сигизмунда II не дает ему никаких прав на трон, «так как сестра королева государству не отчич». Законным наследником этих государей является, напротив, Иван IV, так как эти государи были «по коленству наша братия». Теперь «тово роду не осталось никово», и поэтому Корона Польская и Великое княжество — его «вотчина». За мирный отказ царя от своих законных прав новый король должен оказать ему «почестливость», уступив ту часть Смоленской земли и Полоцкого повета, которые по предшествующим соглашениям оставались в границах Речи Посполитой.

Такой способ обращения с новым королем и его представителями ясно показывает, что царь рассматривал Батория как слабого правителя, которому будет легко навязать мирные соглашения на условиях, выгодных для русской стороны. Такой правитель, по его убеждению, вряд ли мог решиться на продолжение начатого в предшествующие десятилетия спора с Русским государством из-за Ливонии. Следовало лишь поставить его перед свершившимся фактом, установив русскую власть на тех территориях Ливонии, на которых еще действовала администрация Речи Посполитой.

Прежде чем царь в 1577 году приступил к реализации этой идеи, была предпринята очень серьезная попытка полностью уничтожить шведскую власть на территории Ливонии. Под властью шведов здесь оставался только Таллин, и зимой 1576/77 года русские войска были посланы овладеть этим городом. 22 января началась осада. Во главе армии встал молодой родственник царя, сын князя Ивана Федоровича Мстиславского Федор, даже не имевший боярского сана, но настоящим командующим армии был боярин Иван Васильевич Меньшой Шереметев, один из тех, кого еще несколько лет назад царь обвинял в тайных сношениях с Крымом. В Москве были настроены очень серьезно. По сведениям, которыми располагали в Таллине (показания русских пленных, записанные таллинским хронистом Балтазаром Рюссовым), под стенами города была собрана большая часть русской тяжелой артиллерии, а Иван Васильевич Шереметев обещал царю или взять город Ревель, или не являться живым перед его лицом. Город обстреливали калеными ядрами, рассчитывая вызвать пожары, но ни вызвать пожары, ни сделать проломы в городских стенах не удалось. Боярин Иван Васильевич Шереметев скончался от ранения ядром, и 13 марта 1577 года русские войска вынуждены были снять осаду.

Это была серьезная неудача в ливонской политике царя, но на его планы она не повлияла. Еще 10 февраля 1577 года Иван принял решение о походе на юг Ливонии, на земли, находившиеся под властью

Речи Посполитой. Весной на западной границе начался сбор войск для похода, а 21 апреля из Москвы на запад направился сам царь. Его сопровождал весь его двор, великий князь тверской Симеон Бекбулатович и многие бояре. Сбор большого войска, в состав которого вошли не только дворянские ополчения многих уездов, но и отряды казанских и ногайских татар, занял довольно много времени. Лишь к концу июня все предназначенные для похода полки собрались в районе Пскова, куда прибыл царь.

9 июля 1577 года перед выступлением в поход Иван IV отправил грамоту князю Александру Полубенскому, управлявшему польско-литовскими владениями в Ливонии в отсутствие «администратора» — наместника Яна Иеронимовича Ходкевича. Эта грамота занимает особое место в письменном наследии царя — в последний раз он рассуждал о характере и природе государственной власти. В грамоте царь говорил об эволюции, изменении характера государства с общим развитием человечества, как его понимали в средневековой исторической традиции. Эти рассуждения были, по-видимому, результатом чтения томов «Лицевого свода» — многотомного иллюстрированного изложения мировой и древнерусской истории, создававшегося как раз в 70-е годы XVI века по заказу царя.

Государство в представлении царя возникает «неблагочестне» — в условиях, когда человечество, проявив неповиновение воле Бога, оказывается во власти дьявола, который «во своей воле нача водити человечество». Тогда-то и появляются первые «мучители и властодержцы и цари».

Но Бог оказался милостив и согласился принять во внимание человеческое несовершенство. Так, например, «сходя к немощи их», он согласился на то, чтобы люди приносили жертвы, «токмо бы истинному Богу жертвы творили, а не бесом». Тогда же, и опять «сходя к немощи человечьстей», Бог «царство благослови», вверив власть над Израилем царю Давиду. В дальнейшем Бог оказал благоволение и императору Августу — «своим Рожеством и Августа кесаря прослави... и распростири его царство». В целом, однако, цари — носители власти, «все дьяволу поработившеся» и преследовали учеников Христа и вообще христиан, подвергая их казням и мучениям. Так продолжалось до тех пор, пока Бог не воздвиг «благочестия корень — великого во благочестии сияюща Костянтина Флавия царя» — императора Константина Великого, «царя правды христианска», тогда соединились «священство и царство воедино». Позднее таким же образом Бог избрал и Владимира Киевского, «как царя правды христианска», а его законным преемником являлся сам Иван IV.

История человечества выступает в сознании царя как история глубокого изменения характера «царства» — созданное под властью дьявола, а затем терпимое Богом лишь во внимание к человеческому несовершенству царство превращается в избранное орудие Божьей во-

ли, утверждающее во всем мире истинную веру. Послание Грозного производит впечатление полемики со сторонниками иных взглядов, которые, считая государство созданием дьявола, сомневались в его высоком назначении. Доводы царя должны были эти сомнения рассеять. Почему эти рассуждения он поместил во вступительной части грамоты литовскому гетману, так и останется, вероятно, загадкой.

Основной текст грамоты резко отличается по своему тону от возвышенного, торжественного изложения вводной части.

Царь издевался над официальным титулом Полубенского — «вице-регент земли Инфлянские, справца рыцарства вольного». Вольные люди — это бродяги, поэтому Полубенский должен был бы называться «справца над шибеницыными людьми, которые в Литве ушли от шибеницы (виселицы. — Б.Ф.)». Царь припоминал Полубенскому и совершенные им в недавнем прошлом дурные деяния: в 1569 году, выдав себя и своих людей за опричников, Полубенский захватил псковский пригород Изборск, где его солдаты ограбили местные храмы. Поступив так, констатировал царь, Полубенский «отступил от крестьянства». Однако милость Божия вернула царю его древнюю вотчину, «а ваша надежда — Крон и Зевс... ни во что же бысть». Убеждение царя в том, что те, кто выступает против него, тем самым ставят себя вне христианского мира, оказываются оружием враждебных христианству сил, нашло в грамоте Полубенскому еще одно яркое выражение.

Та часть грамоты, ради которой она собственно и была написана и послана, была по-деловому лаконична. Ставя в известность Полубенского, что он направляется «своих вотчин рассмотреть», царь предлагал, чтобы гетман «из нашие бы еси вотчины из Лифляньские земли поехал со всеми людьми». В этом случае русские войска их не тронут. Царь хотел, по возможности, удалить польско-литовские войска с территории Ливонии мирным путем, рассчитывая, что в этом случае правящим кругам Польско-Литовского государства будет легче примириться с утратой «Инфлянской земли».

Когда 13 июля русская армия двинулась из Пскова в поход на юг, в ливонские замки, лежавшие на ее пути, стали посылать царские грамоты с предложением сдать их русским войскам. Царь обещал в этом случае, что гарнизонам этих городов «казни никоторые не будет» и они свободно смогут уйти в Речь Посполитую. Стоящие в замках польской Ливонии гарнизоны, небольшие по численности, плохо снабжавшиеся и не получавшие своевременно жалованья, не могли оказать серьезного сопротивления русской армии и не горели желанием это делать. Замки сдавались один за другим. Царь размещал в них свои гарнизоны и артиллерию, отдавал распоряжения о строительстве православных храмов и двигался дальше. Обещания его исполнялись: сдавшихся в плен польских и литовских людей отсылали в Речь Посполитую. Иногда при этом царь даже жаловал их шубами.

К середине августа войско вышло на берег Западной Двины. Здесь у города Чествина русское войско впервые встретило сопротивление. Город был взят штурмом, и расправа с гарнизоном и населением оказалась жестокой: часть пленных царь «велел... по кольям сажать», а других приказал «распродать татаром и всяким людям в работу». Жестокость расправы говорит о том, что царь полагал спор из-за Ливонии законченным и не считал теперь нужным тратить усилия на приобретение симпатий ее населения. Новым подданным было наглядно показано, что их ждет, если они не будут оказывать надлежащего повиновения новой власти.

Когда 25 августа царь со своим войском подошел к городу Кокнезе (Куконосу) на Западной Двине, ему стало известно о совершенно нежелательной активности его вассала, ливонского короля Магнуса. Воспользовавшись распространившимися слухами о походе русской армии, Магнус, желая увеличить свои доходы и владения, предложил многим городам польской Ливонии, чтобы избежать прямого подчинения русской власти, подчиниться ему, Магнусу. Уговоры оказались успешными. Население более десятка городов и городков выгнало польско-литовские гарнизоны и подчинилось представителям Магнуса, территория его «Ливонского королевства» сильно увеличилась. К числу этих городов принадлежал и Кокнезе, под стенами которого остановились русские войска. Все эти действия Магнуса были предприняты без одобрения и без ведома царя, что, конечно, не могло не вызвать его неудовольствия. Если бы исход борьбы за Ливонию остался неясным и царь нуждался бы в расположении ливонцев и союзе с Данией, он, вероятно, попытался бы скрыть свое неудовольствие и даже похвалил бы Магнуса за активность. Но к 1577 году, по мнению царя, спор о Ливонии решился окончательно в пользу России. Магнус и его Ливонское королевство становились ненужными. Напротив, ливонскому населению следовало ясно и недвусмысленно показать, кто является подлинным хозяином в стране.

Прежде всего царь в самой резкой и грубой форме поставил Магнуса на место. Без всяких обиняков он дал понять, что новые города будут у Магнуса отобраны, а если Магнусу недостаточно тех владений, которые ему выделил царь, «и ты поездь в свою землю Езель (остров Сааремаа, переданный Магнусу датским королем. — *Б.Ф.*) да и в Дацкую землю за море». Царь потребовал, чтобы Магнус явился к нему, и отдал его под стражу. По свидетельству Балтазара Рюссова, «царь велел отвести его вместе с его придворными в старую хату без крыши, где он должен был лежать на соломе пять суток, а придворные день и ночь ждали своей смерти». После этого царь разрешил Магнусу уехать в свои владения. Расправа с населением городов, присягнувших Магнусу, была также жестокой. Так, приближенных Магнуса в Кокнезе царь приказал казнить, а горожан «распродать татаром и всяким людем».

Среди городов, перешедших на сторону Магнуса, была и крепость Валмиера (Вольмар), где находился незадачливый «вице-регент» князь Александр Полубенский. Местные горожане схватили его и выдали Магнусу. Узнав о местонахождении пленника, царь послал за ним своего думного дворянина Баима Воейкова и сумел получить Полубенского в свои руки. К тому времени в нескольких городах Ливонии еще находились польские гарнизоны, и царь воспользовался пленником, чтобы склонить их к сдаче. В эти города вместе с царскими грамотами были посланы письма от Полубенского, который предлагал своим подчиненным сдаться, так как «нет нам отсеки ни надежи... от панов-рады, ни от гетманов, ни от земли Польские и Литовские», а своими силами сопротивляться русской армии невозможно. Подчиненные вняли его советам и сдали свои замки русским воеводам.

Иван IV мог быть доволен результатами похода. Теперь вся территория Ливонии на север от Западной Двины и Риги находилась под русской властью, и появились серьезные основания для надежд, что и Рига вынуждена будет подчиниться власти царя. В Ригу была отправлена царская грамота рижскому магистрату и городской общине («поспольшеству»). Извещая о том, что ливонская «вотчина» уже под его властью, царь сообщал, что он на время «меч свой поунял», ожидая от жителей Риги изъявления покорности.

Окончание похода ознаменовалось 10 сентября пиром, который царь устроил в Валмиере. На пиру вместе с воеводами и дворянами из царского войска присутствовали князь Александр Полубенский и «вся литва», которая сдалась русским воеводам по его совету. Царь «давал им шубы и кубки, а иным ковши жаловал», а затем отпустил их в Речь Посполитую. Вместе с Александром Полубенским царь отправил в Речь Посполитую целый ряд посланий.

Полубенский вез с собой грамоты царя королю Стефану Баторию и своему непосредственному начальнику — «администратору» Яну Иеронимовичу Ходкевичу. Грамота королю была короткой и довольно сухой по тону. Царь ставил короля в известность, что «мужики Лифляньские земли, нам большую свою израду являючи, подклонилися под Литовскую руку», но теперь «мы ту свою отчину Лифляньскую землю чистили». «И ты б, — писал Иван IV Баторию, — о том досаду отложил и с нами нежитья не хотел, занеже то не при тебе делалось».

Совсем иным по тону было письмо Яну Ходкевичу. Этот уникальный в письменном наследии Ивана IV текст показывает, каким был эпистолярный стиль царя, когда он хотел произвести благоприятное впечатление на своего корреспондента. «Мужнейей храбрый и велемудрый и дородный» — такими словами открывалась царская грамота. Царь давно «дивился» его «храборству» и «исках еже любити тя и жаловати». Он с особой похвалой отзывался об отваге, проявленной

Ходкевичем при осаде русской крепости Улы в 1568 году. «Муж веле-разумный и храбрый» не должен огорчаться тем, что от него «отошла» Ливонская земля: «А убытка тебе здесь ни в чом нет, и ты б о том не кручинился». Гораздо лучше «сия смущения отложить и промысли о покое христианском», а мир, давал понять царь, вполне возможен, если Речь Посполитая не будет пытаться восстановить свою власть в Ливонии.

Тон письма ясно показывает, что царю хотелось бы избежать возобновления войны, добиться того, чтобы Речь Посполитая согласилась признать новые границы, установившиеся после его похода в Ливонию. Эту цель преследовали и те миролюбивые жесты по отношению к Речи Посполитой, которые он неоднократно предпринимал во время похода. Мнению короля он явно не придавал при этом особого значения. Этого правителя, не «природного», наследственного, а выборного государя, Иван считал игрушкой в руках магнатов, которые и будут решать вопрос о войне или мире с Россией и которых поэтому царь пытался заранее расположить к себе.

Наряду с этими грамотами «государственного» значения, связанными с вопросами большой политики, Полубенский повез с собой еще ряд царских грамот, появление которых можно объяснить только особенностями характера Ивана IV. Это были грамоты, посланные царем изменникам — ливонцам Таубе и Крузе, беглому стрелецкому голове Тимофею Тетерину, князю Андрею Михайловичу Курбскому. Никакой необходимости в посылке этих грамот не было и никаких практических последствий они иметь не могли. Но в этот момент триумфа, когда, несмотря на все трудности, царь почти добился достижения цели, к которой он стремился много лет, Иван не мог отказать себе в удовольствии взяться за перо, чтобы указать изменникам на то, сколь тщетными оказались все их направленные против него интриги, в каком жалком положении оказались они сами.

Тетерина, принимавшего участие в захвате Изборска, царь издевательски называл «богатырем» и иронически спрашивал: «Чего для ныне за Двину в Литву побегал?» Зловещей издевкой звучали и последующие слова послания, пародировавшие последние слова послания, некогда отправленного царю покровителем Тетерина — Курбским. Свое послание Курбский закончил тем, что он надеется найти во владениях Сигизмунда Августа покой и утешение «от всех скорбей». «А вам ныне, — писал царь Тетерину, — пригоже на покое том нас тут дожидатца, и мы б вас от всех ваших бед успокоили».

Таубе и Крузе царь напоминал, как они, нарушив свои клятвы и презрев его милости, называли Ливонию Иерусалимом и заявляли, что хотят освободить ее от власти «Вавилона» — России. Но Бог вернул царю его прежнюю вотчину, «а вам по еросалимски дарует: сами ся бьете и жжете».

В глазах царя произошедшие события имели особое, символиче-

ское значение. Этот вопрос царь не хотел (да и не было смысла) обсуждать ни со «страдником» Тетериным, ни с беглыми ливонскими наемниками. Но царь испытывал глубокую потребность указать на это символическое значение Курбскому, который позволил себе публично усомниться в том, что он, царь Иван IV, является избранным орудием исполнения божественной воли. Теперь сам Бог положил конец их спору, свидетельство его воли ясно читается в происшедших событиях. «Вспоминаю ти, княже, со смирением: смотри Божия смотрения величества» — такими торжественными словами начинается текст царской грамоты Курбскому. «Божие смотрение» — это божественный промысел, чудесное вмешательство Высшей силы в происходящие события, по которому можно узнать Божью волю. Бог, говорит царь, «ныне грешника мя суца и блудника, и мучителя, помилова и животворящим своим крестом Амалека и Максентия низложи». (Амалекитяне — народ, враждебный Израилю; Максенций — римский император-язычник, противник Константина Великого, здесь они выступают синонимами врагов истинной веры.) Проявление Божьей воли царь видел в том, что ливонские замки без сопротивления сдались его войску: «Не дожидаятца грады германские бранново бою, но явлением животворящего креста наклоняют главы своя». Поэтому — «не моя победа, но Божья». Курбский должен задуматься над этим явным свидетельством расположения Бога к царю, над тем, куда может его завести противодействие государю, который осуществляет Божью волю. Царь и посылает Курбскому грамоту — «к воспоминанию твоего исправления, чтоб ты о спасении душа своя помыслил».

В посланиях царя этого времени ясно ощущается еще одна интонация — ощущение ликования и триумфа в связи с достигнутыми успехами. Даже в послании Яну Ходкевичу, когда речь зашла об успехах, достигнутых в Ливонии, царь, явно выпадая из избранного им дружественного тона, с энтузиазмом писал: «В нашей отчине Лифлянской земле... нет того места, где б не токмо коня нашего ноги, и наши ноги не были, и воды в котором месте из рек и озер не пили есмь; но все то з Божию волею под наших коней ногами и под нашим житием учинилося». Знакомство с содержанием всех этих грамот позволяет говорить о царе как человеке, впадшем в состояние какого-то странного ослепления относительно реального положения дел. Ослепление это, как представляется, было вызвано тем, что царь долгое время желал успехов, которые дали бы не только ему самому, но и всем новое доказательство того, что он избран Богом, и когда эти успехи наконец пришли, он так им обрадовался, что оказался не способен оценить их реальное значение.

Не было никакого чуда в том, что небольшие гарнизоны слабо укрепленных ливонских замков сдались без боя 30—40-тысячной русской армии во главе с самим царем. Легко достигнутая победа немно-

гого и стоила. Царь полагал, что теперь, когда русские войска заняли почти всю территорию Ливонии на север от Западной Двины, соседние государства — Речь Посполитая и Швеция должны будут молчаливо согласиться со сложившимся положением дел. Но эта надежда фактически ни на чем не основывалась. Ливонский поход царя Ивана не нанес противникам Русского государства такого серьезного удара, который заставил бы их отказаться от продолжения борьбы за Ливонию.

КОНЕЦ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

С конца 70-х годов XVI века международное положение Русского государства стало быстро ухудшаться. Расчеты царя на то, что Баторий, вступив в серьезный конфликт с Габсбургами, вынужден будет согласиться на переход Ливонии под русскую власть, оказались ошибочными. Хотя Максимилиан II, как император Священной Римской империи, занимал первое почетное место среди государей Западной Европы, в своих владениях он далеко не пользовался такой властью, как Иван IV в своем государстве. Держава австрийских Габсбургов представляла собой довольно непрочное объединение земель, связанных только личностью общего монарха. В каждой из этих земель власть монарха была серьезно ограничена сословиями, от воли которых зависело пополнение государственной казны. Если бы даже Максимилиан II не пожелал терпеть ущерб, который нанесла его «чести» польская шляхта, возведя на трон трансильванского князя, то сословия его земель (прежде всего наиболее значительной из них — Чешского королевства) вряд ли выделили бы императору средства для организации войны против этой шляхты и тем более вряд ли проявили бы желание в этой войне участвовать. От решения всех возникавших при этом серьезных и трудных проблем Австрийский дом избавила неожиданная смерть Максимилиана II, после чего ничто уже не мешало его сыну и преемнику Рудольфу II установить нормальные отношения с новым польским королем. Ничто с этого времени не мешало Баторию начать войну против России, если бы он и правящая элита Речи Посполитой нашли это нужным. В отличие от военных кампаний предшествующих лет, когда русской армии приходилось иметь дело в основном с войсками Великого княжества Литовского, теперь в случае возобновления войны в ней должно было принять участие всеми своими силами и Польское королевство.

В такой войне Баторий имел все основания найти себе союзников. Прежде всего таким союзником мог стать шведский король Юхан III. После низложения Эрика XIV отношения между Россией и Швецией резко ухудшились. К царю, союзнику своего брата-сопер-

ника, требовавшего к тому же передать ему жену Юхана III, Екатерины, шведский король не мог испытывать каких-либо добрых чувств. Однако ухудшению этих отношений способствовала и политика самого Ивана IV.

Престиж Шведского королевства в глазах русских правящих кругов был традиционно невысоким. В то время, когда Русское государство во второй половине XV века начало устанавливать свои связи со странами Западной Европы, Швеция была одной из земель, подчинявшихся верховной власти датского короля. Во главе ее стояли «правители» (главным образом из рода Стуре), которые то признавали, то отвергали эту власть. Для московского великого князя, поддерживавшего дружественные связи с датскими королями, именно датский король был законным государем Швеции, а «правители», как подданные этого государя, должны были решать спорные вопросы и заключать соглашения с подданными великого князя — новгородскими наместниками. Такой же порядок сохранился и позже, когда Швеция под властью Густава Вазы окончательно отделилась от Дании. В Москве Густава Вазу рассматривали как самозванца, отнявшего власть у законного правителя — датского короля и присвоившего себе королевский титул, которым его предшественники не пользовались. На иерархической лестнице государей шведский король, по московским представлениям, стоял несравненно ниже царя. В начале 60-х годов, как мы помним, Иван IV пояснял Сигизмунду II, что, признавая своим «братом» шведского короля, тот нанес большой ущерб своей «чести».

Правда, нуждаясь в союзе с Эриком XIV против Великого княжества Литовского, царь готов был пойти на уступки и признать шведского короля своим «братом». Но когда оказалось, что рассчитывать на такой союз нет оснований, Иван IV утратил всякую склонность к подобным уступкам. С заключением в 1570 году перемирия с Речью Посполитой, а затем со смертью короля Сигизмунда главный противник Русского государства на Западе на длительное время вышел из войны за Ливонию. Теперь царь решил, что пришло время продиктовать шведскому королю желательные для него условия мира. Их изложил шведским послам Андрей Щелкалов в декабре 1571 года. Дело не ограничивалось тем, что король должен был уступить царю шведские владения в Ливонии и уплатить 10 тысяч талеров за бесчестье, нанесенное русским послам при свержении Эрика XIV. Юхан III должен был признать себя вассалом царя («о всем быти Ягану королю у царского величества в его воле... не отступну»), присылать своего брата с войском для участия в царских походах и, наконец, «прислати на образец герб свейской, чтоб тот герб в царского величества печати был», что символически выражало бы зависимость короля от Ивана IV как верховного сюзерена.

Положение Швеции не было таким отчаянным, чтобы согла-

шаться на подобные унижительные условия. В особенности шведского короля должны были задеть предложения признать царя своим верховным сюзереном. В кругу королевских династий Европы Вазы были династией новой, и поэтому сыновья Густава Вазы, Эрик XIV, а затем и Юхан III, особенно подчеркивали свое королевское достоинство и настаивали на своем равноправии с другими европейскими государями. К этому следует добавить, что, подобно царю, Юхан III был человеком горячим и вспыльчивым, и его ответ (как написанный «не по пригожею», он даже не был внесен в посольские книги) напоминал, по-видимому, те письма, которые посылал сам царь неприятным для него людям. Так, с явной иронией шведский король просил царя прислать ему русский герб, чтобы он мог поместить его на своей печати.

Получив такую грамоту, Иван IV в январе 1573 года взялся за перо, чтобы поставить на место сына шведского самозванца. Царь «пояснял», что «братом» ему может быть только «цисарь римский» и другие «великие государи», а Юхан III — «мужичьего рода», а «не государственного». «И ты скажи, — обращался он к своему корреспонденту, — отец твой Густав чей сын и как деда твоего звали и на каком государстве сидел». Всем известно, что Густав Ваза отнял Швецию у законного государя — «дацкого дородного короля» и сам объявил себя королем, а ранее никто не слышал, чтобы в Швеции были короли. Поэтому Юхан III не может претендовать на положение, равное с другими «великими государями». «А хто будет не бережет своего государства, а к тебе пишет братом, тот сам ведает, а нам на то не сматривати». Если король хочет «ссылаться» непосредственно с царем, а не с его новгородскими наместниками, то «без почестливости тому быти невозможно», «а даром тебе с нами ссылатися не пригоже». Для этого у него нет другого выхода, как подчиниться верховной власти царя: «коли хошь с нами ссылатися мимо наместников, и ты нам поддайся, а коли поддашься, ино земля и владение и печать наша, и мы тебя жалует и ссылаемся с тобою, как своим». Грамота заканчивалась отказом царя отвечать на те ругательства («лай»), которые позволил себе Юхан III по его адресу: «А ты, взяв собачей рот, да хошь за посмеих лаяти, ино то твое страдничье пригожество, тебе то честь, а нам, великим государем, с тобою и ссылатися безщестно... и будет похошь перелаиваться и ты себе найди такова же страдника, каков еси сам страдник, и с ним перелаивайся». Эти слова и выражения ясно показывают, что Иван IV смотрел на шведского правителя как на уже списанную фигуру, с которой можно не считаться, и поэтому, как и в других подобных случаях, дал полную волю своим чувствам. В этом отношении он, как мы увидим далее, также ошибся.

Шведская реакция на царскую грамоту оказалась весьма острой. Когда в июне 1573 года в Стокгольм прибыл царский гонец Василий Чихачев, то на аудиенции его принял один из придворных, одетый в

королевские одежды, а гонцу потом объяснили, что этот поступок вызван тем, что «наперед сего от государя вашего была грамота неподобная, нелзе ее слышати молодому человеку не токмо что государю».

Отношения между Россией и Швецией были прочно и надолго испорчены. Предпринятые в следующие годы с русской стороны энергичные попытки овладеть шведскими замками в Ливонии, разумеется, никак не способствовали их улучшению. Было очевидно, что Юхан III не упустит возможности взять реванш за предшествующие неудачи, а сделать это ему было тем легче, что никакого мирного соглашения между Россией и Швецией, которое ограничивало бы свободу шведского правителя, в конце 70-х годов XVI века не существовало.

Другим союзником Батория в войне с Россией стал Крым. После действий, предпринятых царем в 1575 — 1576 годах в надежде на союз с Габсбургами, крымский хан и крымская знать видели в Иване IV опасного противника и готовы были на всякие меры для его ослабления. Когда пошла речь о войне с Россией, крымский хан сразу же пообещал Баторию свою поддержку. Этим, однако, хан не ограничился. В августе 1579 года его посольство посетило Стокгольм. Передав Юхану III красивого коня и двух верблюдов, крымские послы просили шведского короля «не заключать мира с Московитом». Столь необычный для крымской политики того времени шаг ясно показывает, как сильно Крымское ханство было заинтересовано в ослаблении России. Правда, татары не могли оказать Баторию немедленную поддержку, так как в 1578—1579 годах Орда по приказу султана принимала участие в войне с Ираном, но враждебность Крыма для русских политиков не была секретом, и это заставляло постоянно держать на Оке крупные военные силы. В ближайшее время страну, измотанную многолетней войной и внутренними переменами, ожидало возобновление военных действий сразу на нескольких фронтах.

Ливонский поход 1577 года не привел к окончанию спора из-за Ливонии, как рассчитывал Иван IV. Уже осенью 1577 года ряд крепостей, занятых ранее русскими войсками, снова оказался в руках противника, а в начале следующего, 1578 года перешел на сторону Батория и ливонский король Магнус. Среди потерянных городов был Цесис (Кесь), традиционная резиденция магистров Ливонского ордена. По-видимому, обладание этим городом было своеобразным символом власти над всей Ливонией, и поэтому царь предпринял самые большие усилия, чтобы вернуть его.

В начале 1578 года под Цесис было послано войско во главе с Иваном Федоровичем Мстиславским. Осада продолжалась четыре недели, «пролом пробили великой, а города не взяли». В мае было принято решение послать в поход новое войско во главе с князем Иваном Юрьевичем Голицыным. Воеводы взяли приступом бывшую столицу Магнуса — город Пылтсамаа (Полчев), но «замешкались и к

Кеси опять не пошли». Недовольный царь принял особые меры, чтобы добиться выполнения своих приказаний. Он отправил в Ливонию дьяка Андрея Щелкалова, «а велел государь князя Ивана Булгакова (Голицына. — *Б.Ф.*) с товарищи и с нарядом отвезть под Кесь». С этой же целью из «дворовой» резиденции — Слободы было отправлено еще одно доверенное лицо царя — Данила Борисович Салтыков. Оба посланца получили приказ «промышлять своим делом мимо воевод». В результате у войска появилось много начальников, которые могли отдавать распоряжения независимо друг от друга, и это стало одной из причин неудачи похода.

Повинуясь приказу царя, войска осадили Цесис. Начался обстрел города и русская артиллерия снова разрушила часть городских укреплений. Но до штурма города дело не дошло. На помощь к Цесису подошли совместно шведские и литовские войска, действовавшие в Ливонии. 21 октября под стенами города произошло сражение, которое завершилось серьезным поражением русской армии. В полевом сражении дворянское ополчение не выдержало натиска противника. Одни из воевод погибли в бою, другие во главе с самим командующим Иваном Юрьевичем Голицыным «тогда з дела побежали и наряд (артиллерию. — *Б.Ф.*) покинули». Оставшаяся в лагере пехота и пушки в течение целого дня успешно отбивали атаки противника. С наступлением ночи пехота ушла из лагеря в близлежащие русские крепости, а пушки, которые не могли унести с собой тяжелые осадные орудия, по свидетельству польского хрониста Рейнгольда Гейденштейна, повесились на своих пушках. Как сообщает в своих записках Горсей, бежавшего с поля боя командующего царь приказал публично бить кнутом «на торговой площади».

Чтобы поправить положение, было принято решение об организации нового большого похода в «Немецкую землю» во главе с самим царем. В начале июня 1579 года царь прибыл в Новгород, откуда для разведки по маршруту будущего похода, «за реку за Двину», было послано войско во главе с князем Василием Дмитриевичем Хилковым. В районе Пскова стали собираться войска, но до их выступления в Ливонию дело не дошло, так как в русские земли вступила армия Стефана Батория и на первый план выдвинулся вопрос о защите собственной территории.

По окончании «бескорольевья» на повестку дня снова встал вопрос о том, какова будет теперь политика Речи Посполитой по отношению к Русскому государству. Новый король рвался к войне, надеясь победами укрепить свой пока еще недостаточно прочный авторитет, и правящая элита страны готова была его поддержать, надеясь, что теперь при выгодно складывающейся международной ситуации удастся в сжатые сроки положить конец многолетнему конфликту. Созванный в январе 1578 года сейм установил высокие налоги на ведение войны, подчеркнув в своих решениях, что войну следует вести на вражеской

территории. Сбор средств начался фактически в первых месяцах 1579 года, и тогда же в соседние страны направились королевские посланцы вербовать наемников на пополнение армии. Дипломатические переговоры продолжались, но Баторий не придавал им никакого значения — с их помощью он рассчитывал лишь оттянуть начало военных действий до того времени, когда его армия будет к ним готова.

Русские гонцы и послы, которые в эти годы постоянно появлялись в Речи Посполитой, лишь дезориентировали Ивана IV. Трудно сказать, чем это объясняется — то ли тем, что их намеренно вводили в заблуждение, то ли тем, что послы хотели сообщить царю приятные сведения. Правда, они предостерегали, что Баторий враждебно настроен по отношению к царю и хочет начать войну, но этому явно не следовало придавать значения: если дело дойдет до войны, заявляли послы, то в ней будут принимать участие лишь немногие «охочие люди» из Великого княжества Литовского, а польские паны участвовать не будут. Вообще, власть Батория в Речи Посполитой непрочна: «А во всей земле в Польше и в Литве у шляхты и у черных людей то слово, что Стефану королю на королевстве не быти, а докуды у них Стефан король на королевстве будет и до тех мест у них ни в чем добру не бывати... а болши говорят в всей земле всякие люди, чтоб у них быти на государстве московского государя... сыну». Не удивительно, что для царя, судившего о положении в Речи Посполитой по подобным сообщениям, появление на русской территории Батория во главе большой и хорошо вооруженной армии оказалось полной неожиданностью.

26 июня 1579 года из Вильно, где заканчивались приготовления к походу, Баторий послал Ивану IV грамоту с объявлением войны. Грамота открывалась резким протестом против попыток Ивана IV трактовать короля Стефана как более низкого по рангу правителя, попыток, которые он вынужден был до поры до времени терпеть: то, что со стороны царя «новые и никогда небывалые речи... подаются з вывышоною мыслью над пристойность и звыклый обычай», показывает, что царь не хочет мира, и потому не остается ничего иного, как вести с ним войну. Помимо обычных для документов того рода утверждений (о нарушении другой стороной более ранних соглашений, о захвате чужих территорий) в грамоте был еще один мотив, совсем необычный. Король заявлял, что нанесенный ему и его государству ущерб он намерен «позыскивать» на особе самого царя, не желая наносить вред его подданным, «которым, яко народови крестьянскому, всякое свободы ровно зо всеми народы христианским зычим (то есть желаем. — *Б.Ф.*)». Смысл такого разграничения между царем и его подданными раскрывается при сопоставлении этой грамоты с другим, составленным одновременно по приказу Батория документом — обращением Батория к жителям России.

Адресуя свое послание всем жителям страны — от бояр и до людей самых низших чинов, король ставит их в известность, что высту-

пает в поход, «не желая разлития крови вашей». Его единственный враг — царь, и он хочет лишь то, что царь «совершал и совершает по отношению ко многим народам и вам, подданным его, обратить на него самого». Что же касается его несчастных подданных, то король хочет вернуть им «права и свободы, уделенные народам христианским всемогущим Богом». Обращение заканчивалось словами, что всех, кто перейдет на его сторону, ожидают «вольность и свобода прав христианских». Грамоты с текстом воззвания были отправлены в пограничные русские крепости.

В практике межгосударственных отношений это было нечто небывалое. Правда, и ранее Сигизмунд II и его советники пытались использовать в своих интересах противоречия между Иваном IV и его подданными, но делалось это неофициально, с помощью тайных поручений и посольств. Теперь же сам глава государства открыто призывал чужих подданных к выступлению против собственного монарха. Это, пожалуй, лучше, чем что-либо другое, говорит о желании короля и правящих кругов Речи Посполитой нанести Русскому государству решительное поражение, используя для этого все возможные способы.

В царской ставке во Пскове был написан сравнительно недавно найденный ответ царя Баторию. В своей грамоте царь писал королю, что его латинская вера — «полухристианство», его паны «веруют иконоборные ереси люторское», а кроме того, в Речи Посполитой появилась новая, еще более опасная ересь — арианство, «а где арианская вера, тут и Христово имя не вмещается... и не подобает христианством звати и христианы тех людей именовати». Поэтому царь выражал уверенность, что Бог не может послать победы человеку, стоящему во главе подобных еретиков, и, напротив, «свое достояние искру благочестия истинного христианства в Российском царстве сохранит и державу нашу утвердит от всяких львов, пыхающих на ны». Был подготовлен и ответ на обращение Батория к жителям России: «грамота к литовскому королю Степану Обатуре с Москвы от духовного чину, от митрополита и от властей и от бояр и от окольных чин и от диаков и от дворян и от детей боярских и от всяких чинов людей... против ево королевские Степановы грамоты со многою укоризною и з бесчестьем». Однако к осени 1579 года на театре военных действий сложилось такое положение, что оба эти документа так и не были отправлены к польскому королю.

Поход Батория был нацелен на Полоцк, что застало русское командование врасплох. Как отмечено в «Разрядных книгах», в решающий момент русские военные силы оказались разделенными: часть войск, как уже отмечалось выше, ушла в поход «за Двину». В таких условиях трудно было рассчитывать, что русская армия сумеет остановить войско Батория и не допустит его к Полоцку. Можно было попытаться лишь усилить полоцкий гарнизон, и такая попытка была предпринята. 1 августа царь послал в Полоцк «пособляти наперед»

войско во главе с окольными Борисом Васильевичем Шеиным и Федором Васильевичем Шереметевым. Воеводы должны были «одноконечно проитти» в Полоцк, но это решение запоздало: когда воеводы выступили в поход, армия Батория уже стояла под Полоцком. Остановившись в одной из близлежащих крепостей — Соколе, воеводы предпринимали оттуда нападения на отряды, рассылавшиеся из королевского лагеря в поисках продовольствия. Они создавали серьезные трудности для королевской армии, однако не смогли помешать осаде Полоцка.

Для королевской армии осада Полоцка оказалась долгой и трудной. Гарнизон храбро сражался, отбивая приступы. Для деревянной Полоцкой крепости была заготовлена новинка — каленые ядра, которые должны были поджечь деревянные укрепления, но шли дожди, и поэтому поджечь крепость никак не удавалось. Лишь 29 августа, более чем через три недели после начала осады, венгерским наемникам удалось добиться этой цели: они подожгли стены смоляными факелами. Город был уже охвачен пожаром, но гарнизон еще сутки продолжал обороняться. Затем, однако, один из воевод, Петр Волынский, и стрельцы начали переговоры о сдаче. Петр Волынский принадлежал к числу людей, обиженных царем, — по сообщению польского хрониста Рейнгольда Гейденштейна, он жаловался королю, что сидел в тюрьме по доносу главного из полоцких воевод князя Василия Телятевского. Другие воеводы вместе с архиепископом укрылись в соборе Святой Софии и были там арестованы и доставлены королю. 1 сентября Баторий въехал в город.

На этом военная кампания не закончилась. Освободившиеся после взятия города войска Баторий направил к Соколу. Военачальникам Батория снова удалось поджечь город, и 25 сентября он был взят приступом. Один из воевод, Борис Васильевич Шеин, был убит, другой, Федор Васильевич Шереметев, попал в плен.

Гнев, охвативший царя при получении известий о военных неудачах, обрушился на его советников. Об этом подробно рассказывал оршанскому старосте Филону Кмите его лазутчик в Смоленске, сын боярский Матвей Цедиллов. «Вы, нечестивый род, — обличал царь своих советников, — говорили, что Полоцк и Сокол неприступны и что король не сможет захватить эти замки, и вот Полоцк и Сокол потеряны, воины и все другие люди повергнуты». Царь обвинял их в тайном сговоре с литовцами. Главной жертвой его гнева стал глава земской Думы князь Иван Федорович Мстиславский. «Ты, старый пес, до сих пор проникнутый литовским духом, ты мне говорил, чтоб я послал тебя с сыновьями в Полоцк для противодействия польскому королю. Ясно мне (теперь) твое коварство: ты хотел нарушить присягу и подвергнуть крайней опасности моих сыновей». И, взяв палку, стал бить необычным способом, так что по лицу и рукам потекла кровь, спина распухла, и не перестал бить, пока не сломал палку».

По здравом размышлении царь должен был понять, что посылать после проигрыша военной кампании Баторию письмо с угрозами Божьего гнева, который постигнет начавшего войну, значило бы поставить себя в смешное положение. Ход войны показал, что царь имеет дело с сильным противником, и в этих условиях следовало попытаться искать мира, хотя бы на условиях, которые фиксировали то положение, которое сложилось после утраты Полоцка.

29 ноября царь отправил Баторию грамоту, в которой выражал желание положить конец войне, предлагал прислать послов для ведения мирных переговоров и до окончания этих переговоров прекратить военные действия. Ответ Батория последовал в марте 1580 года. Если царь хочет мира, говорилось в нем, то пусть он присылает к королю своих послов. Предложение о прекращении военных действий было вообще обойдено молчанием. Характер ответа не оставлял сомнений, что Баторий вовсе не заинтересован в каких-либо мирных переговорах и Ивану IV следует готовиться к новой военной кампании. И действительно, летом 1580 года начался новый поход Батория на Россию.

Записи «Разрядных книг» и сравнительно недавно найденный источник — грамоты, направлявшиеся Иваном IV одному из воевод — Василию Дмитриевичу Хилкову летом 1580 года, позволяют составить довольно полное представление о русском плане военных действий. Большие трудности при планировании военных операций представляла полная неясность относительно замыслов Батория: пойдет ли король отвоевывать замки по Западной Двине, двинет войска на Псков или выберет путь на Смоленск. Это заставляло держать войска на самых разных направлениях и требовало долгого времени для их перегруппировки, когда намерения противника станут ясными.

Однако и после того, как подобную перегруппировку удалось бы осуществить, не предполагалось направить главные русские силы против королевской армии. Они должны были находиться в глубине обороны, прикрывая пути, ведущие к главным центрам страны. Военные действия возлагались на передовые отряды. Однако и они должны были ограничиться ведением «малой войны» против королевской армии — совершать нападения на «заставы» и «станы», угонять лошадей — с этой целью в их состав было включено большое количество служилых татар. «А как будете под людьми, — наставлял Иван IV воевод, стоявших во главе этих отрядов, — и вы б в одном месте не стояли, ходили б есте переходя, чтоб вас литовские люди не нашли, а на прямое бы есте дело с литовскими людьми не ставились». Одновременно предпринимались меры для увеличения гарнизонов пограничных крепостей и снабжения их «зельем» (порохом) для успешной обороны от войск Батория.

Чем был вызван выбор такого плана военных действий, который, по существу, обрекал на пассивность главные силы русской армии?

Со времен Н. М. Карамзина, писавшего о том, как «гибли добрые Россияне, предаваемые в жертву врагам Иоанновою боязливостью», в исторической литературе вплоть до недавнего времени устойчиво сохранялось представление о том, что в распоряжении царя имелась большая армия, вполне способная вести войну с войсками Батория, но парализованный страхом царь не решался дать ей приказ об активных действиях. Но так ли это?

То, что мы знаем об Иване IV, не позволяет говорить о нем как о человеке, когда-либо отличавшемся храбростью на поле боя. Но от правителя этого и не требовалось. Царь вполне мог послать против врага своих воевод, как он это сделал, например, в 1572 году, поручив армию Михаилу Ивановичу Воротынскому. Для осторожного ведения войны был ряд других, гораздо более веских причин. Во-первых, к 1580 году царь уже не имел возможности собрать такое большое войско, как в 1563 году, когда он отправился в свой поход на Полоцк. Многолетняя война, приведшая к небывалому росту государственных налогов, внутренняя нестабильность (частые перемены владельцев, которые стремились, пользуясь моментом, выжать из крестьян максимум возможного, не думая о последствиях) и страшное морозное поветрие начала 1570-х годов — все это привело к резкой убыли населения и запустению обрабатываемых земель. Страшную картину рисуют писцовые описания новгородских пятин 1570-х — начала 1580-х годов. Уже к 1570 году в Шелонской пятине запустело около двух третей пашни, а в Деревской «в пусте» лежало 90% земель. К началу 80-х годов разорение еще более возросло. К этому времени в двух указанных пятинах население составляло 9—10% от того количества, которое проживало здесь в начале XVI столетия. Следствием этих перемен было резкое уменьшение количества детей боярских, способных нести военную службу, и военных слуг, которых они должны были приводить с собой в войско.

Во-вторых, царь не мог использовать все свое войско в войне с Баторием. Он должен был держать войска и в Ливонии против шведов и на южной границе против татар. Здесь в 1580 году положение серьезно ухудшилось; возобновились крупные нападения на южные русские уезды, в которых участвовали и крымские татары, и Ногайская орда. Правда, воеводы не пропустили татар за Оку, но Рязанская земля была снова серьезно разорена. В июне 1581 года прибывшие снова в Стокгольм крымские послы сообщали, что татары увели с собой 40 тысяч пленных. В этих условиях снимать войска с южной границы было никак нельзя.

В-третьих, само состояние, боевой дух армии, которую удалось бы собрать для ведения войны, вызывали у царя и его советников серьезные сомнения. По мере того как длилась и никак не кончалась война и дворян все время отрывали от хозяйства, которое в разоренных поместьях вести было все труднее, нарастало недовольство дво-

рянства создавшимся положением. К концу 1570-х годов это недовольство стало проявляться в массовом уклонении помещиков от несения военной службы. Уже в 1578 году «после Кесского дела», чтобы отправить детей боярских Водской пятины на службу в Ливонию, пришлось послать для их «сбора» целый отряд и устроить настоящий «сыск», арестовывая детей и слуг помещиков, чтобы силой добыть сведения об их местонахождении. По господствовавшим нормам права неявка на службу угрожала потерей поместья, но дезертирство приняло столь массовый характер, что применить эту норму оказывалось невозможно: детей боярских били кнутом и высылали на службу под конвоем. Самим сборщикам, чтобы побудить их к активности, приходилось угрожать смертной казнью.

К лету 1580 года положение не улучшилось. Как видно из относящейся к этому времени переписки царя с воеводой Василием Дмитриевичем Хилковым, дворяне не являлись на службу целыми отрядами, а чтобы найти их и доставить на службу, вслед за «сборщиками» приходилось отправлять и «высылальщиков». 20 августа 1580 года в самый разгар военных действий воеводы одной из пограничных крепостей, Невеля, сообщали, что со службы «разбежались» находившиеся в крепости дети боярские из Нижнего Новгорода, и туда срочно пришлось отправить подкрепления.

Недовольство находило свое выражение и в нежелании служилых людей жертвовать жизнью ради продолжения ненавистой войны. Пример Полоцка был не единственным. После взятия этого города гарнизон близлежащей крепости Туровля оставил ее, отказавшись подчиняться воеводам. С армией, находящейся в таком состоянии, можно было вести только «малую войну».

На что рассчитывали царь и его советники, разрабатывая подобный план военных действий? Они, несомненно, основывались на опыте предшествующих войн с Великим княжеством Литовским. В этих войнах дворянское ополчение Великого княжества, предпринимая походы на русскую территорию, ограничивалось обычно опустошением вражеской земли, не пытаясь овладеть опорными пунктами русской обороны. Пехота, не обученная ведению осадных работ, составляла небольшую часть литовской армии, и неудивительно, что попытки осады русских крепостей, предпринимавшиеся в годы Ливонской войны, как правило, заканчивались неудачей.

Царь и его окружение, очевидно, полагали, что так будет и впредь: русские передовые отряды будут мешать польско-литовскому войску разорять русские земли, а русские крепости, надлежащим образом укрепленные, будут недоступны для неприятеля, который к тому же не сможет долгое время вести осаду, лишившись из-за действий русских войск подвоза продовольствия.

Уже взятие польско-литовскими войсками такой крупной крепости, как Полоцк, должно было показать царю и его военачальникам,

что армия Речи Посполитой во главе с Баторием существенно отличается от армии Великого княжества Литовского времен Сигизмунда II. В Москве, однако, взятие Полоцка, как обычно, приписывалось «измене». В «Разрядных книгах» было записано, что король «Полотеск взял изменою, потому что воеводы были в Полоцке глупы и худы; и как голов и сотников побили, и воеводы королю и город здали». Поэтому, готовясь к новой военной кампании, царь принял специальные меры, чтобы не допустить повторения «измены». Население западных районов страны было приведено к новой присяге на верность. Воеводам пограничных крепостей были посланы царские грамоты, в которых Иван IV призывал воевод и детей боярских, чтобы они «сидели крепко и надежно в городе и бились до смерти», обещая в случае смерти «пожаловать» и «устроить во всем» их жен, детей и «братью». Не предоставляя все воле случая, он также позаботился о том, чтобы направить в важные пункты обороны своих доверенных людей для наблюдения за действиями воевод. Так, в Великие Луки с этой целью он послал Ивана Воейкова, брата своего любимца, думного дворянина Баима Воейкова, а позднее, когда уже началась война, послал туда еще одного из своих «дворовых» приближенных — Ивана Елизарьевича Ельчанинова, но тот уже не успел проехать в окруженный войсками Батория город.

Наконец, царь постарался вымолить прощение у Бога. Падение Полоцка было явным свидетельством того, что Бог недоволен царем, и царь старался смыть свои прегрешения покаянием. Как сообщали в августе 1580 года русские пленные, Иван «приказал собраться владыкам, митрополиту со всей той земли, просил у них прощения, признаваясь в грехах своих и смиряясь перед Богом».

Подозрения в измене были, как и во многих других эпизодах царствования Ивана IV, необоснованными. Служилые люди не хотели идти на службу и умирать в ненавистной, бесконечной, разорившей их всех войне, но это вовсе не означает, что они готовы были перейти на сторону правителя «чужой» веры и «чужого» народа. Официальный историограф Батория Рейнгольд Гейденштейн в своих «Записках о московитской войне» с удивлением записал, что после сдачи Полоцка, когда король Стефан предоставил детям боярским и стрельцам на выбор, остаться в Речи Посполитой или уйти в Россию, большая их часть выбрала последнее, хотя за сдачу города их могло ожидать суровое наказание.

Неудача русских войск объяснялись тем, что в кампании 1579 года они столкнулись с противником гораздо более сильным, чем ранее. Хотя основу польско-литовской армии по-прежнему составляла дворянская конница, Баторий и его ближайший советник Ян Замойский постарались усилить армию пехотными частями за счет вербовки отрядов венгерских и немецких наемников и рекрутского набора из крестьян государственных имений. Одновременно были

приняты меры для расширения артиллерийского парка. Пушечный двор в Вильне, созданный еще в правление Сигизмунда II, работал с повышенной нагрузкой, король сам делал рисунки для орудий, которые должны были изготовить для него литейщики. Для столь тщательно подготовленной и снаряженной армии осада и взятие крепостей перестали быть проблемой. Русский план военных действий эту новую реальность не принимал во внимание и поэтому был обречен на неудачу.

В начале августа 1580 года армия Батория перешла русскую границу в районе Великих Лук. Направление удара снова оказалось для русской стороны неожиданностью, наиболее крупные соединения русских войск оказались вдали от театра военных действий. Когда начался военный поход, повторилась ситуация предшествующего года: артиллерия калеными ядрами поджигала деревянные укрепления русских крепостей и их гарнизоны были вынуждены прекращать сопротивление. На сильный отпор польско-литовская армия натолкнулась лишь под Великими Луками. Защитники крепости обложили ее деревянные укрепления землей, и артиллерия не смогла их поджечь, штурмы были успешно отбиты гарнизоном, подкоп тоже не дал результатов. Но после недели боев стены все же подождгли, и, когда пожар перебросился на город, гарнизон был вынужден слиться.

Наиболее близким к району военных действий из всех передовых частей русской армии оказался расположенный в районе Холма корпус во главе с князем Василием Дмитриевичем Хилковым. Этот корпус и должен был затруднить свободу действий королевской армии и лишить ее подвоза продовольствия («на литовских людей, на заставы и на загонщиков и на станы приходит частыми посылками»). Царь был недоволен пассивностью Хилкова и в резкой форме выражал ему свое недовольство («а от вас деи, никоторые помочи... нет, а промыслу от вас никоторого нет»). Поэтому, когда началась осада Великих Лук, Иван вместе с большим военным отрядом послал к Хилкову одного из своих думных дворян Деменшу Черемисинова, который должен был заставить воеводу выполнять приказы царя. Нападения на королевскую армию участились, и после взятия Великих Лук Баторий был вынужден послать войска, чтобы положить им конец. Следуя царскому наказу, воеводы должны были отойти, избегая столкновения с «большими литовскими людьми», но сделать этого не успели. 21 сентября под Торопцом произошло сражение. Русский корпус был разбит, Деменша Черемисинов попал в плен, царские грамоты, посылавшиеся Хилкову, оказались в руках Яна Замойского.

Проигрыш кампании привел к переходу под власть Речи Посполитой всего Великолукского уезда. Тем самым был вбит вражеский клин между Новгородско-Псковской и Смоленской землями. Создавался плацдарм для возможных действий против главных центров обороны русской западной границы — Пскова и Смоленска.

Как реагировал царь на новые неудачи своих войск? Об этом сообщают два рассказа. Оба записаны польскими шляхтичами, побывавшими в России в годы Смуты. Станислав Немоевский по дороге на свадьбу Лжедмитрия I записал в Можайске рассказ о том, как царь после понесенных поражений бил палкой почитаемую статую Николая Можайского, приговаривая: «Зачем Литве помогаешь?» Другой польский шляхтич, Самуэль Маскевич, побывавший в Москве в 1612 году с гетманом Жолкевским, сообщал о богатых дарах царя кремлевскому Чудову монастырю: Иван IV просил патрона монастыря архангела Михаила, главу Небесного воинства, даровать ему победу над польским королем. Когда же победы не последовало, царь, разгневавшись, приказал лишить монастырский храм его убранства и разбить из пушек его золотой верх.

Оба рассказа едва ли достоверны (так, нет никаких данных о том, что в последние годы Ливонской войны Иван IV побывал в Можайске). Но они бросают свет на отношение подданных к своему государю, от гнева которого не могут спастись ни известная обитель, ни почитаемая святыня. Вместе с тем рассказы эти не могли появиться на пустом месте, в них надо видеть искаженный отголосок тех приступов гнева, которые охватывали царя при получении известий о новых победах войск Батория. Позднее царь припоминал Баторию, что во время военной кампании 1580 года «наши изратцы (изменники. — Б.Ф.) Велиж и Усвят и Озерища по твоим жаловальным грамотам твоим людем отдали». По-видимому, неудачи он снова «приписывал» «измене» своих подданных.

Положение дел для царя было тем более мучительным, что он не мог открыто излить свой гнев на главного виновника всех неприятностей — Батория. Обстановка на западном фронте складывалась так, что следовало искать мира, ибо продолжение военных действий могло привести к новым серьезным потерям.

Вместе с тем все более явным становилось и нежелание дворянства продолжать войну. 8 января 1581 года оршанский староста Филон Кмита, допросив русских пленных, сообщил королю весьма важные сведения: «Великий князь в то время имел у себя сейм, желая знать волю всех людей, своих подданных, вести ли войну или заключить мир с вашим королевским величеством. Они показали, что вся земля просила великого князя, чтобы заключил мир, заявляя, что больше того с их сел не возьмешь, против сильного господаря трудно воевать, когда из-за опустошения их вотчин не имеешь, на чем и с чем». Хотя исследователи (А. А. Зимин, Р. Г. Скрынников) выражали сомнения в достоверности этого свидетельства, серьезных аргументов, доказывающих его ложность, так и не было приведено. Снова, подобно тому, как это было в 1566 году, царь созвал представителей дворянства для решения вопроса об отношениях с Польско-Литовским государством, и «вся земля» устами своих представителей просила о

заключении мира, так как служилые люди более не в состоянии служить с разоренных поместий. Заставить дворянство продолжать войну царь в сложившейся ситуации не мог — репрессии могли побудить подданных пойти навстречу настойчивым призывам Батория, а без активной поддержки со стороны главной военной силы страны — дворянского ополчения — нечего было надеяться дать успешный отпор противнику. Да и справедливость доводов, приведенных дворянами, была вполне очевидной. По трагической иронии судьбы правитель, всю жизнь доказывавший, что только сильная неограниченная власть может защитить страну от внешней опасности, теперь столкнулся с тем, что страна оказалась неспособной к борьбе с противником после его долгого самодержавного правления.

Приходилось искать мира. С лета 1580 года между Россией и Речью Посполитой шли дипломатические переговоры, не прерывавшиеся даже на время военных действий. Иван IV приказывал послам не обращать внимание на явные проявления пренебрежения со стороны короля, который не вставал при произнесении царского имени, не снимал шапки и не спрашивал о здоровье царя; велено было не отвечать на «укоризны» и «брань», терпеть даже побои — только бы добиться заключения мира. Но поставленная цель оказывалась недостижимой — в ответ на уступки русской стороны король и его советники выдвигали все новые требования.

В марте 1581 года русские послы сообщили царю, что переговоры закончились безрезультатно, так как Баторий требует уступки всех русских владений в Ливонии. Царь узнал также, что собравшийся в начале 1581 года сейм принял решение об установлении поборов для продолжения войны («а поступились, государь, королю для войны паны польские и литовские и вся земля с поветов дани на два годы, а иные на три годы с волока по золотому»). В этих условиях Иван IV предпринял еще одну попытку не допустить возобновления военных действий. В Варшаву было направлено новое посольство во главе с одним из «дворовых» приближенных царя Остафием Михайловичем Пушкиным и одним из лучших русских дипломатов Федором Андреевичем Писемским. От имени царя послы выражали готовность уступить все русские владения в Ливонии за исключением Нарвы и трех близлежащих замков. Ценой таких больших уступок Иван IV хотел добиться прекращения войны и в то же время сохранить для Русского государства выход к Балтийскому морю.

Вскоре после начала новых переговоров планам царя неожиданно нанес удар один из членов непомерно обласканной и возвышенной им семьи. В мае 1581 года к Баторию бежал царский стольник Давыд Бельский, племянник Малюты Скуратова. Изменник предложил свои услуги королю и призывал того возобновить войну и предпринять поход на Псков: «Людей во Пскове нет и наряд вывезен и здадут тебе Псков тотчас». Баторий и его окружение и так

склонялись к продолжению войны; сообщения знатного перебежчика послужили, вероятно, окончательным толчком к принятию такого решения. Поэтому повторилась обычная для переговоров ситуация. В ответ на новые уступки последовали новые требования: Баторий требовал теперь уступки не только всей Ливонии, но и части русских крепостей, занятых его войсками в 1580 году, а также выплаты 400 тысяч венгерских золотых в качестве возмещения за военные издержки. Такое требование контрибуции было беспрецедентным в столетней практике отношений между Россией и ее западными соседями и ясно показывало, что правящие круги Речи Посполитой не заинтересованы в заключении мира. Возобновление войны стало неизбежным.

Получив ответ на свои предложения, Иван IV приказал воеводам начать военные действия и 23 июня 1581 года обратился с письмом к королю Стефану. Это последнее из обширных посланий, написанных им за годы его политической деятельности. Смысл ответа сводился к тому, что условия мира, предложенные Баторием, он принять не может и, пока король не изменит своей позиции, прерывает с ним мирные переговоры. «А будет же не похочеш доброго дела делати, а похочеш кровопролитства хрестиянского, и ты б наших послов к нам отпустил, а уже вперед лет на сорок и на пятьдесят послом и гонцом промеж нас не хаживать». Для того чтобы это высказать, достаточно было довольно краткой грамоты, однако из-под пера царя вышел весьма обширный и сложный по структуре текст.

Поскольку в тексте послания имеется много резких высказываний в адрес Батория, исследователи полагали, что царь, вынужденный при переговорах терпеть проявления неуважения и сдерживаться, пока была надежда на мир, теперь, когда война стала неизбежной, дал волю тем чувствам гнева и раздражения, которые вызывали у него действия Батория. Ряд особенностей послания противоречит, однако, такому пониманию. В отличие от других посланий такого рода, в которых ярко прослеживаются изменение настроений царя, эмоциональные вспышки, вызванные тем или иным непосредственным импульсом, послание Баторию производит впечатление продуманного текста, где эмоциональные, подчас весьма яркие высказывания подчинены проходящей через весь текст некоторой общей идее.

Идея эта находит свое воплощение в образе короля Стефана, нарисованном на страницах послания. Он противопоставляется своим предшественникам — «хрестьянским побожным» государям, которые стремились к миру, «чтоб как на обе стороны любо было, а хрестьянская бы кровь невинная напрасно не проливалася», а теперь «в твоей земле хрестьянство умалется», и поэтому король считает возможным нарушать все традиционные нормы отношений между государствами, не соблюдая взятые на себя обязательства. А не только христианские, но и мусульманские государи соблюдают заключен-

ные соглашения: «хотя и в бесерменех и государи дородные и разумные то держат крепко и на себя похулы не наведут».

В отличие от христианских государей Баторий стремится разжигать войну между христианами и радуется кровопролитию: «Пишешь и зовешься государем хрестьянским, а дела при тебе делаютца не прилишны хрестьянскому обычею: хрестьяном не подобает кровем радоватися и убийством и подобно варваром деяти». И само поведение Батория на переговорах, когда в ответ на уступки он выдвигает все новые требования, показывает, что он не хочет мира: «Мы с которым делом к тебе послов пошлем, и ты по тому не похочеш делати, да иное дело вставши да порвав да воевать». Поэтому продолжать мирные переговоры бесполезно: «Мы б тебе и все Лифлянские земли поступились, да ведь тебя не утешить же, а после того тебе кровь проливати же».

Неоднократно возвращаясь к тому, как Баторий ведет мирные переговоры, царь постоянно указывал, что он следует при этом «бесерменским» (то есть мусульманским. — *Б.Ф.*) обычаям. Так, говоря о том, что Баторий устанавливает такие сроки для приезда русских послов и гонцов, к которым те никак не могут успеть, царь замечает, что король делает так «с бесерменского обычая». И требования контрибуции — такого же происхождения, «а в хрестиянских государствах того не ведетца, чтоб государ государу выход давал», да и сами мусульмане требуют «выхода» только с христиан, «а меж себе выходов не емлют».

Все эти указания и намеки приводят к конечному выводу, сформулированному в прямом обращении царя к Баторию: «Ино то знатно, что ты делаеш, предаваючи хрестиянство бесерменом! А как утомиши обе земли, Рускую и Литовскую, так все то за бесермены будеть». В послании нигде прямо не говорилось, что трансильванский князь — вассал султана, заняв польский трон, разжигает войну между христианами, следуя указаниям своего сюзерена, но все его содержание подсказывало читателю такой вывод.

Другая тема послания касается отношений между разными частями христианского мира и выдержана совсем в другом ключе, чем прочие высказывания царя на эту тему. В полном противоречии со всей предшествующей древнерусской традицией и собственными высказываниями царь решительно заявлял, что у «папы и у всих римлян и латын то и слово, что однако вера греческая и латинская». Так «уложили» папа Евгений IV и император Иоанн VIII Палеолог на соборе во Флоренции, «где из Руси был тогда Исидор митрополит». Если это утверждает сам папа, то очевидно, что для конфликтов между христианами — православными и католиками — нет почвы. «А у нас,— писал далее царь,— которые в нашей земле держать латинскую веру, и мы их силою от латинские веры не отводим и держим их в своем жаловании з своими людьми ровно, хто какой чести достоин,

по их отечеству и службе, а веру держать, какову захотят». Если обвинения Батория в «бесерменстве» могли диктоваться желанием оскорбить противника, подчеркнуть свое превосходство над ним, то этой цели явно не могли служить приведенные выше высказывания о «латинской вере» и «латинянах».

Какую же цель преследовал царь, взявшись за составление этого послания? Очевидно, он предпринимал еще одну попытку предотвратить войну.

Разумеется, царь никак не мог ожидать, что такие его высказывания побудят короля Стефана искать мира. Послание царя могло произвести на польского правителя только противоположное действие. Однако, как представляется, оно по существу было адресовано совсем не этому монарху.

В соответствии с характерными для Речи Посполитой обычаями круг королевских советников, магнатов, занимавших высокие государственные должности, со сменой правителей не претерпевал существенных изменений. Царь знал, что в раде нового короля заседают люди, которые в недавнем прошлом поддерживали Габсбургов и участвовали в обсуждении планов большой антитурецкой коалиции. Как представляется, своим шагом Иван IV хотел обратить их внимание на то, в каком противоречии с этими планами находится политика Батория, чтобы они побудили короля к прекращению войны. Подчеркивая близость «латинской» и «греческой» вер и отсылаясь положительно о решениях Флорентийского собора, царь также хотел создать условия для осуществления других дипломатических шагов, которые содействовали бы прекращению войны.

Первоначально царь возлагал определенные надежды на помощь прежних союзников — Габсбургов. Уже в марте 1580 года он послал в Вену гонца Афанасия Резанова с «опасной грамотой» для послов Рудольфа II, которые должны были продолжить переговоры о союзе между Россией и державами Габсбургов. Однако послы «цесаря» так и не прибыли, а летом 1580 года купцы Любека сообщили царю, что император установил запрет на ввоз в Россию меди, олова и свинца — металлов, необходимых для производства вооружения.

Тогда царь принял решение обратиться за содействием и поддержкой к папе в Рим. Исследователи, зная, что царь постоянно подчеркивал свою враждебность к «латинской» вере и, в отличие от своего деда и отца, не поддерживал никаких контактов с папами, не могли понять, как Иван IV пришел к такому решению. Как нам представляется, оно было подготовлено теми переменами в отношениях между царем и католическим миром, которые произошли в годы переговоров о создании антиосманской коалиции. Когда на рейхстаге в Регенсбурге послы царя предлагали, чтобы союзники Габсбургов прислали в Москву своих послов вместе с послами императора, на первом месте среди этих союзников был назван папа римский. Там

же в Регенсбурге послов царя, князя Захария Сугорского и дьяка Андрея Арцыбашева, посетили посланцы присутствовавшего на рейхстаге папского легата, заверившие, что «пресветлейший государь наш папа римский тому рад, что быти с государем вашим в любви и в докончаньи и на всех недругов стояти заодин». Они хотели передать послам соответствующую грамоту папы царю. Так как другие союзники Габсбургов (например, испанский король Филипп II) ничего подобного не делали, предпринятые шаги говорили об особой заинтересованности римской курии в привлечении России в состав антиосманского союза.

Неудивительно, что царь решил воспользоваться этой заинтересованностью, чтобы при содействии Рима добиться прекращения столь неудачно складывавшейся войны. В августе 1580 года, узнав о приходе войск Батория к Великим Лукам, Иван IV отправил с грамотой в Рим своего гонца Истому Шевригина. Напоминая папе Григорию XIII об участии его дипломатов в переговорах об антиосманском союзе, царь заявлял, что по-прежнему желает «впредь с тобою, папою римским, и с братом нашим, с Руделфом с цесарем, быти во единачестве и в докончанье и против всех бесерменских государей». Но исполнить свои желания в настоящее время царь не может из-за враждебных действий Батория, который, «сложася с бесерменскими государи, с салтаном с турецким и с крымским царем, и ныне кровь крестьянскую разливают не переставая». Поэтому царь просил, чтобы папа королю Стефану «от своего папства и учительства приказал, чтоб Стефан король с бесерменскими государи не складывался и на кроворазлитье крестьянское не стоял». До Рима Шевригин добрался лишь в конце февраля 1581 года, сразу по приезде был принят папой и уже 30 февраля (такая дата стоит в его посольском отчете) Шевригину сообщили, что папа отправляет к царю и к Баторию своего посла Антонио Поссевино, который будет содействовать тому, «чтоб король на государя войною не ходил и крестьянские крови не розливал».

Отвечая на грамоту царя, папа Григорий XIII вежливо, но твердо отклонил его обвинения в адрес Батория. Однако заявил о своей готовности содействовать заключению мира, чтобы «те збруи (оружие.— *Б.Ф.*) хрестьянские на невернаго вместе поворотить». Курия действовала оперативно, уже 28 марта папский посланец отправился в путь.

Знакомство с содержанием послания папы показывает, что откликнуться на обращение царя римского первосвященника побудила отнюдь не только заинтересованность в соединении христианских государств для борьбы с «неверными». С приходом на папский трон Григория XIII совпали большие изменения в политике Рима. В предшествующие десятилетия все внимание папского престола поглощала борьба с еретиками-протестантами, но с конца 70-х годов XVI века

одной из важных задач становится распространение католического вероучения в православном мире. Заметным симптомом наступивших перемен стало создание в 1577 году в папской столице нового учебного заведения — коллегии Святого Афанасия для обучения греческой молодежи, которая затем понесла бы свои знания об истинной вере на православный Восток. Тогда же появилось печатное издание деяний Флорентийского собора. В этих условиях Россия, как главная держава православного мира, не могла не привлечь к себе особого внимания политиков из папской курии. Познания о России были здесь довольно ограниченными, но вполне определенными. Здесь было известно о большом благочестии русского народа, о храмах, переполненных людьми во время богослужения, о глубоком почитании, каким окружены здесь образы святых. Эта страна, полностью чуждая протестантским учениям, в случае ее обращения на истинный путь могла стать одним из главных оплотов католической веры в Европе. Надежды на такое обращение питались устойчивым представлением о том, что никаких своих серьезных религиозных традиций в России нет, что русские просто следуют вере, полученной ими от греков, поэтому, если хорошо им объяснить, в чем состоят заблуждения греков, они легко откажутся от «греческой веры». Кроме того, в Риме прекрасно знали, что царь Иван пользуется в России огромной, неограниченной властью, которой он подчинил и церковь. Тем самым задача «обращения» России значительно упрощалась: достаточно было показать заблуждения греков одному человеку — царю.

Начавшиеся по инициативе Ивана IV переговоры открывали для Рима такую возможность, и папа Григорий XIII попытался ею воспользоваться. «Едина бо церковь Божия есть и едино Христово стадо и един после Христа на земле наместник и пастырь по всем странам», — писал папа Ивану IV. Что папа и есть единственный глава всего христианского мира, было признано на Флорентийском соборе, в котором участвовали «всего Греческого царства епискупы». Об этом рассказано в книге деяний Флорентийского собора, которую папа посылает царю. Пусть Иван IV прикажет своим богословам («докторам»), «чтоб ее чли». Правда, греческие епископы отказались затем от решений Флорентийского собора, «не похотели быти под послушеством римские веры, и они впади в великую тяготу у неверного кровопивца Турка». «И ты себе на то, — писал папа царю, — крепко раздумывай»: не навлечет ли царь, держась греческой веры, такие же тяжелые несчастья на свою страну.

Выполнение миссии было поручено одному из лучших дипломатов курии. Итальянец Антонио Поссевино, занимавший высокий пост в ордене иезуитов, неоднократно с успехом выполнял важные дипломатические миссии. В 1578 — 1579 годах он был направлен в Швецию, чтобы убедить шведского короля Юхана III отказаться от лютеранской веры и принять католицизм. Теперь с аналогичной мис-

сией он отправлялся в Россию. Написанное Поссевино по окончании его миссии сочинение «Московия», изданное в 1586 году в Вильне, содержит много интересных сведений о России и царе Иване IV.

Какие бы расчеты ни связывала с миссией Поссевино папская дипломатия, успех дипломатии Ивана в Риме был несомненным. Курия согласилась содействовать его усилиям по прекращению тяжелой, невыгодно складывавшейся для России войны. Но в Речи Посполитой дипломатическая акция царя потерпела полную неудачу.

Ответ на царскую грамоту, написанный по приказу короля одним из ближайших его советников, канцлером Яном Замойским, и отправленный царю 2 августа 1581 года, был необыкновенно резким по тону и значительно превосходил в этом отношении резкость выражений царской грамоты.

Пожалуй, никогда за все время своего правления царь не получал столь оскорбительного письма. Правда, некогда Андрей Курбский обращался к своему бывшему монарху с горькими и обидными словами, но для Курбского Иван IV был великим православным царем, изменившим своему предназначению. В послании же Батория царь последовательно изображался как темный и дикий варвар, который не способен даже изложить по порядку собственные мысли, а это, ядовито замечает Замойский, говорит, что «подобно на тот час и разум твой велми помешал и нарушил». Не случайно тот раздел послания, в котором были изложены все доводы о правах Речи Посполитой на Ливонию, заключался следующим энергичным утверждением: «А с тобою, который хрестиянских народов и справ не сведом, одо своих диких и грубых, напрасно о том мовити».

Царь не только дикий варвар, но и жестокий тиран, которому нет места в христианском мире. Издеваясь над притязаниями Грозного на происхождение от византийских императоров, Замойский писал, что скорее всего он происходит не от кого иного, как от греческого тирана Фиеста, который подал на обед гостю его собственных сваренных детей, но царь далеко превосшел своего предка. Фиест погубил только двух детей, а царь — население целого города Новгорода. «Неволил, грабил, губил, нишил». По справедливости его можно приравнять к величайшим злодеям древности — Каину, Фараону и Ироду. Царь не только жесток, но и труслив. Когда началась война, он не посмел выйти в поле со своим войском, чтобы защитить свою страну от Батория. «И бедная кокош (курица. — Б.Ф.), — писал Замойский, — перед ястребом с орлом птенца своя крилами своими окривает, а ты, орле о двух головах... хороняешь».

Вызывающий характер послания ясно показывает, какие настроения господствовали в правящих кругах Речи Посполитой накануне возобновления войны. С Иваном IV обращались как с правителем, который уже бесповоротно проиграл войну и которому ничего не остается, как сдаться на милость победителя. Для надежд на новые ус-

пехи у польско-литовских политиков были как будто весьма серьезные основания. Из перехваченной после сражения под Торопцом переписки ясно следовало, что царь намерен избегать полевых сражений, а русские крепости, как показал опыт кампаний 1579—1580 годов, не могут противостоять огню вражеской артиллерии. В этих условиях здесь стало складываться убеждение, что настал самый благоприятный момент для того, чтобы не только решить в свою пользу спор из-за Ливонии, но и нанести Русскому государству такой удар, который навсегда бы положил конец его притязаниям на руководящую роль в делах Восточной Европы. В Варшаве не находили нужным скрывать, что главной целью нового похода будет Псков. «А как государь наш возьмет Псков, — говорил русским послам один из литовских магнатов, — и Лифлянская земля и без отдачи вашего государя будет за нашим государем». Но взятием Пскова планы руководителей похода не ограничивались. Не случайно из королевского лагеря было отправлено специальное письмо населению Новгорода. Напоминая о страшном разгроме города в 1570 году, король призывал новгородцев к восстанию против тирана. Так вырисовывались конечные цели военной кампании — оторвать от Русского государства весь северо-запад. Утратив этот край, Русское государство вряд ли смогло бы в дальнейшем выступать как равноправный партнер Речи Посполитой.

Правящие круги Речи Посполитой не считали нужным скрывать своих намерений от царя. «Вже, — писал ему Замоиский от имени короля, — межи нами далее не о Ифлянты толко, але о все пойдет». Когда писались эти слова, армия Батория уже выступила в поход.

Положение было тяжелым. Русское государство по-прежнему находилось в международной изоляции. Продолжалась война со Швецией. На юге положение ухудшилось даже по сравнению с 1580 годом. Набеги крымских татар и ногайцев резко усилились, охватив большую территорию от Белева до Алатыря. Глава Ногайской орды князь Урус продал в рабство в Бухару находившихся у него русских послов, подчеркнув тем самым, что он не желает установления мира с Россией. Для сбора средств на продолжение войны потребовались чрезвычайные меры. Были отменены податные привилегии (даже для наиболее чтимых обитателей, таких, как Кирилло-Белозерский или Иосифо-Волоколамский монастыри), «со всей земли для войны» «по розводу» собирався чрезвычайный налог «в государев подъем». Даже купцы английской Московской компании должны были внести в государеву казну одну тысячу рублей.

В сложившейся ситуации была и благоприятная сторона: так как власти Речи Посполитой не скрывали своих намерений, то можно было заблаговременно подготовиться к отпору. Во Пскове было собрано много пушек и пищалей, большие запасы пороха, ядер и продовольствия, туда перебрасывались войска из ряда соседних крепос-

тей и из Москвы. С осени 1579 года в городе постоянно находился один из дворовых бояр царя — князь Иван Петрович Шуйский. Вызвав его в Москву, царь возложил на боярина главную ответственность за оборону города.

Охваченный тревогой царь ожидал известий с поля сражения и, боясь новых проявлений Божьего гнева, просил монастырскую братию о заступничестве перед небесными силами. 24 августа 1581 года он писал братии Соловецкого монастыря: «Смея и не смея челом бью, что есми Бога прогневал и вас, своих богомольцов, раздражил и все православие смутил своими неподобными делы и за умножения моего беззакония и ради согрешения моего к Богу, попустившему варваров христьянства разоряти».

Принимая меры к организации отпора врагу, царь одновременно пытался возобновить мирные переговоры. Надежды его в этом отношении связывались с давно ожидавшимся приездом папского посланца. Царь не скупился на жесты, которые должны были показать его расположение к римской церкви. Получив первые известия о приближении Поссевино к Смоленску, царь предписал смоленскому епископу Сильвестру принять его, если папский посол этого захочет, и разрешить ему присутствовать на богослужении в кафедральном соборе. «И ты б в те поры, — наставлял епископа царь, — в Пречистой Богородице сам служил со всеми соборы нарядно». 20 августа царь принимал Поссевино в своей «дворовой» столице — Старице, и посланец поднес ему драгоценный дар от папы — частицу креста, на котором был распят Христос. На пиру, который последовал за официальным приемом, царь, как отметил Поссевино, «произнес очень важную речь о союзе и дружбе своих предков с папой римским и заявил, что папа является главным пастырем христианского мира, наместником Христа и поэтому его подданные хотели бы подчиняться его власти и вере». 12 сентября, когда посредник уже выехал к королю Стефану, сработал тот дипломатический ход, который предпринял царь, составляя свое послание Баторию. Иезуит «проведал мимо короля тайно у ближних его людей», как положительно отзывался Иван IV о решениях Флорентийского собора, и был этим очень обрадован. Стремясь завоевать расположение царя и тем закрепить достигнутый успех, Поссевино убеждал Батория возобновить мирные переговоры. Однако король пошел навстречу его увещаниям лишь тогда, когда дела под Псковом приняли совсем не тот оборот, на который он рассчитывал.

Делая ставку на внутренние раздоры в русском обществе, правящие круги Речи Посполитой допустили ошибку, которую потом не раз повторяли политические деятели других государств и других эпох. Когда резко возросла внешняя опасность, русское общество сплотилось вокруг своего правителя. Новгородцы переслали царю грамоту Батория. Под стенами Пскова королевскую армию также ожидало упорное сопротивление.

Приемы войны, столь успешно использованные в кампаниях 1579 и 1580 годов, под Псковом оказались непригодны. Стены псковской каменной крепости нельзя было поджечь калеными ядрами, и королевской армии пришлось перейти к крепостной осаде по всем правилам военной науки. После постройки земляных укреплений, под защитой которых польско-литовские войска смогли приблизиться к стенам Псковского кремля, и установки осадных башен («туров»), на которых разместилась часть артиллерии, 7 сентября начался артиллерийский обстрел крепости, продолжавшийся и на следующий день. Был разрушен участок крепостной стены между Покровской и Свинусской башнями и серьезно повреждены сами эти башни. Затем начался штурм. Однако псковские воеводы разгадали планы противника и заблаговременно поставили на угрожаемом участке за линией укреплений новую деревянную стену, на которой были установлены орудия. Эта стена не дала противнику прорваться в город. Лишь Свинусская и Покровская башни оказались в руках поляков, но защитники сумели взорвать их вместе с ворвавшимися туда солдатами. Штурм был отбит с большими потерями для нападавших. Неудача была тем более досадной, что Баторий, рассчитывая на быстрый успех, не снабдил армию большими запасами пороха и снарядов и вынужден был на время прервать боевые действия. Передышкой попытались воспользоваться воеводы, чтобы усилить псковский гарнизон. В середине сентября — начале октября русские войска предприняли три попытки пройти во Псков (сначала по реке Великой, затем по суше), и части отрядов удалось пробиться в город. Польско-литовские войска пытались взорвать городские стены с помощью подкопов, но все эти попытки, наткнувшись на противодействие осажденных, закончились неудачей.

Враг был остановлен, и тем самым опасные планы расчленения Русского государства потерпели неудачу. Но положение в целом оставалось тяжелым. У государства не хватало сил на то, чтобы успешно вести войну на нескольких фронтах. Где тонко, там и рвется. Стараясь сделать все, чтобы создать во Пскове мощный узел сопротивления, царь вывел туда войска из ливонских крепостей, и последние остались беззащитными перед новым наступлением шведской армии, которое, конечно, не случайно началось одновременно с походом Батория летом 1581 года. В то самое время, когда пушки Батория начали стрелять по Пскову, тяжелая шведская артиллерия принялась разбивать стены Нарвы. 6 сентября город был взят штурмом. В бою погиб не только гарнизон, но и все русское население города (согласно таллинскому хронисту Балтазару Рюссову, свыше 7 тысяч человек с женами и детьми). Со взятием Нарвы шведами прервалось и «нарвское плавание», прямо и непосредственно связывавшее Россию со странами Западной Европы. Одной из главных целей Ливонской войны было приобретение на Балтике порта, в ко-

тором бы без принудительных посредников русские купцы могли встречаться с купцами из стран Западной Европы. Теперь этот порт был утрачен. Вдохновленная успехом шведская армия перешла реку Нарову и атаковала крепость Ивангород, поставленную некогда Иваном III на границе с Ливонским орденом. Ее гарнизон, по замечанию польского хрониста Рейнгольда Гейденштейна, «отчаявшись по самой своей малочисленности в успешности защиты», капитулировал. Так, овладев русскими владениями в северной части Эстонии, шведские войска вторглись в Новгородскую землю. На польском фронте также возникли серьезные проблемы. Хотя основные силы Батория были остановлены под Псковом, король высылал в походы отдельные отряды — так называемые «загоны», которые своими действиями довершали разорение западных русских уездов. Наиболее крупный из этих «загонов» во главе с литовским магнатом Кшиштофом Радзивиллом, разорив районы Ржева и Зубцова, дошел до самой Старицы, и из окон своего дворца царь мог видеть, как горят в окрестностях города деревни, подожженные «литовскими людьми».

Наконец, что, может быть, самое важное, оставался неясным исход борьбы за Псков. 22 октября Антонио Поссевино сообщал царю из королевского лагеря: король «в твои земли зимовати и дополна воевати удумал» и приказал доставить под Псков тяжелые орудия и порох из Риги и других мест. Правда, в том же письме говорилось, что Баторий согласен на возобновление мирных переговоров, но никаких документов, которые позволили бы организовать встречу представителей сторон, из королевского лагеря не было прислано ни в конце октября, ни в начале ноября.

В таком напряженном ожидании в Александровой слободе, куда Иван IV переехал из Старицы, произошло его столкновение со старшим сыном, закончившееся трагическим исходом.

К 1581 году семья Ивана IV была немногочисленной. Дочери его и сын Василий (от Марии Темрюковны) умерли в детстве, и в живых оставались лишь два его сына от Анастасии Романовны — Иван, родившийся в 1554 году, и Федор, родившийся в 1557 году. Царь по-разному относился к своим сыновьям. Федор сравнительно редко появлялся в царском окружении, во время поездок отца по стране часто оставался в Москве. Вероятно, это объяснялось его неспособностью к государственным делам.

Совсем иным было отношение царя к старшему сыну и наследнику. Он везде и постоянно следовал за отцом, присутствовал вместе с ним на приемах иностранных послов, участвовал в военных походах, выезжал на место публичных казней. Иногда он даже участвовал в расправах, предпринимавшихся по приказу царя. Шлихтинг рассказывал, как царь, решив перебить польских пленных, сам ударил копьем шляхтича Павла Быковского. Когда же Быковский пытался

«вырвать своими руками вогнанное копьё из руки тирана», тот позвал на помощь сына, «который другим копьём, которое держал, пробил грудь Быковского». Однако все эти многочисленные свидетельства фиксируют лишь присутствие царевича, но не говорят ничего о каких-либо его самостоятельных действиях, так что по ним нельзя судить об Иване Ивановиче ни как о личности, ни как о деятеле, принимающем участие в управлении государством. С середины 60-х годов XVI века у царевича Ивана был свой небольшой двор. Его приближенные, входившие в состав двора, часто упоминаются в «Разрядных книгах», но как царевич управлял этим двором, мы не знаем. В отличие от своего тезки Ивана Молодого, старшего сына Ивана III, царевич не управлял какими-либо территориями и не командовал войском во время походов. Отец постоянно держал сына при себе, не давая ему никакой доли реальной власти. Поскольку царевич, как тень, следовал повсюду за отцом, со временем он и стал восприниматься как человек, подобный отцу. В народной песне о гневе Грозного на сына старший царевич обвиняет перед отцом младшего, что тот не захотел участвовать в казнях, производившихся по приказу царя (он, как говорится в песне, «задерживал решетки железные. И подпись подписывал, что улицы казнены и разорены, а остались те улицы не казнены, не разорены»). Эти слова песни находят очевидную параллель в слухах, сообщавшихся польско-литовскими лазутчиками во время кампании 1580 года. Надежды недовольного войной дворянства, согласно этим слухам, связывались с царевичем Федором: он должен был прибыть в Смоленск и договориться с Баторием о прекращении военных действий. Очевидно, в глазах русского общества Иван Иванович выступал как соратник отца, готовый во всем продолжать его политику, однако мы не знаем, насколько эта репутация была действительно заслуженной.

О личности царевича позволяют судить литературные тексты, связанные с его именем. В последние годы правления Ивана IV особым вниманием царской семьи стал пользоваться Антониев-Сийский монастырь на реке Сии, притоке Северной Двины. Пользуясь благоволением царя, игумен монастыря Питирим в 1579 году обратился к царю с просьбой о канонизации основателя монастыря — Антония. В связи с этим игумен Питирим, а также ученик Антония Филофей, «его жития первый писатель», и другой ученик Антония новгородский архиепископ Александр обратились к Ивану Ивановичу (находившемуся в 1579 году с отцом в Новгороде, где подготавливался очередной поход в Ливонию) с просьбой написать канон новому святому. Царевич выполнил их просьбу (после его смерти рукопись канона отец отослал в Антониев-Сийский монастырь), но этим не ограничился. Познакомившись с житием Антония, которое привезли монахи, царевич был не удовлетворен безыскусным повествованием («зело убо суше в легкости написано») и переработал текст.

Изучение этой редакции жития характеризует Ивана Ивановича как книжника, хорошо владеющего литературным языком и принятыми приемами литературной работы с текстом. Многочисленные цитаты, которыми «многогрешный» автор «колена Августова от племени Варяжского» наполнил повествование, показывают его знатоком не только текстов Священного Писания, но и житий русских святых. Царевич, очевидно, был внимательным читателем Великих Миней четых, хранившихся в царской библиотеке. Все это позволяет утверждать, что царевич был книжником, подобно отцу, но походил ли он на него и в других отношениях, сказать трудно. Стоит отметить, что в своем творчестве царевич старательно следовал принятым литературным нормам, в то время как отец их постоянно нарушал.

Что же произошло между отцом и сыном в Александровой слободе? Сохранился ряд рассказов об этом. Псковский летописец записывал, что царь «сына своего царевича Ивана того ради осном (посохом с острым железным наконечником. — Б.Ф.) поколол, что ему учал говорити о выручении града Пскова». Не совсем ясные слова летописца становятся понятными из рассказа придворного хрониста Батория Рейнгольда Гейденштейна, записавшего, что «царевич слишком настойчиво стал требовать от отца войска, чтобы сразиться с королевскими войсками». Эта версия повторяется в целом ряде источников, со все новыми деталями. Павел Одерборн в своем сочинении, напечатанном в 1585 году, писал, что бояре и дворяне просили выслать против Батория войско во главе с царевичем и тем вызвали гнев Ивана IV против наследника.

Другую, но близкую версию происшедшего находим в некоторых польских источниках. Так, уже упоминавшийся Рейнгольд Гейденштейн приводит и иной рассказ о том, что произошло: царь стал хвастать перед сыном своим богатством, царевич заявил, что «предпочитает сокровищам царским доблесть, мужество, с которыми... мог бы опустошить мечом и огнем его владения и отнял бы большую часть царства». Обе версии объединяет сквозящий в них мотив осуждения царя в трусости: он не стал во главе своего войска, чтобы защитить свою страну от вторгшегося в нее врага.

Совсем иной рассказ приводит в своей «Московии» Поссевино. По его словам, царь, застав беременную жену царевича одетой лишь «в нижнее платье», пришел в гнев и стал бить женщину своим посохом. Царевич вступился за жену. В гневе он кричал отцу: «Ты мою первую жену без всякой причины заточил в монастыре, то же самое сделал со второй женой и вот теперь избиваешь третью, чтобы погубить сына, которого она носит во чреве». Тогда отец и нанес сыну посохом роковой удар, а жена царевича «на следующую ночь выкинула мальчика». Рассказ Поссевино хорошо согласуется с тем, что нам известно о семейной жизни царевича по другим источникам. Первую жену царевича, Евдокию Сабурову, царь выбрал сам в 1571 году из

числа невест, съехавшихся на смотрины перед его женитьбой на Марфе Собакиной. В 1574 году новой женой царевича стала Феодосия, дочь рязанского сына боярского Петрово-Солового, а в 1581 году у Ивана Ивановича была уже третья жена — Елена, дочь погибшего в 1577 году под Таллином боярина Ивана Васильевича Шереметева. В XVII веке автор известного сочинения о событиях Смуты — «Временника», дьяк Иван Тимофеев, записал, что царевич вступал в новые браки не потому, что его жены умирали, «но за гнев еже на нь, они свекром своим постризаеми суть», то есть невесток, вызвавших неудовольствие царя, по его приказу постригали в монахини. Такое деспотическое вмешательство в личную жизнь не могло не раздражать царевича. Относительно его смерти Иван Тимофеев отметил, что царевич умер, как рассказывают, «от рукобиения... отча... за еже отцевски в земных неподобство некое удержати хотя», то есть желая удержать отца от какого-то «неподобного» поступка. Таким образом, и для Ивана Тимофеева смерть царевича была связана с каким-то семейным скандалом. Наконец, еще одну версию находим в сочинении англичанина Джерома Горсея. По его словам, царь рассердился на сына за то, «что он приказал чиновнику дать разрешение какому-то дворянину на 5 и 6 ямских лошадей, послав его по своим делам без царского ведома».

Исследователи отдают обычно предпочтение рассказу Поссевино, но в действительности у нас нет серьезных оснований для того, чтобы предпочесть один из этих рассказов другим. Бесспорным остается лишь одно: царевич умер от удара посохом, который нанес ему отец.

Царь, по-видимому, и ранее бывал недоволен сыном. Перебежавший в Литву весной 1581 года Давыд Бельский рассказывал, что он «не любит старшего сына и часто бьет его палкой». Почему на этот раз гнев царя оказался особенно сильным, так что он перестал себя контролировать, становится понятным, если учесть, в каком положении царь оказался к осени 1581 года. Великий православный монарх, избранный Богом для утверждения православия во всем мире, был вынужден молча терпеть оскорбления, которые наносил ему неизвестный выскочка, силою обстоятельств оказавшийся на польском троне, а также оказывать любезности католическому патеру, приехавшему из самого центра нечестивой латинской веры — Рима. Гнев и раздражение накапливались, тем более что царь не мог излить их на своих воевод, от преданности и мужества которых зависел исход войны, принявшей столь опасный для царя оборот. Прорвавшись, гнев этот обрушился на одного из близких, постоянно находившихся при царе людей, и таким человеком оказался его старший сын и наследник.

Первоначально инциденту, происшедшему 9 ноября, не придали никакого значения, но царевичу становилось все хуже и хуже, и 12-го числа царь был вынужден известить руководителей земской Думы,

что он не может ехать в Москву, как они договаривались, так как его сын Иван «ныне конечно болен», «а нам докудова Бог помилует Ивана сына ехать отсюда невозможно». Дядя наследника, Никита Романович, выехал в Слободу с врачами и лекарствами, но царевичу ничего не помогло, и 19 ноября он умер.

Царь, разумеется, вовсе не хотел убивать сына, и то, что произошло, стало для него сильным потрясением. Поссевино, вскоре после этого побывавший в Москве, записал: «Каждую ночь князь под влиянием скорби (или угрызений совести) поднимался с постели и, хватаясь руками за стены спальни, издавал тяжкие стоны. Спальники с трудом могли уложить его на постель, разостланную на полу». Сообщение это находит подтверждение в важном отечественном источнике. Как записано во вкладной книге Троице-Сергиева монастыря, 6 января 1583 года, посетив обитель, царь призвал к себе троицких старцев Евстафия Головкина и Варсонофия Якимова, а также своего духовника Феодосия Вятку и просил их устроить в обители ежедневное поминовение по его сыне «вовсеки и навеки, докуды обитель сия святая стоит». «И о том поминание о царевиче Иванне плакал и рыдал, и умолял царь и государь, шесть поклонов в землю челом положил со слезами и рыданием». Так через два года после гибели сына царь продолжал оплакивать его смерть. По душе царевича были даны огромные вклады в русские обители (только Троице-Сергиев монастырь получил 5 тысяч рублей), а когда был заключен мир, такие же огромные вклады были посланы в наиболее чтимые обители православного Востока — на Афон, в Иерусалим и на Синай.

Как ни была глубока скорбь царя, он и на краткое время не перестал заниматься государственными делами и, в частности, внимательно следил за ходом начавшихся переговоров о мире между Россией и Речью Посполитой. Новые попытки штурмовать Псков, предпринятые в конце октября — начале ноября, оказались безрезультатными, и 6 ноября осаждающие «из ям вышли и наряд из-за туров выволокли». После этого 14 ноября Баторий выслал «опасную грамоту» для русских послов, которые должны были прибыть на переговоры. Переговоры начались 17 декабря, а 15 января 1582 года в Яме Запольском был заключен договор о десятилетнем перемирии между государствами. По этому соглашению Речь Посполитая возвращала те русские города, которые были заняты польско-литовскими войсками во время кампаний 1580 и 1581 годов, а Россия уступала Речи Посполитой все те земли в Ливонии, которые к началу 1582 года находились под русской властью.

Ко времени заключения перемирия положение королевской армии в лагере под Псковом стало незавидным. Она сильно страдала от холода и болезней. 1 декабря король уехал в Польшу, за ним последовала значительная часть его войска (не привычное к лишениям дворянское ополчение, отряды наемников, не получившие вовремя жа-

лованья). Соотношение сил изменилось в пользу осажденных. В январе 1582 года уже псковские воеводы предпринимали нападения на королевский лагерь. Во Пскове не понимали, почему царь согласился на столь тяжелые условия мира, и винили во всем папского посредника — иезуита. «Оманила его Литва, — писал псковский летописец, — заслаша к нему протопопа Антония римского от папы мироват; и поведаша царю яко взят Псков... и царь Иван послал о мире х королю ко Пскову, и власт ему на Псков 15 городов ливонских».

Объяснения эти никак не соответствовали истине. Царю было хорошо известно, что его «воеводы сидят во Пскове здорово и безстрашно и людем государевым убою нет и порухи над городом нет некоторые», да и советами иезуита он не намерен был руководствоваться. С течением времени в этой неприятной истине должен был убедиться и сам Антонио Поссевино. Оказывая любезности папскому посланцу и делая многозначительные заявления (но не на официальном приеме, а на пиру), царь одновременно принимал меры к тому, чтобы приехавшие к нему католические священники не имели никаких возможностей для ведения миссионерской деятельности. По сообщению самого Поссевино, царь «запрещал переводчикам даже переводить все то, что имеет отношение к религии». Обсуждение же вопроса о характере разногласий между церквями и способах их преодоления было отложено до того времени, когда Поссевино вернется в Москву после завершения мирных переговоров. Когда это произошло и царь принял посланца по его настоянию, он уже не нуждался в содействии курии и мог дать волю своим чувствам по отношению к Риму. Плохим предзнаменованием для иезуита были уже слова царя, что он не хочет говорить с Антонием о вере, «чтоб нашему делу с папою порухи в нашей ссылке и любви не было». Когда дело дошло до обмена мнениями, царь с характерной для него ядовитой насмешкой стал высмеивать церемонии, служащие возвеличению папской власти. Обычай в торжественных процессиях носить папу, восседающего на троне, царь охарактеризовал так: «И папа не Христос, а престол, на чем папу носят, не облак, а которые носят его те не ангелы — папе Григорию не подобает Христу подобиться и сопрестольником ему быть». Беседа завершилась словами царя: «Который папа не по Христову учению и не по апостольскому преданию почнет жити и тот папа волк, а не пастырь». «И посол Антоней, — как записано в посольской книге, — и престал говорити, коли, де, уж папа волк, мне что уж и говорити». Царь, однако, не хотел совсем разрывать только что установившиеся связи с Римом. Не желая касаться вопросов веры, Иван IV был готов продолжать переговоры о союзе христианских государств против неверных и с этой целью отправил вместе с Поссевино к папе своего посланца Якова Молвянинова, но теперь уже Рим не обнаружил заинтересованности в продолжении контактов.

Царское решение добиваться мира с Речью Посполитой даже ценой тяжелых уступок было принято в Старице 22 октября, после получения известий о взятии Нарвы шведами. Именно тогда Боярская дума приговорила «по конечной неволе» «Ливонские бы города, которые за государем, королю поступитися... а помирися б с литовским с Стефаном королем, стать на свейского». Это решение еще раз показывает, каковы были приоритеты в русской политике в отношении Ливонии: в Москве готовы были отказаться от всех ливонских замков, чтобы получить возможность вернуть себе утраченный порт на Балтике.

Русские представители на мирных переговорах, князь Дмитрий Петрович Елецкий и печатник Роман Васильевич Алферьев, добились цели, поставленной перед ними царем: в текст договора о перемирии не были включены земли в Ливонии, занятые шведами, и тем самым появлялась возможность отвоевывать их у противника без риска возобновления войны с Речью Посполитой. Еще во время мирных переговоров в Новгороде стали собираться войска для «зимнего похода» «на свейских немец». Сразу по получении известий о подписании Ям-Запольского договора царь приказал воеводам начать военные действия, и войска двинулись «к Ругодеву (Нарве. — Б. Ф.)... да в Свицькую землю за Неву реку». Командовавший передовым корпусом князь Дмитрий Иванович Хворостинин разбил шведские войска у села Лямыцы в Вотской пятине.

Выполнить задуманный план, однако, не удалось. В Поволжье началось новое большое восстание местного населения, вызванное, как и предшествующие волнения, злоупотреблениями местных властей при сборе «ясака». О нем мы узнаем из записей «Разрядных книг», а также из подробного донесения, отправленного Баторию в июне 1583 года. Зимой 1581/82 года восстала «Горная черемиса». В то самое время, когда воеводы выступили из Новгорода в «зимний поход», из Чебоксар против восставших была отправлена трехполковая рать. Это войско «черемиса» разбила. Желая прекратить волнения, ставившие под угрозу исполнение его планов, царь принял черемисских послов и согласился удовлетворить их требования, но в это самое время началось восстание «Луговой черемисы». В октябре 1582 года в Поволжье против мятежников была отправлена рать уже из пяти полков. Прекратить восстание удалось лишь после смерти царя.

На ливонском театре военных действий инициатива снова перешла в руки шведов: в сентябре 1582 года войска Юхана III осадили русскую крепость Орешек в устье Невы. Правда, под стенами Орешка шведы потерпели неудачу, не менее чувствительную, чем войска Батория под Псковом, но для того, чтобы воспользоваться этим успехом, у русского правительства уже не хватило сил. В сложившемся положении оно желало как можно скорее положить конец военным

действиям, и в августе 1583 года был подписан договор о перемирии, по которому все земли, занятые в предшествующие годы шведскими войсками, остались за Швецией.

Так закончилась для России долгая, тяжелая, кровопролитная Ливонская война. Псковский летописец с горечью записал: «Царь Иван не на велико время чужую землю взял, а помале и свои не удержал, а люди вдвое погубил». Расцвет «нарвского плавания», превращение этого небольшого городка под русской властью в крупный процветающий торговый центр лучше, чем что-либо другое, показывает, что у русской государственной власти были серьезные основания для того, чтобы добиваться выхода к Балтийскому морю и установления прямых экономических связей со странами Западной Европы. Очевидно также, что, предприняв такие шаги, русское правительство неизбежно оказалось вовлеченным в конфликт с целым рядом государств, стремившихся установить свое господство на торговых путях, связывавших восток и запад Европы. Избежать перерастания Ливонской войны в крупный международный конфликт было совершенно невозможно, но был ли неизбежен столь плачевный исход этой войны для Русского государства? Не привели ли к такому шагу ошибки и просчеты, допущенные самим главным инициатором войны Иваном IV, который, верно наметив цель, не смог найти верные средства для ее достижения? Будущие поколения исследователей, может быть, сумеют найти убедительный ответ на все эти вопросы.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Вскоре после заключения перемирия с Речью Посполитой царь предпринял шаг, вызвавший, вероятно, немалые толки среди современников и представляющий своеобразную психологическую загадку для исследователей его жизни.

12 марта 1582 года в расположенный недалеко от Москвы Симонов монастырь был прислан список из 74 имен бояр, детей боярских и дьяков, казненных в разные годы по приказу царя. Царь просил монахов молиться о душах этих людей и жертвовал на помин их душ деньги и утварь. Такие же списки были посланы и в другие обители, находившиеся в разных концах страны (Псково-Печерский, Соловецкий монастыри). Зная обычно крайне отрицательное отношение царя к казненным по его приказу изменникам, этот шаг нельзя не воспринимать как нечто из ряда вон выходящее.

Но на этом дело не кончилось. К концу 1582 года был составлен гораздо более подробный список людей, казненных по приказу царя. Как показано в исследованиях С. Б. Веселовского и Р. Г. Скрынникова, их имена выписывались из следственных дел и донесений опричников, хранившихся в царском архиве. Очевидно, следуя указаниям

царя, дьяки стремились, чтобы список получился как можно более полным, из донесений выписывали даже сведения о людях, чьи имена там не упоминались (например: «ис пишали отделано 15 человек ноугородцев»). В новом списке были уже сотни людей, названных по именам, и тысячи безымянных.

С осени 1582 года списки эти рассылались в монастыри по всей территории страны с предписанием казенных «поминати на литиях и на литоргиях и на понахидах по вся дни в церкви Божии». Вместе со списками в монастыри посылались богатые вклады деньгами и «рухлядью» из государственной казны (одежды из дорогих тканей, серебряные ковши и чарки, кресты и иконы и многое другое). Изучая текст этого подробного списка казенных, Р. Г. Скрынников обнаружил его копии, разосланные в 14 монастырей, среди которых были все наиболее известные русские обители, такие, как Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Чудов монастыри. Кроме того, во вкладных книгах еще семи монастырей сохранились записи о вкладах, сделанных царем на помин души казенных. Это данные — явно неполные, так как никто из исследователей не пытался специально искать записи о царских вкладах по опальным в архивах русских обителей. Вклады же были огромными, превышая по размеру те вклады, которые царь давал по царице Анастасии или Марии Темрюковне. Новодевичий монастырь в Москве получил 2000 рублей, Иосифо-Волоколамский — 1200 рублей, свыше 1000 рублей получили Антониев-Сийский, Спасо-Прилуцкий, Ростовский Борисоглебский. И эти огромные вклады делались в условиях, когда страна была разорена долголетней войной и царские посланцы буквально выколачивали из населения последние деньги.

Обращение к вкладным книгам монастырей показывает, что вклады по опальным давались не в один прием, а по нескольку раз. Так, четыре раза присылал царь вклады по опальным деньгами и вещами в Ростовский Борисоглебский монастырь. Создается впечатление, что, сделав распоряжения, царь находил их недостаточными и снова и снова рассылал по обителям деньги и вещи. В Антониев Краснохолмский монастырь последний вклад по опальным — 600 рублей — поступил 24 марта 1584 года, то есть уже после смерти Ивана IV. Таким образом, начав делать вклады по опальным весной 1582 года, царь продолжал вносить все новые и новые пожертвования до самого конца своего правления.

Царь не удовлетворился составлением общего списка и, как видно из записей во вкладных книгах монастырей, посылал в те же годы вклады для поминания отдельных своих жертв. Так, в Кирилло-Белозерский монастырь он прислал 100 рублей на поминание своего шурина Михаила Темрюковича и «платья» на 165 рублей на поминание своего «канцлера» Ивана Михайловича Висковатого. Особенно щедрые вклады сделал царь по своему боярину князе Петре Михайловиче

Щенятеве. С наступлением опричнины князь Петр Михайлович постригся, приняв имя Пимена, но и в монастыре его постиг царский гнев. Царь, по свидетельству Курбского, приказал его «на железной сковороде огнем разженной жещи и за ногти иглы бити и в сицевых муках скончался». Теперь царь дал по иноке Пимене Щенятеве в Ростовский Борисоглебский монастырь 1300 рублей денег, серебряный ковш, драгоценных тканей на 265 рублей.

Что все это означало? Почему царь через много лет решил сделать огромные пожертвования, чтобы устроить заупокойные службы по людям, казненным по его приказу за измену?

Наиболее простое объяснение сводится к тому, что царь на склоне лет убедился в ошибочности своей политики, раскаялся в своих действиях и признал правоту своих противников. Ряд данных, однако, противоречит такому предположению. Прежде всего следует отметить, что режим, близкий к опричному, который царь установил в стране осенью 1575 года, в начале 1580-х годов не претерпел скольконибудь существенных изменений и прекратил существование лишь со смертью своего создателя. Это лучше, чем что-либо другое, показывает, что никаких серьезных сомнений в справедливости установленного им в стране порядка у царя не было. Не претерпел перемен и сам стиль обращения царя со своими подданными.

В записках польского шляхтича Станислава Немоевского, прошедшего в России несколько лет во время Смуты, сохранилось два рассказа о Иване IV в последние годы его правления. В первом из них рассказывается о князе Василии Ивановиче Телятевском, который был первым воеводой в Полоцке во время осады его войсками Батория, попал в плен, а затем после заключения мира вернулся в Россию. На вопрос царя, как же воеводы могли сдать Полоцк польскому королю, воевода ответил, что литовские люди подожгли крепость и воеводы не смогли защищаться. «Когда ты запотел там при этом огне, то здесь охладись», — сказал царь «и приказал его утопить». Трагический финал этого происшествия заставляет вспомнить сообщение немецкого пастора Павла Одерборна, который в своем сочинении о «тирании» Ивана IV, напечатанном в 1585 году, записал, что «Иоанн осудил на смерть 2300 воинов, которые в Полоцке и в других крепостях сдались неприятелю. По заключении мира... велел их всех казнить или ввергнуть в ужасную темницу». Одерборн — автор крайне тенденциозный, наиболее враждебный по отношению к Ивану IV из всех писавших о нем иностранцев. В точности его свидетельства нельзя быть полностью уверенным. Однако и в донесении Баторию о черемисском восстании читаем, что царь приказал публично бить палками всех воинов из той рати, которая в 1582 году была разбита черемисой. В другом рассказе, записанном Немоевским, речь идет о знатных воеводах князе Иване Михайловиче Воротынском и князе Дмитриии Ивановиче Хворостинине, ко-

торые в 1582 году были посланы царем против восставшей черемисы и из-за «великих снегов» не смогли дойти до места назначения. Царь приказал одеть их в женское платье и заставить крутить жернова и молотить муку. Посол английской королевы Елизаветы Джером Боус, встречавшийся с царем зимой 1583/84 года и очень довольный оказанным ему приемом, отметил в записке о своем путешествии, что когда думный дьяк Андрей Щелкалов чем-то вызвал недовольство царя, тот не ограничился тем, что приказал дьяка «наказать плетью очень сильно», но «и послал сказать ему, что не оставит в живых никого из его рода».

Все эти свидетельства ясно показывают, что стиль обращения царя с подданными с характерным для него сочетанием жестокости и ядовитой насмешки в последние годы его жизни остался прежним.

Как представляется, объяснения следует искать в сфере отношений Ивана IV и Бога. Поражения последних лет Ливонской войны были явным свидетельством того, что Бог недоволен какими-то действиями царя и карает его за это. В жизни Ивана IV такое случалось не впервые. Божий гнев обрушился на него со страшной силой уже в годы его юности. В то время рядом с царем был наставник Сильвестр, который и объяснил ему, чем именно вызвано вмешательство Высшей силы. Теперь близ царя не было такого духовного лица, воздействию которого он был бы готов подчиниться. Вопрос о том, чем именно недоволен Бог, он должен был решать сам.

Царь был далек от того, чтобы сомневаться в правильности своей политики или в справедливости кар, постигших его подданных за совершенные ими измены. Дело, однако, было в том, что царь не ограничился тем, что лишил этих непокорных подданных имущества и жизни. Он не давал им перед смертью покаяться в грехах, он лишал их тела христианского погребения, запрещал совершать по ним заупокойные службы, делая все для того, чтобы души казненных оказались в аду. Но тем самым царь вторгнулся в сферу деятельности Бога «как вечного судии», предвосхищая его решение о судьбе человеческих душ, «о чем христианину, — по выражению Степана Борисовича Веселовского, — было страшно и подумать». Отсюда гнев Бога на правителя, в гордыне своей посягнувшего на только ему принадлежавшее право. К этому добавлялся еще один существенный мотив. А мог ли быть царь уверен, что все казненные им подданные наказаны им справедливо? Ведь многие из них были казнены по доносам лиц, которые затем, в свою очередь, оказались изменниками. Представляется совсем не случайным, что как раз в то самое время, когда первый список казненных был отослан в Симонов монастырь, 12 марта 1582 года, появился царский указ, устанавливавший суровое наказание за ложные доносы: «А назовет кто кого вором, а смертного убивства или кромола, или рокоша (польское слово, означающее

мятеж, вооруженное выступление против правителя. — Б.Ф.) на царя государя не доведет, ино того самого казнити смертию». Царь не мог быть абсолютно уверен в виновности всех казненных, но самонадеянно обрекал на гибель их души.

Придя к такому заключению о причинах Божьего гнева, царь, очевидно, готов был пойти на самые решительные меры, чтобы умиловить «грозного судию». Поток пожертвований, хлынувший в русские обители, говорил не о том, что царь раскаивается в содеянном и считает всех казненных невинными жертвами; он должен был свидетельствовать о том, что царь повергается ниц пред Богом, смиренно отдавая в его руки судьбы душ казненных им людей. Царь готов был на все, чтобы добиться Божьего прощения, и все умножал и умножал свои жертвования. Вернув себе милость Бога, царь рассчитывал восторжествовать над своими врагами, взять реванш за все унижения, которые ему пришлось претерпеть.

Этой же цели царь рассчитывал достичь и путем заключения союза с Англией.

Когда в последние годы Ливонской войны Россия оказалась в международной изоляции (даже традиционно дружественная Дания стала препятствовать плаванию судов на Северную Двину вдоль норвежского побережья), только Англия оказала ей помощь. Среди воспоминаний Джерома Горсея сохранился и такой рассказ. Когда Русскому государству угрожали войска Батория, царь обратился с просьбой о помощи к королеве Елизавете, и Горсей повез через вражеские земли царское послание, спрятав его во фляге с водкой. Прибыв в Англию, Горсей «вынул и надушил, как мог, письма и наставления царя, однако королева почувствовала запах водки». Просьба Ивана IV была удовлетворена, и в 1581 году на Северную Двину было отправлено 13 кораблей, груженных медью, свинцом и порохом. Все это, однако, не означало, что царю удастся легко заключить военный союз с Англией. Опыт предшествующих лет показывал, что королева Елизавета, охотно поддерживая отношения и снабжая Русское государство необходимыми для производства вооружения товарами, упорно уклоняется от заключения договора о союзе, который мог бы вовлечь ее страну в конфликт с западными соседями России. Царю же казалось, что теперь он нашел способ, как добиться своей цели.

Вместе с английскими кораблями в 1581 году на Двину прибыл доктор Роберт Якоби, присланный королевой по просьбе царя, просившего отправить к нему хорошего лекаря. Из разговоров с доктором царь узнал о том, что у Елизаветы есть «племянница» Мэри Гастингс, и решил к ней посвататься. Он полагал, что Елизавета перестанет возражать против союза с Россией, если этот союз будет скреплен не только договором, но и брачными узами. Правда, у царя имелась жена — Мария Нагая, которая в это время ждала ребенка, но

с такими препятствиями царь не намерен был считаться. Вскоре после заключения перемирия с Польшей, весной 1582 года, он отправил в Англию одного из своих лучших дипломатов — Федора Андреевича Писемского. Писемский должен был предложить королеве Елизавете от имени царя «на всякого недруга стояти заодин» и сообщить о его намерении вступить в брак с Мэри Гастингс.

Царь с нетерпением ждал возвращения посла, но лишь в октябре следующего 1583 года Писемский вернулся в Москву с послом Елизаветы Джеромом Боусом, и советники царя Никита Романович, Богдан Бельский, дьяки Андрей Щелкалов и Савва Фролов смогли начать с английским послом переговоры о заключении союза. Запись переговоров ясно показывает, зачем царю понадобился союз с Англией. Не удовлетворяясь тем, что в проекте договора, привезенном послом, говорилось о взаимной помощи против «недругов» в общей форме, советники потребовали, чтобы в договор было внесено более конкретное обязательство: «против литовского короля стояти заодин». Когда английский дипломат поинтересовался, а на каких условиях царь согласился бы на мир с Баторием, то ему разъяснили, что король должен отдать «город Полотцк с пригороды и Лифлянскую землю по Двину». Перемирие в Яме Запольском было заключено сроком на 10 лет, и это, казалось, говорило о том, что царь согласился отложить на долгое время свой спор с Речью Посполитой из-за Ливонии, но запись переговоров с Боусом свидетельствовала об ином. Царь не смирился со своим поражением и, заручившись союзом с Англией, был намерен разорвать мирный договор и возобновить войну, чтобы вернуть себе Полоцк и ливонские земли.

Переговоры о союзе не пошли гладко. Соглашаясь на заключение такого соглашения, королева устами своего представителя настаивала на том, что, прежде чем начинать войну с «недругом», следует вступить с ним в переговоры, предлагая, чтобы он «воздержался от дальнейших обид и согласился на честные условия мира». Лишь после неудачи таких переговоров Елизавета соглашалась оказать своему союзнику помощь войсками и вооружением. Такую процедуру царские советники нашли не только излишней, а прямо вредной («только обсылатца с недругом и недруг в те поры изготovitца»), а царь с раздражением заметил, что Елизавета «хочет с нами быти в докончании (союзе. — *Б.Ф.*) словом, а не делом». Другая трудность состояла в высокой цене, которую требовалось уплатить за заключение союза. Елизавета соглашалась на заключение договора лишь в том случае, если объединению торгующих с Россией английских купцов — «Московской компании» — будет предоставлена монополия на торговлю во всех портах севера России, которые закроются для голландских, французских и других купцов. Царские советники дали ясно понять послу, что они хорошо представляют себе последствия такого шага, тот огромный ущерб, который это соглашение нанесет России («оп-

роче аглинских людей торговати на Русь ходити не учнет никто, и они станут свои товары дорожить и продавать дорогой ценой по своей мере, как захотят»), но Джером Боус, следуя инструкциям Елизаветы, упрямо стоял на своем.

В переговорах о браке также не наметилось никакого прогресса. Хотя Федор Писемский благодаря своей настойчивости сумел увидеть Мэри Гастингс и даже получить для царя ее портрет, царское предложение встретило фактический отказ. В Лондоне со времени начала царского сватовства было известно не только о том, что у царя есть жена, но и о том, что у этой жены только что (19 октября 1582 года) родился сын — царевич Дмитрий. И хотя Писемский объяснял, что пусть только королева согласится на брак, и «государь наш, жену свою оставя, зговорит за королевнину племянницу», все это в Лондоне никак не вызывало энтузиазма. Боус должен был объяснять в Москве, что Мэри Гастингс «впала в такое расстройство здоровья, что остается мало надежды на возвращение ей сил». Такое отношение к царскому сватовству ясно показывало отсутствие в Лондоне особой заинтересованности в союзе с Россией.

Царь оказался перед нелегким решением, но желание отомстить врагам оказалось у него столь сильным, что он решил пойти на жертвы, чтобы добиться заключения союза. Советники, возражавшие против уступок англичанам, были отстранены от ведения переговоров, а к английскому послу отправился Богдан Бельский, который поставил перед ним один единственный вопрос: если царь даст английским купцам монополию на торговлю с Россией, будет ли заключен союз против царских «недругов» — Стефана Батория и шведского короля Юхана III. Ответ посла был положительным: «королевна для тое дружбы станет с тобою, государем, заодин на литовского и на свейского». После этого по приказу царя Богдан Бельский подготовил новый проект русско-английского договора, включавший в себя обязательство сторон «стояти заодно... доставати Лифлянские земли».

Как и в других подобных случаях, царь не жалел любезностей, чтобы расположить к себе английского дипломата. Пристав Захарий Болтин, неосторожно пожелавший послу в Москве креститься и быть с ним в одной «вере хрестьянской» и тем вызвавший его неудовольствие, был посажен в тюрьму. По просьбе посла был отстранен от участия в переговорах и Андрей Щелкалов. По распоряжению царя послу был назначен столь обильный корм, что Боус «несколько раз просил отменить его», но царь не соглашался. Наконец, Иван IV, по сообщению Боуса, просил, чтобы сопровождавший посольство проповедник, доктор Коул, написал для него «тезисы англиканской веры», а затем приказал «прочесть эти тезисы публично перед многими из своей думы и знати». Этими знаками внимания царь добился от посла обещания содействовать продолжению переговоров о браке, так как

выяснилось, что помимо Мэри Гастингс у королевы есть и другие родственницы — «и ближе тое племянницы есть их до десяти девок». Боус обещал сам позаботиться о том, чтобы в Лондоне были написаны их портреты и отосланы в Москву с тем послом, который поедет к Елизавете для окончательного оформления договора о союзе.

В записке Боуса о его путешествии сохранилась важная подробность, проливающая дополнительный свет на намерения царя. Боус записал, что если бы королева «не прислала со следующим посольством такой родственницы, какой ему (царю. — *Б.Ф.*) хотелось, то он собирался, забрав всю свою казну, ехать в Англию и там жениться на одной из родственниц королевы». В официальной записи переговоров об этом, разумеется, ничего не говорилось, и свои сведения Боус, вероятно, почерпнул у царского врача, с которым находился в постоянном контакте. Очевидно, царь полагал, что если он лично приедет в Англию, то с колебаниями Елизаветы относительно заключения брака и союза будет покончено. Конечно, на основании одних сообщений английского дипломата нельзя делать вывод, что царь был готов совершить такое путешествие, но уже тот факт, что он готов был обсуждать вопрос о возможности долгой, трудной, чреватой опасностями поездки в далекую незнакомую страну, показывает, какое значение царь придавал союзу с Англией и какое большое место этот союз занимал в его планах на будущее.

Царь, несомненно, был доволен успехом переговоров. В его представлении новый посол, которого он намеревался отправить в Лондон, должен был доставить ему официально утвержденный текст договора, условия которого были согласованы с представителем Елизаветы. Однако достигнутый им успех был в действительности иллюзорным. Овладевшее царем страстное желание отомстить своим врагам и восторжествовать над ними в очередной раз лишило его способности трезво оценивать цели и возможности своих политических партнеров. Знакомство с инструкциями, которые Елизавета дала своему послу, показывает, что она стремилась и далее уклоняться от вмешательства в конфликты в Восточной Европе на стороне Ивана IV, и условия договора, подготовленные в Лондоне, существенно отличались от тех, которые стали итогом переговоров в Москве. Получение «Московской компанией» монополии на торговлю с Россией вряд ли повлияло бы на изменение этой позиции. Помимо того что главные цели, которых стремилось добиться в начале 80-х годов XVI века правительство Елизаветы, требовали от него активной политики совсем в другом регионе Европы — во Франции и Нидерландах, еще больше, чем в торговле на севере России, английское купечество было заинтересовано в торговле с Речью Посполитой (Англия была одним из главных потребителей польского хлеба) и никто не хотел ставить эти интересы под угрозу, ввязываясь в новую войну Ивана IV с Баторием.

Кроме того (и это не менее важно), даже если бы Ивану IV каким-либо образом все же удалось добиться своей цели, то вмешательство Англии никак не смогло бы серьезно повлиять на неблагоприятно сложившееся для России соотношение сил на международной арене. Неудивительно, что после смерти царя Ивана планы союза с Англией были сразу же оставлены.

По иронии судьбы шаги, предпринимавшиеся царем в сложившейся ситуации, были выгодны для Батория и политиков его круга. После неудачи под Псковом король и его ближайший советник Ян Замойский под давлением шляхты, отказавшейся вотировать налоги на продолжение войны, вынуждены были согласиться на мир с Россией, но одновременно искали предлог для того, чтобы разорвать мирный договор и возобновить войну. Действия царя, если бы о них стало известно в Речи Посполитой, могли бы стать желанным предлогом для «партии войны».

Когда 17 февраля 1584 года завершились переговоры Богдана Бельского с английским послом, оставался всего один месяц до смерти царя. О последних днях жизни Ивана IV сохранилось два разных рассказа. Один из них читается в сочинении Павла Одерборна «Жизнь великого князя московского Ивана Васильевича», напечатанном в 1585 году. Судя по этому рассказу, смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь: «Несколько дней он ничего не говорил, не ел, не пил, не издавал ни звука, как будто бы немой. По прошествии нескольких дней к нему вернулась речь». В это время, видимо, находясь в бесспамятстве, он звал к себе сына Ивана. Постепенно ему становилось все хуже и хуже, тело стало гнить и покрылось червями, он постоянно впадал в бесспамятство. Сын Федор приказал служить по всей стране молебны за его здоровье и освободить заключенных из темниц. Затем царь приказал отменить введенные им большие налоги и освободить пленных, но эти новые попытки умиловить Бога опоздали: он умер.

Насколько можно верить подобному рассказу? Действительно, ряд указаний в источниках говорит о серьезной болезни царя. На переговорах с английским послом было объявлено, что 20 февраля состоится прощальный прием. Однако прием не состоялся. Так как царь был крайне заинтересован в скорейшем окончании переговоров, то помешать такому приему могла только его болезнь. 10 марта навстречу послу Речи Посполитой Льву Сапеге, находившемуся уже в Можайске, был послан гонец с предписанием задержать его в этом городе, так как «по грехом государь учинился болен». 20 марта особый посланец привез в Кирилло-Белозерский монастырь царскую грамоту. «Ног ваших касаясь, — говорилось в ней, — князь великий Иван Васильевич челом бьет, и молясь припадая преподобью вашему, чтоб есте пожаловали о моем окаянстве соборне и по кельям молили Господа Бога», чтобы «ваших ради святых молитв моему окаян-

ству отпущение грехом даровал и от настоящих смертных болезни свободил». Таким образом, не подлежит сомнению, что в конце февраля-марте 1584 года царь серьезно болел. Однако протекала ли эта болезнь именно так, как описал Одерборн, имели ли место описанные в его сочинении драматические сцены? В этом нельзя быть уверенным. Основанием для сомнений служит то, что, по-видимому, к середине марта, вопреки тому, что рассказывает Одерборн, болезнь пошла на убыль. Сохранился рассказ ученого книжника, диакона из Каменец-Подольского Исаяи о том, как в марте 1584 года он беседовал с царем о вере «перед... царским синклитом»; царь с ним «из уст в уста говорил крепче и сильнее». Джером Горсей в день смерти видел царя в его сокровищнице, где, окруженный придворными, тот рассуждал о свойствах драгоценных камней. Горсею запомнился рассказ о свойствах магнита, благодаря которому гроб пророка Мухаммеда висит над землей — свидетельство интереса царя к миру ислама. Царь физически был слаб, в сокровищницу его принесли на носилках, но он был явно не в том состоянии, которое описывает Одерборн. 17 марта было послано распоряжение в Можайск, что литовский посол может ехать в Москву.

Затем неожиданно наступило ухудшение. О последнем дне жизни царя сохранилось одно, но очень подробное и яркое свидетельство уже неоднократно упоминавшегося Джерома Горсея. Рассказ начинается сообщением о том, что царь приказал доставить ему с севера из Лапландии «множество кудесников и колдуний», которые должны были предсказывать ему будущее. В Москве волхвы находились под стражей, и их мог посещать лишь Богдан Бельский, «единственный, кому царь доверял узнавать и доносить ему их ворожбу». Эти колдуны и предсказали царю, что 18 марта он умрет, и царь «впал в ярость» и обещал, что в этот день они все будут сожжены (очевидно, если предсказание не исполнится).

День протекал за обычными занятиями, царь занимался делами, а «около третьего часа дня» направился в баню. В этой части рассказ Горсея может быть подтвержден документально. В сохранившемся фрагменте книги выдач из казны отмечено, что «в канун государева преставленья» один из приближенных Ивана IV, Тимофей Хлопов, «взял к государеву делу два полотна тверских» — полотняные простыни, которыми царь вытирался после бани. Из бани «царь вышел около семи, хорошо освеженный, его перенесли в другую комнату, посадили на постель, он позвал Родиона Биркина, дворянина, своего любимца, и приказал принести шахматы». Затем царь «вдруг ослабел и повалился навзничь. Произошло большое замешательство и крик. Одни посылали за водкой, другие — в аптеку за ноготковой и розовой водой, а также за его духовником и лекарями». Однако, когда они пришли, царь уже скончался. Русские источники лишь в одном отношении дополняют рассказ Горсея. Прибывший духовник

Феодосий Вятка «возложил на него, отшедшаго государя, иноческий образ и нарекоша во иноцех Иона».

Свидетельство Горсея не оставляет сомнений в том, что смерть царя 18 марта 1584 года была внезапной. Во всяком случае его рассказ гораздо более соответствует свидетельствам других источников, чем рассказ Одерборна.

Прошло довольно много времени после смерти царя, и в литературных памятниках, возникших уже в эпоху Смуты, появились утверждения, что жизнь царя «угасиша» его «ближние люди» Богдан Бельский и Борис Годунов. Любопытно, что некоторые из писавших об этом видели в убийстве царя высокий патриотический поступок. Так, в одном из псковских летописцев XVII века читаем, что царь «на русских людех... возложи свирепство», а затем и вовсе собрался «бежати в Аглинскую землю и тамо жениться, а свои было бояре оставшии побити». Но «не даша ему тако сотворити, но самого смерти предаша, да не до конца будет Руское царство разорено и вера христианская».

Новое важное свидетельство о насильственной смерти царя как будто было обнаружено при более внимательном изучении рассказа Горсея. Говоря о смерти царя, англичанин употребил выражение: «he was strangled». Переводчик XIX века перевел это как «испустил дух». Современная исследовательница сочинений Горсея А.А. Севастьянова предложила иной, более соответствующий грамматическим нормам английского языка перевод: «был задушен». Однако общий контекст рассказа Горсея заставляет сомневаться в правильности такого понимания текста. Ясно, что царю стало плохо в присутствии большого количества людей, которые пытались как-то ему помочь. В таких условиях попытка умертвить царя представляла бы смертельную опасность для каждого, кто вознамерился бы это сделать. В условиях вражды и соперничества, столь характерных для придворной атмосферы, это не могло остаться незамеченным и тогда ничто не спасло бы убийцу от заслуженной кары.

Характерно, что авторы сохранившихся рассказов о смерти царя не обвиняют его убийц в чем-либо подобном, а говорят лишь о том, что Иван Грозный был отравлен: «неции же глаголют, яко даша ему отраву ближние люди». В этой связи, как уже отмечалось, называют два имени: Богдан Бельский и Борис Годунов. О Богдане Бельском, фаворите царя в последние десять лет его царствования, в этой книге говорилось уже не раз. О Борисе же Годунове пока говорить не приходилось. Выходец из младшей ветви старомосковского боярского рода, родовые владения которой находились на Костроме, благодаря помощи дяди, царского постельничего Дмитрия Ивановича Годунова, в 1567 году мог начать свою службу в опричнине как «стряпчий з государем». Ряд лет он служил оруженосцем в свите царевича Ивана. Его положение упрочилось, когда он женился на Марии, до-

чери Малюты Скуратова. На свадьбе царя и Марфы Собакиной тесть и зять были «друзьями» царской невесты, а их жены — ее «свахами». После отмены опричнины Борис сумел сохранить расположение царя. В январе 1575 года он был «дружкой» Ивана IV на свадьбе царя с Анной Васильчиковой и мылся с царем в «мыльне». В том же году его сестра Ирина стала женой младшего сына царя Федора, и Годунов стал родственником царской семьи. В царском особом дворе он стал «кравчим», заняв то место, которое в годы опричнины принадлежало царскому фавориту Федору Басманову. В 1578 году Борис получил боярский сан. Это была очень успешная карьера, но карьера придворного, сопровождавшего царя на придворных церемониях и иногда в больших походах. Годунов не получал назначений ни воеводой одного из полков, ни наместником в крупный город, не участвовал он и в переговорах с иностранными послами. Антонио Поссевино приводит в своих сочинениях список 12 ближайших советников царя, имени Годунова среди них нет. Таким образом, благоволя молодому человеку и обеспечив ему видное место в своем окружении, царь практически не допускал его к участию в управлении государством. Разумеется, в случае смены монарха у Бориса Годунова были все основания для того, чтобы стать одним из главных советников нового царя, близким родственником которого он был.

Кроме того, ссылаясь на текст Горсея, исследователи отмечают еще один важный мотив для убийства: опасения, что царь может передать престол не Федору, а своему сыну от брака с английской принцессой. «Князья и бояре, — читаем у Горсея, — особенно ближайшее окружение жены царевича — семья Годуновых были сильно обижены и оскорблены этим, изыскивали секретные средства и устраивали заговоры с целью уничтожить все эти намерения и опровергнуть все подписанные соглашения». Однако утверждения Горсея не подтверждаются ни русской записью переговоров, ни текстом отчета Джерома Боуса. Напротив, когда заходил вопрос о наследовании престола, с русской стороны неизменно указывалось, что законным наследником царя является его сын Федор, а дети английской принцессы могут рассчитывать лишь на получение «уделов». Тем более не было заключено каких-либо «подписанных соглашений».

Другую версию событий дает Одерборн, который рассказывает, что царь хотел овладеть женой младшего сына, а когда это не удалось, стал добиваться от Федора, чтобы тот развелся с супругой. Действительно, в случае развода условия для дальнейшей карьеры Бориса Годунова резко ухудшались. Однако общая недостоверность рассказа Одерборна (о чем уже говорилось выше) заставляет быть осторожным в обращении с этим свидетельством. Серьезные сомнения вызывает и утверждение Одерборна, что до развода дело не дошло, так как царевич решительно не захотел расстаться с женой. Выше мы говорили о том, как бесцеремонно царь отправлял в монастырь жен

старшего сына, вызвавших его неудовольствие. Желания царевича при этом никакой роли не играли, а с желаниями Федора Иван IV тем более не стал бы считаться.

Таким образом, не вырисовываются ясно мотивы, по которым Борис Годунов мог бы пойти на столь беспрецедентный и крайне опасный шаг. Кроме того, следует учитывать, что у него вовсе и не было возможностей, чтобы отравить царя. Иное дело — Богдан Бельский. Сохранились документы 1581 года, из которых следует, что именно на нем лежала в последние годы правления царя забота о царском здоровье: именно «по приказу оружничего Богдана Яковлевича Бельского» изготовлялись осенью этого года лекарства для царя. Из его рук, как некогда из рук Афанасия Вяземского, царь принимал эти лекарства. В таких условиях у Богдана Бельского были все возможности для того, чтобы отравить своего монарха. Голландец Исаак Масса, находившийся в России в годы Смуты, записал такой рассказ о смерти Ивана IV: «Говорят, один из вельмож Богдан Бельский, бывший у него в милости, подал ему прописанное доктором Иоганном Эйлофом питье, бросив в него яд, в то время, когда подносил царю, отчего он вскорости умер». Рассказ этот исходил от человека, хорошо знакомого с жизнью русского двора в последние годы правления Ивана IV: фламандец Иоганн Эйлоф действительно был одним из врачей, лечивших Ивана IV в последние годы его жизни.

Но были ли у Богдана Бельского причины для того, чтобы отравить монарха? В отличие от Бориса Годунова он ничего не выигрывал от перемен на троне; его беспрецедентная для худородного дворянина карьера зиждилась только на личном расположении царя.

В нашем распоряжении есть один важный довод, позволяющий думать, что разговоры об отравлении Ивана IV и обвинения в адрес Бельского и Годунова появились отнюдь не сразу после смерти царя. Обращает на себя внимание, что лечившие царя врачи вскоре после его смерти получили возможность спокойно выехать из страны: англичанин Роберт Якоби уехал в мае 1584 года вместе с Джеромом Боусом, а фламандец Иоганн Эйлоф в августе 1584 года находился в Речи Посполитой, где рассказывал кардиналу Е. Радзивиллу о борьбе за власть в окружении нового царя. Начало правления Федора Ивановича ознаменовалось острым соперничеством между разными группами знати, каждая из которых стремилась занять первые места в окружении молодого монарха, оттеснив своих соперников. В таких условиях обвинение в отравлении царя (если бы оно появилось уже в то время), несомненно, было бы пущено в ход как сильное орудие в политической борьбе. Началось бы расследование, в стороне от которого никак не могли бы остаться врачи. Но, судя по всему, ничего подобного не произошло.

Все сказанное позволяет склониться к выводу, что царь Иван ско-

рее всего умер от удара, а слухи о его насильственной смерти возникли гораздо позже в обстановке борьбы за власть как средство дискредитации политических противников.

МЕСТО В ИСТОРИИ

Установленный царем порядок начал разрушаться сразу после его смерти. Объектом общей ненависти стал царский фаворит Богдан Бельский, воспринимавшийся как живое воплощение режима. Как это бывало в Московской Руси, политическая борьба выразилась в споре о «местах» между Бельским и казначеем Петром Головиным, принадлежавшим к старомосковскому боярскому роду. В этом споре только семья Годуновых поддержала Бельского, а «за Петра, — как писал автор «Пискаревского летописца», — стал князь Иван Мстиславской с товарищи и все дворяне». Накапливавшееся в среде представителей «добрых» дворянских и боярских родов враждебное отношение к худородному «выдвиженцу» прорвалось наружу — «и Богдана хотели убить до смерти дворяне», так что одному из первых вельмож государства пришлось поспешно укрыться в царских покоях.

В ответ Бельский попытался силой сохранить существующий режим. Как сообщал своему королю доехавший к тому времени до Москвы посол Речи Посполитой Лев Сапега, царский фаворит стал искать поддержки у московских стрельцов. Эти стрелецкие войска входили в состав особого двора и получали в отличие от других стрелецких отрядов повышенное жалованье, которое они боялись утратить. Ворота в Кремль были закрыты, по стенам расставлена стража. Как отметил посол, Бельский убеждал оказавшегося в его руках молодого царя, чтобы тот «сохранял двор и опричнину, как и отец его».

В это время, как отмечено в «Пискаревском летописце», «некто из молодых детей боярских учал скакати из Большого города» (то есть из Кремля). Он кричал, что «бояр Годуновы побивают». Очевидно, родственники молодого царя Годуновы, возвысившиеся также благодаря службе в особом дворе, воспринимались в обществе как люди, близкие Бельскому, и как соучастники его планов. Положение было столь напряженным, что эти крики стали как бы сигналом к стихийно вспыхнувшему восстанию. Автор «Пискаревского летописца» записывал, что «народ восколебался весь без числа со всяким оружием», и напуганные власти «Большого города ворота заперли». «И чернь московская приступали к городу Большому и ворота Фроловские (главный вход в Кремль у Спасской башни. — *Б.Ф.*) выбивали и секли и пушку большую, которая стояла на Лобном месте, на город поворотили». Так Кремль оказался осажден восставшими горожанами Москвы. Если в 1564 году при введении опричнины московские горожане ре-

шительно встали на сторону царя, выражая желание расправиться с его лиходеями, то теперь все население столицы стихийно поднялось на борьбу с установленным царем режимом.

Однако не одни горожане приняли участие в восстании. Как отмечено в интересном летописном памятнике конца XVI века, так называемом «Безнинском летописце», «дети боярские на конех многие из луков на город стреляли». И это не единственное свидетельство об участии дворян в восстании. В «Новом летописце», главном памятнике московского официального летописания первой половины XVII века, также читаем, что «присташа к черни рязанцы Ляпоновы и Кикины и иных городов дети боярские». Осадившие Кремль дворяне и горожане кричали: «Выдайте нам Богдана Бельского! Он хочет известъ царский корень и боярские роды!» Разумеется, фаворит Ивана IV вряд ли питал подобные замыслы, но люди, видевшие в нем живое воплощение установленного покойным царем порядка, готовы были поверить самым чудовищным слухам. После многочисленных экспериментов царя Ивана широкие круги населения, некогда поддерживавшие его в борьбе со знатью, теперь готовы были видеть в «боярских родах» оплот стабильности и порядка. Добиваясь выдачи Бельского, эти люди явно выражали свое недовольство сложившимся положением. Волнения прекратились лишь тогда, когда было объявлено о ссылке Бельского в Нижний Новгород. Все это происходило 9 апреля 1584 года, менее чем через месяц после смерти Ивана IV.

Отстранение Бельского от власти стало началом важных перемен. 31 мая 1584 года состоялась коронация нового царя. В брошюре, посвященной этому событию (она увидела свет в Лондоне в 1589 году), Джером Горсей записал: «Многие князья и знать из известных родов, попавшие в опалу при прежнем царе и находившиеся в тюрьме двадцать лет*, получили свободу и свои земли. Все заключенные освобождались и их вина прощалась». Тогда же, вероятно, прекратилось и разделение страны на «двор» и «земщину». Жители одной части страны больше не имели каких-либо особых прав и привилегий по сравнению с жителями другой части страны. Как показало изучение списков людей, вошедших в состав ныне единого «государева двора», осуществленное А.Л. Станиславским и С. П. Мордовиной, худородные дворяне, получившие от царя в его особом дворе высокие чины «стольников» и «стряпчих», при новом царе были возвращены в свое прежнее положение. В последнее десятилетие своего правления Иван IV правил страной, опираясь на группу пользовавшихся его

* Как видим, составляя «Синодик опальных» и организовывая заупокойные службы по казненным, царь не нашел нужным освободить людей, заключенных по его приказу в тюрьмы, — еще одно доказательство того, что царь вовсе не считал избранную им политику неправильной, а наказанных им поданных — невиновными.

особым доверием «думных дворян». Именно их Антонио Поссевино называл «ближайшими советниками» Грозного. Большую часть из них в новое царствование ожидали опалы, ссылки или назначения на воеводства в дальние и провинциальные города. В списке «двора» 1588/89 года были записаны всего два думных дворянина.

Перемены, как видим, были серьезными. Означало ли это, что все, сделанное Иваном IV в годы его правления, рассеялось как дым, не оставив никаких следов? Такое представление было бы в корне ошибочным.

Происшедшие в правление Ивана IV перемены наложили глубокий отпечаток на характер отношений между государственной властью и дворянским сословием, определив на долгие времена и характер русской государственности, и характер русского общества не только в эпоху Средневековья.

Одним из главных последствий проводившейся Иваном IV политики стал резкий рост удельного веса поместных земель. Как показало изучение писцовых описаний конца XVI века, даже в уездах старого центра, где исстари существовало вотчинное родовое землевладение, доля вотчин в общем фонде земель, находившихся во владении дворянского сословия, стала совсем незначительной: в Романовском уезде — 6%, в Малоярославецком уезде — 5%. Русский дворянин этого времени — прежде всего помещик, владеющий своей землей лишь до тех пор, пока власть, от которой он эту землю получил, довольна его службой. Уже эти перемены означали значительное подчинение дворянского сословия контролю и руководству государственной власти. Созданные в ходе реформ 50-х годов органы сословного самоуправления на местах сохранялись, но с течением времени власть на местах постепенно переходила в руки «судей», а затем «воевод» — детей боярских из членов «государева двора», подчинивших себе органы сословного самоуправления и проводивших политику, которая отвечала интересам направившей их туда государственной власти. Посылка на места таких «воевод» началась еще в 70-е годы XVI века и принимала все более широкий размах в последние годы правления Ивана IV и в годы правления его преемников.

Верхний слой дворянского сословия — аристократия — сумела сохранить за собой традиционную монополию на власть и воспользовалась смертью Ивана IV, чтобы устранить его худородных «выдвиженцев». Но в положении этой аристократии произошли очень значительные изменения.

Старое родовое землевладение знати в эпоху опричнины было разбито. Правда, сановники, входившие в окружение нового царя — Федора, по-прежнему оставались крупными землевладельцами, но родовые вотчины составляли сравнительно небольшую часть их владений. Эти владения были разбросаны по всей территории страны и

состояли в основном из поместий и выслуженных вотчин, полученных за службу от царя Ивана и его преемников. Тем самым традиционная система связей, обеспечивавшая тем или иным группам знати власть и влияние в определенных районах страны, была разрушена. Предпринятые при царе Федоре попытки восстановить особые «княжеские корпорации» в составе «двора» закончились полной неудачей.

Установившийся в последней трети XVI века порядок службы также способствовал отчуждению между аристократией и провинциальным дворянством. Если еще в середине XVI века даже самые знатные представители аристократических родов начинали службу в рядах уездных дворянских организаций, то теперь молодые аристократы получали придворные должности при особе царя, а далее карьера вела их в состав Думы или особого, созданного в правление Ивана IV чина — «дворян московских». Получавшие назначения на важные военные и административные должности (воевод в полках и воевод в крупных городах, судей приказов, писцов) «дворяне московские» несли свою службу с Москвы по особому «московскому списку» и в свободное от службы «на посылках» время должны были находиться в столице. Внимательный наблюдатель жизни верхов русского общества польский шляхтич Станислав Немоевский в начале XVII века записал, что каждый знатный человек должен иметь двор в Москве, так как большую часть времени он проводит при государе, а не в своих владениях. Он же отметил, что даже в свою деревню знатный человек не может поехать без разрешения царя, а если запоздает вернуться к указанному сроку, то может подвергнуться серьезному наказанию. Жизнь такого аристократа была тесно связана со столицей и царским двором, и в глазах местного населения он был прежде всего представителем столичной власти. Дополнительным фактором, привязывавшим эту аристократию к власти, были щедрые пожалования из царской казны. Как отметил все тот же Немоевский, все приближенные царя регулярно получали денежное жалованье и ежедневно пищу и напитки с царской кухни.

Все это означало окончательное превращение прежней родовой аристократии в аристократию служилую, интересы которой оказывались тесно связанными с интересами государственной власти. Такая аристократия не могла стать силой, способной объединить дворянское сословие в борьбе за его интересы против государственной власти. Напротив, сложившиеся отношения способствовали зарождению определенного антагонизма между провинциальным дворянством и пребывающими в Москве «сильными людьми».

Если к сказанному добавить, что благодаря Ивану IV и книжникам его круга в сознание общества глубоко внедрилось представление о том, что лишь сильная неограниченная власть монарха может обеспечить порядок в государстве и гарантировать его самостоятель-

ность, то уже в общих чертах будет ясен ответ на вопрос о той роли, которую сыграл Иван IV в историческом развитии России.

Благодаря его вмешательству был оборван наметившийся в середине XVI века в России процесс формирования «сословного общества», формирования сословий как сложно организованных, корпоративных структур, автономных по отношению к государственной власти. К концу правления Ивана IV (и во многом благодаря его политике) русские сословия сформировались как сословия «служилые», жестко подчиненные контролю и руководству государственной власти, а государственная власть приобрела столь широкие возможности для своих действий, какими она, пожалуй, не обладала ни в одной из стран средневековой Европы.

В современной демократической публицистике широкое распространение получило представление о том, что эти действия Ивана IV оказались чрезвычайно пагубными для судеб страны, так как направили ее по пути, отличному от того, по которому двигались развитые страны Западной Европы. При этом, однако, молчаливо предполагается, что зарождавшееся в России «сословное общество» должно было быть «сословным обществом» именно такого типа, который существовал во Франции или в Англии и для которого был характерен определенный баланс интересов между сильной государственной властью и автономными сословиями, обеспечивавший наиболее оптимальный в тогдашних условиях путь развития общества. Но могло ли сложиться «сословное общество» такого типа в слабо заселенной аграрной стране с редкой сетью городов, из которых подавляющая часть вовсе не была сколько-нибудь крупными центрами ремесла и торговли? Гораздо больше шансов на то, что русское «сословное общество» оказалось бы близким к тому типу «сословного общества», которое сложилось в XV—XVI веках в тех странах Центральной Европы, где уровень урбанизации был гораздо ниже, чем на западе Европы.

Для такого типа «сословного общества» было характерно всеисключение дворянства, которое, отстранив от активного участия в политической жизни городское сословие и резко ограничив власть монарха, взяло непосредственно в руки своих представителей многие функции государственного управления и ориентировало государственную политику на обслуживание своих непосредственных сословных интересов. В эпоху, когда правительства стран Западной Европы поощряли развитие ремесла и промышленности, дворяне, овладевшие государственной властью в странах Центральной Европы, поощряли экспорт в свои страны дешевых иностранных товаров, на приобретение которых они затрачивали меньше денег. Подобная политика, разумеется, способствовала все большему отставанию стран Центральной Европы от стран Европы Западной. К этому следует добавить, что резкое ограничение власти монарха, разумеется, исключало воз-

возможность такого обращения с подданными, какое было присуще Ивану IV, однако ослабление роли монарха как верховного арбитра в отношениях между сословиями и отдельными группировками в рамках правящего дворянского сословия вело к тому, что на практике не оказывалось надежного гаранта соблюдения всех тех прав, которые законодательство щедро предоставляло членам дворянского сословия, и крупный и влиятельный магнат мог беспрепятственно расправиться с кем-либо из своих более мелких соседей, не опасаясь, что за это он будет нести ответственность.

Такая практика русским людям того времени была известна, и в их глазах «сословное общество» стран Центральной Европы вовсе не являлось образцом для подражания. В начале XVII века, когда в ходе Смуты появилась возможность развития России по польскому пути, находившийся в то время в Москве польский шляхтич Самуил Маскевич записал такие высказывания своего русского собеседника: «Ваша вольность вам хороша, а наша неволя — нам, ведь ваша вольность... это своеволие, разве мы не знаем того... что у вас сильнейший угнетает более худого, свободно ему взять у более худого владение и самого убить, а по праву вашему искать справедливости придется много лет, прежде чем [дело] завершится, а то и не завершится никогда. У нас... самый богатый боярин самому бедному ничего сделать не может, так как после первой жалобы царь меня от него освободит». Наконец, следует отметить, что, ограничивая власть монарха, дворянство одновременно старалось свести к минимуму расходы на государственные нужды, препятствуя расширению аппарата и увеличению армии, чтобы сохранять в своих руках доходы от собственных имений. В перспективе такая политика вела к ослаблению государства, его неспособности противостоять формирующимся по соседству абсолютистским монархиям.

Все это вовсе не означает, что претензии демократических публицистов по отношению к царю Ивану совсем не основательны, а его историческая роль заслуживает только позитивной оценки. Автор хотел бы лишь обратить внимание читателя на то, что если конкретная роль Ивана IV в развитии древнерусского общества и древнерусской государственности рисуется вполне ясно и определенно, то историческая оценка этой роли требует внимательного изучения широкого круга проблем не только русской, но и европейской истории. К исследованиям такого рода отечественные ученые лишь начинают обращаться.

Но даже если такая работа в ее полном объеме будет когда-то проделана и ее итогом станет признание социально-политического устройства России второй половины XVI века наиболее оптимальной, обеспечивавшей возможности поступательного развития в данных исторических условиях формой организации общества, то все равно исследователи встанут перед решением вопроса: обязательны ли для

достижения такого итога были все те кровавые жертвы, которыми ознаменовалось правление Ивана IV и которые привели в конечном итоге к разорению всей страны, сделав ее неспособной отразить нашествие своих противников? В нашем распоряжении до сих пор нет серьезных доказательств, что царь в своей политике сталкивался с непримиримой, готовой на крайние меры оппозицией, и продолжают сохраняться серьезные сомнения в существовании целого ряда заговоров, которые Иван IV подавлял с такой жестокостью.

Приходится честно сказать читателю, что на вопрос об историческом значении деятельности Ивана IV мы до сих пор не имеем окончательного ответа. Остается лишь надеяться, что его могут принести труды новых поколений исследователей.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВАНА IV

- 1530, 25 августа — рождение Ивана IV.
1533, 3 декабря — смерть Василия III.
1538, 3 апреля — смерть Елены Глинской.
1542, 2 января — переворот в Москве.
1543, 28 декабря — казнь князя Андрея Шуйского по приказу Ивана IV.
1547, 16 января — венчание Ивана IV на царство.
3 февраля — женитьба на Анастасии Романовне Захарьиной.
Июнь — «великий пожар» и восстание в Москве.
1547, ноябрь — 1548, март — участие Ивана IV в походе на Казань.
1548, весна — знакомство со священником Благовещенского собора Сильвестром.
1549, февраль — созыв Иваном IV так называемого «собора примирения».
1549, ноябрь — 1550, март — участие Ивана IV в походе на Казань.
1550 — принятие нового свода законов — «Судебника».
1551, январь-февраль — царь предлагает программу реформ так называемому «Стоглавому собору» русской церкви.
1552, май-октябрь — участие царя в новом походе на Казань.
2 октября — взятие Казани.
8 ноября — празднование победы над Казанью.
1553, март — тяжелая болезнь Ивана IV, споры о престолонаследнике.
Осень — участие царя в церковном соборе, осудившем еретиков.
1554, 3 марта — рождение наследника царевича Ивана.
Лето — «дело» князя Семена Лобанова-Ростовского и важные перемены в окружении царя.
1556 — присоединение Астраханского царства.
1558, январь — начало Ливонской войны.
1560, весна — удаление советников царя Сильвестра и Алексея Адашева.
6 августа — смерть царицы Анастасии.
Конец года — созыв царем собора для осуждения бывших советников.
1561, август — брак царя с Кученей (в крещении Марисей), дочерью кабардинского князя Темрюка.
1562, март — начало войны с Великим княжеством Литовским.
1563, январь-февраль — поход Ивана IV на Полоцк и взятие этого города.
Лето — опала близких родственников царя князей Старицких.
1564, весна — протест митрополита и Боярской думы против убийств, совершавшихся по приказу царя.
30 апреля — бегство в Литву наместника Ливонии князя Андрея Михайловича Курбского.
5 июля — завершение работы над Первым посланием Ивана IV князю Курбскому.
1564, декабрь — 1565, январь — отъезд царя в Александрову слободу, отказ от царства, установление опричнины.
1565 — ссылка в Казань по приказу царя ростовских и ярославских князей.
1566, 28 июня — созыв по приказу царя первого Земского собора. Протест земских детей боярских против установления опричнины.
1567, осень — поход Ивана IV в Ливонию и раскрытие боярского заговора.
1568 — казни заговорщиков, выступление против казней митрополита Филиппа и его низложение по приказу царя.
1569, 21 января — взятие в опричнину Ростова и Ярославля.
9 сентября — смерть Марии Темрюковны.

- 9 октября — казнь двоюродного брата царя князя Владимира Андреевича Старицкого.
- 1569—1570, зима — поход Ивана IV на Новгород и разгром этого города.
- 1570, 10 мая — диспут царя с протестантом Яном Рокитой.
- 25 июля — публичные казни изменников на Красной площади в Москве.
- 1571, 24 мая — сожжение Москвы крымскими татарами.
- 28 октября — женитьба царя на Марфе Собакиной. Смерть царицы через две недели после свадьбы.
- 1572, 29 апреля — церковный собор разрешает царю вступить в четвертый брак.
- Июнь — август — Иван IV в Новгороде работает над текстом своего завешания.
- 30 июля — 2 августа — разгром крымских татар русской ратью при Молодях в 45 верстах от Москвы.
- Август — возвращение Ивана IV в Москву, отмена опричнины.
- 1573, январь — написаны послания Ивана IV в Кирилло-Белозерский монастырь и к шведскому королю Юхану III.
- Февраль-март — переговоры царя с литовским послом Михаилом Гарабурдой об условиях избрания Ивана IV на польский трон. Передача Гарабурде славянской библии.
- 1574, июнь — Иван IV пишет послание Василию Грязному.
- 1575, 2 апреля — царь излагает шляхтичу К. Граевскому условия, на которых он согласен занять польский трон.
- Август — новые казни изменников.
- Октябрь — восстановление (в измененном виде) опричного режима. Провозглашение татарского царевича Симеона Бекбулатовича «великим князем всея Руси».
- 1575, конец — 1576, начало — переговоры о союзе с австрийскими Габсбургами против османов и татар.
- 1576, конец весны — лето — поход царя «на берег» против татар.
- Август — сведение Симеона Бекбулатовича с «великого княжения».
- 1577, июль — начало сентября — поход Ивана IV в Ливонию, составление посланий польскому королю, литовским вельможам и русским изменникам.
- 1579, июнь — начало новой войны между Польско-Литовским государством и Россией. Король Стефан Баторий призывает подданных Ивана IV к восстанию против царя.
- 29 августа — падение Полоцка.
- 1580, август — обращение царя к папе Григорию XIII с просьбой о посредничестве.
- 1580, зима — 1581 — на созванном царем соборе дворяне просят об окончании войны.
- 1581, 29 июня — завершено послание Ивана IV Стефану Баторию.
- 20 августа — царь принимает папского посредника Антонио Поссевино.
- Конец августа — начало обороны Пскова от войск Стефана Батория.
- 9 ноября — столкновение царя с сыном Иваном, приведшее к смерти царевича.
- 1582, 15 января — в Яме Запольском заключен мирный договор между Россией и Польско-Литовским государством.
- Конец февраля — беседы о вере царя и Антонио Поссевино.
- Март — посылка в монастырь списка 74-х казненных царем с просьбой молиться за их души.

Конец года — составление более подробного списка казненных, за упокой душ которых следовало молиться.

1583, август — заключено перемирие со Швецией.

Осень — переговоры царя с английским послом Джеромом Боусом о союзе с Англией.

1584, конец февраля-март — тяжелая болезнь Ивана IV.

18 марта — смерть.

ЛИТЕРАТУРА

СОЧИНЕНИЯ ИВАНА IV

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Подгот. текста Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыкова. Л., 1979.

Послания Ивана Грозного. Подгот. текста Д.С. Лихачева и Я.С. Лурье. М.; Л., 1951.

Tumins V.A. Tsar Ivan IV's reply to Jan Rokytka. The Hague; Paris. 1971.

Серегина Н. С. Стихиры митрополиту Петру «творения» Ивана Грозного // Древнерусская певческая культура и книжность. Л., 1990.

Серегина Н. С. Песнопения русским святым: По материалам рукописной певческой книги XI—XIX вв. «Стихирарь месячный». СПб., 1994.

Лихачев Д.С. Канон и молитвы Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана Грозного) // Рукописное наследие Древней Руси (По материалам Пушкинского дома). Л., 1972.

Послание Ивана IV и собора духовенства Св. князю Михаилу Черниговскому и его боярину Федору // Снегирев Н. Памятники Московской Древности. М., 1842—1845. Примечания к описанию Архангельского собора. С. 4—5.

Рамазанова Н.В. Тропарь и кондак на перенесение честных мощей князю Михаилу Черниговскому, «творение Иоанна богомудраго царя, самодержца Российского» (к проблеме атрибуции) // Литература Древней Руси. Источниковедение. Л., 1988.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛЕТОПИСАНИЕ ВРЕМЕНИ ИВАНА IV

Полное собрание русских летописей. Т. 13. Вторая половина: 1. Дополнения к Никоновской летописи. 2. Так называемая Царственная книга. СПб., 1906.

Полное собрание русских летописей. Т. 21: Книга Степенная царского родословия. Первая половина. СПб., 1908; Вторая половина. СПб., 1913.

Полное собрание русских летописей. Т. 29: Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись. М., 1965.

ЗАПИСКИ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ ВРЕМЕНИ ИВАНА IV

Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе / Пер. М.Г. Рогинского // Русский исторический журнал. Кн. 8. Пг., 1922.

Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника / Пер. И.И. Полосина. Л., 1925.

Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного / Пер. А.И. Малеина. Л., 1934.

Горсей Д. Записки о России XVI — начала XVII в. / Пер. и сост. А. А. Севастьяновой. М., 1990.

Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. / Пер. Л. Н. Годовиковой. М., 1983.

БИОГРАФИИ

Платонов С.Ф. Иван Грозный. Пг., 1923.

Бахрушин С.В. Иван Грозный. Л., 1944.

Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М.; Л., 1944.
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975.
Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЭПОХИ

Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.
Зимин А. А. Опричина Ивана Грозного. М., 1964.
Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986.
Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992.
Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950.
Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992.
Скрынников Р. Г. Россия после опричнины. Л., 1975.
Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-х — 50-х годов XVI века. М.; Л., 1958.

СОДЕРЖАНИЕ

Детство и юность	5
Казанская война и реформы 50-х годов	28
Воспитанник Сильвестра	58
На пути к самостоятельному правлению	67
Представления о власти московских государей в древнерусском обществе XV—XVI веков	86
Политические взгляды Ивана IV	100
Начало Ливонской войны. Удаление Сильвестра и Адашева	116
Накануне опричнины	136
Спор Грозного и Курбского. Иван IV как политический полемист. . . .	153
Введение опричнины	168
Становление опричного порядка	181
Начало террора и казанская ссылка	193
Зигзаги политики	201
Новые переселения	209
Царь и боярский заговор 1567 года	213
Усиление террора. Царь и митрополит	225
Разгром Новгорода Великого	233
Московские казни	247
Угроза с юга	254
Конец опричнины	269
После опричнины	284
Иван IV и польская корона	296
Новая опричина	309
В союзе с Габсбургами	324
Ливонский поход 1577 года	337
Конец Ливонской войны	347
Последние годы	378
Место в истории	391
Основные даты жизни и деятельности Ивана IV	398
Литература	401

Флоря Б.Н.
Ф73 Иван Грозный. — М.: Мол. гвардия, 1999. — 403 [13] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей; Сер. биогр. Вып. 766).
ISBN 5-235-02340-4

Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас — спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие — гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.

О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.

УДК 947+957 15(092)
ББК 63.3(2)44

Флоря Борис Николаевич

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Главный редактор издательства **А.В. Петров**

Редактор **А.Ю. Карпов**

Художественный редактор **А. Б. Романова**

Технический редактор **В.В. Пилкова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 15.02.99. Подписано в печать 17.11.99. Формат 84х108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 99150.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030 Москва, Сушевская ул., 21.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 103030 Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02340-4